Ф. Ф. Торнау
Воспоминания кавказского офицера

Москва
2008

«Из русского прошлого»

Ф. Ф. Торнау

ВОСПОМИНАНИЯ КАВКАЗСКОГО ОФИЦЕРА

Москва
2008

«*Из русского прошлого*»

Дизайн обложки *К. Струков*

Ф. Ф. Торнау.
Воспоминания кавказского офицера. [Текст]./Ф. Ф. Торнау. – М.: «АИРО–XXI». 2008 г. – 456 с.

Записки Федора Федоровича Торнау, печатавшиеся в разных журналах в 60-х – 80-х годах XIX века составляют уникальный источник, повествующий о Русской армии николаевского времени: борьба с турками на Дунае, Польская кампания, картины кавказской жизни и перипетии военных действий в Чечне и Дагестане в 30-е – 40-е годы, встреча с императором Николаем I, воспоминания о простых русских солдатах, вынесших на себе тяготы долгой Кавказской войны.

Собранные вместе и изданные в двух книгах в издательстве «АИРО-XX» в 2000 и 2002 гг. «Воспоминания» успели уже стать библиографической редкостью. В настоящем издании собраны воспоминания Ф. Ф. Торнау, относящиеся к Кавказу: Тифлис и Чеченская экспедиция 1832 года, две экспедиции в Абхазию и Черкесию в 1835 и 1836 гг., двухлетний плен у горцев в 1836–1838 гг. и последовавшая после спасения из плена его поездка в Петербург и встреча с царем Николаем I.

Составители: А. Г. Макаров, С. Э. Макарова

ISBN 978-5-91022-033-5

Ф.Ф.Торнау. «Воспоминания…»

Имя Федора Федоровича Торнау стало известно прежде всего в связи с его «Воспоминаниями кавказского офицера», в которых речь шла об исследовательских и разведывательных экспедициях автора по неизведанным местностям Западного Кавказа (для обозрения морского берега от Гагры до Геленджика, а также перевалов через Главный Кавказский хребет из Абхазии на Линию) в 1835–1836 гг., зачастую под видом горца. Особо интересная часть «Воспоминаний» охватывает двухлетний период пребывания Торнау в плену у горцев (1836–1838 гг.), с подробным историко-этнографическим обзором жизни и обычаев местных племен и народов.

«Воспоминания кавказского офицера» привлекали внимание читателей особым недоступным миром кавказской жизни, приключенческой окраской неудачных побегов автора, тягот и невзгод плена, романтической историей любви черкешенки Аслан-Коз и многими другими моментами реальной и трогательно-простосердечной исповеди русского офицера.

Впервые «Воспоминания» увидели свет в «Русском вестнике» в 1864 году (в том же году М. Катков напечатал их отдельной книгой) за подписью «Т.», в которой старые кавказцы тотчас узнали Ф. Ф. Торнау. Потомкам повезло меньше. Книга более не переиздавалась и стала дорогим раритетом в домашних библиотеках. Лишь в 2000 году, спустя почти 140 лет после первого ее издания, «Воспоминания кавказского офицера» были переизданы нами вместе со вступительной биографической статьей, послесловием, научно-справочным аппаратом*. Текст воспоминаний был приведен в соответствие с новой орфографией при сохранении всех особенностей авторского текста.

* Ф. Ф. Торнау. «Воспоминаниями кавказского офицера». – М.: АИРО–XX, 2000.

Публикация «Воспоминаний кавказского офицера» вызвала живой интерес к личности Ф. Ф. Торнау, истории Кавказской войны, сохраняющей свою злободневность поныне, нашла свое место в перечне редких, исключительной значимости, книг. Положительные отклики на переиздания сподвигли нас на публикацию всей имеющейся, доступной нам серии воспоминаний Ф. Ф. Торнау, отразивших значительные периоды его жизни и военной службы. Это, прежде всего: *«Воспоминания о кампании 1829 года в Европейской Турции»*, рассказывающие о первых шагах восемнадцатилетнего прапорщика на военном поприще; *«Воспоминания о Кавказе и Грузии»* – впечатления и события первых месяцев пребывания на Кавказе, включая участие в летней экспедиции в Чечню 1832 года; «*Государь Николай Павлович»* – посещение Петербурга после двухлетнего плена, с подробным описанием встречи с царем Николаем I; *«Гергебиль»* – рассказ об эпизоде Кавказской войны 1843 года, связанный с массовым возмущением горцев под руководством Шамиля*.

Следует указать, что «Воспоминания» Ф. Ф. Торнау писал уже в преклонном возрасте, с учетом не только житейского опыта, но и с учетом Времени, которое многие спорные вопросы ставит на свое законное место в истинном виде. Эта «ретроспективность» воспоминаний придает им характер аналитического произведения, где каждое событие, лицо или эпизод рассмотрены писателем с разных сторон и снабжены основательными выводами.

Начав службу 18-летним прапорщиком в Малой Валахии, все последующие повышения в чине Торнау «*достались... за отличие – редкая вещь в Русской армии».* Закончил свою службу он в чине генерал-лейтенанта, военным агентом в Вене, членом Военно-ученого комитета Главного штаба.

За это время Россия пережила много серьезных потрясений, исторических перемен и войн, во многом изменивших и определивших ее судьбу. Торнау описал многие из этих событий, постарался вспомнить и запечатлеть все существенные эпизоды, людей и общие образы русского солдата, чтобы не дать «*придать забвению»* их прекрасные черты, геройские поступки:

> «Военную историю пишут обыкновенно по прошествии многих лет люди, не участвовавшие в описываемых делах, незнакомые с местом и обстоятельствами, не испытывавшие иногда ни военных трудов, ни ощущений, волнующих душу на поле битвы, а почерпающие описание фактов из сухих официальных донесений, редко обнаруживающих нагую истину. Для них участники в былых победах и неудачах имеют значение мертвой цифры, которою искупались известные результаты. Если бы пишущие историю всегда знали, через какие обстоятельства прошли эти деятели былого времени, каким раздирающим впечатлениям они подвергались, какие душевные страдания, какие сверхъестественные труды они перенесли, добиваясь нередко самых ничтожных результатов, как бы иначе судили они о фактах, как бы иначе ценили людей боровшихся с природой, со смертью, трудившихся всю жизнь и умиравших в каком-нибудь забытом уголку земли с одним помыслом, с одною надеждой – исполнить долг солдата и сберечь народную славу!» [«*Воспоминания о кампании 1829 года*…», с. 470–471]

* Подробную характеристику «Воспоминаниям…» Ф. Ф. Торнау и его многочисленным материалам по истории, этнографии и географии Западного Кавказа можно найти в работе известного ученого Абхазии, историка и исследователя Кавказа, Григория Алексеевича Дзидзарии (См.: Г. А. Дзидзария. Ф. Ф. Торнау и его кавказские материалы. М., 1978.). Он же впервые опубликовал список печатных работ Ф. Ф. Торнау, дал ссылки на архивные материалы и документы.

Таким образом, произведения Торнау являются важным и достоверным источником по истории России XIX века, от Русско-турецкой войны 1828–29 гг. до событий пореформенной эпохи. Раскрыв эту книгу и влекомый нитью воспоминаний *старого кавказца*, читатель познакомится с некоторыми страницами биографии Ф. Ф. Торнау – раскроет перед собой изумительные, интересные эпизоды его жизни, вовлеченной в бурный водоворот российской военной истории, сможет заглянуть в далекий, давно ушедший от нас мир России второй четверти XIX века, почувствовать непосредственно атмосферу той удивительной эпохи – времени Пушкина и Лермонтова, императора Николая I и декабристов, офицеров, солдат и казаков Русской армии и горцев, грузин и осетин, черкесов и чеченцев, сражавшихся друг с другом в предгорьях и ущельях Кавказа…

* * *

Федора Федоровича Торнау можно назвать человеком, родившимся под «счастливой звездой». Через все сложности и превратности судьбы он прошел путем человека, осененного божественной Благодатью. Потеряв отца (подполковника, артиллериста, участника Отечественной войны 1812 года) в самом раннем детстве, Торнау обрел замечательных наставников и доброжелателей среди талантливых военачальников во время своей военной службы: Ф. К. Гейсмара, П. Х. Граббе, В. Д. Вольховского, Г. В. Розена, А. А. Вельяминова…

Гейсмар и Вельяминов в критические минуты его жизни проявили о нем искреннюю отеческую заботу. В турецкую кампанию 1829 года, находившийся в подчинении Ф. К. Гейсмара в Малой Валахии, молодой офицер заболел тяжелой формой лихорадки и был спасен, перевезен из военного госпиталя в дом Федора Клементьевича и возвращен к жизни уходом и стараниями жены

Гейсмара и его денщика. В чеченской экспедиции 1832 года Ф. Ф. Торнау, тяжело раненый в пах, был вынесен из-под обстрела адъютантом корпусного командира А. Е. Врангелем, и, благодаря личному надзору и участию А. А. Вельяминова, отправившего его под конвоем казаков на лечение на Линию, вторично возвращен к жизни и военной службе. К сожалению, сотрудничество со столь выдающимися людьми длилось недолго. Тяжелое ранение, полученное Гейсмаром во время штурма Варшавы в 1831 году, заставило его оставить военную службу. Со вторым Торнау разлучает двухлетний плен у горцев, в течение которого Алексей Александрович Вельяминов умирает.

Вспоминая Вельяминова, Федор Федорович напишет:

> «...память о душевной внимательности, которою этот замечательный человек отличил меня во дни моей ранней молодости всегда служила для меня верным утешением и укрепляла мое терпение, когда я после того встречался с людьми, находившими удовольствие делать мне положительный вред или сорить в глаза шутовским чванством».

Уповая на благосклонность судьбы, Федор Федорович не раз обращает внимание на беспримерные подвиги офицеров, солдат, молодой черкешенки, спасавших его от верной гибели, зачастую ценой собственной жизни. С какой искренней благодарностью Торнау описывает в воспоминаниях юнкера Горского, успевшего при взятии Раховских укреплений в 1829 году защитить его от турка, занесшего над головой смертоносную саблю. Сам Горский к концу штурма умирает от раны, полученной от того же умирающего турка.

«Сам погибай, а товарища выручай!» – эта старая русская заповедь солдата обнаруживает себя и при смелом и благородном поступке А. Е. Врангеля, вынесшего раненого Торнау из-под чеченских пуль, и в самоотверженности казаков во время военных экспедиций, стремившихся не только защитить грудью Торнау во время стычек с горцами, но и укрыть бурками своего командира от холода и ветра на привале в горах. Делом чести и высшего христианского подвига «положить жизни за други своя…» можно назвать многие поступки воинов Русской армии того времени, которые в те времена считались вполне рядовым явлением.

Особую роль суждено было сыграть в судьбе Торнау-пленника красавице-черкешенке Аслан-Коз. Любовь девушки к умному, доброму, храброму русскому офицеру стала легендой благодаря Воспоминаниям» Федора Федоровича и послужила прообразом вариаций Кавказского пленника», в том числе и в судьбах героев одноименного рассказа Л. Н. Толстого. Безнадежная любовь, искренняя преданность дружбе и материнская забота Аслан-Коз до глубины души тронули Торнау и помогли ему в самые тяжелые минуты в плену у горцев. Трижды предпринимавший попытки побега, изнуренный голодом, лишениями и болезнями, прикованный железной цепью с ошейником к стене в холодном неотапливаемом сарае – лишенный всех человеческих условий существования – он обретает в дни испытаний искреннюю дружбу и нежнейшую любовь, которой суждено будет остаться безответной. Заявив о непреклонном желании остаться в православной вере, Торнау тем самым разбивает надежды Аслан-Коз на замужество. Предпочитая смерть позорной жизни раба в горском ауле, он вызывает восхищение даже у этих диких, неразвитых людей, знающих, однако, цену мужеству и отваге. Оставляя Аслан-Коз наедине с ее чувствами, Торнау в нравственном отношении далеко оставляет прославленных любовников – героев «Кавказских пленников» А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова.

В этом – его характер, его нравственные ценности, его философия. Ум, доброта, правдивость, твердость и продуманность решений, христианская мудрость – таким он останется на всю оставшуюся жизнь.

Когда-то в молодости, уезжая из Петербурга на Кавказ, Федор Федорович «*предпочел труды боевой жизни праздной службе и блеску паркетных удач*». В 1839 г., вслед за освобождением из плена у черкесов, Торнау был вызван в Петербург по именному повелению императора Николая I для личной аудиенции и получения наград: ордена Св. Владимира 4 ст. и звания капитана. Ставя правду и дело на одно из главных мест в жизни, Торнау в откровенном разговоре с царем излагает истинное, неутешительное положение дел на Кавказе, отмечая слабость Черноморской линии и целесообразность увеличения там общей численности войск. По словам Торнау, в случае европейской войны и прихода неприятельского флота войска Черноморской линии оказались бы перед прямой угрозой пленения: ни одно укрепление не выдержало бы бомбардировки с моря, а пути отступления в горы гарнизонам были бы закрыты горцами. Несмотря на то, что Николай I не увидел на тот момент практической пользы от личного мнения Ф. Ф. Торнау, последующие события, в том числе Крымской войны, полностью подтвердили правильность его выводов, что, безусловно, делает ему честь как профессиональному военному.

Несмотря на слабое здоровье (о чем еще беспокоился И. И. Дибич в 1829 году, определяя его в начале военной карьеры в штабную службу), на угрожавшие жизни не раз тяжелые, смертельные болезни и ранения, Федор Федорович проживет долгую почти 80-летнюю жизнь. Посвятив большую часть жизни служению России, находясь в самых горячих точках на необъятных просторах отечества, он закончит свой жизненный путь 7 января 1890 года в

Эдлице, одном из тихих живописных уголков Нижней Австрии, куда вместе с больной женой он переселился в 1875 году. С Австрией его, начиная с 1856 года, связывала военно-дипломатическая деятельность в качестве русского военного агента в Вене*.

Прожив жизнь человеком скромным, скрывая свой недюжинный ум и профессиональные способности в узком кругу благоволивших к нему людей, старый генерал ушел из жизни так же незаметно и тихо. Лишь опубликованный в газете «Новое время» от 12 января 1890 года некролог скупо упоминал о его служебных и научных заслугах. Но именно литературное наследие Федора Федоровича Торнау принесло ему заслуженную посмертную славу. Многочисленные «Воспоминания…» раскрыли перед читателями многогранность его талантов, глубину его души, остроту ума, доброту сердца – полный перечень прекрасных человеческих качеств русского офицера, облеченных в не менее значимую рамку скромности и верности долгу.

Трудно сказать, что в предлагаемых произведениях окажется важнее: исторический, приключенческий, военно-фактологический материал – или личность самого автора.

Пусть это решит сам читатель…

С. Э. Макарова

---

* Свою дипломатическую деятельность, относящуюся к 1856–1861 гг. Федор Федорович довольно подробно осветил в воспоминаниях, опубликованных уже после его смерти в 1897 году в «Историческом вестнике» (1897, №№ 1, 2), благодаря рукописи, предоставленной редакции дочерью Ф. Ф. Торнау, г-жой Борк.

Воспоминания о Кавказе и Грузии

I.

Заключив мои Воспоминания о кампании 1829 года в Европейской Турции отъездом из Крайова, перехожу прямо к началу моей службы на Кавказе. Не стану говорить ни о годовом пребывании в Яссах, ни о Польской войне 1831 года. В Яссах разыгрался для меня первый роман моей жизни, до того невинный, до того бедный похождениями, что рассказ о нем утомил бы читателя; а сердечные чувства, которыми отличается первая робкая привязанность, да позволят мне сохранить в одной собственной памяти. В Польскую же кампанию обстоятельства были для меня очень неблагоприятны. Мои воспоминания о ней не выходят из тесного круга, в котором дозволено было вращаться егерскому прапорщику, исправлявшему при главной квартире армии должность офицера генерального штаба. Упомяну только, каким образом я из Молдавии попал в армию, действовавшую в Польше, и каким путем выбыл из нее на Кавказ.

С самого начала войны, когда войска наши двинулись к Праге, генерал Гейсмар был назначен командиром авангарда. При этом случае он не забыл выпросить под свое начальство меня и Веригина, моего неразлучного товарища в 1829 году. Веригин, служивший в Кинбурнском драгунском полку, находился вблизи театра военных действий; для него было нетрудно вовремя поспеть к любимому начальнику, при котором он, к сожалению, находился недолго, потому что имел несчастие под Дембо-Вельки попасть в плен к полякам. Приказание приехать в Букурешт для сдачи статистических сведений, которые я собирал в Молдавии, и после того сороκадневный карантин в

Скулянах принудили меня потерять много времени по-пустому. Освободившись из карантинного чистилища, я поскакал в Царство Польское по прямой дороге, считая ее, как следовало думать, ближайшим путем к месту моего назначения. Оказалось иначе. Дверницкий прорвался тем временем на Волынь, польская шляхта повстала, на дорогах появились разбойничьи шайки, и прямое сообщение с главною армией прекратилось для одиночных путешественников. Дивизионный командир, генерал-лейтенант Свечин, задержал меня по этому случаю в Дубно недели на две и отпустил в отряд генерала Ридигера не прежде, как было получено известие о Биромлинском деле, после которого Дверницкий отступил к австрийской границе.

Ридигер, которому я был известен по предыдущей кампании, остановил меня в свою очередь и, нуждаясь в офицерах генерального штаба, заставил исправлять квартирмейстерскую должность при первой драгунской дивизии. В главную квартиру армии он отправил меня с депешами из-под Замостья, когда после Остроленского сражения дороги в Литве начали очищаться от повстанцев. В село Клешово, близ Пултуска, где находилась главная квартира, я имел несчастие приехать в самый день смерти графа Дибича и к довершению горя не застал Гейсмара в армии. За неудачу, понесенную им под Прагой, его отрешили от командования и удалили в Россию. Гейсмар страдал за чужую вину, но впоследствии оправдался и в первый день Варшавского штурма принудил своих завистников совершенно замолкнуть, атаковав польский передовой редут и овладев им с быстротой, отличавшею все его действия в Турецкую кампанию. Покамест никто не предвидел будущего благоприятного поворота его судьбы, все считали его человеком с погибшею репутацией, и совесть мучила меня за то, что я не поспел разделить с ним беду, пользовавшись выгодами прежних удач, которыми он так охотно делился со своими подчиненными. К моему счастью, я имел случай явиться к нему после занятия Варшавы, когда он, тяжело раненый при взятии передового пятиугольного редута, лежал в одной из окрестных деревень, и совершенно очистить себя в его мнении насчет причины моего неприбытия к нему в авангард.

В главной квартире продержали меня до перехода через Вислу возле Оссека и после того командировали в авангард, к графу Виту, при котором я находился также во время двухдневного штурма варшавских укреплений. Кто бы пожелал ближе познакомиться с подробностями этого кровавого эпизода Польской войны 1831 года, тому советую обратиться к истории Шмидта; лучше и вернее трудно рассказать. Собственно для себя я вынес оттуда сильную контузию в голову, оставившую мне память на всю жизнь, и – чин подпоручика. После окончания войны меня перевели в Петербург, где я в департаменте генерального штаба три месяца прилежно просидел за маршрутным столом, от которого выпросился на Кавказ, привлекавший в то время русскую военную молодежь, предпочитавшую труды боевой жизни парадной службе и блеску паркетных удач.

В начале марта 1832 года я оставил Петербург, а в Тифлис успел приехать не прежде половины апреля по причине нестерпимо дурного состояния дорог, заставлявшего меня испытывать поочередно всевозможные способы передвижения: в санях, на колесах, верхом и, в горах, даже пешком. До Екатеринограда приходилось ехать на перекладных; от этого места до Владикавказа на наемных, а от Ларса, первой станции в горах, до Тифлиса опять на переменных, почтовых лошадях. На Кабардинской плоскости, между Екатериноградом и Владикавказом, не для чего было учреждать в то время почтовую езду. Кому надо было, тот измерял это пространство небольшими переходами и не иначе как под защитой сильного конвоя, потому что горцы день и ночь рыскали за добычей в соседстве русской границы и около дороги, служившей для прямого сообщения с Грузией. Никому из ехавших в Тифлис нельзя было миновать Екатеринограда, главной станицы горского линейского казачьего полка, и пробраться отсюда до Владикавказа без «оказии».

Оказией называли провиантские колонны, направлявшиеся два раза в неделю с линии во Владикавказ под прикрытием пехотного конвоя при одном или двух орудиях. С ними отправляли курьеров, почту и всех проезжающих, для которых, когда не было оказии, ни под каким предлогом не поднимался шлагбаум, стоявший при въезде на мост через Малку. Кому из старых кавказцев не привелось томиться скукой в Екатеринограде, ожидая выступления оказии, и после того сердиться несколько суток сряду, нестерпимо страдая от холода или от жары, глядя по тому, зимой или летом злая судьба приковывала его к шествию воловьего транспорта? И я ходил с оказией много раз. К счастью, в последнее время моего пребывания на Кавказе оказии были уже отменены; по Кабардинской плоскости стали ездить на переменных лошадях с небольшим числом казаков, а теперь и эта предосторожность совсем не нужна: между Ека-

териноградом и Владикавказом ныне не более опасности как на любой столбовой дороге внутри России. Но в 1832, необыкновенно тревожном году, на Кавказской линии господствовал совершенно другой порядок. Начиная от Среднего Егорлыка, отделявшего землю Донских казаков от Кавказской области, путешественника встречали и провожали на станциях велеречивыми рассказами о свирепости черкесов и о беспрестанных грабежах и убийствах, производимых ими по самым ближайшим окрестностям. К счастью его, это были покамест одни сказки; около ста верст он мог еще проехать, не рискуя ни головой, ни чемоданом. Ближе к Ставрополю дело принимало другой вид; опасность, существовавшая до того в одном напуганном воображении кавказского новичка, обращались в действительность, быстро возраставшую по мере сближения с Кубанью, Малкой и Тереком, отделявшими Линию от неприятельских земель.

Пограничные поселяне, обращенные позже в казаков, и линейские казаки, свыкшиеся с постоянною тревогой, менее говорили о ней, но зато более остерегались. На ночь езда по дорогам прекращалась для всех, кроме нарочных, которым давали в прикрытие сколько было нужно казаков. С рассветом выезжать со станции было менее опасно. Хищники – официальный термин для обозначения горцев, прорывавшихся в наши пределы, – редко позволяли себе «шалить», то есть убивать и грабить, в утреннее время, когда рабочий народ толпами выходил в поле и когда по берегам пограничных рек и по всем дорогам казачьи разъезды отыскивали «сакму» разбойников, успевших прокрасться в степь под защитой ночи. Многолюдство грозило немедленным распространением тревоги, а долгий день способствовал казакам преследовать их. Зато последние часы перед закатом солнца слыли, не без основания, самым опасным временем дня. Шайки хищников, скрытно дневавшие в глубоких балках, прорезывающих линейские степи, или в густых лесах, покрывавших берега Терека и Кубани, появлялись там, где их нисколько не ожидали, угоняли табуны и стада, убивали оборонявшихся, хватали в плен беззащитных и под покровом ночи ускользали от погони. В числе нескольких сот человек они нападали на крестьянские селения или пытались врываться иногда в казачьи станицы; в честь казакам будь сказано, эта последняя попытка почти никогда им не удавалась. Вечерняя встреча в поле с конными людьми в мохнатых шапках, когда, к тому же, лица были укутаны башлыками, и у передового

ружье вынуто из чехла, редко предвещало добро. Сердце сжималось болезненно, когда в степи неожиданно появлялась шайка подобных ездоков; рука судорожно ложилась на курок ружья или пистолета, и тоску отводило только в счастливом случае, если удавалось разглядеть у них более сапогов чем чевяк: значит казаки, а не чеченцы и не закубанцы. После этого понятно, почему для линейцев с наступлением ночи наставал не покой, а начиналось настоящее бдение: из станичных ворот выезжали заставные и разъездные казаки, резервные съезжались на сборное место; на улицу казак не выходил иначе как с ружьем, вынутым из чехла, и в свою конюшню не заглядывал без пистолета в руке. Чеченец, случалось, прокрадется в станицу, заползет на двор к казаку, спрячется под плетнем и ждет, пока кто-нибудь выйдет ночью подложить корм лошади или коровам. Удар кинжалом или пуля отплачивают казаку за мусульманскую кровь, пролитую неведомо каким гяуром, – кто станет разбирать виноватого? – и чеченец исчезает мгновенно, как будто он тут и не бывал. В таком положении я застал Кавказ в 1832 году; полагаю, старые кавказцы еще помнят это время.

Вплоть до самого Екатеринограда любопытство новоприезжего более возбуждалось плодородием почвы да видом многочисленных стад, чем живописною стороной природы. Гладкая черноземная степь, изредка прорезанная балками, утомляла глаз. Села попадались нечасто, еще реже встречались леса. Не доезжая Ставрополя, местность изменяла свой однообразный вид; дорога шла в гору, окаймленная с обеих сторон глубокими лесистыми оврагами. На значительной высоте раскинулся город, составлявший в то время административный центр обширной страны, простиравшейся от Черного до Каспийского моря.

Наружный вид Ставрополя, признаться, мало соответствовал важности политического значения, которое город должен был иметь в глазах люда, обращавшего к нему свои взоры и упования. Поднявшись на гору с северной стороны, приезжий прежде всего усматривал необыкновенно просторное поле, на котором две линии низеньких деревянных домов, образуя входящий прямой угол, обозначали два фаса проектированной площади; с двух остальных сторон поле ограничивалось кладбищем да оврагом. Эта возникающая площадь занимала самый высокий пункт горы. Посреди ряда построек, очерчивавших восточный фас, открывалась главная улица, фланкированная по углам каменными домами, справа – длинным, одноэтажным строением, в котором жил командующий войсками, слева –

горделиво глядевшими на своего приземистого соседа двухэтажными хоромами советника казенной палаты З... Спустившись под гору, улица упиралась в высокие каменные ворота, не то крепостные, не то триумфальные, красовавшиеся в чистом поле и поэтому ничего не запиравшие. Никому не удавалось разрешить трудную загадку, для чего поставлены эти ворота – между тем нельзя было без них вообразить Ставрополь. Кроме командующего войсками жили еще на площади: обер-квартирмейстер, дежурный штаб-офицер, председатель казенной палаты и несколько других, менее важных сановников военного и гражданского управления. Начальник штаба, губернатор и комендант обитали в домах, составлявших украшение главной улицы, наряду с театром, с гостиным двором и со знаменитою гостиницей Найтаки. За исключением названных, все прочие дома, деревянные, турлучные или из сырцового кирпича, принадлежали к числу известных в провинции домов «без архитектуры», то есть в один этаж, пять окон во фронте, дверь сбоку под крошечным навесом, все это без тени украшения.

Не думал я, проезжая в первый раз через Ставрополь, что мне самому десять лет спустя придется в нем пребывать, да еще с женой, шесть недель после свадьбы. Жил я на вышесказанной площади, в небольшом деревянном домике, принадлежавшем хозяину каменного углового дома, советнику З... На противоположном конце той же линии находился другой небольшой домик, белый снаружи, белый внутри, вмещавший другое молодое хозяйство. Мы вели между собой доброе знакомство и вместе пережили много радостных минут и много дней, исполненных досады и беспокойства. Потом судьба развела нас в разные стороны. М... пошел путем постоянного труда, не сворачивая ни вправо, ни влево, и силой ума и воли победил препятствия, возникающие перед человеком, для которого не расчищают дороги ни дядюшки, ни тетушки, ни бабушки. Я, со своей стороны, не упускал случая пожить и в свое собственное удовольствие и по этой причине далеко отстал от моего ставропольского сослуживца. Не горюю, впрочем, о том, чего сам не достиг, и ему не завидую. Охотно бы сказал о нем побольше, да говорят, живых не только хулить, даже хвалить не позволено; поэтому снова обращаюсь к характеристике площади.

Весной и осенью по ней разливалось море грязи; зимой она покрывалась снежной оболочкой в полсажени глубиной. Бывало, поднимется вьюга, и несколько суток нельзя показать глаз за двери дома; ворота занесет с обеих сторон, и люди

принуждены лазить через них, пока употреблявшиеся на это дело арестанты не раскопают снежной горы. Однажды гости собрались к какому-то из счастливых обитателей площади провести вечер; тем временем разыгралась непогода, воздух наполнился клочьями снега. Вечерние посетители кое-как выбрались за ворота, но на площади потеряли направление, никак не могли попасть в жерло большой улицы и вернулись, сколько их тут ни было, ночевать к принимавшему их хозяину, благодарные ему за то, что он не поспешил погасить свечи, позволившие им вторично отыскать его дом. В мое время знакомого мне доктора чуть не замело ночью на площади. Выехав около полуночи навестить больного, несмотря на дурную погоду, он увяз с санями в снежном сугробе, долго бился, стараясь высвободить лошадь с помощью кучера, но, утопая все более, принужден был послать его за помощью, а сам остался при экипаже. Пока кучер добрался до домов, стучал в ворота – звонков в Ставрополе не знали – и не мог достучаться, доктора снег начал покрывать, вихрем кружась над его головой. Горка быстро увеличивалась, охватывая лошадь, сани и коченевшего седока. Случайно набрели на него офицеры, возвращавшиеся с веселой пирушки, и высвободили его из этого некомфортабельного положения.

В летнее время мне самому не раз случалось видеть и даже испытывать, как облака, нисколько не стесняясь городскими воротами, гуляли по ставропольским главным улицам. Бывало, катятся на встречу клуб густого тумана, накрывает вас, обдает дождем и градом – проносится вверх по улице, и снова яркое солнце светит над вашею головой. Это о наружности города. Из его внутренних качеств я успел в мой первый безостановочный проезд вкусить только прелести гостиницы Найтаки и не был ею приведен в восторг, хотя на своем веку много уже испробовал русских провинциальных гостиниц, заезжих домов и жидовских «корчм». Правда, в то время прогресс не успел еще проникнуть в глубину номеров Найтакинской гостиницы, освежить коридорный запах, повеять на кухню благодатным ароматом гвоздики и лаврового листа, и над длинным, хотя и каменным, строением «без архитектуры» поднять второй этаж с танцевальною залой, где, семь лет спустя, отбывались балы Ставропольского Благородного Собрания. Тогда гостиница приняла действительно благородный вид, дозволявший городским красавицам и любезникам аристократического круга, не брезгуя, переступать через ее порог, когда раздавалась

бальная музыка. И куда девались эти красавицы и эти любезники? Одни состарились, разъехались, поумирали другие, и сколько из их ревностных поклонников покоятся вечным сном за Кубанью, за Тереком, на берегу Черного моря! Немногие из посетителей Ставропольского Собрания, в тридцатых годах предававшихся восторгу, когда «с вод» появлялась «роза кавказская», или трудолюбиво ухаживавших за девицей Р. и за девицей П., странствуют еще по белому свету или отдыхают под сению домашних пенатов, ожидая своей очереди уступить место новому поколению.

От Ставрополя до Екатеринограда мы доехали на третьи сутки, отправляясь с почтовых дворов по нескольку повозок зараз, ради общего казачьего конвоя; говорю мы, потому что от самого Петербурга я ехал не один, а с родственником А.Л.В., поступившим на службу из отставки, человеком умным и отменно добрым, но не созданным для кавказской жизни. Его строгой точности более сродны были кабинетные занятия, чем кавказское военное дело, беспрестанно разрушавшее своими быстрыми переворотами все расчеты его методического порядколюбия. Кто из тифлисцев не знал в 1832 году Александра Лаврентьевича, не любил, не уважал его, и совершенно дружески слегка не подсмеивался над его методизмом? Год спустя он избрал благую дорогу, переехал служить в Петербург, завел вокруг себя примерный порядок и, не имея сам семьи, с истинно-христианским самозабвением трудился для пользы своих родных. Во все время проезда дождь нас мочил и весенний туман проникал до костей; по этой причине мы не могли видеть Бештау, лежащей верст пятьдесят вправо от Георгиевска, с купой целебных источников, сгруппированных у его подножия.

II.

Екатериноград – казачья станица старой, неправильной постройки на левом, господствующем берегу Малки. Длинная и узкая плотина, устроенная поперек низменности, покрытой садами вперемежку с невысоким лесом, и через реку мост на каюках, связывали станицу с карантином, стоявшим на правом берегу. Мост и карантин прикрывались земляным люнетом. В 1832 году лес и сады, лежавшие по обе стороны плотины под обрывом, над которым возвышалась станица, служили любимым

притоном для «хищников». Безрассудно было вечером ходить туда поодиночке или ночевать в садах. Вообще, фруктовые сады и виноградники, составлявшие лучшие богатства казаков, живших на берегу Терека, были постоянным театром разбойничьих нападений со стороны горцев, и в журнале военных происшествий на Линии играли немаловажную роль.

Между Екатериноградом и Владикавказом простирается на расстоянии ста пяти верст открытая равнина, по которой, кроме множества незначительных потоков, протекают три быстрые и глубокие реки: Урух, Ардон и Архон. Это пространство нам следовало пройти с «оказией».

В Екатеринограде нам довелось отдохнуть не более суток от безостановочной езды в почтовой телеге, начиная от Воронежа, где с прекращением снежного пути мы были принуждены покинуть спокойную зимнюю кибитку. На другой день нашего приезда явился десятский с повесткой, что утром выступает «оказия» и всем проезжающим приказано на рассвете собираться перед карантином, по ту сторону Малки. Хозяйка квартиры, которую мы занимали безденежно, по отводу, как следовавшие «по казенной надобности», нанялась доставить нас до Владикавказа. За отсутствием мужа, отправленного «в партию», лошадьми должен был править «непомнящий родства», приписанный к их семье работником. В то время Кавказская Линия была наполнена беглецами из внутренних русских губерний. Для пополнения убыли между казаками и для заселения области, являвшихся на Линию бродяг, по большей части беглых помещичьих мужиков, объявлявших притом, что они не помнят родства, не разбирая кто и откуда, приписывали на несколько лет к казачьим семействам, потерявшим отцов или сыновей на войне с горцами. У них беглецы работали, приучались владеть конем и оружием и, по прошествии определенного срока, поступали навсегда в казачье сословие. И наш кучер принадлежал к числу «непомнящих родства», спасавшихся от крепостной благодати. Линейское положение о бродягах, случалось, порождало довольно забавные недоумения в народных понятиях. Однажды прибыли на Линию несколько сот душ, целым селением, с женами, детьми, скотом и птицей и стали просить земли, объявив, что не имеют ни роду, ни племени и совершенно забыли прежнее место жительства. По правилу, их следовало бы обратить в казаков, но помещик был человек со влиянием и настоял на возвращении беглецов, для освежения потерянной памяти о прежнем, завидном быте.

Едва начинало светать, когда мы переправились через Малку. Прибыв на место из первых, я имел случай видеть очень любопытный сбор оказии: сначала стали появляться на поле повозки и экипажи всевозможных видов. Телеги, брички, кибитки, тарантасы, между ними даже коляска, хотя и допотопного сооружения, а все-таки настоящая рессорная коляска, рысцой выезжали за ворота предмостного укрепления. За экипажами тянулись длинные ряды грузных телег, запряженных светло-серыми, длиннорогими черноморскими волами; со скрипом двигались высокие двухколесные татарские арбы, влекомые черными буйволами, и покачиваясь, шагали громоздко навьюченные верблюды. Всадники скакали по всем направлениям. С козел правили лошадьми: где русский бородатый мужик, где казачок, где отставной солдат в военной шинели, на голове мохнатая кабардинка, а где молоденькая, краснощекая, поворотливая казачка или солдатка в полумужском наряде. Из экипажей и с высоты арб глядели заспанными глазами физиономии разноплеменных путешественников и путешественниц, укутанных в военные шинели, в бекеши, плащи, в бурки, в калмыцкие нагольные тулупы, в чумацкие свиты, в чухи, в атласные салопы и во всякое иное, модное и немодное, телосогревающее тряпье. Повозки, шныряя во все стороны, причем беспрестанно путались, задевали одна за другую то колесами, то дышлом, несмотря на бесконечную степь, раскрывавшую широкую арену дня неугомонной суетливости возниц, кричавших и перекидывавшихся бранью на десяти разных наречиях. Много было тут шуму и очень мало порядку; но так как всему должен быть конец, и даже беспорядок имеет свой положенный предел, то и наша путаница, послушная велению начальника оказии, прибывшего на место с ротой пехоты, орудием и командой казаков, размоталась в три длинные нити. За пушкой поместились повозки с почтой и экипажи, по порядку их величины и иерархического значения, то есть, сперва коляски, потом брички, тарантасы, кибитки, а под конец открытые телеги; направо и налево от них выстроились арбы и воловьи подводы. Всадникам, которые по кавказскому обыкновению имели при себе оружие, приказано ехать с казаками в голове, верблюдам идти позади повозок; конвойная пехота разместилась по обе стороны колонны, впереди, при орудии, и за верблюдами.

Повинуясь барабану, наши три колонны двинулись медленным, воловьим шагом по необозримой равнине, окаймленной

с юга светлевшим на дальнем горизонте непрерывным рядом снеговых вершин главного Кавказского хребта. Порядок, в котором мы выступили, никогда не изменялся. Когда неприятель появлялся в числе, способном препятствовать движению «оказии», в таком разе останавливались, строили каре из воловьих подвод, и отстреливались пока не присылалась помощь из ближайшего укрепления. На Кавказе не помнили, чтобы горцам удалось разграбить оказию; поэтому часто случалось, что забывали необходимую осторожность: подводы растягивались, люди отставали, уходили в сторону охотиться за фазанами, во множестве водившимися в этих местах, или просто, без цели, бродили по высокой траве и по кустам, поддаваясь беспечности, свойственной русскому человеку. Горцы, не упускавшие случая невидимо следить за оказией, подобно коршунам налетали на неосторожных зевак, убивали и захватывали их в виду конвоя так скоро, так неожиданно, что редко удавалось им помочь.

Нельзя было сказать, что и в этот раз шли спустя рукава. Штабс-капитан, распоряжавшийся оказией, вел ее осторожнее обыкновенного: часто останавливался, ровнял головы колонн, стягивал подводы, беспрестанно высылал разъезды и никому не позволял уходить в сторону. На это была важная причина. Из-за Терека пронеслись неблагоприятные слухи: Кази-Мегмет, известный в народе под именем Кази-Муллы – Шамиль того времени – спустился из Дагестана в Чечню, набрал многочисленную шайку и готовился атаковать русских. Не было еще известно, куда он намерен идти; поэтому его ожидали повсюду и везде готовились дать отпор. Имея в виду произвести общее восстание горцев на левом фланге и в центре Кавказской Линии, он считал делом первой необходимости увлечь за собой Большую Кабарду и этим способом, если не совершенно прервать, то по крайней мере затруднить сообщение по Военно-Грузинской дороге. При исполнении своего замысла, Кази-Мегмет не мог миновать нашего пути. Кавказское военное начальство понимало опасность, которая ему угрожала, и всеми мерами старалось ее отвратить; поэтому нечего было удивляться, если командир оказии, штабс-капитан линейного батальона, принимал повседневные меры предосторожности. К нашему счастью, он был старый, опытный кавказец, к тому же принадлежал к категории людей, имеющих обыкновение заранее не храбриться, а в минуту действительной опасности не робеть. Под его начальством, как и при каждом другом, с нами могла случиться беда, но можно было надеяться, что он со

своей стороны не оплошает. Я был хотя молод, но уже достаточно обстрелян для того, чтобы не ошибиться в человеке. На его смелость и хладнокровие можно было положиться, не рискуя себя обмануть; а о солдатах нечего и говорить. В первый раз я увидел здесь коренного кавказского солдата, во всю дорогу любовался им, то есть им самим, а не косматою шапкой, которою он накрывался, вопреки формы, не потертою шинелью и не амуничною принадлежностью, до которой будто не прикасалась пригонка, и не долго медлил решить, что с этим солдатом можно покуситься на все. Далее увидят, ошибся ли я в своем заключении.

Вследствие всего, что делалось на глазах у путешественников и что доходило до слуха их, между ними стало распространяться сильное беспокойство: у многих лица вытягивались, по мере того как мы уходили в степь, и спасительный берег Малки исчезал из виду. Напрасно твердили робеющим, что не далее четырнадцати верст до ближайшей крепости, и что на пути имеются пять укреплений: Пришибское, Урухское, Минаретское, Ардонское и Архонское, в которых можно ночевать совершенно безопасно от Кази-Муллы и его чеченцев. Их встревоженное воображение упрямо отталкивало каждую успокоительную идею. Было в нашей оказии много разнохарактерного народу: шатались тут люди совершенно беззаботные, думавшие о чем угодно, только не об опасности; суетились и поддельные храбрецы, делавшие неимоверные усилия громким хвастовством отвести страх, сжимавший их сердца. Всех смелее оказывались дамы, обладающие, как известно, обще принадлежащею им способностью никогда не бояться настоящей опасности и всегда пугаться без причины. Сильно тревожились два петербургские чиновника, ехавшие на Кавказ за чином коллежского асессора и жалованьем по усиленному окладу; мысль подвергнуться крушению так близко к порту своих надежд, попасть в плен или, пожалуй, и того хуже, раздирала им душу.

Наравне с ними, если не сильнее еще, волновался счастливый владелец коляски, управляющий владикавказскою винно-откупною конторой. Сначала его встревоженный вид крайне забавлял нас, потому что он нисколько не шел к его рябому, пучеглазому лицу и плечистому складу, по которым трудно было отнести его к категории существ слабонервных; но потом мы поняли причину его треволнения и признали ее совершенно законною. Легко было нам, отвечавшим за одни собственные головы, подтрунивать над беспокойным взглядом «управляющего», да над огромным телескопом, которым он ежеминутно целил на все стороны горизонта; мы не сидели в оболочке отца, имевшего при себе двух дочек, только что выпущенных из ставропольского благородного девичьего пансиона, где их обучали такому множеству языков и других предметов, что у них от научного звона в ушах в голове образовалась совершенная пустота. Но говорить о воспитании, которое давалось в то время дочерям небогатых чиновников в наших провинциальных пансионах, не идет к делу. Займемся отцом. Давнишний кавказский жилец, он хорошо знал какая судьба ожидала девочек, если б они, к несчастью, попались горцам в руки, и поэтому не был спокоен ни на мгновение; барышни же, не имея ясного понятия об участи, которая им угрожала в таком случае, боялись чего-то незнакомого и, чтобы одолеть страх, пытались храбриться, как храбрятся дети, пока действительно не увидят трубочиста, которым нянька грозит, когда они начинают капризничать.

Ничего нет легче как заводить путевое знакомство при подобных обстоятельствах; была бы только охота знакомиться. Никогда я не имел привычки брезговать товарищами, которых судьба посылала мне в дороге, на почтовой станции или каком-нибудь забытом уголке земли; какого они чина, звания и светского положения, мало меня тревожило, потому что и в молодости я не страдал смешною боязнию уронить себя через минутное знакомство с кем бы то ни было. Иное дело дружиться, вступать в тесную связь – тут я готов был отступить на три шага от самого знатного имени, от самой заманчивой наружности, если личность меня не привлекала. Побуждаемый склонностию отыскивать людей оригинальных, типических, без разбора наружной оболочки, под которою скрывались их серьезные или забавные качества, я познакомился уже на первом переходе с большим числом наших спутников. «Управляющий» любил заводить новые знакомства несравненно более меня, но, как человек опытный и практичный, знал насколько в таком деле требуется осмотрительности от представителя семейства. Он подходил и кланялся первый, но прежде, чем решался всепокорнейше пригласить к ковру, расстилавшемуся возле коляски, когда оказии давали отдых, деликатно разведывал кто куда едет, откуда, какого чина, и не значится ли за ним по формуляру родового или благоприобретенного. Его любознательность заслуживала полного уважения, потому что она проистекала из самого чистого чувства родительской за-

ботливости; на сказанном ковре красовались не одни соления и настойки из первых рук, но и две дочки, шестнадцати и семнадцати лет. Нельзя же было упускать из виду существенные достоинства, которыми могли обладать некоторые из субъектов, брошенных случаем на пути его дочерей при первом вылете их из гнезда. Пристроить дочерей было в его уме делом первой важности; он понимал, как трудно будет для него, овдовевшего много лет тому назад, в одно время следить за кознями амура против юных сердец обеих барышень и за проделками откупной челяди. В оказии находились, между прочим, и люди солидные. Кто знает, чем может кончиться шутка? Суженого, ряженого и конем не объедешь, – говорит пословица, – а коли судьба, так, пожалуй, нагонишь его воловьим шагом оказии.

С первого начала «управляющий» обратил на меня мало внимания: моя рогожная кибитка с мизерною кладью, молодость и чин армейского подпоручика внушали ему весьма посредственное уважение к моей персоне. Иное дело, если б я числился капитаном, ротным командиром, да был на дороге в батальонные, из которых можно шагнуть и в полковые, – тут позволительно поклониться лишний раз; а то молодой егерский подпоручик и ничего более: какого проку от него ожидать? Богат, так маменька не позволит жениться, хотя за дочками и водится капиталец; беден, так, пожалуй, готов тотчас в церковь, – значит, только придется кормить, пока до чего-нибудь дотянет; а не то примется девочкам попросту строить куры да отбивать солидных женихов. Из приемов моего «управляющего» легко было заметить, что он, как подобало его житейскому призванию, глядел на вещи с чисто практической точка зрения. Сообразно с этим душевным настроением, он не замедлил сделать быстрый поворот в мою сторону и засыпать меня любезностями, когда дошло до его сведения, что я, несмотря на мой армейский мундир, еду в Тифлис служить в корпусном штабе. Знакомство со «штабным» в его глазах имело свою выгоду. К сожалению, он позабыл заранее разведать, что я не принадлежу к категории «пригодных штабных», не касаясь, по роду моих занятий, до подрядов, поставок и прочих хозяйственных распоряжений, иначе не тратил бы он на меня такого избытка любезности, закусок и настоек. Во время двух последних переходов – мы шли всего четыре дня – он находил большое удовольствие рассуждать со мной о кавказских политических делах, бранить снисходительность начальства к горцам, критиковать распоряжения командира оказии, вследствие чего не уставая шагал возле нашей повозки, на привалах приглашал к завтраку, вечером на чай и нередко на походе усаживал в коляску против своих дочерей, когда это завидное место случайно не было занято ехавшим с нами комиссионером.

Пожалуй, найдутся люди, которые прервут мой рассказ простодушным вопросом: почему же комиссионеру такой почет. Они, значит, в тридцатых и сороковых годах нашего столетия сидели еще на школьной скамье, и я должен дать им объяснение. В те времена, о которых я вспоминаю, в обширной сфере русского чиновничьего мира комиссионер провиантского или комиссариатского ведомства занимал место привилегированного существа, истинного баловня счастья, перед которым прочие чиновники, папеньки взрослых дочерей, низко кланялись, маменьки умильно улыбались, а барышни стыдливо опускали ресницы, выразительно перебирая пальцами уборку платья или комкая носовой платочек. Говорю о барышнях, приобретших уже некоторую долю опытности в оценке жизненных благ, то есть перестрадавших первый период сердечного влечения к идеалам, в красных, бирюзовых, зеленых и иного цвета гусарских доломанах, и понявших, наконец, какая бездна отрады гнездится в глубине туго набитого кармана, какой бы мундир его ни прикрывал.

Комиссионер был тогда не то, что ныне, обыкновенный служащий; для его деятельности раскрывался в то время необозримо широкий горизонт, на склоне которого фортуна рисовала ему розовыми чертами не только чины, ордена и прочие награды, но и очерки домов, фабрик, с придачей сотен и тысяч ревизских душ. О ломбардных билетах нечего и говорить, они сами собой, без всякого труда, укладывались к нему в бумажник. Ступенью выше комиссионера стоял председатель Казенной палаты. Выше их обоих заноситься в своей амбиции имел право лишь винный откупщик: начав от звания целовальника, со сплеска, он мог в продолжении небольшого числа лет приобрести в свое владение несколько тысяч душ, а там недалеко до предводителя и до камергерского ключа! Благодаря благому Провидению, русские души отошли теперь из-под крепости на волю Господню; их нельзя более ни проживать, ни наживать; откупщицкое дело, питавшееся рассиропливанием и приправой вина разными невинными специями, от которых у народа скребло в горле и жгло кишки, кануло в омут, из которого оно выросло; полки потеряли значение аренд; и комиссионерство перестало быть золотым прииском, на котором

комиссионеры вымывали для себя золото из всякого казенного двора, попадавшего к ним в когти.

Воспитанницы ставропольского пансиона благородных девиц были молоды, свежи, поэтому чрезвычайно привлекательны в наших глазах; для сравнения с ними мы не имели перед собой ни одного сколько-нибудь сносного женского существа. Ходил говор, будто с нами едет еще армянка замечательной красоты, но никому не удалось поверить справедливость этого слуха. Красавица скрывалась постоянно в тарантасе, завешенном со всех сторон, даже ночевала в нем; а ее супруг, тифлисский торговец, одаренный физиономией леопарда, с мотавшимся на поясе кинжалом необычайной величины, бросал такие свирепые взгляды на любопытствовавших поближе разглядеть внутренность заветного экипажа, что у них холод пробегал по жилам, и они в смущении и страхе от него удалялись. Затем скипетр красоты оставался в бесспорном обладании двух девиц, и мы, сколько нас тут ни было на лицо: комиссионер, оба чиновника и человека три офицеров из разных кавказских полков, записались к ним в поклонники на все время нашего общего странствования. Барышни, пользуясь своею властью над нами, жеманились, восторгались, обижались, гневались и умилостивлялись поочередно, все с видом достоинства, подобавшего девицам хорошего провинциального тона.

Кавалеры отличались со своей стороны, каждый по силе преимуществ, которые ему приписывало собственное самолюбие. Комиссионер, в сознании своего социального значения, дозволявшего ему церемониться менее других, говорил девицам комплименты, направленные «не в бровь, а прямо в глаз». Петербургские чиновники, жмуря глаза, цедили сквозь зубы повествования об удивительных эпизодах своей столичной жизни: как они с министрами игрывали в вист и в бостон; как тайком передавались им раздушенные записочки от разных очаровательных графинь; при этом давалось понять, что принужденные, по причине совершенно исключительных обстоятельств, расстаться на время с прелестями столичной жизни, они располагают схоронить себя на Кавказе ненадолго, пока... Значительное наклонение головы довершало фразу. Кавказские офицеры, не облекаясь в покров таинственности, в который так величественно драпировались петербургские чиновники, занимали барышень не совсем деликатными, но зато очень правдивыми рассказами о своих похождениях за Кубанью и за Тереком. После этого мне, не водившемуся с министрами, не получавшему записочек от графинь и не бывшему еще ни за Тереком, ни за Кубанью, оставалось только болтать разный вздор – дело, которому я предался с самою похвальною ревностью.

В таком приятном препровождении времени, пространство, отделявшее нас от Владикавказа, исчезало неприметным образом. На ночь мы располагались возле укрепления вагенбургом, который окружали двойною цепью караулов и секретов. Офицерам и чиновникам отводили квартиры в форштате, у женатых солдат; народ нечиновный бивуакировал вокруг пылающих костров. Всю ночь заунывное: «слушай!» раздавалось около крепости и бивуака, напоминая, что мы находимся в неприязненной стороне. Если бы не окружавшие нас военные предосторожности и не открытые «летучки», которые по несколько раз в сутки неслись из Владикавказа навстречу к командиру оказии, потом, от поста до поста, летели дальше на Линию, елико терпели ноги замученных казачьих лошадей, мы, пожалуй, готовы были бы совсем забыть о Кази-Мулле и его чеченцах. В Ардонском укреплении прибавили к нашему конвою взвод пехоты и второе орудие. Из Ардона мы выступили раньше обыкновенного и к полудню пришли бы во Владикавказ, если бы не спустился такой густой туман, что в десяти шагах нельзя было разглядеть человека. Это принудило нашего штабс-капитана остановиться, не доходя до половины дороги и выслать сильные разъезды вперед и к стороне Терека.

Пока мы ожидали возвращения казаков, прискакал осетинский старшина Магомет-Кази, с пятьюдесятью всадниками, задержать оказию от имени владикавказского коменданта, доколе не прибудет батальон, высланный из крепости к нам навстречу. Кази-Мулла накануне явился со своим скопищем перед Назраном, в двадцати пяти верстах от Владикавказа, – и кто мог ручаться, что он, пользуясь туманом, не попытается разбить оказию. Вследствие этого известия мы построились в каре, два часа битых прождали прихода обещанного батальона, и потом втихомолку, без барабанного боя двинулась по дороге. Одни татарские арбы скрипели на всю окрестность. Сиплый визг, вырывавшийся из-под поворотных осей, к которым колеса прикреплены наглухо, слышался издалека. Татары не имеют привычки смазывать оси и оправдывают это скриполюбивое обыкновение тем, что они честные люди и не боятся, подобно ворам, если будет слышно когда они едут. Под покровительством непроницаемого тумана мы перешли по мосту через Терек, вошли во владикавказское предместье и построили вагенбург

на площади перед крепостными воротами, через которые пропустили одних путешественников с их поклажей. Экипажам не было места внутри крепости, загроможденной стариками, женщинами, детьми, товаром и всяким имуществом, свезенными в нее из обоих форштатов. Петербургских чиновников, одного офицера, моего родственника, и меня, поместили в каком-то чулане возле комендантской канцелярии, где мы расположились на своих чемоданах вместо постели, имея на всю братию один деревянный табурет, получивший, по единогласному приговору, назначение исправлять должность чайного стола. Управляющий с дочерьми нашел приют у самого коменданта, а комиссионера мы потеряли из виду и не заботились о нем, зная, что для особы его звания всегда готово теплое местечко там, где существуют склады провианта, которыми Владикавказ был вовсе не беден.

Нельзя оставить без пояснения причину тревоги, возмутившей созерцательное житие владикавказцев и принудившей нас не только поместиться в чуланчике сам пят, но и прожить четверо суток в таком стесненном положении.

Владикавказ, главный стратегический пункт в центре Кавказской Линии, оборонявший Военно-Грузинскую дорогу при выходе ее из ущелья Терека на Кабардинскую равнину, долженствовавший удерживать в повиновении Большую и Малую Кабарды, осетин и мелкие кистинские общества, занимавшие северную покатость хребта, слыл повсюду сильною крепостью, но в сущности не оправдывал своей репутации. Земляные насыпи по нужде только могли противиться горцам, не имевшим тогда еще артиллерии и действовавшим без общей связи, после решительного удара нанесенного Ермоловым Большой Кабарде в 1821 году. Но тут вмешался в наши кавказские дела новый фактор. Гимринский уроженец, Кази-Мегмет явился в 1830 году проповедником мусульманского учения, на котором Шамиль основал впоследствии свое продолжительное могущество, взволновал Дагестан и Чечню и с помощью мюридов быстро стал распространять свое владычество над горцами левого фланга Кавказской линии. Несколько удачных набегов на нашу границу, в особенности, разграбление Кизляра, доставили ему высокое значение в глазах вояк, преимущественно бьющихся из-за добычи; горцы признали его «шихом» – святым, «имамом» – пророком, и под его предводительством готовы были, не жалея головы, идти на «казват» – священную войну против гяуров. Все это не имело бы особой важности, если бы в то же время Кази-Мегмет, равнявшийся умом и предприимчивостью своему преемнику Шамилю, не принялся всеми способами направлять горцев к одной общей цели, заключавшейся в единодушном сопротивлении русской силе. Этого не ожидали и к этому не были приготовлены.

Владикавказская крепость, окруженная двумя форштатами, вмещавшими множество лавок, наполненных товаром, и обширными фруктовыми садами, все более и более стеснявшими ее оборону, уже лет десять не находилась в положении опасаться со стороны горцев открытого нападения. Мелкие происшествия, убийства, грабеж и кража людей повторялись ежедневно под самыми стенами крепости; но подобные безделицы никого не смущали в то время на Кавказе. Однажды два чеченца подкараулили в саду самого коменданта, генерала Поца, и унесли в горы, посадив на палки, так как старик, страдавший подагрой и всегда обутый в высокие валеные сапоги, за что горцами был прозван генерал «це-вака» – войлочный сапог, не мог бежать с потребною скоростью. Коменданта принуждены были выкупить у воров. Для предупреждения подобных случаев разъезды посылалась очень часто, на ночь расставлялась вдоль бруствера цепь, и в садах помещали секреты, а о крепости никто не помышлял: бруствер исподволь осыпался в ров, платформы под орудиями оседали и дружно гнили вместе с лафетами; гарнизона оставалось не более одного линейного батальона и сотни донских казаков, да и из них половина людей находилась в командировке. Поэтому нечего удивляться, если слух о прибытии в Чечню Кази-Муллы и о замыслах его на Военно-Грузинскую дорогу смутил некоторым образом владикавказское начальство, которое даже очень встревожилось, когда он с тремя тысячами чеченцев обложил Назрановское укрепление, отправил сильную партию лезгин подчинить своей власти галашевцев, галгаевцев, кистинцев и хевсурцев, и в то же время послал тайных переговорщиков к кабардинцам, с поручением убедить их присоединиться к восстанию.

По первому слуху, владикавказский гарнизон был усилен одним батальоном из Грузии. Крепость принялись чинить напоследях, и не малого труда стоило привести в порядок тяжелую артиллерию, давно брошенную на произвол судьбы. Из форштатов переселили в крепостную ограду детей и женщин с имуществом, какое они успели захватить на скорую руку, а мужчин, способных носить оружие, заставили оборонять оставленные дома и сады вместе с осетинскими и кабардинскими

милиционерами, на преданность которых полагались слишком мало, чтобы поручить им, наравне с солдатами, защиту самой крепости. Осетинские и ингушевские семейства, укрывавшиеся во Владикавказе из окрестных селений, помещали в вагенбурге, построенном из повозок нашей оказии. В крепость вводили, однако, детей и жен людей имевших вес в народе, чтобы помощью этого залога уберечь их от измены.

Кази-Мегмет, как выше было упомянуто, обложил Назрановское укрепление накануне нашего прихода во Владикавказ; поэтому мы попали в самый разгар тревоги. Слух и зрение всех Владикавказцев были обращены к стороне осажденного русского укрепления, обороняемого двумя слабыми ротами; каждый думал только об одном – об участи их и о последствиях, если им не удастся устоять против неприятеля. С первою удачей Кази-Мегмета под Назраном, все бы поднялось вокруг Владикавказа, сообщение с Грузией было бы прервано, и положение самой крепости сделалось бы весьма затруднительным. Из Назрана не имели никакого уведомления; неприятель прервал всякое сообщение с ним. Комендант, офицеры и даже солдаты, свободные от службы, не сходили с бруствера, напрасно стараясь что-нибудь разглядеть или расслышать. Туман не позволял видеть далее гласиса, а до слуха долетал лишь слабый гул отдаленных пушечных выстрелов – и ничего не объяснял. Осетины и казаки, посылаемые в разъезд, возвращались без положительных известий; однажды они столкнулись в упор с сильною неприятельскою партией и, вместо новостей, привезли обратно несколько тел своих убитых товарищей.

Тотчас по приезде, Александр Лаврентьевич и я отправились к коменданту явиться, как следовало по порядку службы, и предложить ему наши услуги в случае появления Кази-Муллы перед крепостью. Узнав, что мы оба принадлежим к тифлисскому штабу, он не решился взять на себя ответственность нами распорядиться, но просил нас в минуту тревоги находиться при нем, а покамест оглядеться во Владикавказе и познакомиться поближе с мерами, которые он принимает к отражению неприятеля. Пользуясь этим разрешением, я обошел сады, форштаты и излазил все закоулки крепости, над которою работали днем и ночью, раскладывая на гласисе огромные костры, во-первых, для освещения работ, во-вторых, на случай неожиданного ночного нападения. Совершенный новичок на Кавказе, я любопытствовал познакомиться со всеми подробностями военных привычек страны, в которой мне приходилось

служить. Против комендантских распоряжений нечего было сказать; они соответствовали обстоятельствам, и только недостаток рук и времени не допускали приготовиться как следует. Однако, можно было спросить: почему же до того времена жили спустя рукава, предаваясь гордому убеждению, что никто не посмеет напасть на Владикавказ?

На другой день пушечные выстрелы продолжали раздаваться; на третий день сильная канонада послышалась с рассветом, потом повторилась часу во втором пополудни, а к вечеру совершенно умолкла. Все испугались: не взято ли укрепление? Комендант послал немедленно значительную партию осетин к стороне Назрана, и в то же время, за большие деньги, отправил тайком двух лазутчиков разведать в чем дело. До свету еще лазутчики прискакали обратно с радостною вестью: укрепление цело, русские роты отбили два приступа, после второго штурма назрановские ингуши бросились неожиданно на бегущих чеченцев и принялись их добивать, перед вечером Кази-Мулла ушел за Сунжу; поэтому и перестали палить из пушек.

В то же утро все в крепости зашевелилось, обрадованные жители стали перебираться в свои покинутые дома, нас отпустили в дорогу. До Дарьяла нам следовало еще, против обыкновения, ехать шагом, в сопровождении пехотного конвоя, потому что галгаевцы и кистинцы отказали в повиновении. Хевсурцы, напротив того, со стыдом прогнали от себя Кази-Мегметовых лезгин.

В день нашего отъезда туман, пятеро суток застилавший окрестности Владикавказа, превратился в проливной дождь на равнине, а в горах за Балтой в мокрый снег, хлеставший нам в глаза с ослепляющею силой. Мокрые, забрызганные грязью, полузамерзшие, избитые толчками телеги, судорожно прыгавшей через камни, устилавшие всю дорогу, мы были мало расположены удивляться поразительной картине горного величия, постепенно развивавшейся перед нашими глазами. В Ларсе, двадцать пять верст за Владикавказом, нас застигла темная ночь; продолжать дорогу было невозможно; мы переночевали в станционной сакле сидя, потому что некуда было лечь. На другое утро та же дурная погода, налево, направо, впереди те же пасмурные скалы, все выше и выше воздымавшиеся к облакам, суживая дорогу и становясь поперек извилистого ущелья. Иногда, казалось, мы приближались к высокой зубчатой стене, далее которой нет пути; неожиданный поворот, и впереди мелькнувший уголок серого неба снова указывал

направление, в котором дорога извивалась над Тереком, кипевшим глубоко под ногами беспрерывным, бешеным, оглушающим водопадом. Перед Дарьялом ущелье приняло характер расселины, какой, сколько мне известно, нигде кроме Кавказа не существует в таких гигантских размерах. Отвесные гранитные скалы, громоздящиеся одна над другою, вышиной в несколько тысяч футов, висели огромными выступами у нас над головами. Среди лета подножие их освещается солнцем не долее трех или четырех часов; все остальное время оно покоится в тени. Под напором непреодолимой внутренней силы поднялась земная кора; гранитный пояс Кавказских гор, простирающийся от одного моря до другого, не устоял, раздвоился, и с высоты Казбека воды хлынули в отверстие, ворочая камни и отрывая скалы. В продолжение многих тысяч веков неукротимая быстрина размывала узкую теснину; наконец Терек улегся в свое русло; над его крутым берегом образовалась стезя, и для человека раскрылись Дарьяльские ворота. С того времени много народных громад проходили через эти ворота, все они шли на гибель себе и своих собратий по человечеству; одни русские прошли здесь не с мыслию истребления, не за добычей, а на защиту христианского царства, истекавшего кровью под ударами своих лютых мусульманских соседей.

Около моста через Терек – дорога переходила в этом месте с левого на правый берег реки – стоял небольшой каменный редут, вмещавший всего два строения: казарму на одну роту и офицерский флигель. Часовой нас остановил; следовало прописать подорожные листы, в удостоверение дня и часа, в который мы благополучно проехали через пограничную черту Линии с Закавказьем. Отсюда начинался административный район Грузии. Конвойные солдаты пошли в казарму отдохнуть, а мы поехали рысцой по направлению к Казбекской почтовой станции… Направо от дороги возвышался Казбек. Вершина великана хоронилась в густых облаках, открывавших взгляду один нижний край снежного покрова девственной белизны, опускающегося с крутых боков на острореберные хребты из порфира и гранита, подпирающие его подножие. И того, что было видно, достаточно было для внушения нам полного уважения к его исполинской вышине.

Деревня, одного имени с горой, как и проживавшие в ней грузинские князья Казбеки, лежала на почтовой дороге и, подобно всем горным селениям, состояла из сборища крытых шифером, бедных каменных сакель самой первобытной постройки. Одна новая, небольшая церковь из разноцветного камня придавала селению издали вид обитаемости, исчезавший при въезде в единственную тесную улицу, образованную грудой маленьких жилищ одного цвета с каменистою почвой и с окрестными скалами. Пока перепрягали лошадей, я отправился в духан, в надежде отыскать что-либо съестное – и нашел одну водку да балык, от которых принужден был отказаться, питая к ним сильное отвращение. Неудачный поиск за жизненными припасами доставил мне, однако, увидеть такой феноменальный нос, какой самое пылкое воображение не может себе представить принадлежащим лицу живого человека, а не маске. Владелец его, князь Казбек, дядя того поручика Казбека, который во время последующей экспедиции командовал в нашем отряде осетинскими милиционерами, сделался по такому обстоятельству человеком известным на всем Кавказе. Эта нежеланная слава, сказывали мне, была для него так тягостна, что он никуда не выезжал из своей деревни, прятался дома, и чужой мог видеть его только случайно. Нос был так непомерно велик, что он даже в Грузии, богатой носами почтенных размеров, слыл чудовищным явлением. Два года спустя похоронили бедного князя, и мало помалу на Кавказе изгладилась память о дивном носе, составлявшем главное несчастие в его жизни.

От Казбека до Коби, деревушки у подошвы Крестовой горы, в которой находилась почтовая станция – всего пятнадцать верст – мы ехали часа четыре, с трудом пробираясь на колесах через глубокий, свежевыпавший снег. На этом пространстве горы будто сложились в час гнева Божия, человеку на страх, рисуя каменными грудами безотрадную картину предвечного хаоса. Дыхание природы остановилось, жизнь исчезла: нигде ни зелени, ни дерева, ни куста, ни живой твари; везде, куда ни обратишь глаза, один камень, одни остроконечные скалы безжизненного, темно-бурого цвета. Нигде после того я не встречал в Кавказских горах места, наводившего такую глубокую тоску, как окрестности Коби. Под впечатлением овладевшего нами нерадостного чувства мы рассчитывали провести в этой скучной глуши только ночь и с рассветом переправиться через Крестовую гору по снегу, покрывающему ее с октября до июня, а иногда и до июля. Горько ошиблись мы в своем расчете: накануне нашего приезда на горе разыгралась непогода, около Байдары свалился снежный завал и засыпал ехавших из Грузии с почтой трех почтарей, двух казаков и семь лошадей. Жители,

собранные по приказанию кобинского постового начальника, отрывали их тела, и нам было объявлено наотрез, что, пока снег не будет расчищен и погода на горе не переменится, нечего и думать о переезде в Грузию.

Казенные заезжие дома не были еще достроены ни в Ларсе, ни в Казбеке, ни в Коби; поэтому нам довелось поселиться в грязной, дымной и холодной сакле и, скрепя сердце, прожить в ней четверо суток, пока разгребали завал. Укутанные в шубы, обвязанные платками, пятеро нас, злосчастных странников, Александр Лаврентьевич, оба петербургские чиновника, я да военный доктор из Владикавказа, теснились около очага, на котором вспыхивал с треском и потом мгновенно потухал хворост, доставленный по приказанию постового начальника, имевшего обязанность снабжать проезжих топливом от казны, съестными припасами с рынка, за умеренную цену, и заботиться о целости их, не позволяя в метель или когда по известным приметам предвиделось падение завала, ехать через гору. Грешно было бы винить в нашей нужде бедного кобинского труженика, поручика линейного батальона, терпевшего год из году то, что мы находили трудным перенести в течение нескольких дней. В Коби существовала бедность во всем и преимущественно в дровах; гудашаурцы издалека приносили на плечах вязанки тощего хвороста, который им приходилось набирать по расселинам смежных, совершенно безлесных гор. Бога следовало благодарить, когда, через посредство того же воинского начальника, нам удалось добыть пару кур, десятка три яиц и несколько фунтов пшеничной муки, причем нас предупредили бережливо расходовать припасы, потому что жители не приходят на базар из-за глубокого снега, и мы ничего не получим, сколько бы денег ни сулили.

Что, однако, делать с этим богатством? Я не взял человека в дорогу, предпочитая выбрать денщика из кавказских служивых, а слуга моего родственника был городской лакей, ловкий драть платье щеткой и курить барский табак, но совершенно неспособный к кухонному делу. Петербургские чиновники были знакомы с приемами хорошего тона и с министерским порядком, от кулинарных же познаний отказались или просто считали ниже своего чиновничьего достоинства марать руки об очаг и сковороду. Доктор, кавказец, к тому же практичный малороссиянин, выручил нас из затруднения, объявив, что сумеет совладать с курами, с мукой и яйцами, засучил рукава и, не жеманясь, принялся за дело. Питая убеждение, что и мои

руки созданы не для одного сбережения их белизны, и что сажа, сколько ни чернит на первых порах, однако менее липнет к человеку, чем иное невидное пятнышко, я не отказался поступить к доктору в помощники. Без промешки явились на столе суп, яичница и галушки – чего было очень достаточно для поддержки нашего ленивого прозябания. С чубуком в руке, слушая весьма интересные для меня рассказы доктора о его кавказском житье-бытье, я скучал в Коби менее, чем показалось с первого раза; но все-таки чрезвычайно обрадовался, когда на пятые сутки нас разбудили до света, объявив, что казачьи лошади оседланы и надо спешить в дорогу.

Весной лучшее время для переезда через Крестовую гору, названную этим именем по кресту, воздвигнутому на перевале, – есть раннее утро, пока солнце не разогрело еще снега. Завалы обрушиваются обыкновенно после полудня и под вечер. Не мешкая, мы сели на лошадей, приказали навьючить вещи и один за другим, имея впереди и сзади по два казака, поехали в гору. За нами звенел колокольчик; это были запряженные гужом салазки с почтовыми тюками. Почти до креста проехали мы под ясным, прозрачным небом, постепенно проникавшимся из-за гор светом восходящего солнца; потом, почти мгновенно, его заволокло сереньким туманом, дунул резкий ветер, снег закрутился, наполнил воздух, и дорога, окрестные вершины, ехавшие впереди казаки скрылись в вихре метели. По снегу, в сажень и более глубины, пролегала узкая дорога в одну лошадь; по ней можно было проехать в салазках, употреблявшихся между Коби и Кайшауром, но ни в каком другом экипаже. Шаг в сторону, и лошадь тонула по уши в снегу. Наше положение становилось более чем неприятным. Назад – слишком далеко; на горе переждать метель – невозможно, пожалуй, заметет; вперед ехать – не видно дороги. Не прошло десяти минут, и передовые казаки, потеряв направление, стали как вкопанные. Тогда ямщик с почтой выпросился вперед; с ним бежала мохнатая, невидная собачонка. «Завал может нас задавить, коли Богу угодно, – говорил ямщик, – а с дороги не собьемся; мы с Волчком третий год гоняем почту через Крестовую гору, Волчок и в метель дорогу знает».

Ямщика пропустили вперед, он свистнул, и Волчок, тявкая, побежал перед санями, за которыми потянулась вся ватага разнокалиберных ездоков. Благодаря даровитости разумного Волчка, мы поднялись на Крестовую гору и проехали, не сбиваясь с пути ни на шаг, вдоль страшной пропасти, над которою

дорога извивается около Гуд-горы. За этим опасным местом она делает крутой поворот и начинает спускаться к Кайшауру. Сто шагов ниже снег перестал порошить в глаза, ветер затих, на небе проглянули темно-голубые просветы, из-за последних клубов тумана блеснуло солнце, ясное солнце Грузии, и далеко под нами открылась живописная долина Арагвы, облеченная во всю красу весеннего убора южной природы. Река извивалась серебряною лентой между волнистыми грядами гор, пестревших лесами, деревнями, башнями грузинских помещичьих домов, садами и полями, на которых ярко-зеленые всходы радовали обещанием богатой жатвы. С каждым шагом воздух становился теплее, душистее; еще ниже, и звонкие голоса птичек, распевавших на все лады, напомнили нам, что мы находимся среди южной весны, исполненной животворной неги, которую не суждено вдыхать у себя жителю строгого севера. Кто не проезжал по Военно-Грузинской дороге весной, осенью и даже зимой, не может себе представить быстрого перехода от тепла к холоду, от зимнего, удручающего однообразия к весенней роскоши, ожидающей путника на повороте между Гуд-горой и Кайшауром. В продолжение моей двенадцатилетней службы на Кавказе я проезжал по этой дороге восемнадцать раз, во всякое время года и во всякую погоду. Нет места на ней, которое бы не ознаменовалось для меня каким-нибудь особенным воспоминанием. Всего припомнить нельзя, столько годов прошло с тех пор, да и не обо всем стоит вспоминать. Довольно замечательное путешествие я совершил по Военно-Грузинской дороге с женой, в 1844 году, когда казенные заезжие дома, которых фундамент только вырастал из земли в мой первый проезд, уже были отстроены, что, впрочем, не мешало нам голодать и мерзнуть по-прежнему.

В 1844 году готовилась решительная экспедиция против Шамиля, для чего был придвинут на Кавказ и 5-й пехотный корпус под командой генерала Лидерса. Я был женат не более полугода. Мне разрешили, на всякий случай, перевести сперва жену из Ставрополя в Тифлис, в дом к дяде, и освободившись от этой заботы, приехать после того в отряд. Было весеннее время, и в карете перебраться через Крестовую гору нелегкая задача. Командующий войсками на Линии, В. О. Гурко, при котором я имел счастие состоять, упростил ее, приказав заготовить в Коби для моего проезда волов и рабочий народ. До Казбека мы доехали скоро и без всякого приключения. Переночевав в теплой чистенькой комнатке заезжего дома, мы

отправились в дорогу около десяти часов утра; отсюда начался для нас ряд бедствий, забавных, когда вспомнишь, до нельзя бесивших в минуту их неожиданной встречи. На второй версте от Казбека начинался снег. К шести сильным лошадям, запряженным в небольшую двуместную карету оказалось необходимым добавить еще пару лошадей. Посланного за ними конвойного казака мы прождали более часа, потом двинулись медленным шагом; колеса все более и более врезывались в глубокий снег; карета колыхалась во все стороны; шедшие возле ямщики и казаки подпирали ее то плечом, то рычагом, едва успевая удерживать ее на весу. На восьмой версте она увязла по ступицы; сделали отчаянную попытку ее вытащить, и опрокинули набок. Поднять не достало силы у людей; я отправил двух казаков в Коби за волами и за народом. Вокруг разливалось море растопленного снега, в карете также нельзя было оставаться в лежачем положении. Что тут делать?

Заметив шагах в двадцати от дороги широкий камень, не залитый водой, мы добрались до него, уселись и принялись ожидать казаков, посланных на станцию, которым я приказал привести также почтовую телегу для отвоза жены и горничной. Час проходил за часом, солнце стало склоняться к горизонту, надоело ожидать сидя на камне, как на острове, и мы решились идти в Коби пешком, по колено в снегу, в брод через Байдару, до пояса в воде. Человек с казаком остались при экипаже. Надо заметить, что погода стояла отличная, солнце невыносимо пекло голову и плечи, а снег и вода студили ноги; по докторскому сказанию, это не совсем здорово, однако мы хорошо выдержали, кроме девушки, заболевшей горячкой вследствие нашего пешеходного странствия. За час перед закатом солнца мы приплелись в Коби, встретив в полуверсте телегу и людей шедших выручать экипаж. В казенном доме ожидали нас большие, высокие комнаты, холодные, бедные мебелью, грязные, и, в довершение беды, ничего чем бы можно было согреться, ни чаю, ни кофею, ни вина, а коробка со съестными припасами осталась в карете. Жена, освободившись от мокрого платья, укутанная шалью, сидела на досках безтюфячной и к тому же единственной кровати, горничная лежала на грязном полу, в припадке лихорадочного бреда. Около огромной печи, распространявшей по комнате не тепло, а зловонный чад, были развешены мокрые принадлежности женского одеяния. Сбросив все что на мне было мокрого и, поместившись возле окна, драпированный в бурку, я задал себе

трудную задачу логическим выводом определить, почему в Казбеги казенный дом устроен так хорошо, так удобно, а в Коби, где, кажется, было бы нужнее, так нестерпимо дурно.

Мои размышления были прерваны неожиданным стуком в дверь.

– Кто там?

Нет ответа; стук усилился.

Сильно раздосадованный, я бросился к двери, растворил немного и выглянул.

За дверью стоял постовой начальник, при шарфе. Увидав щель, он просунул ногу и всею тяжестию своего туловища налег на дверь, усиливаясь проникнуть в комнату.

Я уперся.

– Что прикажете?

– Имею честь...

Должность, которую я занимал при командующем войсками на Линии, и заботливость местных властей облегчить мне переезд через горы в тяжелом экипаже, произвели свое действие. Воинский начальник счел полезным мне явиться. Я не дал ему договорить.

– Тысячу раз прошу извинить, господин поручик. Как я есмь, я не смею вас принять. Извините!

Я нажал плечом, дверь подалась, и крючок упал в петлю.

Через четверть часа тот же стук, та же сцена.

– Что угодно?

– Прикажете поставить часового, когда привезут экипаж? – и поручик усиливался стать твердою ногой внутри комнаты.

Часового не следует; распорядитесь поставить караульщика без ружья, – и дверь закрылась.

«Наконец избавился от поручика, – подумал я, – в третий раз не попробует». Расчет был сделан без хозяина.

Не прошло десяти минут, опять стучат в дверь.

Ожидая известий об экипаже и отнюдь не предполагая снова увидеть моего мучителя, я отпер, не упуская, однако, из пальцев дверной ручки.

В щель проник довольно хриплый голос поручика.

– Какой прикажете отзыв?..

– Чад, угар, голод, холод! Что хотите, только оставьте меня в покое! – крикнул я и захлопнул дверь.

После того поручик более не являлся.

Перед рассветом приволокли экипаж. Жену с горничной перевезли на одних, каретные сундуки на других салазках; я

предпочел ехать верхом. В Квишете, четыре версты ниже Кайшаура, мы имели время отдохнуть двое суток у доброго и гостеприимного князя Авалова, начальника горских народов, пока перетаскивали карету с помощью восьми пар волов и человек пятидесяти гудашаурцев, вооруженных шестами, веревками, лопатами и кирками, которым я заплатил за это дело более ста рублей серебром.

Так случилось со мной в 1844 году, двенадцать лет спустя после моего первого переезда через горы. Тогда мой багаж был невелик, почтовая телега приняла его без труда, и мы поскакали, не останавливаясь, в Тифлис. Беспрерывно менявшиеся виды, один лучше другого, мелькали перед нами под разным освещением, солнце грело, и весело мчался я навстречу моей неведомой будущности, в ожидании от нее всякого добра: в то время я был так расположен верить во все хорошее. Незаметно исчезало расстояние. Пассанаур, Аннанур, Душет, Гатискар, развалины Мцхета, древней столицы Грузии, уцелевший в нем собор, римский мост через Куру, пролетели подобно быстро меняющимся декорациям, и в одно прекрасное утро издали обрисовались перед нами тифлисские горы, старая крепость Метех, потом мы спустились в овраг речки Веры, поднялись и через четверть часа отобрали у нас подорожные на Гарцискарской заставе. Мы приехали в Тифлис.

III.

Тифлиса, каков он теперь, я не знаю. В 1844 году я распростился с ним навсегда. Уже и тогда город, увеличенный порядочным числом домов европейской постройки, много утратил из оригинальности своего первобытного вида. В 1832 году Тифлис, не только по наружности, но и по характеру народной жизни, принадлежал к числу городов самородного азиатского типа, если не считать несколько зданий новой постройки и некоторые русские привычки и понятия, успевшие проникнуть в верхний слой грузинского общества. Народ оставался чем был при царях, город только начинал менять физиономию.

От Гарцискарской заставы, далеко выдвинутой в поле в ожидании будущих построек, до первой правильной улицы, начинавшейся за домом главноуправляющего, дорога извивалась по пустому месту, мимо обрывистого возвышения направо и оврагов, с левой стороны упиравшихся в берег Куры. Овраги

были испещрены мазанками и домиками Солдатской слободки. Далее открывались приезжему, с одной стороны, съезд к Мадатовской площади, с другой – подъем к арсеналу и к Артиллерийской слободке, построенным у подошвы горы Св. Давида. Большой двухэтажный дом, снабженный рядом арок и колоннадой над ними во всю длину главного фронта, с боковым фасом, поднимавшимся в гору уступами, и обширным садом, давал начало настоящему городу. В стенах этого дома помещались все генералы, командовавшие на Кавказе, начиная с основателя его, князя Цицианова: Гудович, Тормасов, Паулучи, Ртищев, Ермолов, Паскевич, Розен, Головин, Нейдгарт, Воронцов, Реад, Муравьев, Барятинский, теперь Его Высочество Великий Князь Михаил Николаевич. Все они строили и пристраивали, меняли и охорашивали в нем так много, что и следов первой цициановской постройки нельзя приметить.

Перед домом раскрывалась необстроенная площадка, на которой бывали скачки, народные праздники и фейерверки. За домом начиналась улица, выходившая на Эриванскую площадь – центр нового города; на ней красовались штаб, гимназия, полиция и домов пять новейшей архитектуры. Крутоберегая, широко размытая, водоточная рытвина прорезывала площадь во всю ее длину, от юга на север, после чего, поворотив на восток, по направлению к Куре, она пролегала вдоль подошвы старой крепостной стены, оборонявшей город с севера и с запада. С восточной стороны протекала Кура, а с юга возвышалась гора, на которой виднелись еще развалины верхней крепости, служившей цитаделью в прежние времена. Все, что лежало по сю сторону стены, было новой, русской постройки. Через площадь, в левом углу, открывалась тесная и кривая улица, носившая название Армянского базара и упиравшаяся в мост через Куру. И действительно, вся улица представляла вид нескончаемого рынка: по обе стороны сплачивались одна возле другой открытые лавки, в которых, как водится на Востоке, на глазах у прохожих шили платье и сапоги, чеканили серебро, оправляли оружие, брили головы и бороды, варили плов, жарили баранину, ковали лошадей, пекли лаваши и чуреки, одним словом, занимались всеми промыслами, без которых не обходится городская жизнь. Дома на Армянском базаре, равно как и во всех прочих улицах старого города, были прежней, восточной постройки, в один, много в два этажа, с плоскими крышами, с невообразимым количеством окон и дверей и крытыми галереями для защиты от солнца. В городе

существовала только одна еврейская гостиница Соломона, под вывеской льва терзающего змею огромной величины, с надписью: «Справедливая Россия». Все нумера были заняты; поэтому нам не оставалось другого выбора, как, переехав за реку, отыскивать квартиру на Песках, у немецких колонистов.

Пять или шесть колонистских домов стояли на самом берегу реки, под Авлабарскою горой, на которой три большие казармы Ермоловской постройки господствовали над лабиринтом сакель и землянок, составлявших часть города, обитаемую рабочим народом. Немцы не содержали гостиницы, но, имея дома, построенные на две половины, в одной помещались сами, а в другую пускали наемщиков поденно и понедельно, если кому было угодно, с полным продовольствием. Комнаты были у них светлее, чище, постели несравненно опрятнее, и незатейливый обед удобосваримее чем в «Справедливой России», пропитанной еврейским спекулятивным духом, в одинакой мере посягавшим на обоняние и на кошелек посетителей. Соломон был человек не без хитрости, как доказывало придуманное им толкование несколько загадочного смысла вывески, под которою красовалось его заведение: лев представлял его самого, змея изображала конкурировавших с ним колонистов, а надпись «Справедливая Россия» выражала твердое убеждение в том, что русская публика, побуждаемая чувством свойственного ей беспристрастия, непременно отдаст преимущество его гостинице, устроенной на благородную ногу, перед немецкими мужицкими домами. Вполне признавая солидарность, долженствовавшую существовать между Соломоном и каждым русским, умевшим оценить глубокое значение подобной фирмы, я не менее того очень обрадовался, отыскав на первое время покойный и дешевый приют у колониста.

Германские колонисты были вызваны в Закавказский край А. П. Ермоловым. Он поселил их в окрестностях Тифлиса, на реке Иоре, и около Елисаветполя в колониях: Александердорф, Елизабетталь, Петерсдорф, Мариенфельд, Анненфельд, Геленендорф, и десятку семейств позволил устроить свои хозяйства на берегу Куры, возле самого города. Чтоб обеспечить свободное развитие колонизации, сверх обыкновенных податных льгот, он устранил влияние на выходцев местной администрации, допустил между ними общинное управление и главный надзор за порядком и за их безобидным существованием поручил особому комитету под председательством чиновника немецкого происхождения. В самое короткое время трудолюбивые

швабы устроили свои хозяйства примерным образом, развели сады и огороды, и в Тифлисе, где до того времени население нуждалось в самых необходимых жизненных потребностях и за те предметы, которые можно было приобрести, платило дорогие деньги армянам, овладевшим всею торговлей, – стали получать из первых рук овощи, хорошую живность, молоко, масло, сливки, кроме того, картофель и сдобный белый хлеб, о которых, до прибытия их, за Кавказом знали по одному преданию.

Один из немцев, Зальцман по имени, завел в Грузии первую пивоварню, и Алексей Петрович, чтобы поднять его заведение, ввел между служащими обычай ходить к нему пить пиво, вследствие чего Зальцман сделался очень достаточным человеком. В 1832 году существовал в Тифлисе на весь город один русский булочник, не поспевавший изготовлять, сколько требовалось так называемого французского хлеба. Ближайшая колония пополняла, чего недоставало. Каждое утро, с рассветом, молодые немки разносили по домам хлебы и сливки, не брезгуя заходить и к нам, холостым людям. К сожалению, а вернее сказать, к их собственному счастью, все они без исключения были так дурны, что их появление никого не вводило в соблазн. Некрасивый народный костюм, которого ни они, ни братья их не хотели покидать и в чужой стороне, увеличивал натуральную безобразность неловкого склада. Несмотря на красоту грузинок, немцы постоянно отказывались жениться на них, что конечно повело бы к улучшению породы, имея в примете сохранить без примеси язык, обычаи и веру, вывезенные ими из своего прежнего отечества.

Следующий день прошел в разъездах по начальству. Надо было представиться коменданту, обер-квартирмейстеру, начальнику штаба и корпусному командиру. Комендант, гусарский полковник, Ф. С. Кочетов, был мне знаком в европейской Турции, где он, будучи старшим адъютантом в дежурстве главной армии, снабжал меня курьерскою экспедицией в Варну. Добрый старик не забыл этого мимолетного свидания, за что я ему душевно был благодарен, потому что кроме него во всей Грузии не знал живой души. А как приятно встретить между совершенно чужими людьми хоть одного знакомого! Владимир Дмитриевич Вольховский соединял в своем лице две должности, начальника штаба и обер-квартирмейстера потому, что барон фон дер-Ховен, получивший назначение заместить его в последнем из этих званий, еще не прибыл. Корпусом командовал барон Григорий Владимирович Розен, заменивший на Кавказе графа Паскевича-Эриванского, назначенного по окончании войны 1831 года наместником в Царство Польское.

Генерала Вольховского я застал в канцелярии генерального штаба, занимавшей длинную залу в первом этаже штабного дома, на Эриванской площади; в смежной зале помещалась чертежная; далее этих двух комнат генеральный штаб не распространялся. В конце залы сидел за письменным столом сухощавый, сутуловатый, среднего роста, черноволосый генерал, которого умные черные глаза вопросительно следили за мной, пока я к нему подходил; потом они быстро опустились: это была его всегдашняя привычка. Вольховский во всю жизнь не мог избавиться от врожденной застенчивости и резко смотрел в глаза только человеку, имевшему несчастие его рассердить.

По левую руку, вдоль стены, были расставлены писарские столы; по правую, возле окон, сидели. начальники двух отделений генерального штаба и третьего инженерного отделения, входившего в состав квартирмейстерской части потому, что в то время не было еще учреждено за Кавказом особое инженерное управление. Проходя мимо среднего стола, я заметил, что сидевший за ним артиллерийский офицер при виде моем поднялся, захватив какую-то бумагу, медленно пошел за мной и остановился позади меня.

Генерал вежливо приподнялся.

– Вашему превосходительству имею честь явиться! и т. д.

В нескольких словах, тихим голосом и слегка краснея от застенчивости, Вольховский расспросил меня, где я прежде служил, какие поручения исполнял, бывал ли на съемке и занимался ли в канцелярии.

Получив отрицательный ответ на последний из своих вопросов, он пожелал узнать, где я воспитывался.

– В Царскосельском лицейском пансионе, выпущен в 1828 году.

– А! – произнес Вольховский, – так мы товарищи по заведению, хотя вы не застали нашего выпуска.

Он был выпущен вместе с Александром Пушкиным, Дельвигом, государственным канцлером, министром иностранных дел князем Горчаковым, Модестом Корфом и другими воспитанниками первого лицейского курса. Протянув мне руку, он прибавил:

– Надеюсь, мы сойдемся, и вы не откажетесь от должности, для которой я вас предназначаю, хотя ею никогда не занимались. В Царском Селе нас приготовляли к военной и к гражданской службе, поэтому вы должны уметь свободно писать по-русски...

Тут Вольховский сделал знак стоявшему за мной артиллеристу, который, улыбнувшись, с довольным видом пошел на свое место.

Несдержанное любопытство офицера, подошедшего с явным намерением подслушать, как я стану являться, потом размен взглядов между ним и начальником штаба, меня несколько смутили; я не знал, как мне понять эту сцену. В скором времени загадка объяснилась мне самым удовлетворительным образом.

На Кавказе существовал до тридцатых годов замечательный недостаток в офицерах генерального штаба, особенно в таких, которые, достаточно владея пером и русским языком, могли бы успешно заниматься письменными делами. По этой причине, с Персидской войны, вторым отделением генерального штаба заведовали артиллерийские офицеры, сперва Ушаков, исправлявший в последнюю войну должность дежурного генерала при князе М. Д. Горчакове, а потом капитан Пикалов, мой любопытный артиллерист, бывший помощником у Ушакова до отъезда его в армию, действовавшую против поляков, вслед за графом Паскевичем. Пятилетние письменные занятия утомили Пикалова, не рассчитывавшего посвятить им всю жизнь; он желал продолжать службу в строю, имея надежду в скором времени получить начальство над батареей, и поэтому настоятельно просил уволить его из корпусного штаба. Вольховский, имея две должности на руках, решительно не мог обойтись без Пикалова, убеждал его оставаться и, наконец, вынудил у него обещание не покинуть своего места, пока не будет прислан офицер, годный его заменить. После того прибывали в Тифлис один офицер за другим, но как назло Пикалову, все нерусские, отличные служаки, способные на все, только не на письменное дело, как его понимал Вольховский.

Из Петербурга получили уведомление о моем назначении. «Т..., опять немец», – подумал Пикалов, и надежда отбыть готовившуюся экспедицию возле орудия, а не за канцелярским столом, совсем было его покинула. Непреодолимое любопытство потянуло его послушать, каким произношением я заговорю, являясь начальнику штаба, когда, по семнадцатому нумеру моих егерских эполет, ему удалось догадаться, кто я таков. После того, ближе познакомившись, он часто повторял со смехом, как при первом «имею честь», произнесенном не ломаным русским языком, у него камень свалился с плеч, а знак Вольховского так обрадовал, что он готов был обнять меня на месте. В то время находилось в Тифлисе несколько свободных офицеров генерального штаба, которых Вольховский прочил в разные другие должности, хотя между ними был офицер, совершенно способный занять любое канцелярское место. В последствии он был принужден, на основании штата установленного для генерального штаба при генерал-квартирмейстере А. Н. Нейдгардте, заместить меня этим офицером, обнаружившим по части письменной службы такие отличные качества, каких я вовсе не имел, и которые открыли ему широкую дорогу к высшим должностям. Вольховский, обладавший в других случаях даром оценивать людей довольно верно, о нем, кажется, имел слишком одностороннее понятие. Поступив гораздо позже под начальство этого офицера, я заметил в нем одну только слабость, если это позволено назвать слабостью. Хотя нерусский по происхождению и по воспитанию, он был твердо уверен в непреложности своего знания правил русской грамматики и очень любил поправлять слог, отыскивать грамматические ошибки и переставлять запятые. Не раз его рука посягала на слог нашего лучшего военного писателя, разумеется, в одних служебных бумагах, а что касается до меня, то нечего и говорить. Мне он марал целые страницы, и ни одной запятой не оставлял на своем месте. Как я доволен, что, наконец, и для меня настала свобода, помимо начальнической цензуры, грешить против грамматики, отвечая за то перед одним корректором, да если проскользнет ошибка, перед снисходительною публикой, готовой прощать все прочее, не грешил бы я только против русского ума и чувства!

Вольховский имел свой собственный взгляд на вещи и подчас умел настоять на своей воле. Напрасно я отказывался, в сознании моей неопытности и действительно не чувствуя расположения к канцелярской службе, хотя очень хорошо понимал, что путем ее всего легче подняться в гору, то есть составить себе карьеру, сделавшись для начальника необходимым по привычке. Пикалову было приказано познакомить меня сначала с делами и потом сдать мне отделение формальным порядком. От этого зависел его отъезд в батарею, стоявшую в Гамборах, пятьдесят верст от Тифлиса. Для облегчения дела Пикалов предложил мне переехать к нему на квартиру, где мы могли без потери времени работать поутру и вечером, и кроме того, для меня открывалась возможность в разговоре с ним скорее познакомиться со всеми обстоятельствами края и Кавказской войны. Охотно приняв его приглашение, я распростился с добрым колонистом и с юным спутником, Александром Лаврент-

евичем, который, в свою очередь, переселился к отысканному им корпусному товарищу, служившему секретарем в гражданской канцелярии барона Розена.

Кстати скажу несколько слов о бароне, которому Вольховский лично меня представил. Не могу ясно припомнить первое впечатление, которое он на меня произвел; во всяком случае, оно не заключало в себе ничего тревожного. Его наружность располагала к доверию, приемы были натуральны, без расчета импонировать подчиненному. Несколько выше среднего роста, плотный, седой, большеголовый, краснолицый, старик глядел своими голубыми глазами умно и добродушно. Говорил он протяжно, налегая на каждое слово, с особенною свойственною ему интонацией. На нем были: генерал-адъютантский сюртук без эполет, Георгиевский крест на шее и Владимирская лента под жилетом. Упоминаю об этих туалетных подробностях, потому что они составляли его всегдашнюю домашнюю форму, в которой его можно было видеть с раннего утра до поздней ночи. Никто не видал его в халате, который у него заменяла форменная шинель, да и то только во время похода.

Квартира Пикалова находилась на углу Армянского базара и Эриванской или, как ее чаще называли, Штабной площади, во втором этаже дома, принадлежавшего купцу армянину; входили в нее через небольшой двор, огороженный каменною стеной, по которой извивались виноградные лозы. Посреди двора стояло высокое гранатовое дерево, сплошь покрытое ярко-красным цветом. Уходя и возвращаясь домой, мы каждый раз любовались роскошным деревом, но еще охотнее наши взгляды останавливались на другом, живом украшении квартиры. Хозяйка, семнадцатилетняя красавица, какие между армянками встречаются только в эти годы, сидела с раннего утра за работой на открытой галерее, под надзором свекрови, не покидавшей ее, как водилось у армян, ни на одно мгновение. Старуха была необычайно уродлива, зла, бранчлива и ревновала каждый взгляд, который мы бросали на ее невестку; даже наш обыкновенный поклон приводил ее в тревожное состояние, а если бы нам вздумалось заговорить с молодою красавицей, то это произвело бы такую бурю, что хоть из дому беги.

Предпочитая домашнее согласие такому мимолетному удовольствию, мы ни в каком случае не обращались к молодой хозяйке, а если была надобность, вели через денщика переговоры со старухой, за что она нас очень жаловала, и когда мы уходили, берегла нашу квартиру не хуже своей невестки. В этом отношении она заслуживала нашу полную благодарность, потому что ни одна дверь не запиралась на замок, и в комнатах не имелось ни одного шкафа, сундука или стола с ключом, хотя давно миновало то время, в которое, несмотря на процветание грабежа, у грузин домашнее воровство слыло делом несбыточным. Две принадлежавшие нам весьма небольшие комнаты, признаться, не отличались удобством, и напрасно стали бы в них отыскивать немецкую опрятность, зато жилось как в фонаре в стенах, продырявленных несметным числом отверстий. В одной угловой комнате, имевшей два света, существовали три двери и десять окон; камин, выдавшийся полусводом за стену, скорее способствовал нагреванию улицы, чем комнатного пространства, а жильцам дымил только в глаза. К моему счастию, я переселился к Пикалову в теплую погоду и поэтому не имел случая испытать всю привлекательность зимних выгод его жилья, бесспорно принадлежавшего к числу лучших помещений в старом городе.

В летнее время зарождалась в нем другая приятность. Дом входил в категорию ветхих строений, пользующихся лестным предпочтением со стороны скорпионов. Ночью они бегали по полу, пристукивая хвостом так резко, что я иногда просыпался, а поутру, принимаясь за дело, мне случалось нередко выбрасывать их из бумаг, в которые они залегали для дневного отдыха. Долго я не мог привыкнуть к сообществу этого неблаговидного зверька, внушавшего мне непреодолимое отвращение, усиленное еще боязнью его зловредных качеств. Пикалов, кавказский старожил, успел меня примирить, если не с наружностью, то по крайней мере с его нравом, доказав многими примерами сколько он безвреден. Скорпиону, как бывает и с людьми, составили совершенно незаслуженную репутацию злости: он жалит, повинуясь чувству самосохранения, только в таком случае, когда сам считает себя в опасности, будучи придавлен или остановлен на бегу. Тогда он хвостом бьет через голову. В Грузии весьма не опасно для человека попасть под жало скорпиона. Ужаленное место, правда, горит и пухнет, но стоит только натереть его теплым деревянным маслом, и боль прекращается, не оставляя последствий. Народное поверье, будто для успеха операции следует употреблять масло с опущенным в него скорпионом, есть пустой предрассудок: оно помогает и без симпатической приправы.

Разделив квартиру, нам следовало разделить и расходы на наше общее продовольствие, потому что клуба, где бы можно

было обедать, еще не существовало, а трактирная жизнь не имела ходу между офицерами; каждый старался, хорошо или дурно, заводить свое собственное хозяйство. Содержание обходилось невероятно дешево. В Грузии была в то время благодать для людей небогатых. С головы по четвертаку в сутки мы жили привольнее, чем десять лет спустя можно было жить за два целковых. Фазан стоил двугривенный, за «тунгу» (пять двойных бутылок) лучшего кахетинского вина платили сорок копеек, за фунт турецкого табаку – пятнадцать копеек серебром; а плова и фруктов добывали вдоволь за несколько медных грошей. При таких обстоятельствах мне было очень выгодно поселиться у товарища, имевшего готовое хозяйство и сверх того хорошего русского повара из отцовской деревни; но лучшую пользу я извлек для себя из самого Пикалова.

Во-первых, он был человек отменной души, умен, скромен и уживчив, значит, редкий комнатный товарищ; во-вторых, он узнал основательно край и людей. Так как он более пяти лет занимался в диспозиционном отделении генерального штаба, то не было дела, которое бы не проходило через его руки, и он, обладая необыкновенною памятью, служил живою справкой во всех бывалых случаях, которые твердо помнил. По этой причине Вольховский им очень дорожил и не раз упрашивал его остаться на своем месте; но он действительно не мог продолжать работы, совершенно истощившие его здоровье. Два года спустя мой бедный приятель помер на Линии от грудной болезни, развившейся после раны, которую он получил во время Ичкеринской экспедиции 1832 года, о чем расскажу в своем месте. Заменить его было нелегко, особенно для меня, новичка на Кавказе и совершенно неопытного в служебном письмоводстве, потому что в предыдущие кампании я исправлял одни полевые обязанности офицера генерального штаба.

Приметив однако, что с Вольховским, мягким и вежливым в обращении с подчиненными, снисходительным к увлечениям молодости, но весьма взыскательным в делах чести и существенной службы, надо держать себя чрезвычайно осторожно, да и сам не желая на первых же порах оказаться нерадивым по службе, я принялся прилежно расспрашивать Пикалова обо всем, просматривать с ним дела и под его руководством знакомиться с порядком и с формой военного письмоводства. Теперь, когда служебная переписка, благодаря воззрению военного министра, введена наконец в рамку настоящего здравого смысла, трудно вообразить, как хитро была сплетена ее прежняя

фразеология, какие тонкие оттенки следовало соблюдать в сношениях с равными, с зависимыми и независимыми ведомствами, с младшими, высокими и высшими лицами, и какие разнообразные формы были установлены на основании этих отношений, для вступления, изложения и заключения в каждой бумаге. От беспрестанного повторения титулов и от выражений преданности и подчиненности рябило в глазах; настоящий смысл дела утопал в потоке исковерканных фраз. Помню, как для приготовления доклада приходилось прочитывать нескончаемые донесения, сущность которых пояснялась тремя или четырьмя подчеркнутыми словами; но выборка этих слов требовала немалого труда и самого напряженного внимания. Сколько тут по пустому терялось бумаги, чернил и времени! Способности правильно понимать дело и ясно излагать свои мысли было недостаточно для совладания с тогдашним письмоводством; легче всего оно одолевалось форменным педантизмом. У Пикалова хранилось еще в свежей памяти, как однажды граф Паскевич был приведен в страшный гнев донесением, попавшим в его руки прежде, чем оно успело пройти через цензуру привычного докладчика, который бы с первого взгляда увидал, как его следует читать и понимать. Расскажу, как это было.

Ахалцих в стратегическом отношении бесспорно занимал первое место между крепостями, завоеванными в азиатской Турции нашими войсками в удачную кампанию 1828 года. Несмотря на значение этой крепости, обстоятельства не позволили отделить более 1.500 человек для ее обороны, когда половина действующего корпуса вернулась в Грузию на зимовку. Это не покажется удивительным, ежели припомним, что князь Василий Осипович Бебутов, оставленный защищать Ахалцихский пашалык, всего имел в своем распоряжении 2.700 пехоты и конницы, занимавших кроме Ахалциха еще отнятые у турок укрепления Ардаган, Ацхур и Ахалкалаки. В Карсском и в Баязетском пашалыках русские войска зимовали не в большей силе: в первом из них генерал Берхман имел под ружьем 2.650 человек, а во втором генерал Панкратьев командовал 2.800 пехоты и 370 конницы. Турки хотя и получили в лето 1828 года несколько весьма назидательных уроков, но их военная сила в Малой Азии не была еще окончательно уничтожена. Вновь назначенный сераскир, Хаджи-Салех, и начальник действующих турецких войск, Гакки-паша, имея повеление Порты не только положить преграду дальнейшим успехам

русских, но и отнять у них прежде завоеванные провинции, хвалились для исполнения этого предприятия собрать к весне около 200.000 воинов. Хотя такой громадный расчет, кажется, не имел другого основания, кроме пламенной ревности двух турецких сановников к святому мусульманскому делу, распалявшей их воображение, однако и половины этой силы было бы достаточно для того, чтобы зимовавшую за границей горсть русских войск поставить в весьма опасное положение.

Главное внимание турок было обращено на Ахалцих, который они решились отнять у русских еще до начала весны. Ахмет-беку аджарскому поручалось исполнить это предприятие, и уже в январе стали носиться слухи, будто он для того собирает своих подвластных. На основании этих слухов крепость привели сколько позволяли скудные средства в такое состояние, чтоб она могла противиться неприятелю. Можно было надеяться на стойкость солдат и на распорядительность их начальника, но все-таки малочисленность ахалцихского гарнизона и крайняя затруднительность при наступлении опасности вовремя подоспеть к нему на выручку по неудобопроходимым, снегом заваленным горным дорогам сильно озабочивали главнокомандующего и служили предметом частых совещаний с начальником штаба и с обер-квартирмейстером.

В половине февраля известия о сборах Ахмет-бека возобновились с новой силой; сделали распоряжение, ежели они подтвердятся, направить в помощь к ахалцихскому гарнизону Н. Н. Муравьева с пятью батальонами, тринадцатью орудиями и небольшим сборным отрядом Бурцова. В то время случилось, что полковника Вольховского потребовали однажды ночью к графу Паскевичу. Явившись на зов его с привычною скоростью и не зная за собой вины, он в первое мгновение совершенно растерялся от приема главнокомандующего. Вольховскому нередко случалось заставать Паскевича в раздраженном состоянии духа, но никогда до сей поры он не видал его в таком бешенстве. Со сжатыми кулаками бросился он к нему навстречу и, задыхаясь от гнева, произнес: «Ахалцих!»

Измерив кабинет быстрыми шагами, он снова подскочил и, сделав над собой усилие, докончил начатую фразу словами: «взят турками».

– Не может быть! – вырвалось у Вольховского.

– Как это: не может быть? – крикнул главнокомандующий. – Я имею официальный рапорт... вот он! – И в шар скомканная бумага полетала на пол из его руки.

В это время вошел начальник штаба, барон Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен, которого также успели поднять с постели. Паскевич обратился к нему.

Вольховский воспользовался этою минутой, поднял смятую бумагу, разгладил ее и стал читать про себя. Прочитав от кого рапорт, он тотчас подумал, не вкралась ли в него неясность, ввергнувшая Паскевича в заблуждение; доносил хертвисский воинский начальник, майор Педяш, храбрый офицер, но страстный охотник писать много и красноречиво, употребляя слог своего собственного изобретения.

В начале донесения стояло: «Февраля, 20-го дня; Ахалцих турками взят», запятая – факт выраженный так ясно, так положительно, что Паскевич, не продолжая читать, в порыве досады смял рапорт и тотчас послал будить обер-квартирмейстера и начальника штаба. После запятой следовало: «армиею под начальством Ахмет-бека аджарского, состоящею из такого-то числа пехоты, конницы и артиллерии» – затем исчисление начальников частей, потом изложение распоряжений, сделанных князем Бебутовым для защиты крепости. Вольховский перевернул страницу, в конце которой отыскал вторую запятую, и после нее утешительные слова: «во блокаду. О чем Вашему Сиятельству всепочтительнейше имею честь донести».

Тем временем в разговоре главнокомандующего с начальником штаба беспрестанно слышались слова: «все потеряно». С падением Ахалциха бесспорно должна была рушиться надежда на успешный ход будущей, так хорошо подготовленной кампании.

– Не все еще потеряно, – позволил себе произнести Вольховский, скромным голосом.

– Это что еще! – крикнул Паскевич.

– Извольте, ваше сиятельство, взглянуть на конец рапорта. Ахалцих не взят турками, он ими только блокирован, и смело можно полагать, что князь Бебутов устоит против неприятеля, пока Муравьев и Бурцов подойдут к нему на выручку.

Для Паскевича наступила очередь смутиться от напрасно наделанной им тревоги.

Ахмет-бек аджарский 20-го февраля 1829 года действительно подступил к Ахалциху, потом штурмовал крепость, был отбит и по прибытии муравьевского отряда обращен в бегство, несмотря на его пятнадцатитысячное сборище.

Служебные бумаги, писанные педяшевским слогом, бывали нередкостью по военному ведомству; и в палатах, и особенно

в уездных и земским судах, писать иначе считалось тогда противным заветным изворотам таинственности, в которую облекалось гражданское делопроизводство. Да и не для чего было выражаться более понятным слогом: ведь бумаги писались в то время по присутственным местам не для уяснения, а для искажения правды, из чего для дельцов благодатной старины проистекала немалая польза, которую умницы старались хранить про себя, воздерживаясь между прочим в делоизложении, если возможно было, от траты смысла разъясняющих точек и запятых. Даже в министерствах, в которых служили действительно способные люди, чиновник, обладавший плодовитым пером, т. е. умевший нанизывать слова и растягивать фразы, не придавая им положительного смысла, высоко ценился в служебном кругу. Прошло то блаженное время, когда, ратуя против правды и против здравого смысла путем безграмотности, еще можно было зарабатывать деньги да почет; в настоящую зловредную эпоху прогресса с таким искусством, не зная другого ремесла, пожалуй, придется голодать.

Из рассказов Пикалова, очевидца умного и беспристрастного, судившего о вещах и людях основываясь на оригинальных документах и на самых положительных данных, я познакомился с разными фактами, совершившимися на Кавказе в последние года, совершенно с другой стороны, чем они были известны публике. Вообще, благодаря его объяснениям мой взгляд на вещи получил более рациональное направление; о людях он научил меня судить менее опрометчиво как с дурной, так и с хорошей стороны, не ослепляясь их удачами по службе и не увлекаясь молвой, весьма часто расточающею наугад хулу и похвалу, и принимая за мерило их существенного достоинства одни неотъемлемые, им принадлежащие дела и мысли. А для этого мне надо было много слушать и много прочитывать. Ничто не характеризует лучше умственные способности человека, как собственноручно им изложенная идея касательно какого-нибудь важного вопроса. При этом изучении Кавказа как много громко прозвучавших дел и как много прославленных личностей понизились в моих глазах до уровня самой обыкновенной вседневности, и сколько других малоизвестных фактов и скромных, в тени поставленных людей, выросли до размеров истинного величия.

Наслышавшись петербургских и московских общественных суждений насчет многих лиц, занимавших на Кавказе видное положение, я привез с собой готовое мнение о их геройстве и высоких умственных достоинствах и, признаться, приходил в сомнение, когда Пикалов начинал того или другого из их среды разоблачать перед моими глазами. О Цицианове, Ермолове, Котляревском, Вельяминове, Сакене, Вольховском и о многих других, даже менее замечательных людях, он относился с глубоким уважением. И прочим знаменитостям он отдавал, в чем следовало, полную справедливость, но говорил о них без восторга и охлаждал мой собственный жар удивления, раскрывая существенное значение их подвигов и их истинный характер. На мои возражения он отвечал обыкновенно рассказом одного или нескольких происшествий, называя живых свидетелей или, не говоря ни слова, раскрывал дело и просил прочесть переписку, мысли о покорении горцев или административный проект такого-то генерала N. N. Случалось, глубоко разочарованный, я узнавал в моем герое человека весьма обыкновенных способностей или еще хуже, открывал на нем личину поддельной гениальности, которая нередко успевает поработить общественное мнение в ущерб государственной и народной пользе. И не удивительно: хитрость – вместо ума, тупое упрямство – на место твердой воли, сердечная пустота – вместо силы душевной, слишком часто принимаются за проявление гения, если личность, одаренная этими отрицательными качествами, умеет действовать обаятельно на самолюбие людей или поражать их своею самонадеянностью. Вспомнит мои слова, кто станет рыться в пыли тифлисского и ставропольского военных архивов и извлечет из них правду для обнародования – не теперь, а позже, когда ее можно будет высказать без обиняков, не опасаясь задеть чье-либо самолюбие или против воли впутаться в бесполезную борьбу против современных предубеждений.

Особенно поручаю его вниманию проекты о покорении Кавказа; в этих проектах он найдет не только много любопытных, но и очень много забавных идей. Одно время, в начале тридцатых годов, наше военное министерство засыпали подобного рода проектами – и кто их не писал, и чего в них не писалось! Министерство, не давая себе труда разбирать, препровождало рукописи в Тифлис на рассмотрение и требовало ответа. От корпусного командира они поступали в генеральный штаб, и многие из них прошли через мои руки. Предлагали действовать против горцев, подвигаясь не с равнины к горам, а с гор к ровным местам; строить крепости на хребтах и наблюдательные посты на горных шпилях; рвать горы порохом;

против хищников растягивать проволочные сети по берегам Терека и Кубани. Мирным путем советовали их усмирять: торговлею, водворением между ними роскоши, пьянства – должно быть предлагал откупщик – и наконец музыкой, посредством заведения у горцев музыкальных школ. Этот последний проект, начинавшийся словами: «в глубокой древности уже было известно, что музыка, производя приятное впечатление на слух, смягчает человеческие нравы, и т. д.» – был написан каким-то коллежским советником в Петербурге и прислан к нам на обсуждение в начале 1832 года. Не считаю нужным прописывать судьбу каждого из этих проектов; после кроткого отрицательного ответа, его укладывали в архивную пропасть на изучение мышам и бумаготочивым насекомым...

IV.

Между делом у нас доставало еще довольно времени ходить по городу и по садам, которые в то время не надо было далеко отыскивать. Против полиции, за угловым домом, в котором два года спустя была открыта памятная всем прежним Тифлисцам ресторация Матасси, начинались сады, заслонявшие все Салалакское ущелье. Посреди живой зелени их, вправо от тесной дороги, извивавшейся между каменными садовыми стенками, одиноко стоял дом князя Бебутова, окруженный высокою оградой, с крепкими, всегда затворенными воротами, ревниво укрывавшими домашний быт жильцов от чужого любопытства. Тогда не легко было для русского проникнуть в круг грузинского, а тем более армянского семейства и сделаться у него домашним человеком, если не представлялась выгода с ним породниться. Улица, ведущая от Эриванской площади на юг к подошве горы, на которой находились развалины старой крепости, окончательно обстроилась после моего приезда; в 1832 году дома существовали только по левую руку; вся ее правая сторона, исключая угловой дом, прилегала к пространному винограднику, доходившему до самой горы. Правый берег Куры за Елизаветпольскою рогаткой представлял одну сплошную массу садов, где над тенистыми сводами широколистой лозы гранат, персик и миндаль раскидывали роскошь своей блестящей зелени, ластясь вокруг вековых, объемистых орехов и пирамидальных тополей, высоко к облакам возносивших гордые вершины. Не знаю, потому ли только, что в тогдашнее время я смотрел на предметы глазами молодости, или потому, что тифлисская природа действительно так хороша, но Тифлис посреди окружающих его гор, окаймленный садами, с его быстрой рекой, с грядой снежных вершин на дальнем горизонте, с темноголубым небом над головой, несмотря на палящее солнце, казался мне местом, краше которого я ничего не знал да и узнать не желал. Даже те городские неудобства, которые в других возбуждали неудовольствие, имели для меня свою привлекательную сторону, обнаруживая оригинальность, доставлявшую моему любопытству всегда новую пищу.

В новом городе не существовало мостовой. Отсутствие ее было нечувствительно в сухую погоду, но после легкого дождя улицы мгновенно покрывались непроходимою грязью: тогда экипаж или верховая лошадь становились необходимыми. Во всем Тифлисе были в те года восемь, много десять карет и колясок, принадлежавших высшим властям и двум или трем богатым грузинским семействам. Внутри края грузинские дворяне, мужчины и женщины, путешествовали преимущественно верхом, реже на воловьих арбах и в трахтараванах – крытых носилках, повешенных между двумя гусем идущими лошадьми или лошаками; городские жители и за ними русские офицеры предпочитали ездить верхом и только в особенных случаях прибегали к извощичьим дрожкам в две лошади, для которых были устроены стоянки на Армянском базаре и на площадях Эриванской и Мадатовской. Тифлисские извощики ездили шибко, но их дрожки, известные в Москве и в Петербурге под именем «гитар», не отличались ни удобством, ни безопасностью сидения: на них можно было удержаться только верхом; сидевший боком рисковал при скорой езде на первом крутом повороте ринуться лицом в грязь или, что хуже, полететь назад через голову, ногами вверх. Это метательное свойство, казалось бы, должно было противиться употреблению их прекрасным полом, однако грузинки и армянки, которые, следует заметить, не покидали народного костюма и под юбкой прикрывались красными шальварами персидского покроя, изобрели весьма остроумный способ ездить по четыре на дрожках, считавшихся не довольно просторными для одного русского.

Две садились верхом одна против другой, две помещались справа и слева на колени к своим подругам, оплетавшим их талию скрещенными руками, и таким образом составляли четырехголовую женскую пирамиду, сверху донизу покрытую белыми чадрами, которая мчалась по тифлисским улицам в

назидание всем прихотливцам, брезгавшим извощичьим экипажем. Случалось, что на задней дрожечной оси, уцепившись руками за рессоры, висел еще «бичо» – мальчик, без которого для порядочной грузинки считалось неприличным показываться на улице.

Об освещении города нечего и говорить; на главной улице вправо и влево от дома главноуправляющего горели по два тусклых фонаря, да на Эриванской площади светил фонарь возле полиции, а все остальные улицы старого и нового города оставались погруженными в непроницаемый мрак южных ночей, когда луна не разливала по ним своего чудного света. Хорошее знание местности требовалось для того, чтобы в безлунную ночь уберегаться от ям, оврагов и буераков, испещрявших самые жилые части нового города. Экипажный спуск к Мадатовской площади был открыт с левой стороны – дом для начальника штаба подстроили только в сороковом году – и упирался хотя в неглубокие, но очень крутые овражки, отделявшие ездовую часть от Солдатской слободки. Тут легко было сбиться с пути, и в темные, дождливые ночи мне самому не раз случалось и с дрожками и пешему лежать в этих овражках. Благо они были не глубоки, и рыхлая, дождем размягченная почва сберегала от опасного ушиба – весь изъян ограничивался замаранною шинелью, да разве еще потерянною фуражкой.

Только с трех сторон обстроенная Мадатовская площадь вмещала следующие сооружения: длинный, одноэтажный инженерный дом занимал северный фас; на углу восточного фаса стоял одноэтажный же дом с мезонином, подпертым четырьмя толстыми, неуклюжими колоннами, в котором жил тогда дивизионный командир барон Роман Федорович Розен; от этого дома до противоположного угла тянулась невысокая стена из дикого камня с двумя безворотными проходами, отделявшая от площади целый квартал, занятый жилищами нескольких семейств из рода Орбелиани. На южном фасе красовались три дома, из коих один, угловой, принадлежал князю Туманову, о котором нечего было бы упомянуть, если б он не пользовался счастием иметь красавицу жену и хорошенькую дочку. На запад площадь упиралась в обрывистое возвышение, с которого спускалось несколько тропинок, удобопроходимых днем, но весьма небезопасных в ночное время; поэтому она могла считаться загороженною и с этой стороны, хотя тут не было ни одной постройки.

Старый город составлял бесспорно самую живописную и истинно любопытную часть Тифлиса, несмотря на нечистоту, неудобства и очень некрасивые вещи, ежеминутно попадавшиеся на глаза человеку, проникавшему в его извилистую внутренность. Тесные и кривые улицы местами были устланы такого рода головоломной мостовой, что без греха позволялось включить в ежедневную молитву: и избави нас Господь от такой напасти. В целой России, известной многими плохими мостовыми, один Арзамас стоял выше Тифлиса в достоинстве всеразрушительных свойств своего знаменитого мощения. Местами улицы, поднимаясь в гору, не требовали мостовой по причине каменистого грунта. Это были самые покойные и безопасные участки. С утра до позднего вечера народ толпился на этой ухабистой мостовой промеж лавок, открытых мастерских и духанов, покупая, продавая и перекрикиваясь на множестве разнозвучных наречий, которыми Кавказ так изобильно наделен. Грузины, армяне, татары, лезгины, персияне, имеретины, кабардинцы, русские, немцы, каждый в своем народном платье, составляли мешаную толпу, привлекавшую внимание своею яркою пестротой. Несмотря на кинжал, неизменный товарищ каждого кавказского уроженца, на шашки, сабли и ружья, которыми народ был обвешан, воровство и убийство на базаре считались неслыханным делом. Может статься, не в одной бритой голове тут же бродила мысль, как бы хорошо было того или другого нечистого свиноеда встретить подальше от города, где не имелось налицо ни солдата, ни казака, и там его отправить к праотцам да обобрать; но на городской мостовой эта самая голова только приятно ухмылялась предмету своих тайных помыслов и смиренно преклоняла выю под стеснительный закон москоу-гяура.

К Армянскому базару примыкали несколько небольших площадок; каждая из них имела свое особенное назначение: на одной покоились развьюченные верблюды, оглядывавшие проходящих с выражением неудовольствия, исполненного горечи, другая была запружена сотнями ешаков, навьюченных корзинами с углем для мангалов – комнато-нагревательных жаровен – и для оружейных мастеров, которыми был набит Тифлис, третья была заставлена буйвольими бурдюками, наполненными вином... В Грузии, как известно, вино хранится не в бочках. Для перевозки его с места на место употребляются бурдюки разных величин, делающиеся из цельной кожи животного, начиная с козленка до буйвола, с внутрь обращенною шерстью, намазанною нефтью. Новые бурдюки передают вину дух и вкус нефти, неприятные для человека непривыкшего пить вино

с этою приправой, почти нечувствительною, если оно хранилось в старом бурдюке.

Во всех закавказских провинциях виноград растет в изобилии, но ни одна из них не равняется добротой вина с Кахетией, покрытою вдоль алазанской долины, на протяжении ста двадцати верст от Алаверды до Алмалы, непрерывным рядом виноградников, посреди которых многолюдные селения покоятся в тени громадных ореховых дерев. По высотам, ограничивающим долину с севера и с юга, грузинские помещичьи дома, фланкированные башнями старинной постройки, красиво отделяются от темной зелени густых лесов. Засеянных полей немного; вся земля отдана виноделию; зерна в Кахетии не достает, она покупает его на деньги, вырученные за вино. По богатству почвы, по климату и по красоте природы Кахетию можно, не предаваясь метафоре, назвать земным раем. В Швейцарии и в южной Италии многие пункты пользуются всемирною славой неподражаемой красоты, и эти места действительно хороши. Однако, не наслаждался видом одной из самых очаровательных картин, созданных Творцом на радость человеку, кто не видал Кахетии, кому не удалось с высоты, на которой уступами рисуется город Сигнах, любоваться восходом солнца из-за снегового хребта, заслоняющего алазанскую долину с северо-востока, когда облака, меняя освещение, одеваются во все цвета радуги, постепенно яснеющее небо проникается прозрачностью голубоватого хрусталя, вершины противоположных, снегом покрытых гор начинают пламенеть, наконец огненный диск солнца выкатывается из-за зубчатой стены Кавказа, туман, заслонявший низ долины, распахивается как занавес, и глубоко под ногами раскрывается носящий название Кахетия нескончаемый цветущий сад, опоясанный серебряною лентой Алазани. Раз в жизни мне случилось с террасы одного из сигнахских домов глядеть на восход солнца над алазанскою долиной; с тех пор прошел для меня длинный ряд годов, много я видел новых стран, много прекрасных мест, но нигде не встречал картины, врезавшейся мне в память такими глубокими чертами.

Кахетинское вино пользуется на Кавказе славой, которую оно вполне заслуживает. Внутри России его не ценят по достоинству, в Европе о нем почти не знают; но это отнюдь не мешает ему равняться с лучшими бургундскими сортами. В мое время (полагаю и теперь еще не бросили старинного обычая) грузинские вина хранились не в бочках и не в бутылках, а в огромных глиняных кувшинах, формы древних амфор, зарытых

в землю по горло. Некоторые кувшины вмещали до трех тысяч тунг (пятнадцать тысяч бутылок). Место, где под крышей, подпертою каменными столбами, покоились в земле кувшины с вином, называлось «мaранью». Для перевозки вина, как я прежде сказал, употреблялись бурдюки и неудивительно, ежели длинные нити ароб, нагруженных бурдюками с вином, тянулись по всем дорогам к Тифлису, и ими загромождались целые площади, потому что в Грузии, Имеретии и Мингрелии не было бедняка-поденщика, который бы сел обедать, не имея перед собой кружки вина, хотя бы вся его пища состояла из одного чурека и из щепотки черемши, джонжоли или другой зелени. Грузины – охотники до вина и пьют немало, несмотря, однако, на хорошее качество родного вина, на его дешевизну и на их трудно утолимую жажду, редко я встречал между ними пьяниц. Зато часа в три после полудня, когда проходило обычное время обеда, можно было считать навеселе все Грузинское царство, о чем позволялось судить по яркому цвету носов, по усиленному блеску глаз и по добродушно веселому выражению лиц у всех встречных. В это время народный характер выказывался в его настоящем виде. Грузины народ добрый, откровенный, общежительный, храбрый и крайне беззаботный; любят они разгул и военные похождения. Расчетливая жизнь, хозяйственные заботы, промысел и торговля не их дело. На это существуют в Грузии армяне, отлично умевшие воспользоваться непрактичною стороной грузинского характера и овладеть торговлей, промышленностью и всеми источниками этой богатой страны.

В 1832 году в Тифлисе не было и помысла о театре. Русские и грузины проводили время в тесном семейном кругу, не часто сообщаясь между собой; общественные удовольствия ограничивались: для первых – прогулками за город, холостыми вечерами за вином и картами, да приемными днями у Корпусного командира; для вторых – обедами в садах, которыми и русская молодежь не пренебрегала, и скачками. Грузинки высшего общества, применяясь к русским обычаям, без дальних затей скучали дома или чинно красовались на редких официальных вечерах, а принадлежавшие к среде небогатого дворянства и городского среднего сословия, следуя старинной привычке, по вечерам забавлялись пляской на плоских крышах, обществом ходили в тифлисские теплые бани, а по четвергам все женское городское население с раннего утра отправлялась на поклонение Св. Давиду.

Маленькая церковь, построенная над могилой Св. Давида, к которому грузинки питают особенное благоговение, как известно каждому, кто бывал в Тифлисе, стоит на половине отвесной горы, возвышающейся над арсеналом. Крутая каменистая тропинка змеиными извилинами ведет к святилищу, господствующему с высоты своей над всем городом и над самыми сокровенными помыслами красивейшей половины его жителей. Грузинки, по обету сняв обувь, шли в гору просить у святого: девицы – суженого по сердцу, женщины бездетные – плода, беременные – счастливого разрешения, покинутые – нового счастья. Вера в святого не имела предела и что всего лучше просительницам не надо было томиться долго неизвестностью, достигнут ли они своего желания или нет.

Следовало только по окончании молитвы приложить к сырому фундаменту церкви камешек, поднятый на горной тропинке: прилипнет он, значит, желание исполнится; упадет – нечего и надеяться. Часто я ходил глядеть, как по четвергам до свету еще на пустых улицах начинали со всех сторон собираться чадроносицы, как число их, умножаясь, сливалось в непрерывную белую ленту, извивавшуюся по крутой дороге, пролегавшей к Св. Давиду, как они, поклонившись чудотворным мощам, подобно бесчисленной стае лебедей рассыпались по горе для отдыха и будто взмахами белоснежных крыльев манили к себе на высоту праздновать появление молодого дня. Сколько томных черных глаз, сколько нежно обрисованных личек случалось мне тут видеть на одно мгновение, едва успевая окинуть беглым взглядом очерк гибкого стана, быстро мелькнувшего из-под нечаянно распахнувшейся чадры. Все грузинки, молодые и старые, ловко умеют драпироваться в чадру, закрываясь ею до глаз; у молодых и хорошеньких она, однако, не держалась так плотно как у старух, и нередко слегка раскрывалась при встрече с мущиной, ненадолго, на одно мгновение, но его было достаточно для удостоверения, что ею прикрывались не старость и не уродливость. И после этого, с воображением, наполненным заманчивыми призраками лучших благ, какие в молодости нам сулит жизнь, не охлажденная еще долгим опытом, мне приходилось прямо идти в канцелярию, готовить доклад, прочитывать весьма незанимательные бумаги и поправлять писарские ошибки.

Скучная, сухая, но неустранимая работа не позволяла мне тратить много времени на мечтания. И на существенный отдых я имел мало досуга. Пикалов, сдав мне отделение, в начале июня уехал в Бамборы, и по части генерального штаба я один остался при Вольховском, выносившем на своих плечах все приготовления к решительной экспедиции против Кази-Мегмета. Несмотря на то, что на нем лежали две должности, начальника штаба и обер-квартирмейстера, и, несмотря на мою слабую опытность, дело шло не останавливаясь. Его неутомимое трудолюбие, его добросовестность и его неизменно-настойчивое терпение служили для меня живым примером и не допускали с моей стороны ни ошибок, ни упущений. Вникая сам во все, он предпочитал вместо укора собственным трудом исправить невольную ошибку подчиненного и ни в каком случае не дозволял себе резких выражений. Между тем самое легкое, можно сказать, дружеское замечание с его стороны смущало меня более крикливых и оскорбительных «распеканий», которыми многие начальники того, да и позднейшего времени имели привычку наделять своих подчиненных, полагая этим способом внушить к себе страх и уважение. А происходило это оттого, что Вольховский, в сознании своего достоинства, не чувствовал надобности отпугивать от себя людей, чтобы не подсмотрели чего и, проповедуя строгое исполнение служебных обязанностей не обидным словом, а честным примером, внушал каждому человеку глубокое уважение к своему характеру.

Не в виде анекдота, а в смысле действительного факта, подтвержденного мне многими его товарищами, привожу следующую черту, доказывающую, в какой степени он был требователен к самому себе, когда дело касалось службы.

Не имея довольно времени на исполнение обязанностей, лежавших на нем в малоазийскую кампанию тысяча восемьсот двадцать девятого года, он решился тратить на сон не более шести часов в сутки, и потому каждый раз, когда его одолевала усталость, отмечал минуты, проведенные в дремоте для вычета их общего итога из ночного. Подобного рода точность было бы позволено отнести к халатному педантству или к желанию отличить себя чем-нибудь особенным, если бы цель и побуждение, руководившие Вольховским в этом случае, не были лишены всякого частного расчета. Он знал заранее, какое спасибо ему готовилось за все его труды. Многотерпеливый страдалец чужого, неимоверно раздражительного самолюбия, он кончил тем, что был удален из армии, когда им же подготовленные успехи позволили обойтись без него.

И мне случалось в Тифлисе нередко отнимать дорогие часы у сна, только не для работы, подобно Вольховскому, а для того,

чтоб освежить голову на чистом воздухе и освободить легкие от пыли, которую я в продолжение жаркого дня глотал в канцелярии, пересматривая старые дела.

В июне становилось так жарко, что с удовольствием можно было жить только ночью. Температура доходила после полудня до +28°Реом. Зато после заката солнца, когда свежий, душистый ветерок с гор проникал в сгустившуюся над городом, жаром пропитанную атмосферу, наступали часы, в которые было легко и весело жить. Улицы, опустелые до того времени, наполнялись народом, на крыши и на террасы высыпали ожившие жильцы, повсюду слышались протяжные ноты голосистых татарских и грузинских песен, мерно звучали бубны, и на высоте домов мелькали в переливах полусвета, распространяемого цветными персидскими фонарями, яркие женские платья и заманчивые силуэты пляшущих девушек. Далеко за полночь кипела веселая жизнь на крышах и на улицах, усыпанных народом, жадно вдыхавшим ночную прохладу. В то время дома старого города были устроены так, что, не касаясь мостовой, а поднимаясь только и опускаясь с одной крыши на другую, можно было обойти целый квартал и открыть себе вход в любой дом. С Пикаловым, которого в околотке все знали и очень любили за его общительность, мы раза два предпринимали по нашему кварталу такого рода прогулку, избегая, однако, заходить на те крыши, где находились одни женщины: молодые разбежались бы, а старухи разбранили бы нас без всякой церемонии за нашу нескромность. Туда же, где присутствовало мужское существо, смело можно было идти, зная наверное, что веселый и добродушный грузин нисколько не обидится посещением незнакомцев, а гостей, которых ему Бог послал, хотя и не совсем обычным путем, примет с открытым сердцем, познакомит со своим семейством, дочерей или сестер заставит плясать лезгинку, а сам, распевая под звук чунгура, станет пить и донельзя поить своих новых друзей.

Ночной вид Тифлиса после жаркого летнего дня заключал в себе столько заманчивого разнообразия, что каждый раз можно было им наслаждаться с новым удовольствием, не замечая, как уходили часы. Но всего краше являлся город при лунном свете. Тогда разве слепому или совершенному идиоту было простительно не любоваться чудною картиной, которая рисовалась перед глазами. В такие ночи позволено ли было думать о сне и об усталости! Нередко утренняя заря заставала нас на улице или где-нибудь далеко за городом.

К числу более осязательных и каждому душевному настроению доступных удовольствий принадлежали тифлисские бани, построенные на серных горячих источниках, по-грузински «типлис», давших начало названию города. Они занимали немаловажное место в быту туземного населения, посещавшего их не по одной надобности, но и в смысле приятного препровождения времени. Четыре бани, между которыми лучшею считалась баня, носившая название «архиерейской», потому что доходы с нее поступали в пользу тифлисского архиерея, никогда не оставались пустыми. Летом они посещались преимущественно от заката до восхода солнца. Поочередно две бани отводились для женщин, а две оставлялись в распоряжении мущин. Наружным видом тифлисские бани мало отличались от других восточных купальных заведений, построенных на один общий образец. За длинным, темным входом просторная ротонда, получающая свет через окна, пробитые в куполе, посреди ротонды бассейн студеной воды с фонтаном, по сторонам глубокие ниши для раздевания, примыкающие к одной общей и к двум или трем отдельным купальням, в которых из стены бил горячий ключ. Широкие каменные скамьи, застланные циновками и тюфяками, были расположены в нишах для отдыха после бани. В Турции мне случалось видеть публичные бани красивее и богаче, но что касается до искусства мыть, растирать и переминать суставы так приятно, что купающийся погружался в какое-то неопределимо-сладостное изнеможение, тифлисские банщики не находили равных себе. Лучшие из них набирались в Персии, откуда они охотно переходили в Грузию, дороже ценившую их талант. Банщицы, носился слух, не уступали им в искусстве костомятной манипуляции и поэтому неудивительно, если тифлисские красавицы, не имея большого выбора в удовольствиях, любили нежиться в банях и проводить в них целые вечера в обществе своих приятельниц.

При тогдашней строгости грузинских обычаев, мущине не позволялось даже близко подойти к бане, отданной в распоряжение женщин, и всякая попытка нарушить запрещение повлекла бы за собой весьма неприятные последствия для нескромного искателя приключений. Но одна отдельная купальня не отнималась по четвергам у посетителей мужского пола, несмотря на присутствие женщин во всех прочих отделениях. К тому же ниша для раздевания, принадлежавшая к этой ку-

пальне, отделялась от ротонды, занятой женщинами, одною темно-зеленою саржевою занавесью. И странное дело: женщины, отнюдь не из категории легконравных, недоступно стыдливые во всякое другое время, на улице закутанные в чадру до бровей, нисколько не смущались, чуя за колеблющеюся занавесью нескромный глаз незнакомого пришельца, и мелькали по ротонде в том разоблаченном виде дианиных нимф, из-за которого Актеон так горько пострадал. А из молодых грузинок и армянок, могу поручиться, весьма немногие по наружности не годились прямо в свиту к целомудренной богине. Мало кому из русских был известен этот непонятный четверговый обычай, туземцы про него не рассказывали, и поэтому он укрывался от внимания большинства тифлисской публики. В другой женский день, в субботу или понедельник, не пропустили бы мущину через порог этой бани, а в четверг ничего не значило. «Такой закон», – объявлял смотритель бани; «такой закон», – утешали себя молодые купальщицы; и этим мудрым словом, решающим на Востоке каждый запутанный вопрос, устранялись все дальнейшие сомнения.

На первых порах я не имел времени участвовать в холостых пикниках, которые устраивались по загородным садам, потому что эти обеды обыкновенно продолжались очень долго и не обходились без попойки, а мне следовало всегда держать наготове свежую голову, не зная заранее, когда Вольховскому вздумается потребовать меня к себе для дела. До выступления в поход я не имел даже удобного случая короче познакомиться с товарищами, число коих было весьма ограничено, потому что барон Розен, недавно приехав в Грузию, не успел еще сформировать свой штаб, а офицеры, служившие при лице князя Варшавского, за исключением немногих, уехали вслед за ним в Царство Польское.

Дружеские отношения, в которых одна близкая мне родственница находилась с баронессой, доставили мне весьма ласковый прием с ее стороны. На домашних обедах, к которым Корпусной командир имел обыкновение приглашать поочередно всех служивших при нем офицеров, я познакомился с его дочерьми и младшим сыном, носившим еще пажеский мундир, а на баронессиных приемных вечерах имел случай бросить хотя поверхностный взгляд на тифлисское общество, в котором круг моего знакомства расширился позже, когда мы вернулись из экспедиции.

V.

Баронесса Елизавета Дмитриевна во дни молодости, носился слух, была очень хороша и имела в свете много успеха. В 1832 году ей было далеко за сорок лет, и следы прежней красоты едва проглядывали сквозь полноту, которая, увеличиваясь с годами, под старость стала для нее тяжелым бременем, но в то время придавала ей только вид осанистой дамы, более почтенной, чем моложавой наружности. Она очень любила репрезентацию и настойчиво ласкала эту, впрочем, довольно невинную страсть, находившую полную пищу в служебном положении ее супруга. В общественном отношении, при множестве ее хороших качеств, все бы пошло наилучшим порядком, если б она с наименьшею важностью принимала тифлисских дам, которые не в силах были простить ей тон, неприятным образом задевавший их щекотливое самолюбие. Не взлюбив ее, они не замедлили составить сильную оппозицию, в которую мало помалу втянули своих покорных супругов и приучаемых угодников. Все это, разумеется, происходило за кулисами, и баронесса продолжала жить в уверенности, что ее все обожают. Тут разыгрывалась слишком обыкновенная светская комедия: все в ней нуждались и все ей кланялись, льстили ей в глаза, а заочно взводили на нее всякую быль и небылицу. Весьма немногие личности умели хранить должную независимость чувств и поведения. Люди, пресмыкавшиеся перед нею, когда барон был в силе, пользовавшиеся ее особенным покровительством и во многом ей обязанные, случалось, в последствии, укоряли ее громче других, не совестясь к зерну правды подбавлять грузы лжи. Не пойду по их следам, хотя сам никогда не принадлежал к числу ее безусловных поклонников; с благодарностию стану вспоминать о тех приятных минутах, которые я проводил у нее в доме, когда мне удавалось вступать в полосу милостивого от нее расположения. А что касается до падавшего на нее укора в гордости и повелительности, то спрошу только, многие ли дамы, поставленные в ее положение, держали бы себя иначе.

Каждый вечер гостиная баронессы была открыта для небольшого числа избранных посетителей, обыкновенно адъютантов и других штабных офицеров, получавших именное приглашение или имевших право бывать без зова; два раза в

неделю, в четверг и в воскресенье, она принимала по вечерам все тифлисское общество. В обыкновенные дни редко можно было встретить у нее кого-либо из городских дам; мы проводили эти вечера в тесном семейном кругу, состоявшем из баронессы и ее двух старших дочерей. Две младшие дочери тогда были еще дети, которых гувернантка уводила при появлении первых гостей. Иногда освободившись от занятий, приходил барон Григорий Владимирович и садился за большой круглый стол возле их дочерей слушать болтовню молодежи, которую он ни сколько не стеснял своим присутствием, а напротив и вызывал к полной откровенности серьезною добротой, просвечивавшею во всем, что он говорил и делал.

Простота семейных вечеров, облегчавшая благодаря уму и добродушию барона общественные отношения скромных подчиненных ко всемогущему начальнику, с лихвой искупалась чопорностью официальных собраний, которые, правду говоря, на наши глаза имели мало привлекательного, несмотря на приманку грузинской красоты, являвшей тут худшие образцы. Не знаю с какой целью необходимо было доводить требования этикета до такой степени, знаю только что от этого было скучно и неловко. Собирались на вечера не поздно, к восьми часам. Пока было светло, баронесса принимала гостей на террасе, окаймленной зеленью и кустами и украшенной фонтаном, с которой открывался вид на часть ниже лежавшего города и на дальние горы. Тут было хорошо, свежо, и еще довольно свободно можно было прохаживаться, подходить и разговаривать с кем казалось поинтереснее, не опасаясь нарушить иерархического порядка и требуемого безмолвия. По вступлении в комнату сцена изменялась. Старики и дамы почтенных лет размещались за карточными столами в большом салоне, оклеенном, как помню, красными французскими обоями, что в то время в Тифлисе считалось завидною роскошью. В этой комнате теснились густою толпой кавалеры, не имевшие смелости проникнуть во второй, заветный салон, где сидела баронесса Елизавета Дмитриевна с дамами, не игравшими в карты.

Она сама любила бостон, но не позволяла себе садиться за игру с начала вечера, заканчивая его этим удовольствием. Покинув террасу, она помещалась с дочерьми в глубине салона, и направо и налево от них нанизывались вдоль стены по старшинству чина и происхождения дамы и девицы, осужденные перешептываться между собой, потому что из кавалеров весьма немногие смельчаки решались проникнуть в средину этого очарованного круга на испытание своего счастия в игре остроумия и светской ловкости. Напрасно баронесса старалась оживить общество, придумывая всякого рода «jeux d'esprit» (игры на сообразительность – *фр.*) и устраивая музыкальные занятия, в которых участвовала сама с дочерьми. Дело не шло на лад по весьма существенной причине: два главные элемента: коренной грузинский и русский, совершенно изменившийся по причине отъезда старых и прибытия множества новых лиц, как всегда случалось при перемене главнокомандующего, не успели еще сблизиться, и каждый со своей стороны хранил наблюдательное положение. В мужском кругу господствовали военный мундир и грузинская чуха, а фрак являлся в виде редкого исключения; дамское общество делилось на два лагеря, на русских и некоторое число грузинок, одетых по французской моде, и на большинство грузинских дам, не изменивших еще своему национальному костюму. О кавалерах не стану говорить, хотя между ними были человека два – три весьма замечательные и в светском отношении; но так как они в поле вымазались еще с лучшей стороны, чем на паркете, то приберегаю упомянуть о них позже, а теперь брошу взгляд на дам принадлежавших к кругу высшего тифлисского общества.

Русских дам, занимавших в нем видное место, было тогда в Тифлисе очень мало. Напрасно припоминаю, какая из них имела бы право навсегда поселиться в памяти молодого офицера, который мог судить о достоинстве их по одной наружности, а не по скрытым душевным качествам, оставшимся для него вечною загадкой по причине недостатка времени, случая, да и потребной опытности на такое трудное исследование. По особым причинам, только две русские дамы того времени остались в моей памяти: Катерина Николаевна Д., начальница тифлисского пансиона благородных девиц и задушевная приятельница баронессы Елизаветы Дмитриевны, потому что она природой была награждена такими голиафскими размерами роста и толщины, что от них не только ее воспитанницы, но и посторонние приходили в невольный трепет, и всему Тифлису известная старушка Катерина Акакиевна, первая мастерица играть в бостон. Катерина Акакиевна, прибывшая в Тифлис едва ли не в конце прошедшего столетия с первыми русскими войсками, была почтенная, всеми уважаемая дама, во всех случаях, кроме бостона, умевшая хранить с приличием требуемое спокойствие духа. Предавшись бостону, она забывала весь остальной мир и, бывало, приходила в такой нестарческий

восторг, что ее смущенные партнеры не знали, чем унять расходившуюся старушку, без пощады бранившую их за каждый выход не имевший счастья ей понравиться. Низко приседая перед баронессой во всякое другое время, за бостоном она решительно не признавала ее первенства и спорила с нею как бы с обыкновенною, равною ей дамой, забывая даже величать ее вашим превосходительством. Эта бостонная раздражительность почтенной Катерины Акакиевны происходила не от скупости или врожденного пристрастия к картам: бостон составлял для нее жизненный вопрос.

Лет тридцать тому назад, оставшись вдовой после мужа, полковника, убитого в войне с горцами, она увидела себя осужденною прозябать на чужой стороне с пансионом, от которого бы просто пришлось голодать ей и сыну, если бы не выручал бостонный талант. Бостоном она зарабатывала ежедневное пропитание, бостоном воспитала своего сына, определила на службу, пустила его в чины а по смерти даже оставила ему капиталец в несколько десятков тысяч рублей ассигнациями. При всей скудости своих средств она умела составить себе в тифлисском обществе весьма недурное положение. Первою обязанностью для каждого новоприбывшего молодого человека считалось представиться Катерине Акакиевне, иначе он рисковал попасть к ней на язычок; а матушки взрослых дочерей ласкали ее и отдавали ей всякое почтение, одинаково опасаясь язычка; да говорят и потому, что она умела с легкой руки устраивать не только бостонные, но и матримониальные партии. Мне она осталась в памяти по одной довольно забавной сцене, разыгравшейся у баронессы за карточным столом.

Катерина Акакиевна, по нужде ставшая образцом расчетливости, взяла привычку платить за картами не иначе как старыми, обтертыми или обрезанными червонцами. Баронесса Елизавета Дмитриевна, в равной степени не любившая нести потери, заметила эту уловку, и, откладывая в сторону получаемые от нее червонцы, не упустила случая при первом проигрыше вернуть их Катерине Акакиевне. Но почтенная дама не замедлила узнать своих старых питомцев и самым решительным тоном отказалась снова приютить их в своем кошельке. Дребезжащий голос старушки раздавался по всей комнате и созвал толпу любопытных к карточному столу. «Не беру, не беру обрезанных червонцев», – кричала она, отталкивая неполновесные деньги. Напрасно Елизавета Дмитриевна защищала свое право платить ей теми же червонцами которые, выиграв, брала от нее. «Не знаю, от меня или от кого другого вы получили эти деньги, а коли от меня, так ваша добрая воля была их брать, а я, баронесса, прежде чем взять, разглядываю каждый червонец. Армяне скидывают с них по целому абазу», – повторяла Катерина Акакиевна взволнованным голосом. И баронесса не превозмогла ее упрямства, а была принуждена, для прекращения спора, вручать ей расплату блестящими, новоотчеканенными золотыми кругами.

Ежели случайным образом между русскими дамами не существовало в то время более привлекательных личностей, зато грузинский круг заключал целый ряд таких представительниц прекрасного пола, которых забыть было бы грешно. Что до меня касается, то я помню их всех, помню молодых и помню старых, и воспоминание о них, подобно радуге после дождя и бури проясняют мысли мои, когда они невольно останавливаются на темных точках моей кавказской жизни.

Кто перечтет всех красавиц-грузинок того времени? Бывало, не знаешь на которой из них остановить глаза, когда они в приемный день чинно рассядутся в баронессиной гостиной. Хороша была графиня Симонич, а не хуже ее была княгиня Мана, у которой томные карие глаза светили душу согревающим лучом ничем невозмутимой кротости – и кто ее знавал, тот может поручиться, как необманчиво было выражение ее прекрасного взгляда. В числе дам отличались еще замечательною красотой А., миловидная армянка, жена богатого и ревнивого мужа, неразлучно при ней выставлявшего на показ свою несимпатичную физиономию испуганного леопарда, и княгиня Туманова, которая так победоносно выдерживала сравнение со своею дочерью, считавшеюся одною из самых хорошеньких тифлисских девушек. А рой девиц как богато был наделен расцветавшими красотками! Кто не любовался стройною княжной Еленой и ее смуглою тонколицею сестрой Майко, живою как порох Сонею, дочерью графини Симонич, идеально-прекрасною Майко Кайхофо и княжною Амилохваровой, носившею прозвание Минервы за величаво-правильный очерк лица и стана? Кто не помнит Марью Ивановну, довольно полную, необыкновенно свежую девушку, с черными исполненными ума глазами, смиренно восседавшую возле доброй, краснолицей тетушки Тинии, эту Марью Ивановну, которая, вышед замуж за своего однофамильца, князя Дмитрия Орбелиани, в последствии сумела так хорошо устроить свою собственную жизнь и судьбу своей дочери? Пропускаю еще многих

других, с которыми я познакомился позже или которые не принадлежали к обществу, собиравшемуся у баронессы. Тифлисский жилец того времени, читая так много знакомых ему имен, имеет полное право спросить, почему же я ни слова не говорю о двух лучших перлах тогдашнего круга грузинских красавиц, о солнце Грузии, о знаменитой Катеньке и о старшей сестре ее, Нине Александровне, которую за ее ангельскую доброту, не вдаваясь в метафору, можно было назвать существом истинно неземным. В Тифлисе их не было в начале 1832 года; я познакомился с ними после экспедиции и в своем месте наверное не забуду высказать все, что у меня осталось на душе от счастливых минут прожитых в гостеприимном доме их отца, князя Александра Герсевановича Чавчавадзе.

Я уже заметил, что тифлисское общество делилось по платью на два лагеря. В 1832 году не более четырех или пяти первоклассных грузинских фамилий одели своих дочерей в модное французское платье и дали им оттенок европейского воспитания. Сами грузины хранили национальный костюм, меняя его только на русский мундир, когда поступали в военную службу. Фраком и безобразною круглою шляпой они пренебрегали как снадобьем, решительно не соответствующим военной жизни, на которую в то время были обречены все кавказцы. В этом случае грузины, полагаю, поступали по законам вкуса и здравого смысла. Чуха с откидными рукавами, украшенная галуном, цветные шаровары, высокие, нечерненые сапоги и персидская баранья шапка лучше шли к ружью за спиной и к сабле при бедре, чем цилиндр и пальто, хотя бы самого вычурного покроя. Грузинки среднего сословия все без изъятия и многие из высшего круга также предпочитали народное платье, делая отступление касательно одной обуви. Женщины народного класса обували босую ногу в желтые сафьянные носки – месты, сверх которых для улицы надевались туфли на высоких каблуках. В купеческих и в дворянских семействах первый шаг к цивилизации и к сближению с русскими начинался у прекрасного пола с ног, на которые в таком случае надевались чулки и башмаки. За переменой обуви неминуемо следовало изучение французской кадрили и русского языка, на чем, бывало, и останавливалась цивилизационная реформа.

Грузинка, вступавшая этим путем на поприще модных затей, заменяла чадру мантильей, сохраняя впрочем все остальные части старинного убора: тавсакрави, вуаль, гулиспири и платы прежнего покроя. И хорошо она делала, не расставаясь

без нужды с национальным платьем: на хорошенькой женщине оно красовалось не хуже французского, не подлежало моде и поэтому при всей нарядности своей отцам и мужьям обходилось несравненно дешевле. Длинный остромысый лиф и без корсета ловко охватывал складную талию грузинки, не стесняя ее натуральной гибкости; длинная и широкая юпка живописно застилала формы, достойные резца; широкий пояс с концами, опущенными спереди до земли, обвивал тонкий стан. Спина и плечи были закрыты, но вырезанный ниже груди лиф совершенно бы ее обнажил, если б она не прикрывалась полосой шелковой материи другого цвета, чем платы, носившей название «гулиспири» – покров сердца. Щекотливая стыдливость некоторых наших дам не находила примирительного оправдания для этой части грузинского женского костюма, недостаточно прикрывавшего проявление форм, которые, по мнению их, надлежало тщательно скрывать. Позволяю себе в этом случае вступиться за грузинок и за их вполне стыдливое гулиспири, грешившее против скромности отнюдь не более каждого, французской моды, бального платья. Головной убор у грузинок, «тавсакрави», признаться, мне не нравился. Узкая матерчатая повязка, надвинутая на самые брови, некрасивым образом закрывала лоб, зато легкий газовый вуаль и распушенные по плечам прекрасные волосы, заплетенные в множество тонких кос, служили украшением, довершавшим общую гармонию наряда. В холодное время грузинки надевали сверх ярко-цветного платья «катеби» шубку из красного или зеленого бархата с откидными рукавами, вышитую спереди золотом, жемчугом, а иногда и цветными каменьями. Чадрой, про которую я говорил уже не раз, называлось белое полотняное покрывало, без которого грузинка в прежнее время, не смела выйти на улицу. Она накидывала его на голову и окутывала им стан, оставляя встречному любоваться одними глазами да узкою, маленькою ручкой, придерживавшею чадру на высоте алых губок.

К описанию грузинского женского костюма мне остается прибавить, что я под этим нарядом, выключая старух, почти не встречал положительно дурных женщин. Жаль, что красота их так скоротечна: развитая в двенадцать лет, в тридцать грузинка уже делается старушкою. Но и в этом отношении встречались замечательные исключения: стоит только вспомнить графиню Симонич, Марью Ивановну, Нину Александровну, княгиню Ману и Туманову.

Во второй половине июня, когда перевал через Крестовую гору очистился от снега, войска, долженствовавшие участвовать в предполагаемой экспедиции, стали переходить на северную сторону гор и собираться около Владикавказа. Кроме четырех пехотных батальонов, роты сапер и одной батареи на Линию были еще направлены пешая грузинская милиция и три пятисотенных полка конницы, набранной за Кавказом из грузин, из армян и из разноплеменного населения мусульманских провинций. Командиром грузинского конного полка был назначен князь Ясси Андроников; мусульманскими полками командовал: первым – князь Давыд Осипович Бебутов, вторым – Мирза-Джан Мадатов. Проходя через Тифлис, милиционеры отдыхали в нем по нескольку суток, в продолжение которых новоприбывший Корпусной командир знакомился с этим новым для него войском, делая смотры и приглашая к столу беков, ханов и князей, поступивших в ряды его не только начальниками частей, но и простыми всадниками. После каждого официального обеда открывалась на площади перед домом барона Розена блистательная «Тамаша», в которой принимали участие кроме милиционеров и городские жители, линейские казаки и гайта-конвой Корпусного командира, сформированный при князе Паскевиче из турецких выходцев. С турками, сербами, болгарами, албанцами и прочими обитателями европейской Турции я был давно знаком, но чисто восточные племена составляли для меня совершенную новизну, и я не пропускал ни одной тамаши, ни другого удобного случая с ними знакомиться.

Тамаша по-грузински, джигитовка на языке линейских казаков, фантазия на алжирском диалекте, как многим должно быть известно, имеют одинакий смысл, означающий конную скачку, ристание, сопровождаемые треском выстрелов и облаками дыма и пыли. В отношении разнообразия народных типов, блеска оружия и конской сбруи, богатства разноцветных костюмов, доброты лошадей, да и самой ловкости наездников едва ли в другом месте кроме Тифлиса можно было на Востоке видеть подобного рода фантазии. Не впутываясь в этнографическое исчисление всех представителей кавказского населения, выказывавших на тифлисской площади свое умение владеть конем и оружием, укажу на одни главные народности, резко отличавшиеся между собой видом, происхождением, верой, одеждой, вооружением, даже породой и самою наездкой своих лошадей. Тут гарцевали линейские казаки, черкесы, грузины,

имеретины и мингрельцы, армяне, татары казахские и шамшадильские, карабахцы и шемахинцы, турки, курды, и между ними христиане, мусульмане, йезиды, поклонники духа тьмы и курды, отличавшиеся смесью поверий, близко подходящею к совершенному безверию.

Казаки и черкесы, в длиннополых черкесках с патронами на груди, обутые в суконные ноговицы и красные, сафьянные чевяки, в лохматых бараньих шапках, с винтовкой в бурочном чехле, перекинутою за спину через правое плечо, при шашке и широком кинжале, скакали на неказистых, но крепких, неутомимых лошадях кабардинской породы. Маленькое черкесское седло и легкая тонкоременная уздечка видимо была приспособлены к дальнему походу, к жизни на коне. Не порывист их налет, но стойко встречают они противника, метко бьют из винтовки и рубят шашкой на убой. Лошади приезжены к покойному ходу, к быстрым поворотам, но не к прыжкам и дыбкам, только мешающим упорной, хладнокровной драке. Карабахцы в высоких персидских шапках из черной мерлушки, в чухах с закатанными рукавами обшитых галуном по всем швам, в высоких коричневых сапогах и шелковых, зеленых или красных шароварах, с перекрещенными на груди ремнями, покрытыми серебряными или золотыми бляхами, вооруженные длинными ружьями без чехла, перекинутыми через левое плечо, и кривыми персидскими саблями, казались неотразимыми наездниками. Персидские и карабахские рослые жеребцы, на которых высоколукие персидские седла и строгие узды светили серебром, золотом и дорогими камнями, нетерпеливо грызли удила и прыгали под седоками. Карабахцы бросались в атаку с быстротой урагана. Казалось, никакая скала не могла устоять против такого налета, а, в сущности, дело было далеко не так опасно. Казаки и черкесы выжидали атаку на месте, встречали карабахцев залпом из винтовок и, выхватив шашки, с гиком неслись в погоню за ними, потому что они никогда не выдерживали дружного огня и давали тыл при одном виде опущенных стволов.

На площадке повторялось только то, что бывало в настоящем деле; каждый сохранял свойственную ему методу драться. Татарин налетает вихрем и также скоро уходит; «кашты» – бежать, по понятиям его есть своего рода молодечество. Казаки и черкесы, не имевшие обычая бросаться на неприятеля очертя голову, зато дрались упорно и, обратив его в бегство, гнались за ним далеко и рубили без пощады. Турки на своих тяжелых,

креслообразных седлах, под которыми исчезали их лошадки, обращали на себя внимание одними красными куртками да огромными чалмами, но как кавалеристы ни в каком отношении не могли равняться со своими родичами татарами и персиянами. Курдов, одеждой и вооружением схожих с турками, несмотря на их необыкновенно красивых лошадей арабской крови нельзя было признать за воинов; это воры и разбойники, способные только на ночной грабеж. Сто курдов не стоили десяти линейцев или черкесов.

Остается указать на грузин, и я припоминаю о них не без удовольствия. Одетые и вооруженные подобно карабахцам, с таким малым отличием, что непривычный глаз его и не заметит, они несравненно храбрее всех татар и даже лучшие кавалеристы. В аванпостной службе и в разворотах малой войны они уступают черкесам и нашим казакам, но как храбрых и ловких наездников их можно назвать лучшими кавалеристами в мире, и по моему мнению грузин на коне, с саблею в руках, стоит двух венгерцев. Кто скакал смелее, кто бросал джерид ловчее грузинских князей? Не раз мне приходилось любоваться молодым Тархановым, как он на всем скаку своего золотистого жеребца, извиваясь змеей, ловил джерид, пущенный ему вдогонку, и, продолжая скакать, посылал его обратно прямо в грудь своего противника.

Кто сидел на лошади, знает, что на это нужна верность руки и глаза, которою немного всадников могут похвалиться. А кто в наездничестве мог равняться с Ясси Андрониковым? На всем скаку через площадь, имевшую не более двухсот шагов длины, он вынимал из-под себя седло и поднимал его над головой и, круто поворотив коня, накладывал его снова, подтягивал подпруги и усаживался прежде, чем достигал до другого конца. О пеших грузинах скажу позже, при случае; теперь упомяну только, что в полку их имелась также сотня одноплеменных с ними тушин, живущих на южном скате гор, у подошвы Барбало, высоко выдвинувшегося из ряда смежных вершин, в соседстве с лезгинами, их родовыми врагами. Не без повода считали тушин самым храбрым народом в Кавказских горах. В одежде они отличались от грузин только плоскою войлочною шапкой, которую они носили вместо персидской «папахи», и тем, что берегли винтовку в чехле из волчьей шкуры. Тушин, находившийся в беспрерывной войне с лезгинами, войне засад, грабежа и убийства, не любил драться издали и имел обыкновение после первого выстрела броситься на неприятеля с саблей или кинжалом в руке. Он имел привычку отрезать правую руку убитого противника и выставлять ее над воротами дома в знак победы и в угрозу своим живым врагам. В глазах европейца этот обычай может показаться несколько неделикатным, но на Кавказе, где нам не раз приходилось видеть не только руки, но и отрезанные головы, о нем судили менее взыскательно.

В последних числах июня обоз корпусной квартиры выступил из Тифлиса на Линию. На волю штабных офицеров было отдано следовать с обозом, ехать на почтовых или каждому идти отдельно мелкими переходами, только бы не опоздать на сборном месте ко дню прибытия Корпусного командира. Непреодолимое желание на свободе осмотреть чудную Военно-Грузинскую дорогу, по которой я в первый раз промчался на почтовых и не в лучшее время года, побудило меня пуститься в дорогу верхом, имея при себе одного казака и денщика с вьюком и с заводною лошадью. При полной свободе располагать временем по собственной воле, останавливаться и дневать где захочу, без писаря, без канцелярии, без бумажного дела я не помню веселее путешествия. Безоблачное небо над головой, вокруг яркая зелень полей и живописные горы располагали как можно более не расставаться с долиной Арагвы. Я ехал не прямою дорогой, а беспрестанно изыскивал объездные тропинки через лес и по горам, делал привалы, где оказывался хороший вид, останавливаясь ночевать в деревне, в которой меня заставал закат солнца и привлекало местоположение. Таким образом, пожалуй, я пропутешествовал бы гораздо долее, чем следовало, ежели бы в Пассанаури не нагнал меня Мирза-Джан Мадатов со своим полком и не напомнил мне, что мешкать не время. Настиг он меня в то время, когда я, выбрав тенистый лесок на берегу Арагвы, устроил в нем свой полуденный привал. Место ему понравилось, он остановил полк отдохнуть, пригласил меня к завтраку, а потом уговорил продолжать с ним дорогу, предложив разделить со мной свою собственную палатку.

Майор Мадатов, служивший в прежние времена переводчиком при Алексее Петровиче Ермолове, был человек честный, весьма неглупый и отъявленный весельчак.

Ермолов его любил, верил ему и во время своих походов и поездок не расставался с ним ни днем, ни ночью и даже укладывал спать возле себя для того, чтобы всегда иметь его под рукой. Крайняя рассеянность была одним из его отличительных

свойств. Сам Алексей Петрович рассказывал, что однажды ночью, во время сна он запустил ему в густые волосы свои пять пальцев и усердно стал чесать голову. Ермолов встрепенулся. «Мирза-Джан! Что ты делаешь?» – «А что? Ничего!» – «Как ничего?» – «Только свою голову чешу», и довольный делом и откровенностью своего ответа, Мирза-Джан повернулся на другой бок и снова заснул. При Паскевиче он поплатился за Ермоловскую милость: четыре года его продержали, как говорится, в черном теле и он, бедный, действительно высох и очень пожелтел, но к счастию не утратил веселого нрава. В управление Розена Мирза-Джан опять стал всплывать на поверхность служебной пучины. Поход с его полком был нескончаемый праздник. В нем служили милиционеры из так называемых татарских дистанций, армяне из Эриванской провинции, курды и йезиды.

Без всякого заметного порядка тянулись по горной дороге толпы всадников, одетых в самые яркие цвета; пошатываясь, плелись за ними сотня тяжело нагруженных катеров и вьючных лошадей. Серебром и золотом оправленное оружие, седла и сбруя как жар горели на ярком солнце. Музыка гудела, стучали маленькие барабаны, и по воздуху разносились гортанные звуки татарских напевов; горное эхо вторило переливам нескончаемых, томительных трелей, составляющих верх искусства для азиатского певца. Эта музыка, служившая людям сигналом к атаке, заставила меня понять отчего азиятцы с таким бешенством несутся на неприятеля; пронзительные звуки ее, раздражая нервы в высшей степени, меня самого приводили в такое непреодолимое волнение, что я был готов, очертя голову, скакать куда угодно, только бы уйти подальше от этого оглушающего визга и стука.

Чуть расширялась дорога или встречалась поляна, и всадники, не мешкая, пускали во всю прыть своих лошадей, ружья начинали трещать безумолку, сколько Мирза-Джан ни запрещал жечь порох на воздух, приказывая беречь его для дела; но удержать людей не было возможности. Азиятцу нужны для веселия скачка, гик и пороховой дым. Ночной бивак представлял не менее любопытную картину. Кто не видал азиятского конного лагеря, не может себе вообразить беспорядка и шума, составляющих его непременную принадлежность в отличие от лагеря европейских регулярных войск. Палатки различных величин, цветов и форм располагаются на лугу как нравится их

хозяевами; около них пасутся жеребцы на длинных чумбурах, привязанных одним концом к задней ноге животного, а другим к колышку, воткнутому в землю. Ни на мгновение не умолкают ржание и взвизги жеребцов, слепившихся в драку; крики озабоченных хозяев вторят им. Большую зеленую палатку Мирзы-Джана, подбитую пестрою шелковою материей, разбивали как следует для начальника на самом видном месте, в центре бивака, пол устилали коврами и подушками; под потолок привешивали разноцветные персидские фонари; нукеры принимались за котлы и кастрюли, расставляли походные печи для печения «лаваша», тонких пресных блинов из пшеничной муки, заменяющих у персиян и у татар хлеб, скатерть, тарелку и салфетку, и часа два спустя начинался пир, продолжавшийся почти до рассвета. Тогда только мы засыпали на несколько часов. До сей поры не понимаю откуда у нас брались силы для такой гульбы. Всю ночь разносили плов, шашлык, сладости, кофей и азарпеш, до края наполненная душистым кахетинским, не останавливаясь обходила многолюдный круг гостей. Только и слышалось: «Алла-верди» – Бог дал – обращаемое от соседа к пьющему соседу, и обычный ответ: «Якши-иол» – добрый путь ему, то есть выпиваемому вину. Мирза-Джан не только был воин и драгоман, он хранил в глубине души огнь поэзии и, подобно Гафизу, сочинял персидские стихи и песни в честь вина и красоты. Неразлучно при нем находившийся хорошенький мальчик-певец, по имени Бадам, имел обязанностью услаждать слух гостей, распевая стихи, сложенные его господином. А после того, едва успевали сомкнуть глаза, как звук зурны подымал нас на новый поход. Протирая глаза, полусонные, дрожа от утреннего холода, мы садились на лошадей и шли дальше.

Четверо суток я провел таким образом в обществе Мадатова, его полкового адъютанта, Нижегородского драгунского полка поручика князя Чегодаева и разных ханов и беков, пивших и гулявших вопреки закону Магомета нисколько не хуже каждого гяура-винопийцы и свиноеда. Не доходя пяти верст до Владикавказа, второй мусульманский полк стал лагерем возле первого полка на широком и привольном лугу, выбранном для них на берегу Терека, а я поехал в крепость, где меня уже ожидали квартира и канцелярия генерального штаба, с длинными столами, скамьями и кипами бумаг.

VI.

Во Владикавказе я застал уже в сборе всех офицеров, составлявших в то время весьма немногочисленную свиту барона Розена: его личных адъютантов барона Александра Евстафьевича Врангеля, Александра Ивановича Попова, ординарца графа Цукато и двух братьев поляков, князей П., которые оба к сожалению не оказались подходящими к духу и понятиям господствовавшим в нашем кругу и, к общей радости, скоро после экспедиции исчезли без следа. Должность отрядного дежурного штаб-офицера занимал ротмистр Дмитрий Алексеевич Всеволожский, всеми любимый и почитаемый за его усидчивый характер, за доброту и за храбрость, которую он от избытка скромности как бы стыдился выказывать. Кроме того, находились при штабе еще несколько очень хороших, но менее заметных офицеров, о которых не могу припомнить в настоящую минуту. Генерального штаба штабс-капитан Норденстам, заболевший в Тифлисе, и адъютанты Корпусного командира Миницкий и Языков, сколько помнится, приехали во Владикавказ не прежде начала августа.

Недолго пользовался я во Владикавказе свободною жизнью и бездселием, позволявшими отлучаться в лагерь к Мирзе-Джану и к князю Бебутову, у которых мне очень понравилось проводить время посреди совершенно для меня нового азиятского разгула. На третий день приехал начальник штаба, и меня потребовали к нему прямо с веселого обеда в татарском лагере. Освежив голову холодною водой, я пошел к докладу, сколько помню ничего не спутал и вернулся на свою квартиру с туго набитым портфелем.

С той поры от раннего утра до поздней ночи мне приходилось сидеть за бумагами, прислушиваясь к скрипу писарских перьев, вместо голосистых песен, так сладостно ласкавших мой непривычный слух. Окончательные приготовления к экспедиции, которою барон Розен намеревался лично командовать, требовали ускоренного исполнения, и Вольховский не имел привычки давать в подобном случай отдых себе или другим. Вечером 9-го июля Корпусной командир прибыл во Владикавказ, нашел все в желаемом порядке, и одиннадцатого, рано поутру, в сопровождении всего штаба и сотни линейских казаков Моздокского полка поехал обратно по Военно-Грузинской дороге.

В ясное летнее утро, когда на небе нет ни облака, перед жителями Владикавказской крепости раскрывается одно из тех живописных зрелищ, для которых туристы в жажде новых впечатлений переплывают моря, чтобы раз взглянуть и пометить в путевых записках, что они собственными глазами убедились в неподражаемой красоте поразительно величавого вида, исключительно принадлежащего такой-то точке земного шара.

И действительно, не легко вообразить картину более величественных и громадных размеров как вид кавказских гор из Владикавказа.

Почти отвесная стена неизмеримой вышины рисуется светлосиними оттенками на прозрачном полотне недальнего горизонта, подпирая небо фантастически вырезанными зубцами; это гранитный хребет Гай. От подножья его лесистые горы темно-зелеными волнами спускаются к берегам Терека и ко Владикавказу. Над зубчатым венцом воздымаются, блистая девственною белизной вечных снегов, великаны главной цепи, отделенной от параллельного с нею Гайского хребта глубокими ущельями, образующими ложе верховых притоков Ассы и Фартанги. В этих ущельях и на высоте крутых отрогов снегового хребта обитали галгаевцы, небольшое общество кистинского племени, приставшие к Кази-Мулле, когда он весной появился в окрестностях Владикавказа. В довершение своей измены, они убили пристава, поставленного над ними от нашего правительства, и двух русских священников-миссионеров и стали спускаться для грабежа на Военно-Грузинскую дорогу. Такого рода неприязненные поступки требовали примерного наказания. По причине малочисленности и крайней бедности галгаевцев нельзя было считать опасными противниками, и приведение их в покорность должно было обойтись без большого кровопролития; но места, которые они занимали в самых высоких и крутых горах, считались у горцев совершенно недоступными для русских войск. Упираясь на это укрепление, галгаевцы дерзко отвергали все предложения покориться добровольно и выдать головой разбойников, убивших пристава и священников.

Необходимость уничтожить веру горцев в силу их притонов и доказать им примером, что для русского войска нет неприступных мест и непроходимых дорог, была очевидна; поэтому Корпусной командир решился с небольшим отрядом в три тысячи пятьсот человек лично идти для наказания галгаевцев, хотя по всем показаниям в земле их существовали одни

тропинки, не всегда удобопроходимые даже для пешего человека.

За Балтой, верст пятнадцать вверх по Тереку, нас ожидали назначенные в состав отряда два батальона Эриванского карабинерного полка, батальон Тифлисского пехотного и батальон 41 егерского полков, двести линейских казаков Моздокского полка, пятьсот человек осетинских конных и пеших милиционеров и четыре горные орудия. По русскому обычаю отслужив сперва молебен, Корпусной командир проехал по рядам, поздоровался с солдатами, поздравил их с походом и приказал, не упуская утренней прохлады, начать движение. Барабан ударил переправу, и войска стали переходить с левого на правый берег Терека, по мосту, устроенному на козлах. Прекрасная погода и новизна всего, что происходило перед нами, кавказскими новичками, поддерживали наше общество в самом веселом расположении; для старых кавказцев подобного рода экспедиция была знакомое дело, хотя и им не зачастую приходилось идти на такие высокие горы. Солдатики, подобрав шинельные полы, по кавказскому обыкновению в фуражках, без ранцев – вместо них через плечо сухарные мешки – шли весело на привычную им работу. Отряд поднялся налегке, без палаток, без повозок, которым в Галгае не было ходу, имея в мешках сухарей на шесть суток и на десять во вьючным транспорте. Штабные палатки, которые предполагали возможным провезти на вьюках, принуждены были оставить на второй ночлег под прикрытием тифлисского батальона и половины осетин; затем оставлены при отряде только три палатки для Корпусного командира, для начальника штаба и для канцелярии.

Не далеко мы ушли колонной, недолго провезли на колесах наши легонькие трехфунтовые единороги; уже на четвертой версте оказались опасные косогоры, дорога сузилась, и войска были принуждены растянуться в нитку; орудия пришлось поднять на вьюки. Несмотря на свою малочисленность отряд занял весьма большое протяжение: от головы до хвоста колонны можно было насчитать до пяти верст. Первый день обошелся самым мирным образом. Мы прошли мимо одного пустого аула и, сделав несколько более десяти верст, остановились возле второго, также покинутого селения. Галгаевцы побросали свои жилища и бежали с семействами и стадами в малоприступные расселины снегового хребта, откуда по мере нашего приближения уходили все выше. Для наказания их нам оставалось только разорять аулы и косить их скудные посевы,

обращавшиеся на прокорм наших лошадей. Уничтожить аул было не легко; сакли, сложенные из плит и крытые шифром, представляли мало пищи для огня; поэтому приходилось их раскидывать, работая ломом и киркой. Кроме того, почти в каждом большом селении встречались высокие башни так прочно сложенные из тесаного камня, что наша горная артиллерия оказалась против них вовсе недействительною. Эти башни можно было уничтожать лишь взрывом, но закладка мин стоила неимоверного труда по причине каменистого грунта, на котором они стояли. По способу каменной кладки и по кресту, высеченному на каждой башне, постройка их принадлежала к тому времени, когда грузинские цари господствовали в горах с одиннадцатого по конец тринадцатого столетия и когда знаменитая царица Тамара, обращая в христианство осетин и соседних с ними кистинцев, принуждена была в нагорных аулах возводить подобные башни для грузинских гарнизонов, имевших задачей удерживать новообращенных христиан в повиновении и в страхе Господнем. В 1832 году кроме этих каменных остатков между горцами центрального Кавказа не сохранилось другого следа христианской веры. Магометанство к ним не проникло, и поэтому они находились в состоянии совершенного безверия. Бедно и дико жили они в своих заоблачных аулах, лепившихся по скалам подобно орлиным гнездам; редкий из них доживал до старости – грабеж, разбой, тайные убийства и канла укладывали одного за другим в раннюю кровавую могилу.

На втором переходе мы еще кое-как провезли артиллерию на вьюках, и полковник Засс, командир Моздокского казачьего полка, имевший начальство над авангардом отряда, перетащил даже своих трех верблюдов, навьюченных кибиткой и прочею кладью; но продолжать движение с тяжестями оказалось столь затруднительным, что в селении Шуани принуждены были покинуть не только вьюки, но и заводных верховых лошадей. Тифлисского полка майору Борейше поручили начальство над устроенным здесь вагенбургом. Чем далее углублялись мы в горы, тем хуже становилась дорога. Тропинки, взвиваясь на крутые гребни или пролегая карнизом вдоль отвесных скал над пропастями страшной глубины, едва имели ширину, потребную для людской ноги и для конского копыта.

В местах, размытых дождевыми потоками, часто случалось, тропинка совершенно прерывалась, и тогда приходилось терять не мало времени, отыскивая обход по скалам или по грудам

скользких камней. Тела орудий, колеса и лафетные станины попривязали к длинным шестам и роздали нести солдатам. Пешие осетины шли в голове отряда, указывая дорогу. Их легкое вооружение, одежда и обувь, совершенно приноровленные к горной жизни, позволяли им шутя пробираться через самые опасные места и не хуже диких коз прыгать по скалам, на которых они родились. Но можно ли оставить без внимания ту спокойную уверенность, с которою русский, на плоскости взрощенный солдат, с тяжелым ружьем на плече, провиантом за спиной, в длиннополой шинели и в неуклюжих сапогах, прошел по галгаевским тропинкам и вскарабкался на скалы, до тех пор считавшиеся доступными для одних туров да кавказских горцев? Вспомнив об осетинской обуви, не могу не указать на преимущество ее перед тяжелыми ботинками с толстою, гвоздями усаженною подошвой, употребляемыми для горной ходьбы в Швейцарии, Штирии, Тироле и прочих гористых европейских землях. Осетины и вообще все кавказцы, живущие в высоких горах, носят самые легкие чевяки из телячьей кожи, подбитые вместо подошвы переплетенными сыромятными ремнями. Гибкая ременная подошва поддается всем движениям ступни и не скользит по камням, цепляясь за самую незаметную шероховатость. С этою легкой и цепкою обувью можно лазить в таких местах, где в сапогах, подкованных гвоздями, неминуемо оборвешься. В кавказских горах я сам носил осетинскую обувь и по опыту знаю, как она легка и удобна; после нее каждый сапог покажется гирей, привешенною к ноге.

На пятые сутки мы дневали на верховье Ассы, близ селения Зоти. Войска стояли биваком на широком луговом скате; ниже нас лежал обширный аул, в котором саперы трудились над закладкой мин под две огромные башни; за селением вековой лес примыкал к подножию скалистого контрфорса снегового хребта; вправо и влево висели над нами, забравшись под облака, купы тесно сплоченных галгаевских скопищ, ускользавших от разорения благодаря своей малочисленности и высоте, на которую не стоило посылать солдат для такого неважного дела.

В этот день раздались первые неприятельские выстрелы. Галгаевцы завязали перестрелку с осетинами, расположившими свой лагерь слишком близко к лесной опушке, и ранили у них двух человек. Зассу было приказано с двумя ротами поддержать осетин и выгнать неприятеля из лесу. Прикомандированный к Зассу граф Цукато и я, более из любопытства, чем по обязанности, сочли долгом не отстать от авангардного командира. Галгаевцы, подпустив к опушке, дали по нашим людям несколько выстрелов и после того обратились в бегство. Часа три гнались мы за ними, сперва по лесу, потом по скалам и наконец по снегу, где нас накрыло таким густым туманом, что в десяти шагах нельзя было разглядеть человека. Поняв бесполезность погони в снегу и в облаках за нашим легконогим неприятелем, мы пошли обратно, отхватив у него только двух усталых, в снегу брошенных ослов.

На обратном пути я сделал неосторожность, которая мне легко могла стоить жизни, но к моему счастью обошлась одним испугом. Узкая тропинка, по которой нам следовало возвращаться, огибала крутобокое ущелье. По каменистому дну его прорывался быстрый поток, в тысяче шагов от своего начала ниспадавший в пропасть, усеянную обломками скал. Водопада не было, струя прерывалась, в глубину летала одна серебристая водяная пыль. Предоставив солдатам идти по обходной дороге, осетины перерезали ущелье в самом устье, переправились через поток немного выше падения его и без дороги стали взбираться на высокий, щебенистый, унизанный скалами гребень, отделявший нас от лагеря. Полковник Засс, хромавший от старой сабельной раны, повредившей ему мускул правой ноги, несмотря на это пошел вслед за осетинами, опираясь на двух безотлучно при нем находившихся казачков, братьев-близнецов, Егора и Ивана Атарщиковых. Местами они были принуждены, отыскав опору для своих ног, ложиться на спину и, подавая Зассу ружье, ежели не доставала рука, втаскивать его таким способом на крутую и скользкую покатость горы.

В числе офицеров, пошедших с Зассом, находился и я. Нетерпеливо взбираясь на гору, я скоро опередил не только своих русских товарищей, но и самих осетин, беспрестанно кричавших мне на ломаном русском языке идти осторожнее. Подъем вдоль крутой и острой ребровины, засыпанной шифровым щебнем, на котором нога скользила, был труден и опасен. Нередко приходилось цепляться руками за встречные скалы или прыгать с камня на камень. В то время незнакомый с головокружением и надеясь на свои силы, я не обращал внимания на предостережения осетин и продолжал идти скорым шагом. Верх горы был уже близок. Мелкие камни вдруг покатились из-под моих ног, я поскользнулся, падая, ухватился за край большого камня и на руках повис над пропастью. По

какому-то непонятному влечению взгляд мой опустился в глубину, в глазах потемнело, дыхание сперлось, руки задрожали, пальцы стали скользить. Еще несколько секунд и мне грозило страшное, безнадежное падение. Смерть казалась неизбежною, а умирать не хотелось. В это мгновение любовь к жизни взяла верх над страхом смерти. С быстротой мысли и силой отчаяния понапружились все мускулы, я уперся руками и коленами и понять не могу, каким чудом стоймя очутился на камне, за который ухватился в минуту падения. Почувствовав под собой твердую опору, я глубоко вздохнул и медленно оглянулся во все стороны, стараясь поверить, действительно ли опасность миновала.

Полковник Засс и осетины, следившие за мной глазами, когда я так опрометчиво взбирался на гору, тотчас увидали и поняли всю опасность моего положения. Помощь была невозможна; гибель и спасение зависели для меня от одного мгновения. Все стали как вкопанные. Засс готов был вскрикнуть. Стоявший возле него осетин закрыл ему рот, шепнув: «Одно громкое слово и офицер пропал, выждем, как решит Аллах». Громкий крик удивления приветствовал мое спасение, когда увидали, что я стою на камне твердою ногой. Осетинский старшина Магомет-Кази догнал меня в несколько минут. «Теперь пойдем потише, – сказал Магомет, подавая мне руку, – не дам тебе идти одному, ты слишком нетерпелив, а в наших горах надо ходить осторожно, как раз оставишь свои кости на съедение волкам да воронам». С этого времени он очень со мной подружился, и я теперь еще берегу черкесскую шубку, подаренную мне Магометом, двадцать пять лет тому назад в память тех дней, когда мы вместе исходили галгаевские горы и чеченские леса.

Между снеговым хребтом и горою Гай открывался глубокий бассейн, перерезанный отраслями обоих хребтов, посреди которых изливались верхние притоки Ассы и Фартанги, двух рек, прорывающихся сквозь горы в северном направлении на соединение с Тереком, принимающим их с правой стороны в свое широкое ложе. На обширных луговых скатах, опускавшихся от подножия каменистых гор к ложу потоков, дающих начало Ассе и Фартанге, встречались весьма удобные лагерные места, и отряд мог двигаться походною колонной, пока крутой овраг или поперечный гребень снова не понуждали, человек за человеком, лошадь за лошадью, тянуться по своей головоломной дороге. В открытых долинах кавалерия опережала отряд

версты на две и более для наблюдения за неприятелем, причем мне приказано было постоянно следовать с конным авангардом, наблюдать за топографом, снимавшим маршрут, и выбирать место ночлега под войска главной колонны. Восемь дней прошло от начала движения, а неприятеля мы еще не видали и даже наверно не знали, куда он девался. Нельзя было считать встречами, когда у осетин из лесу ранили двух человек, и мы напрасно забежали в облака, и когда другой раз три галгаевца забавлялись, пуская в нас камни с ужасной вышины, причем дело обошлось без самого невинного ушиба. Скучно становилось без драки лазить по горам, ночевать под открытым небом на сырой земле, мерзнуть ночью, когда приходилось стоять на высоте, днем вариться на солнце и к тому еще кормиться самым плохим образом. Вещей и припасов мы не взяли с собой из вагенбурга более, чем могло поместиться в саквах, привешенных к седлу у драбанта – так называли на линии прикомандированного к офицеру казака – или сколько были в силах нести пешие денщики, поэтому не богато были снабжены даже самыми необходимыми предметами походной жизни. Чай, сахар, табак быстро исчезали, а подвоза нельзя было ожидать ни с какой стороны.

Для адъютантов корпусного командира лишения существовали только на половину, они пользовались столом у своего начальника, да и нам с графом Цукато было не совсем плохо. Засс, при котором мы постоянно находились, был кавказский старожил, поэтому предугадлив и сверх того, как казачий полковой командир, располагал способами, позволявшими ему кормить нас довольно порядочно. Полагаю, мы некоторое время жили не хуже его высокопревосходительства господина Корпусного командира, у которого метрдотель – не хочу отнимать его достоинства – имел замечательный талант устраивать стол в плоских, обитаемых странах, где водятся города да деревушки, а не навык еще находить, что нужно, и там, где, кажется, ничего нет. Знаю, что у барона Григория Владимировича под конец не стало хлеба, и он у солдат покупал сухари за дорогую цену, а у нас водились еще кое-какие хотя черствые корки; видел я, как у него в безлесных местах перед палаткой едва теплились несколько хворостинок, а у Засса – вокруг один камень – вырастал шалаш из хвороста и бурок, в котором хотя и тесновато было, но лежалось сухо и тепло, а перед входом его весело пылал видный костер. Линеец чутьем дознает, что его ожидает впереди, и по дороге не пропустит ничего, что

может сделаться пригодным на месте. Неприятель зароет зерно: казак его отыщет; в лесу загнездятся брошенные, полудикие куры: казак за версту услышит их квохтанье и, глядишь, бедняки уже висят у него в тороках. Плохо в полном смысле приходилось полковым офицерам да солдатам, которые уже третьи сутки не видали мясной пищи и питались сухарями и водкой.

Небольшое число волов, следовавших за колонной, были съедены в первые пять дней, а неприятельских стад, на которые рассчитывали для продовольствия отряда, мы в глаза не видали. Это было не совсем приятно, но мы довольствовались и тем, что погода нам не изменяла. Ярким светом обливало июльское солнце волнистые луговые горы, по которым мы с сотней казаков и сотней конных осетин далеко впереди главной колонны открывали дорогу к селению Цори, лежавшему перед нами за крутым отрогом горы Гай. Корпусной командир намеревался примерно наказать цоринцев за их грабежи на Военно-Грузинской дороге, то есть выкосить поля и не оставить в ауле камня на камне. На половине дороги нас догнали два осетина и какой-то очень оборванный горец с запиской от начальника штаба на имя полковника Засса следующего содержания: «Галгаевцы, как доносят лазутчики, спасли свои семейства и скотину на высоту горы Гай, где намерены защищаться. По приказанию господина Корпусного командира, прошу ваше высокоблагородие, пользуясь оплошностью неприятеля, занять с авангардом означенную гору. При сем препровождается к вам для указания дороги кистинец, знающий местность».

В этой записке все было ясно и положительно, кроме одного пункта – оплошности неприятеля. В чем заключалась эта оплошность? Лазутчики могли видеть неприятеля за ночь, когда мы находились от него довольно далеко, и ему нечего было нас бояться. Разве вчерашняя беспечность не могла сегодня, с приближением отряда, перейти в зоркую бдительность?

Наши глаза обратились на Гай-гору.

Волнистый, изрытый оврагами, усеянный скалами всех форм и размеров травянистый скат, боронованный отвесною гранитною стеной не менее тысячи футов вышины, открылся нашему взгляду. Крутизна ската возрастала по мере его возвышения. Гранитный вал, на который нам следовало лезть, до половины был задернут облаком. Что скрывалось за непроницаемым туманом, волновавшимся над вершиной Гай-горы, знал один Господь.

Засс поморщился, погладил длинные рыжеватые усы; но вдруг приосанился на седле – он был молодец на лошади и отлично знал кавказские порядки – и спросил своим обычным, полушутливым, полуироническим тоном у присланного кистина:

– Где дорога на гору?

Кистинец разразился потоком гортанных звуков. Переводчик осетин стал перелагать на русский язык.

– Начало дороги ведущей по травянистому скату к верхним скалам осталась далеко за нами, отсюда часа два езды, а место где она сходится с тропинкой, пробитою вдоль отвесного всхода на вершину горы лежит перед самыми глазами.

– Можно ли добраться до скал без дороги, напрямик?

– Верхом невозможно, а пеший человек, полагаю, дойдет.

– А когда доберемся до верхней дороги, можно ли по ней ехать верхом и сколько человек могут идти рядом?

– Верхом никак! Кабы не стали стрелять, то лошадей можно б оглядкой провести в поводу, а так и пешему будет нелегко взойти – дорога тесная и на ней лежат большие камни.

– Есть ли другие пути на гору?

– Есть, гораздо правее, еще два подъема, но она много хуже; по ней опасаются гонять даже козлят.

– Много ли на горе галгаевцев? Лайдаки, говорят, спят.

– Много ли, сказать не могу. В Галгае наберется ружей шестьсот, но не все на горе спят там, когда русские так близко, кажись, не время. Мы их не видим, а они видят все, что мы делаем. Ружье бы не беда, – прибавил кистинец, – а вот что худо. – и указал на камни. – Станут на нас кидать.

Действительно, камень, пущенный с высоты, какая находилась перед нами, мог наделать порядочной беды и стоил любого ядра.

Кончив расспрос, Засс подумал с минуту, потом громко скомандовал: «Садись! Марш!» – и круто поворотил свою лошадь к горе лежавшей влево от нашей прежней дороги.

Находясь возле него, я не удержался спросить по-немецки, смеем ли мы ожидать успеха от нашего замысла, имея для занятия такой сильной позиции, закрытой от нас туманом и обороняемой хотя бы сотнею горцев, не более ста двадцати человек вместе с осетинами, когда люди спешатся и при лошадях будет оставлено необходимое число коноводов.

– Про это ничего не знаю. Мне приказано занять гору «пользуясь оплошностью неприятеля», – прибавил Засс, – иду

ее занимать. А вы что намерены делать? Вы не состоите у меня под начальством.

– Идти с авангардом, как шел до сей поры, и принимать от вас приказания как от старшего.

На этом прекратился наш разговор.

Около версты мы проехали верхом, сначала прямо, а потом давая по покатости углы вправо и влево. Позже мы повели лошадей в поводу и, высмотрев на полугоре широкую скалу, поместили их за нею, а сами пошли, разделившись на две партии, осетины налево, казаки направо, предполагая соединиться у подошвы верхних скал и оттуда наступать уже соединенными силами. Было приказано хранить глубокое молчание и на случай встречи с неприятелем не терять времени на перестрелку, а очищать себе дорогу шашкой. С каждым шагом гора становилась круче, пришлось ползти на четвереньках, цепляясь руками за кочки и за камни. В это время облака, как бы на зло нам, колыхаясь, стали опускаться и сперва скрыли осетин от наших глаз, а потом накрыли нас самих густым, мокрым туманом. Десять минут спустя защелкали влево от нас выстрелы, раздался крик, и потом все умолкло.

Осетины наткнулись на неприятельский караул; наше движение было открыто. На мгновение мы приостановились, прислушиваясь и вглядываясь в туман, в котором едва могли видеть своих собственных рассыпанных по косогору казаков; нетерпеливо хотелось узнать, что будет дальше.

Недолго продолжалось наше неведение. Над нами послышался резкий свист, и мимо пролетел камень, прыгая по крутому скату горы; вслед за ним летели другие камни.

«В гору, казаки! Живо вперед, молодцы», – закричал Засс и, ковыляя раненою ногой, цепляясь ногтями, стал карабкаться на крутизну; Цукато и я едва поспевали за нашим хромоногом командиром. В это мгновение гора дрогнула, громовой удар разразился над нашими головами, камни посыпались градом; обломки скал, рикошетируя по скату, бороздили землю, дробились и сыпали во все стороны свои смертоносные осколки. В тумане раздались крики и стоны. Недалеко от нас камень огромной величины налетел прямо на казака, дал рикошет, и на том месте, где прежде был живой человек, осталась в землю врытая масса крови и мяса. Десять шагов дальше не было видно, кто ранен, кто убит. Гром усиливался, камни ложились около нас все гуще да гуще, Засс не переставал кричать: «Вперед!» Люди лезли на гору. Графа Цукато ударило

осколком в плечо, он упал, сшиб меня с ног, и мы стремглав покатились под гору, напрасно стараясь уцепиться за гладкую почву. Я ободрал себе все ногти. К счастию, ниже находившиеся казаки, перерезав дорогу, остановили наше падение. Засс, увидевший как мы оба разом упали, счел нас убитыми и так был поражен этою мыслью, что у него, как он признавался позже, совершенно невольно вырвалось приказание: «Казаки, стой! За скалу!» Вправо от нас шпилем торчал высокий камень, имевший шагов двадцать в основании. Во мгновение ока сплотилась за ним человеческая масса, унизавшая на поверхности лохматыми шапками и ружьями, торчавшими во все стороны подобно ежовой щетине. Под камнем был мертвый угол, укрывавший от ударов, посылаемых сверху шагов на восемь. На этом пространстве прижалось нас человек шестьдесят. Пятерых, сколько помню, не досчитались. Несколько казаков, несмотря на опасность, поползли отыскивать подшибленных. Положение наше и за скалой было не совсем приятно. В густом тумане, между небом и землей, вдали от всякой помощи мы тянули время в томительном ожидании неотразимого неприятельского нападения. Против нашей полусотни неприятель мог выставить несколько сот ружей; все выгоды были на его стороне, он знал местность и владел неприступною высотой. Куда девались осетины, нам было неизвестно.

Тем временем камни продолжали валиться с горы, свист и грохот оглушали нас; случалось, огромный гранитный обломок ударял в вершину нашей спасительной скалы и она, вздрогнув, начинала покачиваться: того и гляди накроет на вечные времена. У всех лица повытягивались; даже Засс перестал шутить и трунить, кажется, он шептал про себя молитву; казаки, те молились громко, и каждый призывал на помощь святого, к которому в чувстве душевного смирения он привык обращать свое упование.

Опыт доказал совершенную невозможность продолжать наступление: не много бы нас дошло до верху, да и тех неприятель мог встретить на узкой тропинке и одного за другим сбросить с высоты; оставаться за скалой было опасно и ни к чему не вело; отступить без приказания Засс не хотел. Я предложил избрать средний термин: написать к начальнику штаба записку с просьбой о подкреплении или разрешении отступить сегодня с тем, чтобы завтра возобновить атаку. Засс согласился на мое предложение, и через десять минут два казака побежали под гору с категорическим объяснением нашего положения.

Пока мы ждали ответа, камни не переставали валиться с горы, то по одиночке, то засыпом, напоминавшим первые моменты нашей атаки. При каждом новом каменном урагане, заставлявшим колебаться скалу, за которою мы скрывались, проводник кистинец морщился, издавая какие-то непонятные звуки.

– Что бормочешь? – спрашивали через переводчика.

– Что бормочешь! Станешь бормотать, когда смерть близка. Много я воевал в горах, а такой страшной беды не видал. Не сдобровать нам! Пожалуй, в тумане и не доглядишь, как набегут галгаевцы да станут стрелять со всех сторон; а они бьют метко и очень злы: никого не пощадят. Зачем было идти так мало? Позади много солдат и ничего не делают.

Касательно беды я был готов согласиться с кистинцем. За год перед тем два дня сряду гул варшавских батарей и свист польских ядер раздавались в моих ушах; но гром стоорудийных батарей, рассылавших под Варшавой гибель в наши и в неприятельские ряды, можно было признать довольно сносною музыкой сравнительно с отвратительным, душу потрясающим грохотанием гранита, летевшего на нас с высоты Гай-горы.

Тем временем, не далее двух ружейных выстрелов осетины также сидели на полугоре за скалами. Местность выдалась таким образом, что все камни, бросаемые с вышины, минуя их, летели к нам. Кроме того, туман, прояснившись со стороны, открыл им вершину горы. Они видели, что на ней происходило, и о каждом посылаемом к нам гостинце предупреждали нас криком: «дур-дур» – берегись.

Осетинское «дур-дур» так глубоко врезалось в память имевших удовольствие 19-го июля просидеть на Гай-горе, что долгое время спустя, услышав «дур-дур», нередко пущенное на воздух с целью над ними позабавиться, они невольно вздрагивали и бросались в сторону, полагая, что камни снова летят к ним на голову.

Часа полтора мы уже прождали, а ответа еще не было.

Изредка пролетал мимо нас камень, как бы пущенный только в ознаменование того, что на горе не дремлют. Неожиданно нарушилось это бездействие. Гора заходила ходнем, загудели камни, засвистали осколки. Наклонив головы, прижавшись к скале, просидели мы около двадцати минут, не слыша собственного голоса от страшного шума и не понимая, почему неприятель так расходился, когда мы сами и не думали трогаться с места. После того Гай-гора совершенно замолкла; это был последний акт представления, в котором судьба заставила нас разыграть довольно незавидную роль. Ротмистр Всеволожский, прибывший к нам скоро после того с приказанием отступить, разъяснил причину последней грозы, разразившейся над нами с такою неожиданною силой. Владимир Дмитриевич Вольховский лично двинулся подкрепить нас одним егерским батальоном, но был встречен таким густым градом камней, что немедленно остановил движение, убедившись в невозможности занять гору при настоящих обстоятельствах, вследствие чего и поручил ему отыскать и привести обратно в лагерь нашу слабую команду. Пока успели наступить сумерки. Пользуясь темнотой и взяв предосторожность идти один за другим не ближе пяти шагов, на случай, если бы неприятель вздумал преследовать нас каменьями, мы отступили без всякой потери на обратном пути. В лагере все без исключения радовались счастью, позволившему нам отделаться так дешево. Кроме потери, о которой я уже сказал, у осетин оказались еще двое раненых и несколько подбитых казачьих лошадей. Рана графа Цукато была не опасна. Камень ударил вскользь, вырвал мясо, но не повредил кости. Это угомонило на несколько дней его воинственные порывы, потому что он имел привычку кидаться повсюду, где только раздавался выстрел.

После этого утомительного дня нам не удалось даже отдохнуть как следует. На другое утро барабан разбудил нас далеко до рассвета. Отдано было приказание с восходом солнца атаковать гору разом тремя колоннами: пехоте по нашей вчерашней дороге, осетинам и двум сотням спешенных казаков правей, по подъемам, на которые указывал наш проводник. Утро было прекрасное. Зубчатая вершина Гай-горы, чистая от облаков, ярко освещалась лучами восходящего солнца. На верху чернелись люди.

По сигнальному пушечному выстрелу, войска полезли на гору. Озадаченный неприятель пустил в них без вреда несколько огромных камней и потом исчез; он истощил накануне весь запас камней, заранее приготовленных им на гребне горы, и теперь не надеясь на одну ружейную оборону, бросился спасать свои семейства.

На высоте перевала ожидало нас непривычное зрелище: над нами чистое голубое небо и ясный день, под ногами взволнованное облачное море, из которого возвышались одни остроконечные вершины окрестных гор. Владикавказ, Терек и Линия, видные отсюда в хорошую погоду, были задернуты

непроницаемым туманом. Вершина Гай-горы представляла обширную площадь, наклоненную к северу, от которой весьма некрутая дорога спускалась в глубокое лесистое ущелье речки Фартанги. Богатый ключ студеной воды, разливавшийся обильным ручьем, и густая, жирная трава, покрывавшая слегка покатый ровный луг, выполняли все условия, требуемые от хорошего лагерного места. На половине спуска чернелся сквозь туман покинутый жителями аул Гай. Пока я с помощью моего топографа расставлял войска, несколько казаков и осетин отправились пошарить в ауле и при этом случае открыли свежий след многочисленного стада, которое галгаевцы, уходя от нас, погнали вниз по Фартанге.

По первому известию об этом важном открытии полковник Засс, всегда решительный в подобных обстоятельствах, не дожидаясь приказания от высшего начальства, схватил две ближайшие роты егерей и побежал с ними под гору, приказав в то же время сотне линейцев его догонять. Говядина была очень нужна для солдат, кормившихся уже несколько дней, как мною было сказано, одними черствыми сухарями. В виду совершенно для меня нового поиска за барантой я совсем забыл о существовании походной канцелярии и присоединился к казакам, никого не предупредив. Судя по следу, скотина не могла уйти далеко. Надеясь догнать ее в нескольких верстах от лагеря, солдаты сбросили с себя сухарные мешки, казаки облегчили лошадей от сакв, и в поспешности мы забыли взять с собой проводника. Наш путь пролегал по ущелью Фартанги, скалистому в начале, а далее покрытому густым вековым лесом, сквозь который прорывался крутоберегий поток. В ущелье мы не могли ошибиться и без проводника, но ошиблись в дороге и на первых порах попали в такое тесное место, по которому нельзя было провести лошадей даже в поводу. Дорога, пролегая по скату горы, привела нас к навесной скале, составившей род жолоба, вдоль которого мы на расстоянии ста саженей принуждены были ползти на коленях. Спешив половину казаков и покинув наших лошадей, которых приказано было отвести в лагерь, мы не пошли, а можно сказать побежали вслед за стадом.

Далее представилась нам новая преграда. Дорога уперлась в обрывистый берег речки, глубоко под нами кипевшей в своем тесном ложе; на другой стороне было видно продолжение тропинки. Моста не было. Сто шагов ниже огромная сосна, подмытая дождевым протоком, торча во все стороны обнаженными корнями и поломанными сучьями, перевалилась через ручей. Засс приказал переходить по сосне, и наши солдатики ловко перебрались на другую сторону по этому ногополомному мосту, кто твердым шагом, кто ползком, и никто из них не сделал опасного прыжка в речку. Нужда и неохота поломать косточки научила их и без предварительной науки. За сосной опять ускорили шаг. Брошенный осел, потерянные кадушки и мешки с просом, наконец не поспевший за стадом, свежеубитый, к дереву привязанный теленок служили явными признаками близости неприятеля и поспешности, с которою он от нас спасался. Усталые, голодные, поддерживаемые одною надеждой добыть поживу, мы гнались таким образом более двадцати верст.

Под конец ущелье расширилось, лес прекратился, и перед нами явилась волнистая местность усеянная небольшими селениями, из которых слышался лай собак. Мы забежали к галашевцам, обществу гораздо сильнее и воинственнее Галгая; а нас было всего не более трехсот пятидесяти человек. Не оставалось тут времени задумываться. В двух ружейных выстрелах перед нами пестрела на высоком холме рогатая добыча, ради которой мы так сильно себя измучили. «Скотина!» – крикнули казаки и солдаты, и откуда взялись прыть и сила. Обгоняя один другого, люди мигом обогнули холм для того, чтоб отрезать у стада дорогу в лес, затрещали ружья, пули зажужжали в воздухе, и вся наша ватага без удержу рванулась на высоту. Неприятель бежал в лес, пуская в нас на уходе безвредные выстрелы и побросав на лугу кадки и ведра со свеженадоенным молоком, с медом, мешки с просом, и другие пожитки. Голодные солдаты горстями глотали муку, руками и фуражками черпали молоко, которым и мы с Зассом не побрезгали после двадцативерстной гоньбы.

Около трехсот коров, несколько десятков коз и десять ешаков, достояние большей половины галгаевского населения, попались в наши руки. Они были разорены в конец.

Таков закон войны: сила была на нашей стороне, поэтому им следовало голодать, а нам принадлежало право набивать себе желудок их добром.

Однако не позволительно было долго мешкать на месте, имея за собой длинное, тесное и лесистое ущелье, а перед собой галашевцев в соединении с галгаевцами, которые, опомнившись от первого испуга, легко могли пересчитать нашу силу, и вследствие этого перечета через меру ободриться. По аулам

уже стали раздаваться сигнальные выстрелы. Дав людям отдохнуть полчаса и утолить первый голод молоком и чем попало, Засс приказал идти обратно. Одна рота пошла впереди, за нею погнали скотину, в ариергарде остались другая рота и пятьдесят линейцев. Уморившись донельзя и износив в этот день подошву у моих единственных сапогов, я отправился в обратный путь на отбитом ешаке, без седла и без узды, пользуясь для управления его длинными ушами. Трудно было справиться: уши скользили в моих руках и он, наклонив голову, упорною мелкою рысцой бежал обратно в свою конюшню. Напрасно солдаты, которых мы опережали, старались его остановить, хватая за уши и за хвост: он урывался от них с непреодолимым упрямством. Едва успели мы войти в лес, как скотина, почуя дух родного стойла, смяла передовую роту, меня сбила с ешака, к счастью еще не под свои ноги, и густою фалангой пустилась пробивать себе дорогу к Гай-горе.

Страшная сделалась суматоха: люди кувыркались под гору, – правда не высоко, мы находились в начале ущелья – кричали, обороняясь от рогов и от копыт домолюбивых животных, и многие были порядочно помяты; но это нас не смущало: скотина не могла потеряться, она бежала прямо в отряд. Вся забота Засса была обращена на ариергард, откуда нам грозила более действенная опасность. Скоро наступила ночь, и в глубоком лесу нас застигла такая темнота, что мы принуждены были остановиться, попытавшись сперва пройти некоторое время, придерживаясь один за шинель другого, чтобы не растеряться. Собраться было невозможно, солдаты легли на землю, сбившись в отдельные кучи. Ночевали без огней, опасаясь неожиданного неприятельского нападения, и от этого не раз поднималась тревога. Караулы, выставленные от куч, не видя перед собой ни зги и стреляя по кавказскому обыкновению на шорох, беспрестанно открывали огонь друг против друга и только перекликнувшись позже узнавали, что имеют дело не с неприятелем, а со своими. Благодаря их лежачему положению пули, перелетая через голову, не наделали беды. Завернувшись в бурку, я лег на голыши высохшего ручья и заснул так крепко, что поутру меня долгое время качали и обливали водой, пока заставили раскрыть глаза. Вместо привычного чая, мне поднесли еще сонному ко рту кусок горячей жареной телятины и стакан ключевой воды; с нами не было ни хлеба, ни вина, ни водки.

Лагерь мы застали в густом тумане. Скотина была вся захвачена и частию уже роздана войскам на порцию; благодарность их заставила нас помириться с темною стороной нашей экспедиции. Лично я не имел повода ею похвалиться. Я устал до изнеможения, износил сапоги, которые пришлось заменить осетинскими чевяками; а начальник штаба принял меня крайне неприветливо, даже промолвил слово об аресте. «Дело ли офицера генерального штаба гоняться за скотиной и помогать отбивать баранту? Это хорошо для казачьего командира, – говорил он, указывая на кипу бумаг, привезенную нарочным из горцев во время моей бесспросной отлучки. – Теперь извольте поправить свою необдуманность». И я поправил ее, работая весь день до позднего вечера. Не знаю, случалось ли кому из тех, у кого станет терпения пробежать эту часть моих воспоминаний, вести переписку в облаках, а я скажу им на всякий случай, что подобное дело очень не комфортно. По спине пробегает мороз, рубашка, пропитанная сыростию, липнет к телу, чернила расплываются по бумаге, желудок ноет, в голове туман не яснее, чем в атмосфере; а мысли должны неукоснительно следить за трудным смыслом самых разнородных донесений и сообщений, на которые следует отвечать; форма должна быть соблюдена, запятые имеют находиться на своих местах. Благо еще, что не Иван Иванович контролировал слог и знаки препинания; Вольховский все-таки имел более грамматической правилотерпимости. Памятна осталась мне эта стоянка в облаках. К величайшей радости на другой день, когда мы перевалились через Гай-гору обратно и пошли к Цори, летнее солнце, прорвав сырую завесу тумана, снова прогрело наши окоченевшие члены.

В это время мы набрели опять на одну из тех тропинок, с которых нельзя своротить ни вправо, ни влево, и обогнать впереди идущего человека положительно невозможно. Отряд тянулся бесконечною нитью, лошадь за лошадью, солдат за солдатом. В голове шли саперы и два батальона Эриванцев, в хвосте кавалерия, прикрытая сзади егерским батальоном Резануйлова. В центре колонны солдаты несли артиллерию на руках и ехал Корпусной командир со штабом. Ничего не может быть скучнее и утомительнее подобного шествия, особенно для конного. Пеший бережет одного себя, конный принужден беречь себя и лошадь, беспрестанно остерегаясь наехать на товарища и оглядываясь чтобы на него самого не наехала сзади, не попортили лошади, или не сбросили его с горы. Один чело-

век остановится, и все за ним идущие должны стоять. Часа три уже мы томились таким образом, думая только об одном, как бы не оступилась лошадь. По расчету времени голова колонны должна была подходить к Цори, откуда, по показанию проводников, дорога спускалась в долину удобную для расположения лагеря. Неожиданно люди стали останавливаться, примыкая один к другому.

– Не останавливайся там, впереди! подавайся! – кричали из штаба.

– Нельзя идти! впереди стали! отняли дорогу! – раздавались солдатские голоса из среды колонны.

– Спросить почему остановились, – повторили из штаба.

Вдоль дороги пронесся вопрос: «зачем впереди стоят?»

Долго ждали мы, пока тем же путем вернулся ответ: «неприятель не пущает».

Барон Розен, выбрав удобное местечко, слез с лошади; мы все последовали его примеру. Он было попробовал пробраться мимо солдат, столпившихся на тесной дорожке, но на первых же порах отказался от своего предприятия. Григорий Владимирович, весьма хладнокровный под огнем, боялся, однако, крути; у него кружилась голова. В каждом сомнительном месте он слезал с лошади, переводчик Гойтов брал его под руку, а линеец держал сзади за концы шарфа; таким образом его спускали под гору и переправляли через все опасные овраги и водомоины. Солдаты, видя его беспрестанно в шарфу, которого простые офицеры не носили во время экспедиции, прозвали его за эту форменность своим бессменным дежурным.

Подметив же, как его с помощью шарфа спускают под гору, какой-то солдатик остряк шепнул товарищу: «Вишь, земляк, это у него шарф не то, что из-за бессменного дежурства: это у него наместо оттужного каната».

Чтобы разъяснить дело, начальник штаба пошел, взяв с собой Всеволожского и меня, пробираться мимо солдат, не знающих как посторониться, чтобы нас не столкнуть и самим не упасть с обрыва. Не без труда добрались мы на ружейный выстрел от головы колонны, но тут принуждены были остановиться; дорожка сузилась до того, что на ней одинокий человек едва мог удержаться, и вся была занята непрерывною нитью солдат. В двух выстрелах впереди виднелась над самою дорогой высокая четырехугольная башня, знакомой нам постройки, потому что мы уже несколько их взорвали на воздух. С пункта, до которого мы дошли можно было гораздо легче

переговариваться с капитаном Богдановичем, шедшим в авангарде со своими саперами. Вольховский обратился к нему через посредство офицера стоявшего на дороге шагов сто перед нами.

– Что делается у вас? Почему люди стоят?

– Неприятель засел в башню, мимо которой дорога проходит не далее двадцати шагов, и стреляет очень метко; передовой солдат убит, двое последующих получили опасные раны. Если отряд станет дефилировать под выстрелами, то у нас без всякого проку перебьют невесть сколько людей.

– Что можно сделать: обойти башню, взять штурмом, районировать?

– Ничего подобного делать нельзя; следует отойти на первый раз, потом оцепить башню для того, чтобы не упустить неприятеля и приняться за него не торопясь, если хотя несколько жалеют людей.

Богдановича знали офицером опытным, храбрым и отлично понимающим свое дело. Ему можно было поверить на слово; поэтому весь отряд, кроме головного эриванского батальона, повернули налево кругом и расположили биваком в ближайшей лощине. После того начальник штаба поехал осмотреть башню и посоветоваться с Богдановичем. Она оказалась весьма крепкой постройки, стояла на отдельной гранитной скале и совершенно командовала дорогой при начале спуска в долину. Двери в башню, сплоченные из толстых дубовых досок и заваленные внутри камнем, находились сажени три выше почвы. Лестницы к дверям не имелось. Узкие бойницы пробитые по всем направлениям позволяли стрелять во все стороны; в башне царствовало молчание, прерываемое лишь редким огнем, по которому, однако, нельзя было заключить сколько человек в ней заперлось. Осетины, после долгого искания, нашли способ перебраться через гору в аул, лежавший за башней, по крутизне дозволявшей пройти человеку, освобожденному от ноши. Отряд не мог следовать этим путем с лошадьми и вьюками; к тому же вопрос заключался теперь не в том, как миновать башню, а каким способом ее можно взять и наказать горцев, имевших дерзкую мысль загородить нам дорогу.

Прежде всего окружили башню, переправив через гору две роты эриванцев путем, найденным осетинами. Стрелковую цепь уложили за камнями и в ближайших саклях, проделав бойницы к стороне неприятеля. Из башни, не взирая на дальнее расстояние, стреляли так метко, что солдат не смел показать

ни головы, ни руки, ни клочка своей шинели без страху тотчас быть пронизанным пулей. Потом сделали попытку разбить двери артиллерией, но скоро пришли к убеждению, что против них наши трехфунтовые гранаты совершенно бессильны. Остался последний и самый верный способ – взорвать башню на воздух, но и тут встретилось сильное затруднение. Скала, на которой стояла башня, не позволяла ни провести минной галереи, ни заложить колодца; пробивать гранит у нас недоставало инструмента и времени. Чтобы не терять людей без проку, представлялось одно средство: провести блиндированный ход к основанию башни, пробить стену и заложить мину в погребе. Лес, потребный для крытого хода, отыскали в ауле, на веревках перетащили через гору и принялись за работу. На третьи сутки пять пудов пороху, заколоченного в крепкий, железом окованный ящик, лежали в погребе, несмотря на все усилия неприятеля остановить работу. Он пробил даже свод погреба и стрелял в сапер, работавших в нем над закладкой мины. Несколько раз предлагали осажденным сдаться, но каждый раз они отвергали наше предложение. Когда все было приготовлено ко взрыву, добрый, человеколюбивый барон Григорий Владимирович еще раз послал сказать галгаевцам, чтобы пожалели себя, и в случае сдачи обещал им жизнь и даже размен. Они согласились, наконец, выйти из башни, попросив два часа сроку на очистку двери от камней, которыми был завален выход. В назначенное время весь штаб съехался к башне, одна рота стала в ружье для приема пленных, двери распахнулись, сперва вылетели с полдюжины ружей, потом спустились по веревке два оборванные, грязные галгаевца, которые, скрестив руки на груди и глядя на нас исподлобья, ждали своей участи.

– Где же остальные, отчего они не выходят? – спросили у них через переводчика.

– Нас только и было!

Через десять минут в нашем виду из-под башни поднялся высокий столб дыма, раздался глухой гул, масса камней с треском рухнулась на землю, и когда ветер разнес густую пыль, на месте ее оставалась одна груда старых развалин. Для утверждения истины христиане строили в горах крепкие башни; для восстановления порядка такие же христиане принуждены были их уничтожать. Обыкновенное противоречие в потребностях прошедших веков и настоящего времени.

В эту знаменитую осаду мы потеряли: убитыми трех, ранеными одиннадцать человек. Подобные случаи не раз бывали на Кавказе и в прежние времена. Осетины во время восстания заключались в башнях человек по сорока и больше и нередко защищались в них до последней крайности, предпочитая сдаче верную смерть от взрыва. Но подобную оборону можно было встретить у одних галгаевцев, в первый раз видевших в своей земле русские войска и незнакомых еще со всеми способами разрушения, которыми обладает европейское военное искусство.

На другой день, разорив Цори до основания, мы выступили в Шуани, где нас ожидали наши палатки, платье, чистое белье и съестные припасы, в которых мы крайне нуждались. Невыносимо дурная погода сопровождала наш поход. Мелкий, холодный дождик моросил с раннего утра; горы были застланы густым серым туманом, сквозь который вяло тянулись уморенные солдаты, осторожно шагавшие по скользкой дороге. Намереваясь в Шуани уехать из отряда, Корпусной командир остановился на небольшой площадке и стал пропускать мимо себя войска, благодаря их за службу и прощаясь с ними на короткое время. Посреди карабинер шли два пленные защитника цоринской башни, одетые в лохмотья и покрытые дырявыми, поношенными бурками. Их вели солдаты на длинных веревках с туго заспину связанными руками. Поравнявшись с Григорием Владимировичем, в котором они еще накануне имели случай узнать главного начальника, галгаевцы принялись знаками и голосом о чем-то молить. Жалобные лица их растрогали барона.

– О чем просят бедняги? – спросил он у возле стоявшего Гойтова.

– Жалуются на холод. Руки связаны так крепко, что они не в состоянии придерживать бурки. Просят, чтобы веревку ослабили.

– Распустить веревки! – приказал барон.

– Опасно, пожалуй, убегут, – заметил кто-то из числа штабных офицеров.

Барон оглянулся, как бы отыскивая глазами нечеловеколюбивого критика своих распоряжений.

– Бегут из средины батальона? Как? Куда? Чистые пустяки! – и повторил приказание.

Пленным ослабили веревка до такой степени, что им можно было, скрестив руки на груди, закутаться в свои бурки. По окончании операции батальон пошел своею дорогой.

Час спустя у Эриванцев поднялась сильная суматоха. Офицеры засуетились, горны протрубили «налево» и «прямо вперед», солдаты ощупью стали спускаться под гору, ничего не видя перед собой кроме густого тумана, в котором глухо звучали клики: «Нет, не сюда, иди правей, иди левей, тут кручь, гляди, оборвешься!» Долго мы не могли добраться толку, для чего это делается, наконец загадка объяснилась. Галгаевец пропал и вместе с ним исчез карабинер. Проходя над крутым обрывом, он неожиданно бросился с горы и увлек за собой унтерофицера, неосторожно обвязавшего конец веревки, которою были спутаны его руки, вокруг своего пояса, что и послужило к его гибели. Дело произошло в виду ближайших солдат так быстро, что они не успели помочь своему товарищу. Долго отыскивали без всякого прока несчастного карабинера и сколько ни жалели о нем и как ни рвались вернуть пленного, а все-таки были принуждены уйти, покинув их на произвол судьбы. В последствии мы узнали от лазутчиков, что галгаевец, хорошо зная местность, выбрал для бегства удобный пункт, съехал без вреда до известного ему уступа горы, там окончательно освободился от ослабленной веревки, а солдата, ошеломленного падением, столкнул в пропасть.

В Шуани мы нашли вещи и маркитанта со свежим хлебом и прочими припасами и наконец получили возможность не только наполнить как следует отощалые желудки, но и обратиться в опрятных, порядочных людей, освободившись от белья сомнительной чистоты, от загрязненного платья и от прорванных сапог.

Оставив войска следовать обыкновенными переходами, Корпусной командир со всем штабом поехал из Шуани под прикрытием конного конвоя прямо во Владнкавказ, показавшийся нам после нашей горной экспедиции идеалом человеческого комфорта. На терекской переправе стоял подполковник Челяев с грузинскою пешею милицией. Перед палаткой его покоился на козлах огромный бурдюк, из которого грузин цедил в серебряную азарпеш душистую, живительную влагу благодатной Кахетии, приветствуя каждого из нас всегда приятным, но в этот раз особенно сладко звучавшим «Аллаверды». Горы плова и ряды ружейных шомполов, на которых шашлык шипел над ярким жаром, довершали встречу, приготовленную Челяевым для возвращавшихся из голодной экспедиции.

Следует добавить, что пока мы по вершинам гор стяжали довольно бесплодную славу неутомимых ходоков, осетинские милиционеры, оставленные в Шуани, побуждаясь более практическим взглядом на вещи, отыскали и, не потеряв ни человека, отбили до трех тысяч галгаевских баранов, которые и были отданы им в бесспорное владение. Таким образом, кончилась 28-го июля галгаевская экспедиция, теперь совершенно забытая, а в свое время наделавшая на Кавказе не мало шуму.

В Владикавказе собрались тем временем все остальные войска назначенные для чеченской экспедиции, долженствовавшей составить второй период военных действий 1832 года. Пока мы были в Галгае, командовавший войсками на Кавказской Линии генерал-лейтенант Вельяминов ходил с небольшим отрядом обращать в покорность отложившихся галгаевцев, в чем и успел без большого труда и кровопролития.

VII.

На левом фланге Кавказской Линии самые злые противники наши была чеченцы, занимавшие глубину лесов, покрывающих пространство, лежащее между снеговым хребтом, Сунжею и Акташ-су. Враждебные столкновения с ними начались со времени первого поселения казаков на берегу Терека, во второй половине прошедшего столетия.

С тех пор вражда чеченцев к русским возрастала с каждым годом, принимая все более и более характер непримиримой, истребительной войны. Когда между лезгинами распространилось учение, из которого возник мюридизм, и дагестанские нагорные общества признали над собой духовную власть Кази-Мегмета, тогда и чеченцы не замедлили присоединиться к имаму, проповедовавшему «газават», священную войну против русских, их коренных врагов. И как было не идти за таким учителем, который по пути грабежа и беспощадного мщения вел к вратам рая каждого правоверного, посвятившего себя на истребление гяуров. В 1831 году они участвовали с Кази-Мегметом в разграблении Кизляра и во всех его вторжениях в наши пределы и до того умножили свои воровские набеги на Линию, что по левую сторону Терека ни многолюдные станицы, ни далекая, пустая степь не были безопасны от разбоя. По

ночам, бывало, на станичных улицах убивали казаков, уводили со двора лошадей и скотину, а не раз случалось, партии их степью проходили к устью Волги. Два года мы оставались в оборонительном положении, изредка отыскивая неприятеля в его воинственных пределах для отплаты за слишком уже дерзкое нарушение безопасности на Линии. Не все наши карательные экспедиции были успешны в течение этого периода. В 1831 году начальник Кавказской Линии, генерал Эмануэль, потерял в Аухе до тысячи человек и принужден был вернуться, дав только новую пищу дерзости чеченцев. Эмануэля заменили на Линии генерал-лейтенантом Вельяминовым.

Назначение этого генерала, друга и сослуживца Алексея Петровича Ермолова, при котором он в Тифлисе много лет занимал должность начальника штаба, повлекло за собой разительную перемену в системе действий и повело бы впоследствии к постепенному, нашим политическим выгодам не противоречащему умиротворению края, ежели бы в Петербурге менее оспаривали его мысли, и жизнь его не прервалась так скоро. Алексей Александрович Вельяминов бесспорно принадлежал к числу наших самых замечательных генералов. Умом, многосторонним образованием и непоколебимою твердостью характера он стал выше всех личностей, управлявших в то время судьбами Кавказа. Никогда он не кривил душой, никому не льстил, правду высказывал без обиняков, действовал не иначе как по твердому убеждению и с полным самозабвением, не жалея себя и других, имея в виду лишь прямую государственную пользу, которую, при своем обширном уме, понимал верно и отчетливо. Никогда клевета не дерзала прикоснуться к его чистой, ничем не помраченной репутации. Строгого, с виду холодного, малоречивого Вельяминова можно было не любить, но в уважении не смел ему отказать ни один человек, как бы высоко он ни был поставлен судьбой. Я не встречал другого начальника пользовавшегося таким сильным нравственным значением в глазах своих подчиненных. Слово Вельяминова было свято, каждое распоряжение его безошибочно; даже в кругу самонадеянной и болтливой военной молодежи, приезжавшей к нам из Петербурга за отличием, признавалось делом смешным и глупым разбирать его действия. Горцы, знакомые с ним исстари, боялись его гнева как огня, но верили слову и безотчетно полагались на его справедливость.

Не увлекаясь теориями, которые наши государственные люди того времени вырабатывали относительно покорения

Кавказа, Вельяминов совершенно отвергал оборонительную систему; усиленные наступательные операции и набеги, без цели и без способа удержать за собой пройденное пространство, признавал злою необходимостью для усмирения горцев на короткое время, а для полного покорения Кавказа считал полезным, медленно подвигаясь вперед, утверждаться не одною силою оружия, но основательными административными мерами. Во избежание истощительной для государства траты людей и денег, он советовал более предоставить действию времени, сохраняя притом для русского войска хорошую практическую военную школу. Беспристрастный историк позже раскроет, насколько Вельяминов был прав в своих предположениях.

Барон Розен, ничего не предпринимавший в этом году без совета и согласия Вельяминова, сознавая его превосходную опытность в кавказской войне, окончательно решился передать ему непосредственное начальство над войсками чеченского отряда, сохранив для себя положение зрителя и принимая участие в деле лишь через распоряжения, требовавшие согласия главноуправляющего краем. Отдохнув неделю во Владикавказе и покончив закавказские дела присланные из Тифлиса на разрешение, Корпусной командир 5-го августа выступил в Назрань, где его ожидал Вельяминов с войсками, собранными им на Линии.

В состав соединенного чеченского отряда вошли:

Эриванского карабинерного полка (командир полковник князь Дадиан)	2 батальона;
41-го Егерского полка (командир майор Резануйлов)	1 батальон;
40-го Егерского полка (полковник Шумский)	2 батальона;
Московского пехотного полка (полковник Щеголев)	2 батальона;
Бутырского пехотного полка (полковник Пирятинский)	2 батальона;
Кавказского саперного батальона (командир капитан Богданович)	одна рота.
Полк пешей грузинской милиции (командир полковник Челяев),	5 сотен.
Линейских казаков (командир полковник Засс),	5 сотен.
Грузинский конный полк (командир князь Ясси Андроников),	5 сотен.
1-й мусульманский конный полк (командир князь Бебутов),	5 сотен.
2-й мусульманский конный полк (командир Мирза-Джан Мадатов),	5 сотен.
Кабардинская милиция (командир князь Аслан-бек Бекович-Черкасский),	2 сотни.

Легких орудий 24, горных 4.

Всего, считая приблизительно, 9.000 человек.

Батальон Тифлисского пехотного полка, ходивший в Галгай, сколько помню, отделился от нас во Владикавказе, а осетинская милиция была распущена по домам, кроме некоторых старшин – между ними мой приятель Магомет-Кази – следовавших за нами волонтерами. При этом я должен заметить, что и наше малое число батальонов по характеру местности и по роду войны ни в одном случае не могло быть сосредоточено для общего удара, как бывает в европейской войне; большею частию они были принуждены действовать порознь.

Вся чеченская земля покрыта вековыми лесами и прорезана множеством рек и потоков, текущих с юга на север; самые значительные между ними Фартанга, Асса, Аргун и Аксай. Сунжа, принимающая в себя с правой стороны все чеченские воды, обтекает Чечню с запада и севера, отделяя ее от земли ингушей и от Малой Кабарды.

Северная полоса Чечни представляет ровную местность, по которой проходят арбяные дороги, годные для обоза и для артиллерии; южная часть ее весьма гориста и поэтому неудобна для движения войск. Посреди лесов открывались просторные поляны, занятые населением, сплотившимся в многолюдные аулы; затем большинство чеченцев обитало в отдельных хуторах, рассеянных по непроницаемым трущобам, составлявшим самую надежную оборону их жилищ. Все, даже большие селения, непременно прислонялись одним боком к густому лесу, служившему верным убежищем для чеченских семейств, когда им угрожала опасность от русских войск. Дома или сакли, как их называли кавказцы, были построены из плетня покрытого густым слоем глины, имели плоские крыши и вмещали две или три весьма опрятные, чисто выбеленные комнаты. В зажиточных селениях сакли были окружены садами, в которых чеченцы разводили разные овощи и фрукты. На полянах и в лесных прогалинах встречались немалые посевы кукурузы, проса, пшеницы, ржи и ячменю. Леса были наполнены ореховыми деревьями, яблонями, грушами, сливой и кизилом. В то время нашими войсками не были еще сделаны просеки в лесах. В начале двадцатых годов Ермолов расчистил на ружейный выстрел по обе стороны одну дорогу, проходившую через знаменитый Гойтинский лес; к тридцать второму году и эта просека успела покрыться непроходимо густою порослию; поэтому мы была осуждены вести в Чечне самую трудную лесную войну. Как противники чеченцы заслуживали полное уважение, и никакому войску не было позволено пренебрегать ими посреди их лесов и гор.

Хорошие стрелки, злобно храбрые, сметливые в военном деле подобно другим кавказским горцам они ловко умели пользоваться для своей обороны местными выгодами, подмечать каждую ошибку нашу и с неимоверною скоростью давать ей гибельный для нас оборот.

Составленный Всльяминовым план чеченского похода был очень прост. Отнюдь не сомневаясь в удаче осторожно направляемой экспедиции, но и не ожидая от нее другого результата кроме временного усмирения чеченцев, которое позволило бы русскому линейскому населению отдохнуть от тревожной жизни последних годов, он предполагал пройти по чеченской плоскости, разоряя селения, уничтожая жатву, отбивая стада и атакуя неприятеля везде, где бы он имел дерзость собраться в больших силах. Обстоятельства должны были указать дальнейший ход действий.

На другой день мы выступили с рассветом из Назрана и переправились через Сунжу по мосту, поставленному на козлах, потому что броды через эту реку существуют только в ее верховье. За Сунжей мы ступили на неприятельскую землю, и со следующего перехода началась для нас ежедневная, неумолкаемая драка. В войне с чеченцами один день походил на другой. Изредка неожиданный эпизод, встреча со значительным сборищем, штурм укрепленного аула или набег в сторону изменяли утомительно-однообразный ход действий. Переходы соразмерялись с расстоянием полян, лежавших на берегу речек и достаточно просторных для размещения на них лагеря не ближе ружейного выстрела от ближайшего леса. Дороги пролегали преимущественно через густой и высокий лес, изредка перерезанный лужайками, ручьями и оврагами. В продолжение всего перехода дрались, ружейные выстрелы гремели, пули жужжали, люди падали, а неприятеля не было видно. Одни дымки, вспыхивавшие в лесной чаще, обозначали его присутствие; не имея перед собой другой цели, наши солдаты были принуждены стрелять на дымок.

После перехода войска располагались лагерем на один день или долее, глядя по числу окрестных аулов, которые предполагалось разорить. С места стоянки посылались во все стороны небольшие колонны для истребления неприятельских полей и домов. Аулы горят, хлеб косят, и опять загорается перестрелка,

раздается пушечная пальба, опять несут убитых и раненых. Татары везут в тороках отрезанные неприятельские головы, пленных нет: мущины не сдаются, а женщины и дети заранее спрятаны в такие трущобы, куда не пойдут их отыскивать. Вот показалась голова колонны, возвращающейся с ночного набега; хвоста еще не видать, он дерется в лесу. Чем ближе к выходу на чистое место, тем чаще гремят выстрелы, слышен гик. Неприятель провожает ариергард, теснит его со всех сторон, кидается в шашки, ожидая только минуты, когда он выйдет на открытое место, чтобы засыпать его градом пуль. Приходится поднять из лагеря свежий батальон и несколько орудий для поддержания отступающего ариергарда. Картечь и беглый огонь останавливают неприятельский натиск и дают нашей колонне возможность выйти из лесу без лишней потери.

Посылают косить траву, и тотчас начинается драка; дрова для варки пищи и для бивачных огней берут не иначе как с боя. За речкой растет кустарник или выдалась едва приметная лощина; это заставляет прикрыть водопои полубатальоном с артиллерией, иначе перестреляют лошадей или отгонят их. Один день как другой, что было вчера – повторится завтра; везде горы, везде лес, а чеченцы злы и неутомимы в драке.

Порядок движения и лагерное расположение были как нельзя лучше приспособлены к характеру войны и никогда не изменялись. Походная колонна строилась следующим образом: в авангарде и в ариергарде по пехотному батальону при нескольких легких орудиях, где существовали дороги, удобопроходимые для полевой артиллерии, заменявшейся в противном случае горными единорогами. Кавалерия, резервная артиллерия и обоз помещались в середине колонны и прикрывались пехотой, следовавшею рядами по обе стороны. Перед авангардом, позади ариергарда и направо и налево по протяжению всей колонны шли стрелки, имея за собой резервы с горными орудиями. На ровных и открытых полях боковые прикрытия удалялись от колонны на хороший ружейный выстрел; вступив в лес, они шли как позволяла местность, по возможности стараясь уберечь ее от неприятельского огня, слишком губительного, когда ему подвергалась сомкнутая масса войск.

Солдаты называли это водить колонну в ящике. На походе все дело происходило в цепи: в авангарде, когда шли вперед, в ариергарде, когда отступали, и почти беспрерывно в боковых прикрытиях, выполнявших самую трудную и самую опасную задачу. В лесу стрелковым парам нередко приходилось идти не видя друг друга, при этом разрываться, и чеченцы, будто вырастая из земли, наскакивали на них и рубили отделившихся солдат прежде, чем товарищи поспевали им помочь. Движение стрелков, закрытых лесом и горами, редко было видно с дороги, по которой следовала колонна. С ними переговаривались посредством сигналов на рожке. Для того, чтобы в лесу и в горах всегда иметь возможность узнавать, где находятся части войск, отделенные от главной колонны, авангард, ариергард и боковые прикрытия обозначались перед выступлением сигнальными нумерами, которыми по уставу называются роты в батальоне. Эти сигналы менялись весьма часто, дабы горцы, подметив их, заранее не угадывали, кому отдают приказание. Желая дознать, где какая-нибудь часть пробирается по лесу, подавали условленный вопросительный сигнал, горнисты всех частей откликались своими нумерами и, судя по звуку, приказывали потом, назвав кого следовало, ускорить шаг, стоять или приблизиться к колонне. Неприятельские пули, случалось, ложились в середину войска, но очень редко удавалось горцам, разорвав цепь, нападать на колонну. В экспедицию 1832 года не могу припомнить более четырех таких прорывов.

Лагерь постоянно размещался кареем: по фасам пехота и артиллерия, посредине кавалерия и обоз. Для небольшого числа войск строился вагенбург из повозок. Вокруг всего лагеря располагалась днем негустая цепь, на расстоянии ружейного выстрела от палаток. На ночь число застрельщиков умножалось, придвигали резервы и впереди укладывали еще секреты в более опасных местах. Людей разводили на эти посты после наступления темноты, для того чтобы не подсмотрел неприятель. Они были обязаны наблюдать глубокую тишину, подходящих не окликать, а освистывать и стрелять на каждый подозрительный шорох, хотя бы не могли точно разглядеть, от чего он происходит. На каждом фасе лагерного каре держали наготове дежурные части для подкрепления передовой цепи в случае действительного нападения. Солдаты от этих частей лежали перед палатками, имея при себе ружья и патронные сумки. Остальные солдаты и офицеры спали раздетые и не имели привычки тревожиться от выстрелов, которые нам почти каждую ночь посылали чеченцы, подползавшие к лагерю несмотря на все наши предосторожности. Нередко мне самому случалось просыпаться ночью от беглого огня лагерной цепи и слышать над палаткой свист чеченских пуль. Тогда полусонным голосом кто-нибудь провозглашал:

– Опять подползли, спать не дают. Откуда это они стреляют?

– Справа (или слева), ваше благородие, – отвечал какой-нибудь солдат или казак.

И приняв к сведению такого рода извещение, бывало, закроешь голову подушкой с той стороны откуда летят пули и через несколько минут снова засыпаешь крепким сном с надеждой, что в лагерь чеченцев не пустят, а от пули Бог убережет.

Одиннадцать дней, с 6-го по 17-е августа, мы проходили по Малой Чечне, перестреливаясь и разоряя аулы, потом подошли к крепости Грозной, сдали больных и раненых, забрали провианту и снарядов и двинулись в сердце Большой Чечни. В это время мое служебное положение несколько изменилось. Во Владикавказ приехал из Тифлиса генерального штаба штабс-капитан Норденстам, по праву старшинства вступил в управление походною канцелярией и, имея особенную склонность к письменным делам, принял в свое распоряжение и переписку по второму, мне принадлежавшему отделению. Вольховский, видя, что я, как говорится, отбиваюсь от рук, нашел для меня дело при войсках более сродное моему характеру, приказал чередоваться в авангарде и в ариергарде с офицерами генерального штаба, состоявшими при войсках на Линии и посылал нередко с отрядами, ходившими в сторону уничтожать чеченские аулы. Это последнее дело послужило поводом к сближению с Вельяминовым моей незначительной персоны. Вольховский представил ему в Назране всех офицеров, принадлежащих к штабу Корпусного командира, в том числе и меня, но весьма естественно, что он обратил мало внимания на молодого, невидного егерского подпоручика, затертого среди блестящих адъютантских мундиров, и даже забыл в последствии мое лицо и имя.

Неделю спустя Вольховский прикомандировал меня к небольшому отряду, посланному разорить не помню какую-то деревушку, лежавшую верст десять в стороне от лагеря.

Мы выступили до рассвета, заняли аул, сожгли его, накосили на полях сколько нужно было фуражу, остальное вытоптали, не сделав ни одного выстрела; но при выступлении попали довольно неожиданно под огонь неприятеля, выжидавшего этот момент в примыкавшем к селению лесу. Пришлось уходить с боем, стоившим нам человек семь нижних чинов, выбывших из строя. На обратном пути, не доходя до лагеря версты две, я опередил отряд, как мне было приказано начальником штаба, для предварительного сообщения ему подробностей дела, происходившего на моих глазах. Корпусной командир завтракал у Вельяминова с некоторыми из своих офицеров. Я вошел в большую кибитку, где был накрыт стол и, отыскивая глазами Вольховского, остановился у входа, не заметив при этом, что в стороне стоял казачий офицер, успевший прежде меня приехать с донесением от командира нашего отряда.

Вельяминов первый меня заметил и, приняв по мундиру за строевого офицера, спросил, зачем я пришел.

– С донесением к Дмитрию Владимировичу.

Вольховский, предупредив его, что я принадлежу к корпусному штабу, обратился ко мне с разными вопросами об отряде, из которого я прибыл. Отвечать было не трудно, я передавал дело, как видел его.

Вельяминов, прислушиваясь к моим ответам, попросил позволение в свою очередь сделать мне вопрос.

– Много ли вы имели против себя чеченцев?

– Трудно сказать, неприятель прятался и нам были видны одни дымки от его выстрелов.

– А судя по огню, как вы заключаете о числе его?

– Могла быть сотня, много полторы.

– Вот кто говорить правду, – возразил Вельяминов, обратившись к своим гостям, – а господин сотник приехал рассказывать басни. По месту и по времени не могло собраться более чеченцев, я и прежде был в этом убежден.

Тут Вельяминов спросил у Вольховского мою фамилию и потом вполголоса поговорил с корпусным командиром.

– Алексей Александрович просит меня уступить вас в его распоряжение, – обратился ко мне барон. – Согласно ли это с вашим желанием?

– За честь сочту служить при нем, как служил и при вашем высокопревосходительстве.

– Совсем не расстаюсь с вами, а на время похода вы имеете находиться при командующем войсками на Линии.

– Очень рад, – прибавил Вельяминов, – и начнем знакомство с теперешнего завтрака. Садитесь и берите прибор.

Таким случаем я попал к Вельяминову под начальство, что не помешало, однако, и Вольховскому распоряжаться мною по старой привычке. Вместо одного я нажил двух начальников, дело довольно неудобное, но зато меня совершенно освободили от канцелярии.

Вступая в большую Чечню со стороны крепости Грозной, нам следовало пройти через Гойтинский лес, прорубленный, как я прежде упомянул, при Алексее Петровиче Ермолове и

успевший, однако, зарасти, хотя и мелким, но неимоверно густым кустарником. В этом лесу, имевшем около семи верст протяжения и посреди которого в болотистых берегах протекала речка Гойта, чеченцы искони дрались против русских с несказанным упорством. Гойтинский лес и речка Валерик были памятны всем старым кавказцам; подходя к ним, отрядные начальники удваивали осторожность, а русский солдат готовился на нешуточный бой.

Перед лесом Вельяминов приказал поставить вправо и влево от дороги по шести орудий и открыть сперва картечный огонь по опушке, а потом стрелять в средину чащи ядрами и гранатами, хотя не было видно ни одного чеченца, и ни один выстрел не встретил нас с неприятельской стороны. После того застрельщики от целого батальона, подкрепленные во второй линии ротными колоннами, без выстрела, с громким ура бросились бегом к опушке и, заняв ее, тотчас легли на землю. Несколько мгновений спустя ружья затрещали с обеих сторон; оказалось, что лес не так безлюден, как можно было думать с первого раза. Таким образом занимали на Кавказе каждую опушку, каждый пролесок, каждую несколько закрытую переправу и каждое селение. Вся разница состояла в том, что, соображаясь с местностью и с числом предполагаемого неприятеля, увеличивалось или уменьшалось количество артиллерии и войск назначаемые для первой атаки. Тишина, господствующая в лесу или в селении, ничего не доказывала: неприятель был везде и всегда, редко удерживал позицию, но дрался всюду, где находил местное прикрытие и где имел свободное отступление. Только по занятии опушки главная колонна входила в лес, имея впереди себя авангардных застрельщиков. Стрелки же, лежавшие перед лесом по обе стороны дороги, втягивались в чащу и составляли правое и левое прикрытие походной колонны; тогда начиналась драка, прекращавшаяся не прежде выхода войск на открытое место. По временам огонь усиливался, а эхо выстрелов сливалось с чеченским гиком и с русским ура, в глубине леса работали штык да шашка.

В Гойтинском лесу ожидала нас одна из неприятных случайностей кавказской войны. Колонна прошла уже половину пути. Посредине леса, на берегу ручья, столпились обоз и артиллерия в ожидании очередной переправы по весьма малонадежному мостику. Чеченцы, пользуясь этой задержкой, налегли на правое прикрытие и, оттеснив его, стали посылать пули в средину обоза. По сигнальным ответам, казалось, наши не

понимали или не могли исполнить приказание идти вперед; Вельяминов приказал мне съездить в лес и отвести стрелковую цепь подальше от колонны.

С трудом продираясь на лошади через мелкую поросль, я стал отыскивать командира цепи; кое-где мелькали предо мной солдатские шинели, но офицера между ними не было. В это время недалеко от меня промчались чеченцы, пули посыпались как горох, а солдаты, за ними несколько офицеров вынырнули из-за дерев и кустов, поспешая к месту, откуда раздавался крик. Имея с собой одного казака, я ради собственной безопасности увязался за ними и выехал на небольшую прогалину в то самое мгновение, как подоспевшие застрельщики принялись штыками отбивать чеченцев, рубивших разрозненные пары. На земле лежал раненый юнкер, князь Иван Урусов; вовремя подскочивший офицер защитил его от шашки, сверкавшей в руке противника, имевшего видимое желание его покончить. Схватка продолжалась не более двух минут. Резерв подбежал, и неприятель скрылся из виду; только пули его продолжали жужжать мимо наших ушей. Урусова понесли на перевязку и подняли убитых, тела которых кавказские солдаты ни в каком случай не оставляли на поругание неприятеля.

Этот случай заставил меня узнать, как хороша память у русского солдата и как он примечает за всем, что делают офицеры. В цепь я попал так же случайно как и на схватку с неприятелем, оставался при ней после происшествия отнюдь не долее, чем требовало приказание, данное мне Вельяминовым, а потом вернулся прямо к нему. Двенадцать лет спустя я снова проходил через Гойтинский лес с Робертом Карловичем Фрейтагом, у которого исправлял должность отрядного обер-квартирмейстера. Дело мы имели жаркое; мне приходилось скакать во все концы колонны. Проезжая мимо куринцев, я был остановлен солдатом, который, пристально вглядываясь в мое лицо, вдруг заговорил:

– Ваше высокоблагородие, а ваше высокоблагородие, кажись, я вас признаю; вы были с нами в здешнем лесу, помните ли, когда чеченцы зарубили застрельщиков и ранили нашего юнкера, князя Урусова.

Солдат меня узнал, несмотря на долгое время и на перемену мундира; в тридцать втором году я был одет в егерскую форму, а в сорок четвертом носил мундир генерального штаба.

– Который раз, ваше высокоблагородие, изволите проходить через этот лес? – спросил после того мой старый знакомый.

– Седьмой.

– А я двадцатый. Когда же лес останется за нами?

– Ну, любезный, спроси про это у Господа Бога, а я ведать не ведаю, – отвечал я и направил лошадь к Роберту Карловичу, моему давнишнему другу и защитнику, с которым в том году отбыл не одно горячее дело.

И чеченцы поплатились недешево. За лесом начиналось открытое место. Наши конные грузины и татары, посланные вперед отряда, изрубили десятка два пеших молодцов, не успевших уйти с поляны в лес. При этом случае один из них, видя, что ему нет спасения, ухватился за пояс наскакавшего на него татарина и ударил его кинжалом в бок с силой, прогнавшею сквозь тело широкое лезвие; в то же мгновение сабля татарина опустилась чеченцу на голову, и оба покатились мертвые на траву.

Перед вечером отряд вышел на открытое лагерное место; стали разбивать палатки; для Вельяминова поставили барабан и развели огонь, у которого он молча принялся греть руки. Это была его постоянная привычка. Вокруг него болтали офицеры. Казалось, он был ко всему равнодушен, однако мало слов ускользало от его слуха. Он позволял молодежи на походе ли, за столом или у себя в кабинете говорить свободно обо всем, прислушивался к разговору и заключал по нем об уме и характере каждого из рассуждающих. Когда, бывало, иной слишком разболтается, он без строгости, без гнева скажет только: «Ну, дражайший, перестань, перестань, чрез меру заговорился!»

В этот вечер находился в кругу офицеров, собранных около Вельяминова, и капитан, уберегший Урусова от чеченской шашки. Он рассказывал с жаром подробности своего подвига. Долго Алексей Александрович слушал, не говоря ни единого слова; наконец, он обратился к рассказчику:

– А, дражайший, каким образом ты попал в цепь, когда ранили Урусова?

– Я командовал застрельщиками; Урусов служит в моей роте.

– И ты изрубил чеченца, напавшего на раненого юнкера; где же были твои застрельщики?

– Цепь разорвалась, никого тут не случилось; я сам еле, еле подоспел.

– А! Ты командовал застрельщиками; цепь не шла в порядке, и ты был принужден рубить чеченцев собственной рукой. Нечего сказать, ты храбрый офицер. Отдай, однако, дежурному штаб-офицеру твою собственную шашку и отправляйся под арест; дело начальника наблюдать за солдатами, а не рубиться с неприятелем.

И бедный командир вместо ожидаемой похвалы, понурив голову, пошел исполнять приказание Вельяминова.

На другое утро Командующий войсками приказал отдать капитану оружие и поблагодарить за спасение юнкера. Так он понимал офицерскую обязанность. Ермолов действовал еще строже в подобных случаях. Он не терпел выскочки и сажал под арест каждого офицера, без надобности и без приказания бросавшегося в огонь, и никогда не давал награды за подобного рода бесполезную храбрость.

При переправе через Аргун и движении к селению Шали мы имели 22-го августа вторую сильную перестрелку, мало отличавшуюся от других вседневных встреч с неприятелем; зато борьба с рекой выходила из пределов обыкновенного порядка.

Переправы через горные кавказские реки вообще принадлежали к категории довольно щекотливых операций и часто стоили доброго дела. Река, проходимая в брод по колено еще вечером, за ночь наливалась по грудь от дождя в горах или от подснежного потока, промывшего себе дорогу к ее покатистому руслу. И Аргун, наподобие Сулака, Сагуаши, Ингура, Бзыба, принадлежал к числу чрезвычайно быстрых и неуловимо своенравных рек. Когда мы к нему подошли, он находился в состоянии неожиданного налива: стрелою неслась вода, унося в Сунжу огромные карчи и ворочая камни, заграждавшие ей дорогу. Ни мост на козлах, ни на арбах для одной пехоты не удержался бы против силы воды и карчей, да и время не позволяло испытывать степень их стойкости; нам надо было спешить к Герменчугу, куда Кази-Мегмет собирал горцев на защиту аула, пока число их не увеличится до размеров силы, непреодолимой для нашего отряда. На Кавказе не имели привычки задумываться над быстротой и глубиной реки, когда существовала искра надежды преодолеть эти препятствия. Мост не устоит против карчи, а живые люди всегда могут от нее посторониться: отвести ее или обождать, пока она проплывет; поэтому было решено не мешкая переходить в брод. Ввиду этой небезопасной операции сам Вельяминов сел возле

переправы для личного наблюдения за точным исполнением своих распоряжений и со свойственным ему терпением не сошел с места, пока последний человек не перешел на другую сторону.

Сперва обстреляли противоположный берег картечью как следует, потом грузины, татары и часть линейцев, по седло в воде, перешли на другую сторону и смелою атакой разогнали чеченцев, пытавшихся оспаривать переправу. Кавказские лошади привычны к воде: на быстрых реках они упираются туловищем против течения, а зная, что на дне водятся большие, скользкие камни, не торопясь и щупая копытом грунт переставляют крепкие ноги. Потеряв дно, они плывут без устали. Дурно только, когда лошадь в упряжи: не имея воли пользоваться своею силой, она перевертывается быстриной вверх ногами, тонет, да и повозку нередко уносит невесть куда.

По переходе конницы устроили переправу для пехоты, артиллерии и обоза. Под острым углом поставили, к течению спиной, плотный ряд линейских казаков на самых сильных лошадях, двадцать саженей ниже поместились к ним лицом две конные цепи. Выше поставленные казаки составляли оплот против напора воды, размещенные ниже должны были ловить пехотинцев, уносимых быстриной.

По этой улице пошла пехота, по отделениям, разутая до пояса, сапоги, ружья и сумки на плечах, солдаты каждой шеренги крепко ухватившись под руку, а фланговый человек придерживаясь свободною рукой за стремя казака, ехавшего со стороны течения. В таком порядке переправилась вся пехота и за нею повозки и артиллерия. Под напором волны шеренги колыхались, люди не раз теряли дно, слабосильных срывало и несло по воде, ниже стоявшие казаки хватали их и вывозили на берег; но дело не обошлось и без утонувших. Два зарядные ящика и несколько повозок опрокинуло на средине реки, лошади потонули, а ящики были спасены. Подобного рода переправы мне удалось видеть на левом фланге и на береговой Линии.

Герменчуг, самый большой чеченский аул, имевший три мечети, из коих лучшая была построена на деньги, пожалованные Ермоловым, находится в семи верстах от Шали, где мы ночевали, переправившись через Аргун. Алексей Петрович, дознав на опыте как трудно было ведаться с чеченцами, живущими рассеянно по лесам, принес эту жертву, надеясь около прочно и красиво построенной мечети сгруппировать более

значительное число жителей, и не ошибся в своем расчете; герменчугское население увеличивалось с каждым годом, и долгое время его жители, дорожа своею оседлостию, не принимали прямого участия в грабежах и разбоях своих одноплеменников. В 1831 году они были увлечены в общее восстание, и Вельяминов счел полезным показать на них пример всему краю. В его правилах было во всех взысканиях за равную вину начинать с больших, а не с малых. Чуя приближение злой грозы, герменчугцы долго колебались, просить ли пощады или защищать селение; Кази-Мегмет убедил их испытать счастие оружия, укрепить селение и ждать в нем прихода русских. Три тысячи чеченцев засели в Герменчуге; имам лично привел к ним на помощь восемьсот конных лезгин и, кроме того, каждый день подходили к аулу поборники очищенной веры из самых отдаленных гор.

Оставив возле Шали весь обоз под прикрытием двух батальонов и двух орудий, мы с остальными войсками двинулись к Герменчугу. На рассвете отряд переправился через неглубокую речку, протекавшую перед аулом, и к полудню стал на позицию в виду ожидавшего нас неприятеля. На левом фланге мы имели речку, на правом – густой лес, в котором скрывались пешие чеченцы и лезгинская конница; перед нами лежало пространное селение, с трех сторон опоясанное крепким окопом, усиленным еще фланговою обороной и заслоненное с тылу высоким лесом. Линейские казаки, грузинский и татарские конные полки под командой полковника Засса первые заняли места перед аулом и с утра завязали джигитовку с неприятельскою конницей, завлекавшею их к лесу, откуда огонь пеших чеченцев снова принуждал наших отходить на чистое поле. Когда весь отряд перешел через речку и построился в колонны, Вельяминов приказал варить кашу для солдат, а своему повару готовить обед. Люди не сходившиеся нравом с Вельяминовым, не зная чем его попрекнуть, находили повод обвинять его в излишнем пристрастии к гастрономическим наслаждениям.

Вельяминов действительно охотно занимался столом, наравне с естественною историей, архитектурой, гомеопатией из любви к науке и к искусству и гораздо более в пользу других чем для самого себя. Страдая расположением к грудной водяной болезни, от которой он и скончался в 1838 году, Вельяминов постоянно находился на самой строгой диете, но в то же время завел себе в удовольствие вкусно кормить офицеров,

обедавших за его столом. На походе до десятка верблюдов носили за ним калмыцкую кибитку, кухню и съестные припасы. В числе других и Вольховский часто укорял его в этой слабости. Эти два человека, в одинаковой мере преданные принципу долга и чести, близко сходившиеся в умственном воззрении на житейские дела, к сожалению расходились диаметрально в применении своих понятий: Вольховский был строгий доктринер, Вельяминов неумолимый практик. Кроме того, Вольховсиий, страдавший нервною раздражительностью, был вспыльчив и нередко увлекался первым впечатлением; Вельяминов, обладавший ледяным хладнокровием, подчинял все свои действия одному рассудку и силой характера брал верх над Вольховским. Поверхностно понимая вещи, многие потому считали Вельяминова человеком бездушным и крепко ошибались. Я испытал на себе самом сколько его сердце было доступно самому заботливому участию; он умел только владеть своими чувствами и скрывал их в глубине души для того, чтобы никакому плутоватому уму не удалось воспользоваться ими ко вреду справедливости и общего порядка.

Чтобы вполне понять и оценить характер Вельяминова и его взгляд на обязанности государственного человека, следует отрыть в ставропольском штабном архиве и изучить его переписку с военным министром, князем Чернышевым, касательно военных действий на берегу Черного моря. Три раза сряду он имел смелость самым положительным образом, подтверждая фактами свои заключения, опровергать пользу проекта, присланного к нему из Петербурга при именном повелении безотговорочно привести его в исполнение. Свою последнюю записку он заключает следующими словами:

«Ежели государь император и на этот раз не удостоит на основании изложенных мною доказательств и фактов осчастливить меня отменою сказанного проекта, то прошу как милость назначить на мое место другого, более способного и сведущего генерала; я готов служить под его начальством простым солдатом, но по долгу присяги и по совести не могу принять на себя выполнение мер, которые, по моему убеждению, должны принести только один вред для края, отданного мне в управление. Присягая государю, я обещал не только повиноваться, но и хранить славу и соблюдать интерес его величества и Русского государства по моему крайнему разумению».

Покойный император Николай Павлович оценил в этом случай твердость Вельяминова, согласился с его мнением, отменил свое первое повеление и осыпал его милостями, когда он осенью того же года приехал в Петербург. Таков был Вельяминов, и так государь внимал правдивому слову, когда оно исходило от человека, преданного ему и России свыше всякого личного расчета.

Под Герменчугом Вельяминов подверг сильной пытке терпение Вольховского, не во всех случаях умевшего владеть своею нервозно-раздражительною натурой; даже более флегматический и пожилой барон Григорий Владимирович не на шутку стал тревожиться, отчего он столько медлит атаковать аул. А Вельяминов был прав; его медленность имела основанием самый верный расчет. Войска, сварив похлебку, да еще с удвоенною мясною порцией, спокойно наполняли себе желудок. На правом фланге батареи в двадцать два орудия, поставленной в расстоянии хорошего ядерного выстрела от неприятельских окопов, для Вельяминова накрыли стол. Как бы дома вокруг него расставили барабаны, и мы шли обедать. В некотором расстоянии позади нас, менее затейливо поместившись на коврах, закусывал корпусной командир со своими офицерами. Неприятельский бруствер и все плоские крыши герменчугских домов были буквально унизаны чеченцами, которые с ружьями наголо ожидали атаки и, полагаю, также не понимали, чего мы ждем. Несколько зрительных труб были направлены из Герменчуга на наш обеденный стол.

В час пополудни корпусной командир прислал своего адъютанта спросить, не пора ли атаковать.

– Нельзя, солнце слишком жарко печет; к тому же и люди не кончили еды.

Через полчаса новый посланец к Вельяминову.

– Не выпили еще порцию, которую приказано раздать.

По прошествии некоторого времени Вольховский прислал за мной. Нетерпеливо стал он меня расспрашивать, отчего мешкают, – будто от меня зависело дело, – и потом поручил передать Алексею Александровичу, что это противно видам Корпусного командира. Не знаю, почему именно меня выбрали для такого поручения; может, только на тот случай, если Вельяминов рассердится: чтоб его сарказмы обрушились на меня, а не на другого.

Когда я вернулся и доложил Вельяминову слова Вольховского, он поморщился, подумал с минуту и сказал:

– Ступай, дражайший, назад и скажи пославшему тебя, что, по моему мнению, надо еще подождать; впрочем, как угодно,

только в таком случай не беру на себя ответа. Надо же, – прибавил он, улыбнувшись, – время докончить обед и убрать стол.

Передав ответ, разумеется без последнего прибавления, я возвратился на свое место. Когда действительно убрали стол, и я стоял позади его, он повернулся ко мне:

– Хочу, дражайший, чтобы ты понял, отчего я медлил, можешь потом объяснить и другим; вглядись, с каким напряжением чеченцы ждут атаки, они томятся, каждый час ожидания отнимает у них силы и дух, а наши солдаты тем временем отдыхают, и сила их растет. Однако пора начинать.

Он сел на лошадь и приказал артиллерии открыть огонь, по двадцати выстрелов, из орудия. В то же время Засс с казаками и грузинами был послан направо к лесу, в котором находилась неприятельская конница, для прикрытия с этой стороны наших штурмующих колонн, а два мусульманские полка направлены влево, к речке.

С последним пушечным выстрелом барабаны забили атаку, и два Бутырские батальона справа, два егерские слева от батареи беглым шагом помчались к неприятельскому укреплению. Чеченцы, выдержавшие пушечный огонь лежа за брустверами, вскочили, дали залп и не успели снова зарядить винтовки, как наши батальоны, перескочив через неширокий ров, очутились на крыше и штыками погнали их через селение. Бутырцы ворвались первые в деревню. Атака была поведена на центр укрепления. Левый фланг его, примкнутый к лесу, оставался еще во власти чеченцев, с правого они бежали не обороняясь. Тем временем наши казаки, погнав неприятельскую конницу, попали под сильный ружейный огонь из опушки леса. Вельяминов, заботившийся, по Ермоловской методе, всего более о сбережении войск от ненужной потери, послал меня немедленно вернуть их к пехоте, оставшейся при батарее. Я пустил свою лошадь во весь опор; Цукато, мой палаточный товарищ, никогда не отстававший от меня, когда предвиделась опасность, поскакал за мной. Между тем Засс, зная как Вельяминов понимает вещи, сам на полных рысях стал удаляться от губительной лесной опушки.

Путь его пролегал мимо левого фланга Герменчугского окопа. Встреченный с него метким огнем, он, не задумываясь, поскакал к нему со своею конницей. В это мгновение мы попали в средину казаков, были увлечены вихрем атаки и, не имея времени опомниться, со всею толпой очутились перед

завалом, спрыгнули с лошадей, перепрыгнули через ров и как другие остановились на берме, закрывшись неприятельским бруствером. Озадаченные чеченцы в первое мгновение отшатнулись, потом опомнились, остановились в двадцати шагах и выжидали нас, выставив заряженные винтовки. Они берегли заряды на ту минуту, когда мы вскочим на крону; но казаки люди не только храбрые, но и смышленые в высшей степени, они понимали, что опрометчивость им дорого обойдется и, не покидая места, также целили в неприятеля. Мгновение длилась эта выдержка; чеченцы не вытерпели, дали залп, и дым еще не пронесся, как казаки и грузины с обнаженными шашками и саблями уже сидели у них на плечах. Наша конница взяла завал, обороняемый пехотой. Хотя Засс предупредил приказание командующего войсками и по дороге взял еще неприятельское укрепление, однако мне все-таки следовало его отыскать для того, чтобы не вернуться без ответа. Казаки не знали, куда он девался, и стали за него беспокоиться. Мы сели на лошадей и поехали в поле его отыскивать, где и нашли лежащего на земле с простреленною ногой; около него суетились доктор и близнецы Атарщиковы. В недальнем расстоянии лежал князь Андроников; пуля пробила ему грудь немного выше сердца и вышла в спину; казалось, его ожидала близкая кончина, однако он жил еще долго после того: пуля обогнула ребра, не пронизав внутренности. Кроме них подобрали еще двух раненых офицеров да десятка полтора простых всадников.

Когда я вернулся с донесением, мне не дали даже вздохнуть и отправили с новым поручением узнать, что происходит в деревне, в которой пальба не прекращалась. На этот раз Вельяминов послал со мной несколько линейцев. В тесной улице, огороженной плетнями с обеих сторон, я наехал нечаянно на весьма неблаговидную сцену. Егеря сцепились с бегущими чеченцами и кололи их штыками; пули жужжали по разным направлениям; чеченцы метались во все стороны, прыгали через плетни и везде натыкались на солдат. На земле валялся какой-то военный доктор; я счел его раненым, но оказалось, что он от испуга потерял рассудок. Руками отмахивая летавшие пули: «кыш! кыш!» доктор кричал жалобным голосом, чтоб его не кололи, потому что навеки закаялся лезть в драку. Бедняк вообразил себя чеченцем; казаки насильно его подняли, перевалили как куль через седло и повезли на перевязочный пункт. От полковника Пирятинского я узнал, что неприятель обратился в полное бегство, но что около сотни

чеченцев, отрезанные от леса, засели в три смежные дома, стоящие посреди большого сада, и не хотят сдаваться. С этим известием я вернулся к командующему войсками. В это же время подвезли помешанного лекаря. Корпусной штаб-доктор Ильяшенко слез с лошади, пощупал пульс и скомандовал фельдшеру: «Ланцет!» Едва пациент увидал этот инструмент, как стал вырываться из рук у казаков и раздирающим голосом взывать: «Ради Бога, не режьте голову, я мирной! Мирной! Никогда не буду драться». Ланцет показался ему огромным кинжалом. Несмотря на протест, два сильные казака растянули его на траве, открыли ему вену и, выцедив порядочную толику крови, отправили в лазарет.

По вторичному донесению от Пирятинского что чеченцы, которые заперлись в трех домах, отвергая пощаду, сильно отстреливаются и успели уже убить одного подполковника и переранить многих солдат, Вольховский пошел вместе с начальником артиллерии, полковником Бриммером, со Всеволожским и с Богдановичем лично распорядиться развязкой этого дела. Меня послали провести их по дороге, с которою я успел познакомиться, когда в первый раз проезжал по селению. Сакли были оцеплены тройною цепью застрельщиков, лежавших на земле, за плетнями и за деревьями. Никто не смел показаться на виду у неприятеля: верным глазом направленная пуля наказывала неосторожного; поэтому и мы прилегли за забором, находя бесполезным сделаться мишенью для чеченцев.

Подвезли легкое орудие. Ядро пронизало три сакли во всю их длину; после второго выстрела прибежали однако сказать, что на противоположной стороне наши ядра бьют собственных людей. Очистить хотя бы одну сторону от застрельщиков с их резервами значило открыть неприятелю дорогу к бегству, а этого не хотели допустить; поэтому прекратили пальбу. Приказали зажечь сакли хотя бы с одной стороны. Легко было приказать, но исполнить довольно трудно; во-первых, футовый слой глины оберегал от огня внутреннюю плетневую стену, во-вторых, вся она была пробита отверстиями, из которых выглядывали дула метких винтовок. Нашлись однако два сапера, которые решились взяться за дело: подвигая пред собой дубовую дверь вместо щита и неся пуки соломы и хворосту, они подползли к узкому фасу крайнего дома, с неимоверным трудом сбили глину у фундамента и подожгли плетень, начавший медленно тлеть под своею несгораемою оболочкой. Чеченцы продолжали стрелять и с этого боку, пока жар не отогнал их от горящей стены. К саперам-зажигателям присоединились по

охоте еще два артиллериста. Они влезли по зажженой стене на плоскую крышу, саперы подавали им гранаты, которые они, сообщив трубке огонь, через широкую дымовую трубу стали бросать во внутренность сакли, тесно набитой оборонявшимися чеченцами. Слышно было, как лопнули первые две гранаты, последующие перестало рвать. Позже мы узнали, что чеченцы, садясь на них, тушили огонь в трубках прежде, чем он сообщался пороху.

Мало-помалу огонь охватил и прочие две сакли; неприятелю оставалось только сдаться или гореть. Вольховский пожалел храбрых людей и приказал находившемуся при нас переводчику, старому моздокскому казаку Атарщикову, предложить им положить оружие, обещая в таком случае от имени главного русского начальника не только жизнь, но и право размена на русских пленных, открывавшего для них надежду когда-нибудь вернуться к своим семействам. Огонь замолк, когда Атарщиков выступил вперед и по чеченски крикнул, что хочет говорить. Сидевшие в домах выслушали предложение, посоветовались несколько минут, потом вышел полуобнаженный, от дыму почерневший чеченец, проговорил короткую речь и – выстрелы засверкали изо всех бойниц. Ответ заключался в следующих словах:

– Пощады не хотим; одной милости просим у русских, пусть дадут знать нашим семействам, что мы умерли, как жили, не покоряясь чужой власти.

Тогда было приказано зажигать дома со всех концов.

Солнце закатилось, и одно красное пламя пожара освещало эту картину гибели и разорения. Чеченцы, твердо решившиеся умереть, запели предсмертную песнь, сперва громко, потом все тише и тише, по мере того как число поющих убывало от огня и дыма.

Гибнуть в огне, однако, страшно мучительно и не каждый в силах перенести эту пытку. Неожиданно растворились двери догоравшего дома. На пороге явилась человеческая фигура – огонь блеснул, пуля свистнула мимо наших ушей и, сверкая лезвием шашки, чеченец бросился прямо к нам. Широкоплечий Атарщиков, одетый в панцырь, подпустил бешенного чеченца на десять шагов, тихо навел ружье и всадил ему пулю прямо в обнаженную грудь.

Чеченец сделал огромный прыжок – повалился, поднялся опять на ноги, вытянулся в струну, и медленно склоняясь, упал мертвый на родную землю.

Через пять минут повторилась та же сцена, выскочил еще чеченец, выстрелил из ружья и, махая шашкою, прорвался через линию цепи застрельщиков; на третьей цепи его закололи.

Горящие сакли стали разваливаться, осыпая искрами истоптанные сады – из-под дымящихся развалин выползли шесть раненых, чудом уцелевших лезгин; солдаты подняли их и отнесли на перевязку; ни один чеченец не дался живьем: семьдесят два человека кончили жизнь в огне.

Разыгрался последний акт кровавой драмы; ночь покрыла сцену. Каждый по совести исполнил свое дело: главные актеры отошли в вечность; прочие действующие лица и за ними зрители с камнем на сердце стали расходиться по палаткам: и может статься, не один в глубине души задавал себе вопрос – для чего все это? разве для всех, без разбора языка и веры, нет места на земле?

На обратном пути в лагерь мы должны были проходить мимо лазаретных палаток; в них охали и стонали раненые; поодаль стоял большой навес, из-под которого мерцал слабый огонек и слышалось мерное чтение псалтыря: там лежали тела наших убитых в ожидании могилы. На каждом шагу встречались нам невеселые впечатления, однако мы не имели времени подчиняться им надолго: в лагере ожидали нас живые интересы, ожидали начальники и товарищи; одни озабоченные ответственностью, лежавшею на них нелегким бременем; другие – с горячим участием, свойственным молодости; третьи – с затаенным чувством эгоизма, побуждавшим взирать на все, что делалось, как на бенефисное представление в пользу их честолюбивых расчетов. Эти люди не могли миновать блестящей будущности. К корпусному штабу присоединилось в последнее время много новых лиц, военных и гражданских. Приехали: правитель гражданской канцелярии – забыл его имя, казначей Крылов, секретарь Николай Павлович Титов, добрый, умный, исполненный странностей и неимоверно рассеянный, писатель и поэт, страстный поклонник и подражатель Бальзака, дававший нам в Тифлисе после экспедиции весьма вкусные литературные ужины.

В отряд явился и до сумасшествия храбрый, благородный, вечно восторженный Албранд, приехавший на Кавказ от несчастной любви искать славы или смерти. Он выпросился немедленно к Зассу, и во время кавалерийской атаки Герменчугского завала случайным образом я столкнулся с ним на берме. «За мной, ребята!» – крикнул он казакам и тотчас полез на

бруствер. Цукато и я за фалды черкески стянули его вниз. «Погодите, не так скоро, напрасно подведете людей под верные пули». В это время молодой казак, пораженный прямо в сердце, упал возле нас; мгновенная смерть не успела стереть улыбки с его лица. «Какой завидный конец! – воскликнул Албранд: – зачем злая судьба поразила его, а не меня!» На это нечего было отвечать, у каждого своя охота. Между адъютантами Корпусного командира заметнее других был все-таки А. Е. Врангель, и я очень его любил за его всегдашнюю приветливость, проистекавшую от непритворно доброжелательной души. Часто сходился я также с Давыдом Дадианом, сыном мингрельского владетеля, молодым, довольно изнеженным, мальчиком, не переносившим вида крови, а с моим старинным приятелем Пикаловым виделся, не проходило дня, в палатке, на походе или на батарее под неприятельским огнем.

Кази-Мегмет уберегся от нас. Чеченцы хотели его удержать в ауле, когда подошли русские войска, но он, сомневаясь в успехе, увернулся от них хитростию: ему вдруг явилось внушение свыше, что Аллах не дарует победы своим многогрешным поклонникам, ежели он, его имам, не станет во время боя молиться за них над текучею водой, а речка находилась за аулом. Не дерзая ослушаться боговдохновенного человека, они выпустили его к воде. Тогда он приказал им непременно отразить русских, обещая в таком случае довершить их со своими лезгинами и ни одного человека не выпустить живым из чеченской земли. Когда по взятии нами Герменчуга чеченцы принялись обвинять его во лжи, он ответил им, что вина принадлежит им, ибо сражаясь без веры и упования, они впустили русских в селение и тем отняли у него возможность исполнить волю Аллаха. Однако в скором времени он заплатил нам за герменчугскую удачу и снова поднялся на прежнюю высоту богоугодности в глазах легковерных горцев.

Шесть дней простояли мы возле Герменчуга, разоряя селение и поджидая возвращения колонны, отправленной с ранеными в крепость Грозную, откуда она должна была привезти почту, провиант и снаряды. Засс уехал в Наур, главную станицу Моздокского казачьего полка, лечить свою рану. Время проходило невесело, в сравнительном бездействии, и один только эпизод подал несколько новую пищу для разговора. Лекарь, потерявший рассудок во время штурма, бежал к чеченцам, которые, как все мусульмане, идиота считают существом неприкосновенным. Забравшись к ним, он счел обидным,

что его не потчуют пуншем, и за это стал их ругать и даже бить. Чеченцы, желавшие избавиться от такого беспокойного гостя, прислали в лагерь переговорщика с предложением разменять доктора на некоторых лезгин, захваченных в Герменчуге.

– Как, разменять этого доктора? – сказал Вельяминов, призвав чеченца: – напротив того, я пошлю к вам в лес еще несколько таких субъектов, у меня имеется в запасе не один идиот.

Чеченцы до того испугались этого обещания, что на другой день привели доктора в лагерь без всякого условия.

Первого сентября мы двинулись от Герменчуга к селению Автури и опять в лесу имели сильную перестрелку; тут наши казаки отбили сотни две рогатой скотины, которую неприятель не успел загнать в лес. При этом случае моздокский казак показал пример необыкновенной ловкости и силы. Трехлетний бык впереди стада стрелой несся в лес, казаки и татары напрасно старались его догнать. Тогда линеец на доброй лошади опередил прочих, настиг быка и на всем скаку нанес ему шашкой два удара, один по задним ногам, от которого он присел, другой по шее, от которого голова покатилась на землю. Дело случилось на моих глазах. Одним ударом срубленную голову животного отнесли к Корпусному командиру, который приказал подарить казаку три червонца за его молодецкую силу. Черкесы вообще умели хорошо владеть конем и оружием, но и наши линейские казаки не уступали им в этом деле. Спустя два года я имел случай видеть на Кубани другой пример казацкой удали на коне, о котором стоит упомянуть. Вдоль правого берега Кубани тянется ряд курганов, на которых во время дня помещались сторожевые парные пикеты. Саженей сто позади курганов проходила почтовая дорога. Существовал порядок, по которому, когда начальник едет по дороге, один казак должен оставаться на своем месте, а другой скакать наперерез начальнического экипажа и рапортовать о том, что замечено. Однажды я проезжал вместе с Зассом по кубанскому кордону, которым он командовал в то время. Коляска неслась во всю прыть отличных почтовых лошадей. Казак с ближайшего кургана поскакал к нам навстречу, вдруг, не останавливая коня, сделал вольт, выхватил из чехла винтовку, дал выстрел и, на втором вольте подняв с земли какой-то предмет, продолжал скачку. Когда он поравнялся с коляской, мы разглядели у него в руке застреленного зайца; теплая еще кровь доказывала, что штука была не подготовлена заранее, а он действительно убил лежачего зайца, на которого случайно наехал.

В Автури дошло до нас весьма неприятное известие о сильном поражении, которое Кази-Мулла нанес гребенским казакам в недальнем расстоянии от Терека. Дней шесть спустя после герменчугского дела он показался со значительною партией по правую сторону Терека в виду станицы Червленной. Командир полка переправился за речку с тремя сотнями казаков и двумя конными орудиями и пошел навстречу неприятелю. Чеченцы стали отступать и завлекли полковника Волжинского в лес, находившийся от нашей границы далее двадцати верст, окружили там заранее спрятанною пехотой и разбили на голову его отрядец. Не более половины казаков уцелели от побоища; Волжинсиий пал жертвой своей неосторожности, а оба орудия были потеряны. Неприятель, не мешкая, увез их в селение Беной, лежащее в нагорной Чечне, известной на Казказе под именем Ичкеры. Все без исключения приняли к сердцу эту неожиданную неудачу. Вельямиипов хмурился, молчал, думал и, сидя на барабане перед палаткой, только ладонью смахивал пыль со своих рыжеватых бакенбард, заслуживших ему у черкесов название генерала-плинера (красного генерала), и обчищал рукава и полы у своего сюртука. Он был очень опрятен и не терпел на себе ни пылинки; в то же время любил он собак до крайности.

В минуту досады только собака могла его развеселить своими ласками. Ей позволялось прыгнуть на него с грязными лапами, замарать платье, лизнуть куда попало; он начинал ее гладить, называть по имени, и пасмурное лицо его прояснялось. Между собаками, бежавшими за отрядом, фаворитом его был большой черный Приблуд, принадлежавший батарее кавказской гренадерской бригады. И действительно, Приблуд был умная и верная собака, не изменявшая своим кормильцам артиллеристам и понимавшая вместе с тем значение своего покровителя, к которому она никогда не пропускала явиться, виляя хвостом, только он займет свое место перед огнем. Но тут все ласки, все прыжки Приблуда, которого с намерением подгоняли к Вельяминову, теряли свою успокоительную силу; он продолжал хмуриться и думать, не говоря ни слова.

Результат его размышлений и частых совещаний с корпусным командиром обнаружился, наконец, и для нас, хотя не прежде самой минуты выступления. Алексей Александрович вообще был несообщителен и отнюдь не любил огласки своих

военных замыслов. На Кавказе очень был известен ответ, который он дал одному любопытному дивизионному командиру, спросившему у него однажды, на походе за Кубанью, куда идут. «Про то ведает барабанщик, он ведет; спросите у него, ваше превосходительство, а я ничего не знаю». Из походных приготовлений мы поняли, что решено идти в Ичкеру, отнять потерянные орудия и разорить Дарго, где Кази-Мегмет, проживавший в Гимрах, основал себе одновременно вторую оседлость. Для этой цели Вельямиов отделил от отряда: два батальона Бутырцев, батальон Московцев, батальон 40-го и батальон 41-го егерских полков, да два батальона Эриванских карабинеров с ротой сапер. Из нерегулярной пехоты пошел с нами Грузинский полк. Сообразуясь с лесистою горною местностью, на которой нам приходилось действовать, Вельяминов повел при пехоте только четыре горные орудия, две мортирки, два легкие орудия в шесть лошадей, к ним по одному зарядному ящику в пять лошадей и два запасные лафета, да одну сотню линейских казаков и сотню конных татар. Пятьдесят воловьих ароб везли за отрядом провиант с тем, чтобы на обратном пути поднять раненых и больных. Численность этого отряда превышала с небольшим четыре тысячи пятьсот человек. Малое число артиллерии, кавалерии, казенного обоза и офицерских вьюков, сокращенных до нельзя, много уберегла нас от неудачи, какую в 1845 году понес в Ичкеринских горах князь Воронцов, у которого отряд был загроможден кавалерией и артиллерией, нигде не находившими места действовать и увеличивавшими только протяжение колонны на тесных лесных дорогах. Остальная часть нашей пехоты, с обозом, артиллерией и со всею кавалерией, должна была впоследствии перейти через Сунжу по направлению к Герзель-аулу и ожидать приказания, где остановиться.

VIII.

Утренняя заря не показалась еще на горизонте, когда ударили подъем 7-го сентября. Тяжелая минута вставать до рассвета под полотняным навесом палатки. Свежо, не хочется покинуть теплую постель, а спать невозможно: барабан без умолку стучит над самым ухом. Полы палатки откидываются, холодный утренний ветер проникает под одеяло, гнешься и тоскливо глядишь на картину вялого пробуждения лагеря.

Солдаты вылезают из тесных палаток или начинают подыматься с росистой травы, если стояли биваком, обтряхивают шинели, обвивают портянками босую ногу, натягивают сапоги, потом надевают подсумки и застегивают ранцы. Все это, потягиваясь, зевая и с легкою побранкой на раннее время, на холод, на климат вообще, а случается и на начальство. Кое-где над догорающим костром денщик или казак, присев на корточки, наблюдает за чайником, в котором кипятится вода для господского чаю. Лошади ржут и нетерпеливо бьют копытом в ожидании утренней дачи. А барабанщик все продолжает обрабатывать туго натянутую телячью кожу. Входит денщик, в одной руке кувшин холодной воды, в другой стакан горячего чаю. Вскочить на ноги, ополоснуться, одеться, перекинуть шашку через плечо и сесть перед палаткой с чаем и трубкой не требует более пяти минут. Тем временем укладывают вещи, снимают палатку и вьючат лошадей; говор и суета возрастают с каждою минутой. «Ну, шевелись, ребята! – кричит унтер-офицер, – Живо разбирай ружья; ранний поход, будет работа, такое уж заведение у начальства. Чай и чеченца барабан разбудил. Окаянный притаился за кустом, да и ждет!» Кавалерия седлает лошадей, орудия запрягают. Сидишь, смотришь на все это движение полусонными глазами, глотаешь горячий чай и пускаешь на воздух клубы синего дыма. В подобную минуту человек менее всего занят размышлением, если на нем не лежит какая-нибудь особенная служебная обязанность; да и ту он исполняет машинально, по принятой привычке. Нужны солнечный луч или сильный толчок со стороны, чтобы разбудить в нем усыпленные душевные силы. Барон Григорий Владимирович в фуражке без козырька, шинель в рукава, садится на свои походные кресла и заботливым глазом начинает следить за уборкой лагеря. Вольховский, в калмыцком ергаше, хлопочет с дежурным штаб-офицером, подзывает полковых командиров, расспрашивает лазутчиков, подписывает бумаги на спине казака, подставленной вместо пюпитра. Помню, как он морил и меня, приказывая будить ночью, а в своей палатке без огня расспрашивая по получасу о дороге, о количестве запасного провианта, патронов и снарядов и как укорял, когда я не был в состоянии положительным образом отвечать на каждый вопрос. Дело офицера генерального штаба, говорил он в таком случае, заботиться обо всем, знать все, что касается до состава войск и до снабжения припасами всякого рода; для этого ему открыта канцелярия и предоставлено право рас-

спрашивать проводников и получать сведения от начальников частей.

Позже начинают составляться офицерские кружки для распивания чаю с приправою толков о том, куда идут и чего можно ожидать от наступающего похода. У кого денщик опоздал его заварить или не достало припасов, идет к товарищам. Русские офицеры живут дружно, все делят пополам: и табак, и вино, и чай, и сахар. Приходи только за табаком со своею трубкой – в то время не знали папиросок – а к чаю со своим стаканом и собственным кипятком; время перед выступлением дорого, а медные походные чайники обыкновенно очень малы. В этот раз мне не удалось долго предаваться предрассветному безмыслию, ни толкам и распиванию чаю в компании товарищей. Вельяминов приказал мне идти в голове колонны с проводниками, которые должны были вести нас через Маюртупский лес по дороге к Белготою. Ударили подъем, отряд начал строиться, со всех сторон стали стягиваться батальоны, артиллерия въехала в свои места, застрельщики вышли вперед и растянулись хищною нитью по обе стороны густой массы войск. В это время показалась заря, и скоро после того солнце заиграло яркими лучами на штыках солдатских ружей. Перед нами чернел Маюртупский лес. Встретим ли мы там неприятеля и в каком числе, никому не могло быть известно. Лесную опушку заняли обыкновенным порядком, обстреляв ее сперва картечью. Чеченцы ни одним выстрелом не отозвались на наш огонь. Отряд вошел без сопротивления в глубину леса, через который змеилась арбяная колея, пробираясь сквозь кустарник и тесный лабиринт вековых гигантов, на каждом шагу загораживавших дорогу своими нависшими сучьями. Глубокая тишина нарушалась только шелестом листьев от застрельщиков, продиравшихся сквозь чащу и изредка брякнувшим ружьем. Версты две от входа в лес лежало поперек дороги дерево огромной толщины. Чеченцы, прикрываясь им, встретили убийственным залпом наших передовых застрельщиков. Резерв ударил в штыки, авангардная рота поддержала его, неприятель бросил засаду, но с той минуты загоралась сильная перестрелка.

Для провоза артиллерии и обоза надо было очистить дорогу от баррикады. Саперы, шедшие в голове колонны, принялись за работу; стук топоров смешались с перекатами ружейного огня. Чеченцы, засевшие на деревьях, необычайно метко стреляли с высоты по рабочим, которых им легко было видеть; сапер за сапером падали убитые или раненые. Солдата три катались по

земле в страшных судорогах и ревели от боли, получив самые мучительные раны, которые только могут поразить человека. Саперы бросили топоры и спрятались за деревья, а капитан Богданович схватил один из брошенных топоров, сел на лежащее дерево и принялся рубить со всего плеча так, что только щепки летели во все стороны, приговаривая: «Если солдатам прилипла охота по-бабьи пробавляться в холодку, то чтобы не нажить стыда, кому же за них работать, как не командиру?» Неглупые солдаты поняли сарказм, постыдились своей минутной робости и приступили к дереву с удвоенным усилием. Богданович, чтоб отвлечь мысли работавших от опасности, совершенно открытый для неприятельских выстрелов, стоял на завале и, посвистывая и пристукивая каблуками, забавлял солдат побасенками и прибаутками, которые он мастер был говорить.

Работа уже подходила к концу, когда Вельяминову удалось пробраться до нас по тесной дороге и привести грузинских милиционеров, которые, рассыпавшись по лесу, отогнали чеченцев. Двенадцать саперов однако успели выбыть из строя, не считая пехотных солдат, подстреленных в цепи. На этом дело не остановилось в Маюртупском лесу. Около пяти верст мы прошли изредка меняясь выстрелами с неприятелем, всюду уступавшим дорогу, потом снова усилилась перестрелка с нашей правой стороны. Принуждены были усилить боковое прикрытие целым батальоном, потому что оно набрело на чеченские кутаны, то есть шалаши, в которых они спрятали в лесу свои стада и семейства. Тут дело, дошедшее до штыков и до шашек, кончилось тем, что с той и с другой стороны пали десятка два, и наши солдаты успели захватить разные съестные припасы и кое-какое совершенно бесценное тряпье. В плен отдались несколько стариков и беззубых старух: все чеченцы и чеченки, обладавшие здоровыми и молодыми ногами поуходили в такую чащу, куда бесполезно было за ними гнаться. Перед захождением солнца мы вышли на открытое возвышение, у подошвы которого, с восточной стороны, текла река Гудермес, и расположились лагерем.

В начале ночи три пехотные батальона, грузинская милиция и четыре горные орудья, под командой Вольховского, были отправлены занять деревню Белготой, от которой дорога разделялась, на юг – в Дарго, а на восток – в Беной, куда чеченцы завезли орудия отнятые у гребенских казаков, полагая

их в этом месте недосягаемыми для русских войск, никогда еще не проникавших так далеко в чеченские горы. Несмотря на неожиданность этого движения и на ночное время, неприятель подметил его и с упорством защищал переправу через Гудермес. Когда мы днем пошли по следам Вольховского, вся дорога была усеяна патронами, растерянными нашими солдатами во время ночной перестрелки, что ясно доказывало нелепость подсумка, привешенного позади спины.

Так как на забаву легкомысленного человечества нет такого серьезного, даже драматического положения, которое бы совершенно обошлось без комической интермедии, так и на этом переходе случай, грозивший сначала ввергнуть в нешуточную беду всеми уважаемого человека, потом обратился в сцену возбудившую всеобщий хохот. Нашего почтенного барона Григория Владимировича на волос не столкнул в овраг его собственный ординарец. Этот господин, состоявший при нем, кажется, по поводу родственных связей, от природы был одарен специальным свойством: с наивностью новорожденного делать всевозможные неловкости. Да и на него самого, как шишки на бедного Макара, сыпались самые забавные несчастия. Не только в штабе, во всем отряде его знали с этой увеселительной стороны; к сожалению, однако, его наивные проделки не всегда обходились без изъяну для других.

Палатка ли, развалившись, покрывала своего жильца; лошадь ли неслась с подвернувшимся вьюком, разметывая по полю чемоданы, кастрюли, бутылки, или кричали «Берегись! Жеребчик сбивает седока!» – не справляясь говорили: «это новое приключение с N». Еще в Тифлисе, до выступления в поход, разнесся однажды слух, будто денщик едва не отравил его. Тотчас навели справку и оказалось, что дело совершилось без всякого преступного намерения. Он отлично картонировал, беспрестанно занимался этим искусством, денщику только и приходилось что подавать ему потребные для того припасы. N* заболел лихорадкой, и когда он спросил прописанного доктором лекарства, верный слуга, по неизменной привычке, подал ему вместо микстуры полную ложку спиртового лака. Другой раз, вернувшись из путешествия, N* долгое время не мог показаться в люди, потому что лицо его опухло страшным образом – от порезанных десен. Подобную рану нажить, кажется, не легко; она пришлась ему однако самым натуральным способом: сидя на почтовой телеге во время езды, он вздумал чистить зубы перочинным ножом.

В Галгаевскую экспедицию N* доставил нам удовольствие столько же забавного, сколько необыкновенного зрелища, в котором он разыграл роль не совсем завидную для джентльмена, коему, ради душевной невинности, отпускались такие грехи, за которые другого строго бы осудили. Не отыскав другого товарища, он поместился в палатке у Гайты-баши, старого турка, которого мы, не знаю право для чего, провели с его конвоем по галгаевским горам. Дней пять этого сожительства обошлись без приключений, хотя доброму мусульманину очень не нравились некоторые свиным мясом отзывавшиеся походные припасы господина N; на шестой день разразилась буря. Корпусной командир со всем штабом сидел на холму в ожидании насладиться видом солнечного восхода в горах. У наших ног расстилался ряд палаток, которые мы готовились покинуть, потому что, как помню, это было в Шуани; между ними выше всех красовалась зеленая, круглая палатка, вмещавшая Гайта-баши с его товарищем. Турок творил утренний намаз, до нас долетал монотонный напев его молитвы. Вдруг он сменился яростным вскриком; N, до нельзя сконфуженный, выскочил из палатки, и следом за ним полетели чемоданы, кофейник, чайник, подушка и другие походные принадлежности, которые он, с призванным на помощь казаком и денщиком, поспешно стал подбирать. Это требовало пояснения, и мы не долго томились в неизвестности. N* пошутил с Гайта-баши: пока тот молился, он его мазнул по губам колбасой – за что со срамом был изгнан из-под гостеприимного крова зеленой палатки. Корпусной командир подозвал его, расспросил как было дело, сильно побранил. и кончил свою наставительную речь весьма нелестным заключением: – «à present je vois que vous êtes un sot» (я вижу теперь, что вы глупец – *фр.*). N* вытаращил только глаза, а впрочем, это начальническое решение скользнуло с него как с гуся вода.

Давно бы перестали помнить эти проделки, но N* не дремал; в Чечне, на первых же порах, он позаботился напомнить о себе. Где-то на привале Вельяминов давал завтрак для Корпусного командира; вокруг стола сидели на барабанах, и несколько их стояло в стороне для опоздавших офицеров. Когда N* подъехал верхом к самому столу, Алексей Александрович не замедлил сделать ему приглашение слезть и приступить к закуси. Пять минут спустя за нашею спиной раздался чрезвы-

чайно громкий, но необычный стук барабана, в то же время со всех концов кричали: «держи! держи!»

Все оглянулись и – расхохотались: сцена того стоила.

Чья-то лошадь мотала барабаном, висевшим у нее на поводу, била его об землю, металась во все стороны, дыбилась, лягала и, чем больше прыгала, тем сильнее гремел барабан и увеличивал страх бедного животного. Насилу овладели ее бешенством. «Что за чудное дело, чья это лошадь?» – спросил Вельяминов. «Моя», – отозвался плачевным голосом N*. Не отыскав, кому передать лошадь, имея перед собой соблазнительный завтрак, он привязал ее к одному из запасных барабанов. Несколько минут конь простоял, наклонив голову, потом попытался ее поднять: барабан слегка пристукнул; мотнул мордой: и барабан загремел; тогда он поднялся на дыбы, и началась потеха.

Всем известный турецкий жеребчик, которого он вечно лечил весьма странными симпатическими средствами от не существовавшей порчи, не имел привычки повиноваться удилам, а возил его по собственному воззрению, куда ему нравилось. Пошлют направо, он несет его, очертя голову, налево. Накануне выступления, в одну из таких скачек, он сбросил с лошади раненого в руку князя Кирбека.

В последнее время N* в самую минуту выступления ухитрился выменять у какого-то пехотного офицера лошадь, окладом шеи и к верху задранной головы близко походившую на верблюда. Гордая осанка коня очень понравилась ему, и он пересел на него с видимым удовольствием. Прошло часа два со времени этого счастливого промена; мы подвигалась по высокому и узкому гребню, на котором две лошади с трудом могли идти рядом. Корпусной командир имел возле себя Вельяминова, с которым говорил о чем-то занимательном, поглощавшем все его внимание. В свите сделалась вдруг тревога. N* несся на лошади, задравшей голову вертикально к облакам, растолкал народ направо, налево и, пролетев между бароном Розеном и Вельяминовым, первого из них задел с такою силой, что лошадь его, поскользнувшись, задом повисла над обрывом. Вельяминов, схватив ее за повод, успел спасти барона от решительного падения, которое бы наверное не обошлось ему без поломанных костей, а может быть, стоило бы и жизни. В десяти шагах от места происшествия, рьяный конь N* ткнулся мордой в землю и наездник поневоле, описав высокую дугу, полетел ему через голову. Добрый Григорий Владимирович, оправившись от неожиданного испуга, при виде этой сцены не удержался от смеха и наградил его только комплиментом: «je vois, je vois, vous avez un nouveau cheval, tout rempli de belles qualitées comme vous même» (я вижу, вижу, что у Вас новая лошадь, обладающая столь же прекрасными качествами, что и Вы – *фр.*). Горемычная звезда, под которою родился N*, не помешала ему однако подвигаться, равняясь со всеми, на поприще службы и даже за нашу экспедицию попасть в гвардию. Бабушка либо тетушка для него ворожили.

Помечая на бумаге впечатления давно прошедшей молодости, по мере того как они возобновляются в моей памяти, я не упустил рассказать и о забавных похождениях господина N* в доказательство, что мы не всегда были заняты одними побоищами и нередко имели случай отвести душу на пустяках и посмеяться, как смеются только в те годы, в которые человека веселит каждый вздор.

Однако пора возвратиться к рассказу об Ичкеринской экспедиции. На другой стороне реки Аксай, через которую следовало идти в Беной, возвышался крутой, сплошным лесом покрытый гребень. Тесная дорога, заваленная деревьями в двадцати местах, поднималась на высоту, пролегая вдоль ската, обращенного к реке. Сто шагов над нею тянулся по горе крепкий завал, сильно занятый неприятелем. Когда мы со всем отрядом стали на позицию над крутым скатом к реке, тогда только Вельяминов разрешил Вольховскому идти к переправе с войсками, накануне отданными в его распоряжение. Два легкие орудия, наша единственная полевая артиллерия, открыли огонь по противоположному завалу; Пикалов командовал ими, сам командир, Э. В. Бриммер, направлял выстрелы, редкий снаряд не попадал, но это нисколько не смущало горцев; деревья, из которых они сплотили себе оборону, победоносно выдерживали огонь нашей немногочисленной артиллерии. Мы видели с нашего берега, как колонна переправилась через Аксай и, медленно поднимаясь в гору, исчезла в густом лесу. Эхо беспрерывного ружейного огня разнеслось по горам; путь колонны обозначился двумя дымовыми полосами; огни сверкали с завала вниз, с дороги вверх. Иногда дым, не подвигаясь, начинал клубиться на месте, сливался в одно облако, сухой, отрывистый звук неприятельских винтовок покрывал шипучую трескотню солдатских ружей; ветерок переносил к нам пронзительное гиканье чеченцев, перемешанное с русским ура. Тогда Пикалов тотчас начинал посылать ядра в дымовую глыбу, нашим через голову, и ни одно не ложилось, куда не следовало.

Артиллеристы Кавказской гренадерской бригады имели верный глаз и знали хорошо свое дело. Дымовой клуб опять разматывался в две волнистые ленты, препятствие было уничтожено, отряд подавался вперед. Недолго неприятель безнаказанно пользовался выгодами своей, казалось, непреодолимой позиции; скоро обозначилась на горе, поверх завала, новая полоса дымков. Грузинские милиционеры обошли его, и по мере того как они проникали сквозь чащу, чеченцы были принуждены уходить. Перед вечером мы имели утешение видеть, как наши войска стали собираться на открытой вершине горы. Лес был пройден, успех предприятия почти верен; вопрос заключался только в том, найдутся ли орудия в Беное, и не успеет ли неприятель увезти их еще дальше в горы.

В этот день одно счастие спасло Вольховского от смерти. Колонна остановилась на половине подъема, ожидая пока расчистят два завала, один от другого не далее двухсот шагов. На каждом из них работали по две роты, стараясь столкнуть под гору огромные колоды, которыми была загромождена дорога. Не обращая внимания на предостережение Богдановича, советовавшего не идти без конвоя, он пошел к передовому завалу с одним юнкером Шиоевым, армянином, находившимся при нем в должности бессменного ординарца. Когда он удалился шагов на двадцать от первой баррикады, Богданович, распоряжавшийся расчисткой, по какому-то необъяснимому побуждению послал за ним трех саперов, несмотря на запрещение давать ему провожатых. На половине дороги между двумя завалами в виду всех около десятка чеченцев неожиданно выскочили из кустов, мгновенно изрубили саперов, которые встретили их штыками, и погнались за начальником штаба. Ни с какой стороны нельзя было стрелять, не рискуя убить самого Вольховского; вовремя подоспеть казалось также невозможным; в несколько секунд его могли догнать и изрубить в куски. Шиоев его спас. Он загородил чеченцам дорогу и приложился в них, не выпуская заряда. Пока они колебались, кому идти на верную смерть, солдаты успели подбежать. Тогда чеченцы скрылись в лес так же быстро, как они из него вынырнули. Не будь саперов, которые, жертвуя собой, на несколько мгновений остановили неприятеля, да Шиоева, Вольховский не пережил бы этого случая.

На другой день, перед полуднем, мы получили первое известие от Вольховского. Лазутчик пробрался к нам в лагерь с запиской, в которой он уведомлял о возвращении потерянных

орудий, найденных в глухом овраге, куда они были спрятаны бенойскими жителями. Эта новость произвела всеобщую радость в отряде. Хотя орудия сами по себе не стоили всех трудов, жертв и издержек на добычу их, однако не следовало оставлять подобного трофея в руках у горцев и не дурно было им в то же время дать урок в том, что отбивать у нас артиллерию вовсе не выгодно. При обратном следовании Вольховского по Аксаевской горе повторилось вчерашнее дело, с тою только разницей, что неприятель, будучи лишен возможности держаться в завале, устроенном продольно над дорогой, сильно наседал на ариергард и возле самого спуска к реке успел даже отрезать полроты, которую Резануйлов выручил не без труда.

Десятого сентября войска отдыхали, исподволь скашивая поля, вырубая сады и разоряя белготойские сакли. Чеченцы поодиночке перестреливались с лагерною цепью, выезжали из лесу поджигитовать с казаками и татарами, но нигде не показывались в большом числе, приберегая свои силы на честные проводы, когда мы пойдем обратно. Накануне у нас были убиты несколько солдат и три татарские милиционера. Их похоронили на месте прежней стоянки над Аксаем, под бывшими коновязями, как было принято, с целью прятать могилы от чеченцев, не хотевших терпеть в своей земле даже наших мертвецов. В ночь чеченцы отрыли тела и, осквернив, выбросили наружу. Татар это озлобило до такой степени, что полдесятка их целое утро пролежали в засаде и захватили живьем чеченца, подкрадывавшегося к лагерю, притащили его к свежей могиле своих товарищей и там срезали ему голову, несмотря на брань, угрозы и даже действительные побои от вблизи случившихся русских офицеров.

На другой день Вельяминов с половиной отряда двинулся разорить Дарго (Люди, не знакомые с Кавказом, обыкновенно полагают, что русские войска впервые прошли на это место с князем Воронцовым в тысячу восемьсот сорок пятом году; знающие нередко оставляли это без опровержения из угождения к человеку, бывшему в силе и почете). Через Аксай следовало переправиться четыре версты выше того пункта, на котором Вольховский переходил в Беной. Глубокий и крутой овраг отделял Дарго от Белготоя. На другой стороне раскрывалась обширная, совершенно ровная площадь, покрытая полями, садами и домами широко раскинутого селения. Со всех сторон она была окружена лесом и горами. Полевые орудия пришлось спускать под гору, сняв с передка и затормозив сучко-

ватыми срубами, к которым они были прикреплены канатами за лафетный хобот. Тут мы сделались свидетелями эпизода, возможного только в кавказской горной войне. Хотя неприятель и отказался от всякого прямого сопротивления, выжидая, когда мы станем отступать, однако нашелся чеченец, который наперекор пословице, что один в поле не воин, с помощью Аллаха и своей винтовки решился защищать переправу через Аксай. Он засел на противоположном скате горы за толстым пнем и открыл огонь по людям, медленно спускавшим орудия на совершенно открытой дороге. Напрасно цепь стреляла по нем беглым огнем, напрасно горные орудия пускали бессильные снаряды против сырого пня, напрасно сам Вельяминов, старинный артиллерист, распоряжался двумя мортирками, стараясь навесным огнем выжить его из засады. Убив одного солдата и ранив двоих, он выскочил из-за пня, показал рукой, что выпустил все патроны, гикнул и бегом скрылся в лес.

Когда войска поднялись на Даргинскую площадку и заняли место, тогда Вельяминов поехал распорядиться дальнейшим ходом дела. Накануне еще было получено донесение о переходе через главный хребет до тысячи человек андинцев с целью загородить нам дорогу в Андию. Подъехав к цепи, стоявшей в расстоянии пушечного выстрела от опушки того самого леса, в котором наши добрые войска тринадцать лет спустя так дорого поплатились в известную сухарную экспедицию, мы действительно увидали перед собой немалую толпу конных и пеших горцев. Орудия стояли наготове открыть огонь. Алексей Александрович внимательно оглядел лес через свою коротенькую зрительную трубу, подумал с минуту, а потом скомандовав: «Орудия, на передки! Горнист, играй отступление!» – проговорил знаменательные слова: «В эту трущобу я не полезу, а дразнить их незачем». Отодвинув цепь насколько было возможно не нарушая безопасности войск, имевших задачей разорить Дарго, он приказал приняться за дело, не теряя времени. Помню я даргинскую кукурузу ростом выше человека на коне; много сабель поломали на ней наши татары, с ожесточением уничтожавшие все чеченское из мщения за поругание убитых товарищей.

Без выстрела мы разорили Дарго и вернулись в Белготой.

Двенадцатого началось отступление, не по старой дороге на Маюртуп, которую чеченцы перегородили бесчисленными завалами, а на Центури, Гурдали и вниз по левому берегу Аксая к кумыкскому селению Хош-гелды (Добро пожаловать).

От Белготоя два лесистые гребня расходятся под острым углом, сначала поднимаясь, потом волнообразно спускаясь к Центури. Левый гребень командовал правым, по которому вела единственная дорога, удобная для следования обоза и артиллерии. Селение Центури лежало не далее шести верст от Белготоя. В одиннадцатом часу главная колонна, в которой находились оба штаба, полевая артиллерия, умножившаяся до четырех орудий, потому что отнятые у неприятеля пушки были положены на запасные лафеты, которые мы привезли для этого дела, обоз и кавалерия, под прикрытием трех батальонов и грузинской милиции, двинулась в обратный путь. В ариергарде были оставлены возле Белготоя под командой генерального штаба полковника Зандена, исправлявшего при Вельяминове должность начальника штаба, егерский батальон Резануйлова, батальон М-ского полка и два горные орудия; а под начальством Пирятинского – два батальона его собственного полка, саперы и еще два маленькие единорога. Им было приказано начать отступление часа два спустя, когда обоз успеет перевалиться через гору. Одновременно выступив с белготойской позиции, Занден должен был идти по правой, Пирятинский по левой высоте. Алексей Александрович приказал мне остаться при Зандене; у Пирятинского находился генерального штаба поручик Калемберг. Во все утро неприятель не показывался и не разменялся с нами ни одним выстрелом; но это обстоятельство отнюдь не вводило нас в заблуждение: мы знали очень хорошо, что нас будут преследовать с полным ожесточением.

По донесению лазутчиков не менее трех тысяч чеченцев собралось в окрестных лесах; кроме того, нельзя было думать, чтобы виденные нами вчера андийцы упустили такой удобный случай пострелять в гяуров во славу Аллаха и ради спасения своих грешных душ. Занден не скрывал от себя, что задача, выпавшая на его долю, была весьма щекотливого свойства, а потому с некоторым беспокойством ожидал минуты, когда нам позволено будет тронуться с места, ибо неизвестность, чем разразится бездействие неприятеля, для нас всех была крайне томительна. Хвост главной колонны не успел еще перейти за гору, когда из цепи дали знать, что против Пирятинского и против нашего правого фланга чеченцы начинают толпами выходить из лесу, и андийцы, простоявшие все утро на Даргинском плато, также спускаются под гору. Вследствие этого уведомления, Занден приказал мне сходить на правый фланг и, удостоверившись в справедливости показания, прой-

ти потом налево вдоль всей ариергардной цепи; если где замечу какое-либо особенно важное обстоятельство, то, известив его через казака, не теряя времени скакать вдогонку за Вельяминовым и лично доложить ему обо всем. Занден не без причины рассчитывал, что в таком случае Алексей Александрович поспешит вернуться к ариергарду и своим присутствием избавить его от тяжелой ответственности. Направо от нас неприятель действительно показывался из лесу, не подходя однако ближе пушечного выстрела; в центре и на левом фланге, где в опушке густого леса лежали застрельщики от двух московских и двух егерских рот, господствовало полное спокойствие. Ни застрельщики, ни батальонный командир Резануйлов, беспрестанно обходивший цепь, не подметили в лесу ничего сомнительного; нигде следа человеческого присутствия, везде мертвая тишина; можно было слышать перелет птиц и жужжание жуков. Но именно эта тишина показалась мне слишком подозрительною. Во мне укоренилось убеждение, что неприятель показывается справа с одною целию отвлечь наше внимание, а всею силой нападет на левый фланг в надежде опрокинуть его и очистить себе дорогу к главной колонне, отягощенной кавалерией и обозом. С этою мыслию в голове я поскакал догонять Вельяминова, не жалея своей лошади, и через несколько минут настиг его вместе с Вольховским позади обоза, медленно сходившего под гору по причине очень трудной дороги.

Вельяминов со спокойным видом выслушивал мой доклад, заставляя повторять некоторые подробности. Вольховский нетерпеливо выжидал случая вмешаться в дело, и, наконец, у него вырвались слова: «Понять не могу, что вы говорите: неприятель сосредоточивается против правого фланга, а вы опасаетесь за левый».

– А я понимаю очень хорошо, – возразил Вельяминов. – Чеченцы показываются справа для того, чтобы нас обмануть, а налево прячутся в лесу с намерением озадачить наши войска неожиданным нападением. Батальон, налево кругом, скорым шагом! – скомандовал он егерям 40-го полка и сам поехал на рысях к ариергарду.

Вольховский, со своей стороны, отправился к Корпусному командиру доложить о происходящем.

– Кто у вас стоит на левом фланге? – спросил Вельяминов, пока мы ехали.

– Резануйлов со своим батальоном.

– Резануйлов! Этот зубаст, отгрызется! А в центре кто?

– М-ский батальон.

– Веди прямо к нему. За мной! – обратился он к егерям, догонявшим нас беглым шагом.

На высоком холме, служившем кладбищем для белготойских покойников, унизанном надгробными камнями и шестами, на которых развивались разноцветные флюгера, стоял Занден, имея возле себя два горные орудия под командой поручика Павла Бестужева. Увидав батальон, шедший к нему на подкрепление, он счел ненужным долее мешкать и приказал протрубить отступление. Протяжный звук исполнительного сигнала, повторенный горнистами в цепи, не замер еще в воздухе, как ружейная пальба и пронзительный вой чеченцев слились в один общий оглушительный гул. Безмолвный лес ожил с такою неожиданною силой, что озадаченные М-цы быстрее, чем бы следовало, бросились от опушки под покровительство артиллерии, совершенно заслонили от ее огня чеченцев, бежавших за ними с обнаженными шашками. В этот самый момент мы поднялись на могильный холм, с которого была видна вся впереди лежащая местность и, понятным образом, не были обрадованы тем, что увидали. Егеря, поспевшие с нами почти в одно время, разом поправили дело. Две роты, не дожидаясь приказания, кинулись с высоты навстречу осиленным товарищам, пропустили их через свои ряды, разрядили ружья неприятелю в упор и ударили в штыки. Осадив чеченцев, они быстро приняли в сторону и открыли дорогу для картечи. К несчастию, при третьем выстреле у единорога лопнула станина, ударив хоботом в камень – в горной артиллерии существовали тогда еще деревянные одностанинные лафеты – и мы были принуждены ограничиться стрельбой из одного только орудия.

На левом фланге неприятель повторил свой маневр еще с большим успехом, но по дыму и крику ясно было видно, что Резануйлов, оправдывая предсказание Вельяминова, огрызался как старый, травленый волк. Алексей Александрович хорошо знал людей и свое войско.

С этого началось дело, длившееся до солнечного заката.

Вельяминов лично стал распоряжаться отступлением левой ариергардной колонны. Во всю экспедицию ни разу мне не доставалось столько работы как в этот день, а сверх всего еще пришлось перенести гнев Вельяминова не за собственную вину. Отступали шаг за шагом с переменой цепи назад. Наше единственное орудие шло по дороге и удерживало неприятеля беспрерывным огнем. Пока крайняя ариергардная цепь, лежа, вела

перестрелку, параллельно за нею располагались еще две цепи. Налево от дороги Вельяминов посылал своего адъютанта Ольшевского, направо – меня выбирать удобные места для застрельщиков и особенно скрытно размещать резервы и ротные колонны, на которые упирались фланги. Не прежде личного донесения от нас, что все находится в порядке, он приказывал для крайней цепи трубить разом три сигнала: – стрелять ускоренно, вставать и ретироваться бегом. В этих трех приказаниях заключался глубокий расчет, основанный на точном знании кавказской войны. Хладнокровные и опытные распоряжения Вельяминова уберегли двенадцатого сентября тысяча восемьсот тридцать второго года горсть русских войск от тех огромным потерь, которые после него понесли в Ичкеринских лесах два наши испытанные генерала с несравненно большими силами. Чеченцы потеряли охоту преследовать нас слишком горячо в последующие дни. Неприятель имел обыкновение, пока наши застрельщики лежат, сам приняв лежачее положение или прикрываясь кустами и деревьями, вести редкую перестрелку, сберегая заряды на случай, когда заиграют знакомый ему сигнал – отступать. Солдаты, поднявшись с земли, открывали тогда удобную цель для выстрелов; чеченцы, пользуясь этим, разряжали ружья и после того опрометью бросались в шашки. Вследствие приказания стрелять скоро, вдоль цепи образовывался густой дым, мешавший им в самую выгодную минуту верно целить, а потом вторая цепь встречала их беглым огнем почти в упор, когда они, обрадованные мнимым бегством наших застрельщиков, пускались их догонять. На случай, если б им удалось прорваться через вторую цепь, за нею лежала третья, через которую пробегали отступающие застрельщики с тем, чтобы занять позади новую, выгодную позицию. Два-три урока, данные чеченцам этим способом, принудили их быть осторожнее, а нас избавили от лишней потери.

Через два часа беспрестанной скачки, измученная лошадь упала подо мной; заводная была далеко; я пустился бежать по цепи. «Не бегайте здесь, берегитесь, убьют, убьют!» – кричали мне застрельщики, лежавшие за кустами и за бугорками. Хотел бы, да времени не было послушаться их совета; к тому же дело происходило на глазах у Вельяминова, а в некоторых случаях он был хуже чеченца.

На высоте, откуда дорога начинала спускаться к Центури, он приказал прилечь целому пехотному батальону и не трогаться с места без особого приказания, рассчитывая под его

защитой отвести фланговые цепи и не спеша расположить их на хороший ружейный выстрел от перелома местности.

Неприятель охватил батальон с трех сторон, но не тратил на него много выстрелов, выжидая, по своему обыкновению, когда эта сплошная масса принуждена будет подняться. Один Бестужев со своим орудием стоял на виду, и чеченцы не только били в артиллеристов, но даже пытались неожиданным налетом отнять единорог. Картечь и огонь от батальона осаживали их. Один раз они успели однако добежать, какой-то смельчак ухватился было за колесо, прислуга отскочила; тогда Бестужев выхватил у артиллериста пальник, сам приложил огонь к затравке, брызнул чеченцам в лицо полным зарядом картечи и, когда они разбежались, тем же пальником чувствительно напомнил солдатам, что и в крайнем случае не следует робеть.

Заняв для застрельщиков выгодную позицию, Вельяминов послал меня отвести батальон. При первом движении солдат приподняться, чеченские ружья затрещали со всех сторон, и они снова прильнули к спасительной матушке земле. Ни просьбы, ни увещания мои не понудили их тронуться с места. Без проку пробившись с ними несколько минут, я вернулся к Вельяминову под гору доложить, что батальон не идет.

Никогда не случалось мне видеть его в таком гневе.

Лицо залилось краской, глаза засверкали.

– Господин офицер, что вам было приказано? – крикнул он громовым голосом.

– Привести батальон.

– И вы осмелились не исполнить приказания! На гору! И без батальона не смейте казаться на глаза!

Что тут делать? Неожиданный взрыв Вельяминовского гнева совершенно меня ошеломил. Я не глядел на него, но чувствовал как глаза его впились в меня вопросительно, скоро ли я тронусь исполнить его волю. В эту минуту крайнего недоумения я увидел вблизи топографа Чуркина. Он был храбрый и расторопный малый; авось поможет, подумал я, и позвал его за собой на роковую гору.

Я повторил приказание командующего войсками – никто не шевельнулся. Тогда я приказал Чуркину поднимать офицеров и сам подошел к полковнику N* с покорнейшею просьбой встать на ноги. После того, уже общими силами, мы подняли солдат. Бывают такие минуты оцепенения и у очень хороших войск – в недобрый час. Чеченцы засыпали нас пулями. В первый момент не щелкнул ни один курок, но потом, будто оч-

нувшись от сна, батальон открыл такой живой огонь что нас одело густым дымовым облаком, под защитой которого мы успели спуститься под гору, потеряв не более полудесятка людей. Вельяминов, увидав меня с батальоном, только кивнул головой.

В это время на нас обрушилась новая невзгода. Пирятинский, во всех отношениях хороший и храбрый офицер, вместо того чтобы держаться с нами на одной высоте, отступая по левому гребню, невесть почему очистил его гораздо раньше. Неприятель тотчас воспользовался его ошибкой, занял гребень и с высоты стал бить нас во фланг. Это обстоятельство принудило командующего войсками послать в овраг, разделявший высоты, наши две последние резервные роты, приказав им пробираться по лесу, отнюдь не представляя цели для неприятельских выстрелов, и оберегать только оконечность правого фланга от нападения холодным оружием. Мне же досталось отвести эти роты на указанное им место.

Над крутым спуском, в виду селения Центури, Вельяминов приказал ариергардным войскам прилечь и отдохнуть порядком перед последним и самым опасным моментом отступления, а сам уехал на противоположную высоту выбрать позицию для наших четырех полевых орудий. Пробыв еще с полчаса в ариергарде и убедившись в том, что его распоряжения в точности исполнены, измученный, голодный, едва передвигая ноги, побрел я к Вельяминову доложить насчет полной готовности войск по первому приказанию спуститься под гору. Застал я его возле батареи со всем штабом тотчас после закуски, как доказывали еще неубранные ковры, салфетки и приборы. Шагов двадцать в стороне Вольховский наблюдал в зрительную трубу за неприятелем, сбегавшимся к ариергарду.

Он первый заметил меня и нетерпеливо стал звать к себе. Почти в ту же минуту услыхал я зов Вельяминова: пожалуйте сюда. Сперва следовало подойти к старшему, а потом принять приказание от младшего. Я направился к Алексею Александровичу.

– Все ли в порядке? – был первый вопрос.

– Все, как изволили приказать.

– А поел ли ты сегодня?

– Времени не было; с раннего утра ни куска.

– Ничего нет хуже, как храбриться с пустым желудком. Садись и поешь; закусывай, тебя не забыли и кое-что прибе-

регли на твою долю. Сперва прошу, – прибавил он, – исполнить мое приказание, а потом можешь идти куда тебя звали.

Понятным образом, я не дал себе повторить другой раз такое душеполезное приказание и немедленно принялся за вкусные пирожки и жаркое, подносимые мне его поваром.

Вольховский был слишком умен, чтобы не понять в чем дело, когда он увидал, как я принялся закусывать; махнул рукой и отошел в сторону. Иронически сложенные губы видимо процеживали слова: только и думает о еде. Герменчугский обеденный стол еще не вышел у него из памяти.

Скоро после того артиллерия открыла огонь; на противоположной горе завязалась сильная перестрелка, и ариергард быстро спустился в овраг. Неприятель, встреченный от нас гранатами, картечью и градом ружейных пуль, как вкопанный остановился на высоте.

В нашей колонне потеря убитыми и ранеными доходила до сорока пяти человек; в числе последних находился майор Резануйлов; Пирятинский потерял двадцать пять, а у неприятеля, по сведениям от лазутчиков, убыль превышала двести пятьдесят и был убит влиятельный андийский старшина Муртуз-Али.

На второй день отступления мы расположились ночевать возле селения Гурдали, известного во всей Чечне своими отличными орехами, сделав также короткий, семиверстный переход. Дорога вела через сплошной лес, и ариергарду не легко было отбиваться от чеченцев, наседавших на него как шмели, которых легче убить чем отогнать. В колонну стреляли только издали, с боков, не пытаясь загородить ей дорогу. Войска, постепенно выходя из лесу, стали группироваться в бивачном порядке на поляне, усеянной кипами ореховых дерев и ограниченной с юга и с запада лесом, в котором еще дрался ариергард. Барон Григорий Владимирович слез с лошади и расположился закусывать. Солдаты разбрелись по поляне, и не устояв против приманки, полезли на деревья за орехами. Чеченцы мгновенно воспользовались этим обстоятельством, смяли слишком растянутых застрельщиков, густыми толпами высыпали из лесу и с криком бросились на людей, рвавших орехи. Два батальона, схватив ружья, встретили их беглым огнем и оттеснили к опушке, но не могли загнать далее в лес. Пули сыпались на штабных офицеров, собранных в одну кучу, и на войска; озлобленные чеченцы стали метить в знакомых им Вельяминовских верблюдов и из семи троих убили. В это время Алексей Александрович находился еще с нами при ариергарде; услыхав сильный огонь в тылу, он ускорил шаг, и мы выехали из лесу в одно время с

двумя легкими орудиями, шедшими в хвосте главной колонны. Пикалов, командовавший взводом, наткнулся тут на два горные единорога и две мортирки, которые, неизвестно почему оставленные офицером, без видимого успеха стреляли в лес, откуда чеченцы отвечали метким ружейным огнем. Он тотчас принял начальство над батареей, приказав и своим двум орудиям сняться с передков. Проезжая мимо, я остановился возле него в то самое время, когда он влез на пенек, чтобы с него лучше разглядеть, где кроется неприятель. Не долго дали ему делать наблюдения с такого видного места. Через минуту он зашатался и с пня скользнул на землю; я соскочил с лошади ему на помощь.

– Пуля в груди, – проговорил он задыхаясь.

Поспешно расстегнул я сюртук – на рубашке ни капли крови; я распахнул ее, – против самого сердца виднелось синее пятно; однако на этом дело не кончилось: из левого рукава кровь лилась ручьем; ему перешибло три пальца, пронзило ладонь и тою же пулей контузило в грудь так сильно, что он в первую минуту и не чувствовал действительной раны. Носовой платок, который он держал скомканным в руке, ослабил пулю и спас его от смерти. Часто я видел на войне как самое мелочное обстоятельство, носовой платок, образ на груди, иногда одно движение руки, служили к спасению или на гибель человека. Пикалова все знали и любили; слух о его ране быстро разнесся по отряду. Корпусной командир тотчас прислал за ним своего адъютанта, но Пикалов отказался отойти от орудий, пока не пришлют офицера его сменить, и продолжал распоряжаться ими, обмотав носовым платком раненую руку. Если не ошибаюсь, его заменил молоденький артиллерийский подпоручик Воронов, и только тогда он отправился в лагерь для перевязки.

Два года спустя он умер от болезни: вероятно, контузия в грудь немало способствовала расстройству его здоровья и была настоящею причиной его кончины.

С прибытием ариергарда чеченцы, в свою очередь атакованные с тылу, были принуждены скрыться в глубину леса.

Ночь я провел в палатке у Пикалова, не смыкая глаз, поил его, переворачивал с боку на бок, подкладывал подушку под разбитую руку. Рана причиняла ему сильную боль и ему не удалось заснуть ни на одно мгновение. С вечера еще Ольшевский, адъютант Вельяминова, бывший у него правою рукой, передал мне приказание идти на другой день с проводниками

в голове колонны и наблюдать, чтобы на первых порах не сбились с настоящей дороги, разветвлявшейся в Маюртуп и к Хош-гелды, куда нам следовало идти. На маюртупской дороге, сильно баррикадированной, чеченцы ожидали нас в значительных силах; по дороге к Хош-гелды, пролегавшей по лесистому гребню над левым берегом Аксая, они оставили одни наблюдательные посты и устроили с десяток завалов. Чтобы поставить неприятеля в недоумение насчет действительно избранного нами пути, он приказал кавалерии сделать ложное движение по дороге к Маюртупу и потом поспешно примкнуть к пехоте, долженствовавшей прямо с места ночлега выйти на дорогу спускавшуюся к Кумыкской плоскости.

Не любил я тогда рано вставать, и часто случалось, палатку разбирали над моей головой прежде, чем я успевал окончательно распроститься с постелью: но в этот раз, несмотря на ранний подъем и бессонную ночь, я был на ногах раньше других, сел на лошадь и поехал к колонне, начавшей уже вытягиваться в гору. Пробираясь через артиллерийский бивак, я наткнулся на Эдуарда Карловича Бриммера, у которого самовар шипел перед палаткой.

– Куда так скоро? Слезайте-ка с лошади и выпейте чаю, – приглашал он меня.

– Нельзя, надо спешить, я должен идти с проводниками.

– Успеете еще, далеко не уйдут.

Я продолжал отказываться. Видя мое упрямство спешиться, он приказал подать мне стакан на седле; я сделал несколько глотков и уехал на рысях; неведомая сила меня подгоняла. Густой туман лежал на горах, надо было подъехать очень близко, чтобы разглядеть, куда двигались войска. Дорога углублялась в лес недалеко от лагерного места; головной батальон занял ее во всю ширину; напрасно просил я солдат посторониться и дать мне проехать. Убедившись, что и лесом невозможно обогнуть батальон, я отдал лошадь казаку и пешком протолкался вперед. Возле резерва авангардных застрельщиков я нашел моих проводников. Они приостановили на мгновение цепь, чтоб оглядеться, объявив, что по их соображению вблизи должен быть завал, и поэтому надо сперва высмотреть место, чтобы на него не наткнуться. Сзади тем временем понуждали идти не останавливаясь, и действительно не следовало мешкать, ибо в тот день нам предстоял двадцатипятиверстный переход. Дорога поднималась в гору. На первом повороте ее ряд дымков вспыхнул из-за сучковатой колоды, лежавшей попе-

рек нашего пути; я почувствовал удар в бок, оглянулся на солдата, что меня задел прикладом, зашатался, сделал еще два шага и упал на землю. Все это случилось так скоро и бессознательно с моей стороны, что я понял в чем дело только в ту минуту, когда увидал кровь на моем платье. Пуля пробила мне правый пах. Между тем огонь из лесу и с завала не умолкал; застрельщики прикрылись деревьями, дорога очистилась, возле меня лежали только два убитые солдата. Я попробовал отползти и не мог. Чеченцы, заметив, что я шевелюсь, и не имея перед собой другой цели, стали меня добивать.

Тут я услыхал за собой топот скачущей лошади и голоса кричавшие: «Не ездите туда, убьют! убьют! Там уже лежит убитый офицер!» Через мгновение меня кто-то схватил за плечо и с дороги оттащил в кусты. Это был А. Е. Врангель. Посланный корпусным командиром разведать, отчего впереди перестреливаются так долго на одном месте и не нужна ли артиллерия, он издалека заметил, что во мне еще есть движение, и я без помощи лежу под неприятельским огнем. Ни предостерегательные крики солдат и офицеров, ни очевидная опасность не остановили его доскакать до меня, спешиться и потащить за ближайшее дерево, подставляя собственное тело под меткие чеченские винтовки не далее сорока шагов от завала. Этот поступок вполне обрисовывает его рыцарский, истинно-благородный характер, не допускавший ни минуты колебания, когда требовалось выручить из смертельной беды товарища, хотя бы он был связан с ним не более как простым лагерным знакомством. Помню его заботливость уложить меня поспокойнее и сдать на руки надежному человеку и с душевным удовольствием помечаю в моих записках случай, оставивший неизгладимое впечатление в моей сердечной памяти. Откуда ни взялся опять вездесущий Чуркин, прилег возле меня и прислонил мою голову к себе на колени, а Врангель уехал с донесением, намереваясь также прислать ко мне доктора. Тем временем егерская рота, лесом обогнув завал, принудила бежать чеченцев, и саперы принялись его разрубать.

Около получаса я оставался без перевязки. Войска и артиллерия столпились на дороге, как обыкновенно случалось в лесу после неожиданной остановки, и никто не мог до меня добраться. Наконец показалась огромная, седая голова нашего корпусного штаб-доктора Ильяшенка. Он слез с лошади и принялся меня перевязывать. Во время операции подъехал мой приятель, одноглазый полковой доктор Чероцкий.

– Quale vulnus? – спросил он с лошади.

– Vulnus mortale, – ответил Ильяшенко, не оглядываясь и продолжая обматывать меня нескончаемым бинтом.

– Столько-то помню из моей школьной латыни, – заметил я доктору, – чтобы понять ваши слова. Вы ошибаетесь, я не чувствую никакой перемены в общем состоянии организма, поэтому моя рана не смертельна.

В ответ он пробормотал какие-то невнятные слова, заткнул бинт предлинною булавкой и стал собирать инструменты.

Подъехал Корпусной командир с Вольховским и с ними Вельяминов; они принуждены были обождать, пока расчищался завал возле того места, где Чуркин все еще меня поддерживал. Каждый старался сказать мне что-нибудь утешительное, положительно считая мою жизнь в опасности.

Один Вельяминов не терял слов на изъявление участия. Пристально взглянув на меня, он только сказал:

– А! Поздравляю с раной!

Вольховский сошел с лошади, и с истинно-непритворным участием, расспросив как я себя чувствую, приказал поспешнее подвести арбу.

– Что за арба! – отозвался Вельяминов: – Носилки!

Носилки не водились у нас в то время, раненых выносили из дела на шинелях, и носилки надо было сделать.

– Жердей нет, – заговорили несколько голосов.

– Жердей нет в лесу? Смешное дело! Казаки с коня, руби кинжалами!

Через десять минут жерди были готовы.

Опять доложили, что веревок не имеется вблизи.

– Коли нет веревок, так есть запасные фитили.

Вблизи находилась артиллерия. Фитилями связали жерди, сделали носилки, накрыли их ковром, подложили кожаную подушку – не знаю, откуда все взялось – и, поместив меня, понесли за войсками. Восемь линейцев и восемь пехотных солдат были приставлены меня нести и оберегать: так приказал Вельяминов. Прочих офицеров, у которых раны казались менее опасными, везли на арбах, в обозе. Чеченцы, заметив единственные в отряде носилки, вообразили себе, что им удалось подстрелить очень важного человека и во время нашего длинного перехода не раз пытались докончить меня пулями или добраться до меня с шашками, когда мои носильщики чуть отставали от шедшей впереди кавалерии или задний батальон несколько оттягивал. Тогда носильщики ставили меня

на землю, казаки садились на присошки, солдаты становились вокруг и отстреливались, пока не являлась помощь. Этот переход был богат завалами; на каждом из них десятка два неприятельских ружей встречали наш авангард и потом быстро исчезали пред штыками застрельщиков. Сильно теснили левое прикрытие, да доставалась еще ариергарду его честная доля; много бы мы потеряли людей в этот день, если бы все чеченцы вовремя успели прибежать с Маюртупской дороги. Перед вечером дело приняло более серьезный вид; неприятелю даже удалось прорваться к арбам, на которых везли раненых, и изрубить человек десять этих несчастных. Дмитрий Алексеевич Всеволожский с помощью ближайшей роты спас остальных.

На первом привале меня вынесли на лесную площадку и поставили недалеко от Корпусного командира. К нему съезжались лица, принадлежавшие к его свите; показался и N* на своем верблюдообразном коне.

– Уберите, уберите N*, – закричал заботливый Григорий Владимирович, – он всех давит своим конем; сейчас раздавит нашего раненого.

Десять насмешливых голосов повторили за ним:

– N*, вас приказано «убрать».

И злосчастный наездник и его борзый конь, оторопев от такого бесцеремонного изгнания, принуждены были унести свою прыть подальше от моих носилок.

Потом случай свел меня с Пикаловым. На следующем привале я заметил офицера с подвязанною рукой, который дремал под деревом, узнал Пикалова и приказал поставить меня возле него. После некоторого времени он открыл глаза и вперил их в меня с удивлением, не узнавая в первую минуту.

– Это что такое?

– Как видите, не хочу от вас отстать.

– Да, вчера я, сегодня вы, каждому своя очередь; кто знает, кому суждено увидать завтрашний день с целыми костями.

К нашей радости, все коротко знакомые встретили другое утро живые и здоровые. Мы вышли из Ичкеринского леса, не потеряв убитыми и ранеными более двухсот сорока человек, а может быть даже меньше. Мои пометки сгорели вместе с домом в нижегородской деревне и помнить все цифры невозможно. Хорошо еще, что происшествия, места, люди и все, что было ими сделано или сказано замечательного, с безошибочною точностию возрождаются в моей памяти, когда я обращаюсь мыслями к событиям прошедшего времени, разнообразившим начало моей жизни.

Переход показался мне бесконечным, да и войскам он пришелся невмоготу, а в лесу нельзя было ночевать без опасения крайнего беспорядка, которым неприятель непременно бы воспользовался. Ночь давно уже наступила, когда дальний ряд лагерных огней возвестил нам близость вагенбурга, ожидавшего нас на Кумыкской плоскости. На крутом, неровном спуске мои носильщики спотыкались на каждом шагу и поддавали мне толчки, от которых в ране резало как ножом. Усталые солдаты налегали на нас, падали и напарывались на собственные штыки, угрожавшие и нам немалою опасностию. При выходе из лесу нас ждал линеец, которому было приказано отвести мои носилки прямо к Вельяминову, опасавшемуся, чтобы в суете ночной расстановки бивака, меня как-нибудь не задавили. Меня поднесли к огоньку, у которого он грелся, и поставили плотно возле его барабана; тут я находился под хорошею защитой. Один Приблуд, бывший уже налицо, смел подходить и обнюхивать меня, виляя пушистым хвостом. После того Вельяминов приказал разбить для меня палатку подле своей кибитки и в ночь еще прислал походный тюфяк, которого у меня не было, и чашку бульону.

На другое утро Корпусной командир, Вольховский и прочие отрядные власти почтили меня своим посещением, Вельяминов, занятый делами, не приходил, но продолжал заочно давать мне доказательства своей внимательной заботливости.

Денщик мой, по складу своего сердца предпочитавший скучному бдению у постели раненого приятное препровождение времени «в три листика» под сению маркитантской палатки, ночью скрылся от меня на весьма продолжительное время. Одеяло сползло, сам я не имел силы и от боли не мог поворотиться; я звал, звал денщика и наконец с досады принялся стонать. Тогда раскрылась палатка, и предо мной явился Алексей Александрович, в тулупе, со свечой в руках.

– Что ты охаешь, дражайший, – спросил он, – разве так болит, что не можешь вынести?

Я рассказал ему причину моих стонов. Он сам помог мне во всем, послал отыскать веселонравного денщика и остался у меня, пока не привели раба Божия, дрожавшего как осиновый лист, потому что он знал привычку Вельяминова не шутить в подобных случаях.

Трое суток Алексей Александрович продержал меня под своим надзором, при себе велел наложить вторую перевязку и, оставшись доволен состоянием раны – он сам знал медицину – нашел удобным отправить на Линию вместе с прочими больными и ранеными, которых должны были отвезти в Грозненский военный госпиталь. Не вполне доверяя хорошему устройству его, он письмом просил майора Макарова, назначенного командиром Гребенского казачьего полка на место убитого Волжинского, принять меня к себе в дом для лечения, а майору Каличевскому, долженствовавшему конвоировать нас с батальоном Херсонского гренадерского полка, приказал нести все время на носилках и из Умахан-Юрта отправить на Терек под прикрытием целой роты. Не знаю, чем мне удалось в то короткое время, которое я прослужил на глазах у Вельяминова, приобрести его расположение. Во всяком случае, память о душевной внимательности, которою этот замечательный человек отличил меня во дни моей ранней молодости, всегда служила для меня верным утешением и укрепляла мое терпение, когда я после того встречался с людьми, находившими удовольствие делать мне положительный вред или сорить в глаза шутовским чванством. Впрочем, я давно покончил с ними все свои расчеты: на одних посердился, пока от них страдал, над другими насмеялся вдоволь, пока они были у меня на глазах, а потом забыл их всех, будто никогда не знавал и не видывал.

Перед выступлением колонны все знакомые пришли меня проводить. Далеко еще шел за мной Богданович, у которого в саперной роте были сделаны для меня новые носилки, и все спрашивал довольно ли они покойны. Многие полагали, что я не переживу раны, и Богданович был из числа не веривших в мое выздоровление. Бедняк, прощаясь со мной со слезами на глазах, не думал тогда, что не я, а он сам через месяц распростится с жизнию.

До крепости Грозной шли трое суток. Нестерпимая жара, господствовавшая на терекской низменной плоскости, пыль и комары были для нас истинным мучением. За каждым шагом носильщиков, залитых потом и шатавшихся от изнеможения, осколки кости, засевшие в ране, кололи мне в живое мясо как раскаленные иглы. Было очень больно; но я крепился духом. Стыдно было бы роптать в виду страданий прочих раненых, которых везли на арбах степью, по неукатанной дороге. При трехстах больных и раненых находились только один лекарь и два фельдшера; больше нельзя было отделить из отряда, не окончившего еще предположенных военных действий. Им физически было невозможно за всеми присмотреть и как бы следовало перевязать во время ночлега. После этого короткого, но весьма неприятного странствования я с радостию увидал берега Терека и почувствовал истинное наслаждение, когда у Макарова меня уложили на мягкую, чистую постель в светлой и опрятной комнате. От жару, пыли и плохой перевязки рана пришла в весьма дурное положение; нога онемела, пах распух. Макаров осмотрел больное место, ничего не сказал, но тут же предложил мне помимо его довольно плохого полкового лекаря прибегнуть к искусству азиятца, весьма удачно лечившего казаков, пострадавших в несчастном деле покойного Волжинского. Через несколько часов привезли из-за Терека кумыкского гакима Чурукая, который с первого взгляда объявил рану очень «яман», однако обещал с помощью Аллаха поправить дело, обложил пах компрессами из холодного рассола, помазал какою-то душистою мазью и, когда исчезли появившиеся признаки гангрены, продолжал пользовать своими привычными простыми средствами, медом и свежим коровьим маслом. Азиятские лекаря отлично умеют пользовать раны всякого рода и сращивают раздробленные кости даже в тех случаях, в которых европейские ученые хирурги признают необходимым ампутировать. Вместо корпии, запускаемой у нас в рану помощию зонта – операция, заставляющая пациента страдать каждый раз нестерпимым образом – они употребляют фитиль, вырезанный из бараньего курдюка, который входит без малейшей боли. От микроскопических осколков кости, неосязаемых никаким инструментом, Чурукай освобождал мою рану весьма практическим способом: обвернув кончик гибкого, тоненького прутика сырцовым шелком, он запускал его во внутрь раны, повертывал, а потом вытаскивал вместе с осколками, цеплявшимися за сырец.

У Макарова я пролежал три недели, пользуясь самым внимательным уходом, без сомнения в угождение Алексею Александровичу, ибо на мой счет я этого внимания принять не мог, увидав моего хозяина в первый раз, когда меня привезли к нему в дом. Потом меня перевезли в Наур к Зассу, который, уезжая в отряд после излечения герменчугской раны, настоял на этом перемещении во внимание того, что сам Макаров должен был идти в поход, а у него оставался в доме очень надежный человек, его камердинер, курляндец Берх. И действительно, Берх

был отлично честный и аккуратный, но несколько говорливый субъект.

Пока я лежал в Науре, слушая нескончаемые рассказы Берха о курляндских, мне тогда совершенно незнакомых порядках, наш отряд сходил в Гимры. Взятие этого селения и гибель убитого в нем Кази-Мегмета известны мне только из рассказов товарищей. Настойчивость Вельяминова и тут, устранив все препятствия, привела к результату, которого почти не ожидали. Отряд стоял над спуском в ущелье Койсу, имея снег по колено; внизу, четыре тысячи футов под ним, виноград висел на лозах. Дороги не было видно; кое-где по отвесным скалам проявлялись следы часто прерываемой тропинки. Горцы полагали положительно невозможным для русских от Ка-раная спуститься к Койсу – в последствии этот сход был нами разработан; укидали однако, на всякий случай, бока ущелья множеством завалов и перегородили его впереди селения трехсаженною каменною стеной, фланкированною двумя крепкими башнями. «Разве с дождем сойдете вы к нам», – кричали гимринцы нашим солдатам. «Они забыли, что кроме дождя и камни падают с гор», – приказал отвечать Вельяминов. Стали расспрашивать лазутчиков, можно ли сойти в Гимры с этой стороны. Все решительно утверждали, что тут не сойдет человеческая нога и указывали на путь, ведущий вниз с противоположного хребта. На обходное движение следовало потерять по крайней мере неделю, а время было дорого, октябрь был уже в половине, и окрестные горы стали покрываться снегом. Вельяминов сам принялся за расспросы.

– Если люди здесь не ходят, то не случалось ли кому видеть как бежала собака?

– Собака, пожалуй, пробежит. Вопрос показался забавным.

– Где собака пробежит, там пройдет и русский солдат.

Такое заключение сделал Вельяминов, приказал идти, и весь отряд, с помощью веревок, шестов и лестниц, спустился в пропасть под неприятельскими выстрелами и принес еще два горные орудия.

В ущельи наши войска встретили упорное сопротивление. Два раза штурмующие батальоны были отброшены и принуждены искать за выступами скал спасения от убийственного огня, поражавшего их из-за стены и с боковых завалов. Лестниц вблизи не было; стеною можно было овладеть только через отверстие, не шире человеческого туловища, оставленное горцами для сообщения. Вельяминов пришел, приказал поставить барабан в виду оборонительной стены, сел на него и принялся рассматривать неприятельские укрепления. Офицеры и казаки его окружали. Неприятель обратил на него все свои выстрелы, но это нисколько не смущало хладнокровного генерала; он продолжал свое дело.

Состоявший при нем капитан Бартеньев, получив рану, упал к нему на плечо.

– Дражайший, мог бы выбрать другое место, чтоб упасть, – обратился к нему Вельяминов и опять приставил к глазу зрительную трубу.

Князь Дадиан, командир Эриванского полка, подбежал к нему с горячею просьбой пожалеть свою драгоценную жизнь и уйти с этого места.

– Да, князь, – ответил он, – здесь действительно очень опасно, только не для меня, а для вас, поэтому не угодно ли вам с батальоном идти в гору и прогнать неприятеля из завалов, справа фланкирующих стену.

Это был сарказм не на словах, а на практике. Карабкаться по скалам, штурмуя завалы, жгло жарче пуль, летавших около Вельяминовского барабана.

Когда эриванский батальон, выбивая неприятеля, на полугоре поравнялся с поперечною стеной, было приказано снова идти на штурм. В голове колонны находились саперы и сотня гребенских казаков под командой майора Каде. Проходящим мимо него батальонам Вельяминов погрозил только пальцем при слове: «Ни пяди назад», и Гимры были взяты. Первые проскочили в узенький проход, на два аршина поднятый от земли, несколько человек саперов, за ними казаки и потом пробралась пехота. Натиск был так стремителен, что Кази-Мегмету не удалось уйти из башни, в которой он сидел; ее обошли с тылу, и тут повторилась сцена герменчугской обороны. Вельяминов прошел на другую сторону через отверстие, расширенное саперами, и опять сел против самой башни, в которой ни сколько не чаяли Кази-Мегмета, полагая что он, по принятому обыкновению, давно успел привести в безопасность свою священную особу. Два горные орудия пытались разбить башенную дверь. Гребенской казак показал при этом случае редкий пример преданности. Из одной бойницы, пробитой в башне немного выше человеческого роста от земли, целили прямо в Вельяминова; несколько пуль уже просвистали над его головой, казак поднял плоский камень, разбежался к башне и, прильнув к стене, заткнул там опасную бойницу.

Изнутри отталкивали камень, казак нажимал его сильною рукой; несколько минут продолжалась борьба; солдаты бросились к нему на подмогу, но не успели подбежать; камень выпал из рук, ему обрезали пальцы кинжалом, а в то же мгновенье пистолетная пуля покончила удалого молодца, пожертвовавшего собой для сбережения своего, столько же строгого, сколько достойного начальника.

Богданович с егерским батальоном, над которым он принял начальство после раненого Резануйлова, выбивал неприятеля из нагорных завалов с левой стороны ущелья. На высоком шпиле перед последним завалом его поразила смертельная пуля. Солдаты, любившие его как отца, рассвирепели и, не давая пощады, сорок лезгин сбросили в пропасть.

Албранд был ранен пулей в грудь и, не будь на нем широкий медный образ, изменивший ее направление, он лег бы тут костьми.

Казаки и саперы ворвались наконец в башню и перебили всех ее защитников. Когда вытащили тела, находившиеся при этом горцы с ужасом узнали между ними Кази-Мегмета, а наших чрезвычайно обрадовало такое неожиданное открытие, возбудив миролюбивые надежды, которые, впрочем, не сбылись. Дальние приверженцы его не хотели верить в смерть своего имама; для убеждения их принуждены были выставить тело на показ. С воплями собирались они к нему и, удостоверившись наконец в том, что святость мусульманская действительно не спасла его от русского штыка, стали являться с повинною головой и просить пощады у красного генерала. Капитан Бестужев-Рюмин срисовал мертвого Кази-Муллу; потом рисунок его был литографирован в чертежной тифлисского генерального штаба, где, полагаю, и теперь еще существуют несколько экземпляров.

При взятии гимринских завалов и драке в селении, 17-го и 18-го октября, выбыло из строя до трехсот человек.

Весь Дагестан и обе Чечни покорились русской власти, но не долго длилась их принужденная покорность. Гамзат-бек аварский объявил себя наследником духовной власти, принадлежавшей убитому Кази-Мегмету, стал во главе мюридов и полгода спустя снова принялся волновать горцев.

В последних числах октября распустили войска на зимовые квартиры. Барон Розен уехал в Тифлис через южный Дагестан, Вельяминова ждали на Линии. Это был конец во всех отношениях удачной экспедиции тысяча восемьсот тридцать второго года.

IX.

Скучно было мне лежать в опустелом доме, без всякого занятия, без книг и без журналов, которыми, признаться, закоренелые кавказцы тогда очень мало интересовались, имея слишком много собственного дела, поглощавшего все их внимание. Широкий турецкий диван, на котором я помещался, стоял в глубокой нише, украшенной собранием литографированных красавиц, бывшим в те времена в большом ходу и проникшим даже в самые отдаленные концы Кавказа. С утра до позднего вечера для меня открывалось одно дело: принужденно неподвластным взглядом изучать облики всех этих большеглазых, жеманных Сидоний, Меданий, Изидорий и Аврор, а слив их в один общий очерк, составлять себе идеал красоты, способной на веки приковать мое сердце, если только судьба сподобит отыскать его на деле. Эта мысленная работа очень скоро обратилась в совершенно бессмысленное глядение на стену, от которого рябило в глазах, и я всегда был рад, когда старик Берх или мой лекарь Чурукай своим присутствием выводили меня из томительного состояния созерцательного безделья. Слегка поворотив голову – другое движение было мне запрещено – я мог видеть станичную площадь через низенькое окно, но и там находил мало пищи для любопытства. Она почти всегда оставалась пустою и оживлялась только в случае тревоги. Несмотря на покорность, изъявленную горцами после экспедиции, прорывы чрез кордон не успели еще совершенно прекратиться. Иногда они делались с прямою целию воровства; иногда только ради мщения. Раза два в неделю поднималась ночью тревога. Топот скачущих лошадей будил меня; резерв собирался на площади; разносились по улицам призывные клики казаков и голоса казачек, которые никак не упускали случая вмешаться в дело, языком всегда, а иногда и ружьем. В Моздокском полку тогда живо еще хранилось предание о том, как казачки в старое время отстояли Наурскую станицу против кабардинцев, обороняясь, пока мужья не вернулись из партии и не выручили их, разбив неприятеля на голову. В воспоминание этого подвига ежегодно праздновался в Науре так называемый бабий день, в продолжение которого бабы и девки царствовали в доме и на улице, что в обыкновенное время не подходило к казацкому порядку.

На утро после каждого ночного происшествия Берх не пропускал вместе с чаем наделять меня подробным о нем рас-

сказом. То отогнали лошадей и быков, то подстрелили казака на пикете, зарезали старика на пчельнике или захватили ребятишек, без спросу убежавших в виноградники. Один из этих случаев, выходящий из ряду обыкновенных покушений, стоит рассказать подробно.

Несколько раз упоминал я о секретах, которые имели привычку выставлять на кордоне, вдоль Кубани и Терека; поэтому не стану повторять моих прежних пояснений, а прибавлю только, что происшествие случилось на секрете в начале декабря, при очень чувствительном холоде, и когда по Тереку шла «порошня», то есть река еще не замерзла, но уже гнала льдины. Полагая, что в такое время никакая живая тварь не сможет переплыть через реку, и холод да льдины совершенно оберегают их от вражеского покушения, пять казаков вместо того, чтобы лежать в секрете со всегдашнею осторожностию, развели на берегу Терека огонек, да возле него и заснули. На счастие, один из них проснулся и пошел подсмотреть, не пробрался ли пожалуй урядник поверять, как казаки исправляют службу на кордоне. Возвращаясь к огню, он остолбенел от удивления. Возле его спящих товарищей стояла странная фигура: неизвестный человек, как Бог его сотворил, грел руки над огнем.

Казак остановился поглядеть, что будет дальше.

Нагой незнакомец только и имел на себе, что пояс, на котором висел кинжал. Погрев руки несколько мгновений, он стал хватать его за рукоятку; окоченевшие пальцы не сжимались.

Казак догадался, кто он таков; потихоньку вынул ружье из влагалища и приложился, однако придержал выстрел, размышляя: от пули не увернется, так погожу еще да посмотрю, как станет нехристь изловчаться.

Ночной гость снова принялся отогревать руки, опять стал браться за кинжал и вторично не стиснул замерзшей руки; тогда он сунул ее прямо в угольный жар.

«Нет, брат, погоди, – подумал казак, – дело не хорошее»; спустил курок, и нагая фигура повалилась в огонь.

Сонные казаки встрепенулись; по выстрелу поднялась тревога; прискакал постовой офицер и дознал в чем дело. Чеченец из-за Терека увидал огонек, освещавший спящих казаков. На русских у него была канла, душа не вытерпела, он разделся, бросился в мерзлую воду и переплыл через реку напиться вражьей крови. Помешали ему окоченевшие руки, да случайно пробудившийся казак, не то секретные поплатились бы головами за свою неосторожность.

Долее трех недель продолжалось мое одиночество, и во все это время только одно обстоятельство заняло мое размышление, заставив подумать о служебной будущности. Возле Темир-Хан-Шуры я получил от Вольховского письмо, в котором он спрашивал, какой желаю я для себя награды, перевода в гвардию или в генеральный штаб, и в самых убедительных выражениях уговаривал после излечения вернуться в Тифлис и по-прежнему продолжать службу в его непосредственном ведении. В Тифлис манили теплый климат, прекрасная природа Грузии и веселая городская жизнь, кроме того дружеский тон письма увлек мои чувства и, не зная про желание Вельяминова меня удержать, я ответил утвердительно, отклонив только перевод в гвардию, предпочитая служить в генеральном штабе.

Скоро после того Засс вернулся из похода. Дом оживился множеством гостей, по большей части ехавших по Линии в Ставрополь и в Тифлис. Завелась самая шумная жизнь: обеды и ужины с легкими попойками, поутру охота, вечером игра в карты. К этому времени и я поднялся с постели, недели две походил на костылях и потом воспользовался собственными ногами. В средине ноября я уже мог сидеть на лошади и был на заячьей охоте хотя и без особенного удовольствия, а более из подражания, чтобы не отстать от других. Не люблю я слышать жалобный ребячий крик подстреленного зайца и даже в молодости готов был охотиться за зверем, с которым встреча сопряжена с некоторою опасностию, но никогда не находил удовольствия бить безвредное животное и особенно бедных птиц. Понимаю, что человек набивает себе голодный желудок разною живою тварью – слабый создан сильному на съедение – и сам питаюсь помощью этой нечистой привычки; но не могу понять забавы, обращенной в благородное искусство убивать красивых, веселых и невинных жильцов леса и полей, ежели кого нужда не осудила на это ремесло. У каждого, впрочем, свой взгляд и свои склонности; не стану спорить и доказывать, как мало требуется ума и души для практикования высокой охотничьей науки. На это могут сказать: а война, в которой бьют людей? Отвечу, что никогда войны не любил, и считаю ее глубоким злом, неотвратимым однако, пока человечество не освободится от гнета жалкого невежества, искони веков враждующего против правды и справедливости. До той поры одна сила способна приводить людей в рассудок и сберегать

между ними принужденный порядок или служить к их крайнему унижению, если завладел ею бездушный честолюбец. А отдал я себя на службу этой силы не ради удовольствия глядеть, как бьют людей, а с желанием, в числе других, упорствовать против существующего зла и на защиту родного края пожертвовать и мою лепту пота и крови.

Засс, вернувшись из отряда, передал мне приказание от Вельяминова, если рана даже залечилась, не уезжать из Наура прежде, чем он сам приедет и удостоверится, в силах ли я перенести зимнее путешествие. Эта заботливость снова обратила мои мысли к Алексею Александровичу и, признаться, заставила меня пожалеть об ответе, который я дал Вольховскому насчет моего возвращения в Грузию. Меня сильно к нему влекло, но дело было решено; отказаться от своего слова я считал слишком неблагородным. Во второй половине ноября Вельяминов приехал в Наур и прожил двое суток в доме у Засса. Он был очень занят делами и после первых двух слов, коснувшихся до раны и до здоровья, призвал меня не прежде другого дня.

Тогда уже он был принужден, по причине грудного страдания, проводить большую часть дня в лежачем положении. Он принял меня лежа на походной кровати с руками, заложенными под голову. Первое слово его было:

– Ну, дражайший, теперь ты выздоровел, готовься ехать в Ставрополь; я хочу просить Корпусного командира совершенно отдать тебя в мое распоряжение. Не правда ли, ты с этим согласен?

– Согласен, Алексей Александрович, да нельзя.

– Отчего нельзя? Тебе будет у меня хорошо; летом мы поедем в Пятигорск, где ты докончишь лечение; ты будешь жить у меня и ни в чем не станешь нуждаться.

– Понимаю все выгоды остаться при вашем лице, да нельзя.

Я рассказал ему про письмо Вольховского и про мой ответ.

Он пожелал видеть письмо, прочел его, повертел в руке и сказал:

– Против письма нечего говорить, он, кажется, желает тебе добра, но в силах ли будет исполнить все обещанное – требует доказательства. Жаль, что поспешил ответом, слова нарушать не должно, поэтому отправляйся с Богом; но помни, что если тебе станет там тяжело, то я всегда охотно готов тебя принять.

Ты еще молод, рвешься куда не нужно, тебя истощат, а я бы тебя поберег да со временем сделал настоящим человеком.

Потом он переменил разговор и более часу расспрашивал о прежней службе и о том, что случалось заметить, изредка вмешивая слово и поправляя меня, когда мои заключения отзывались неопытностью. На отъезде, сидя уже в коляске, он мне сказал:

– Пожалеешь, что не поехал со мной.

Действительно, при Вельяминове, может статься, вся моя жизнь и служба сложились бы совершенно иначе. Под его руководством я бы в несколько лет дошел до того взгляда на вещи, который мне дался гораздо позже, после многих горьких уроков и то, быть может, не в самом верном практическом направлении. Однако тут нечего жалеть, и так моя жизнь обошлась не дурно; не нахожу причин жаловаться на судьбу и на людей. Не досталось мне одно добро, так я воспользовался другими благами сего мира и теперь безропотно взираю на прошедшее, с покойным духом ожидаю будущего.

Позже я только раз представился ему в Пятигорске перед пленом. По-прежнему он был ласков со мною и после того много хлопотал о моем освобождении. Когда я после двух лет вернулся на русскую сторону, его уже не было в живых. Доктор Мейер, находившийся при нем в последние минуты вместе с Ольшевским, часто повторял мне рассказ о его кончине. Вельяминов жил и умер со стоическою твердостию, в полной памяти, ни на мгновение не изменив своему характеру. Чувствуя приближение смерти, он из закубанского отряда выехал в Ставрополь, привел в порядок служебные и домашние дела и спокойно стал ожидать конца. Руководимый своими познаниями в медицине, он следил за болезнью так верно, что предсказал время печального исхода, обманувшись только одним днем, и в последствии поправил даже эту ошибку. Накануне им самим назначенного дня, Мейер и Ольшевский обедали у него в кабинете возле покойных кресел его. После обеда Ольшевский ушел по всегдашнему обыкновению, и Мейер хотел идти, не замечая еще у больного предсмертной перемены. Вельяминов его остановил.

– Не уходи, Мейер, иначе меня более не увидишь. Я ведь ошибся: сегодня умру, а не завтра. Мейер стал его обнадеживать.

– Не теряй слов по пустому. Я лучше тебя знаю. Посиди еще. Теперь я засну, одолевает дремота, но не бойся, это еще не конец, я проснусь перед тем.

Мейер остался и внимательно следил за больным; пока он дремал, лицо стало изменяться, дыхание спиралось в груди, но сердце билось. Вдруг он раскрыл глаза.

– Прав я был, когда сказал, что проснусь, а теперь всему конец. Прощай.

С этими словами он заснул на веки.

Кавказ и все, знавшие каков он был, действительно много потеряли с его смертию.

В конце ноября я распростился с Науром, унося с собой весьма выгодное впечатление и привязавшись к Зассу, у которого считал себя в неоплатном долгу за действительно тщательный уход в его доме. До Тифлиса ехал я не спеша, чтобы не разбередить свежей еще раны. Во Владикавказе пробыл я три дня, навестил мою прежнюю хозяйку и не забыл взглянуть на знакомых с первой оказии ставропольских институток. Они по-прежнему чопорно жеманились, тратя свой легкий ум и сомнительную грациозность на подражание вечно от них ускользавшему comme il faut, подмеченному у каких-то проезжих московских или петербургских барынь. Быть может, я сужу слишком строго о моих владикавказских девицах, но после Тифлиса они потеряли много прелести в моих глазах. У них в доме я имел однако случай полюбоваться дочерьми плац-майора Курилы, только что расцветавшими девочками истинно редкой красоты. Одна из них сделалась в последствии супругой генерала Нестерова, так несчастливо кончившего существование от мозговой болезни.

По дороге к Тифлису, между Дарьяльским постом и Казбекскою почтовою станцией, меня ожидала громадная лавина, упавшая с вершины Казбека. Засыпав снегом и грудами гранита и порфира тринадцать верст своего пути к Тереку, она загромоздила ущелье во всю ширину, на протяжении трехсот сажен. Проезд по Военно-Грузинской дороге прекратился в заваленном месте; почтовые лошади подвозили к подножию выросшей на пути снеговой горы, по другую сторону свежие тройки принимали путешественника. На завал приходилось подыматься по ступеням, вырубленным во льду. Посредине снеговой массы образовалась расселина сто футовой глубины, через которую для перехода были переброшены доски. Расселина эта на другой год до того расширилась, что принуждены

были переправлять через нее в висячем ящике, ходившем на блоках по толстым канатам. Казбекский завал до того времени падал периодически через каждые семь или девять лет. После того я не слыхивал о повторении явления в таких огромных размерах.

В Тифлис я прибыл накануне 6-го декабря. Тогда это был великий день для целой России и, не говоря уже о Петербурге, не было губернского города, в котором бы он не праздновался молебствиями, официальными обедами у старших властей и балами. Городские красавицы нетерпеливо ожидали наступления этого дня и за месяцы готовили самые поразительные туалеты. И в Тифлисе готовился бал у Корпусного командира, на котором я имел право присутствовать в числе прочих, находившихся налицо офицеров. Праздник у главноуправляющего Кавказским краем мог соперничать в блеске с любым столичным балом, а относительно разнообразия обстановки и разноплеменности гостей стоять несравненно выше. Тут, как и в экспедиционном отряде, можно было встретить представителей всех европейских и азиятских наречий. Красавицам не было счета, и в сонме их, как две звезды первой величины, светили Нина Грибоедова и сестра ее Катерина. Вольховский, старинный приятель их отца, князя А. Г. Чавчавадзе, сам подвел меня к его супруге княгине Саломе и к дочерям и представил как одного из страдальцев последней экспедиции. Не знаю, насколько эта оговорка надбавила интересу в мою пользу, помню только, что они своею добродушною встречей возбудили во мне смелость на другой же день явиться к ним на поклон. Не прошло месяца, и я стал у них хотя не домашним человеком, но таким, который бывал ежедневно, обедал очень часто и просиживал долгие зимние вечера, когда они сами не были приглашены в гости.

Впрочем, не я один сделался постоянным посетителем их дома и верным поклонником двух привлекательных сестер. Я примкнул только скромным оруженосцем к многочисленной, не одними мундирами блиставшей фаланге ревностных обожателей их красоты и душевных качеств. Были тут страдальцы, готовые тотчас же повергнуть к их прекрасным ногам сердце и руку, если бы только проглянула искра надежды на благосклонный прием такого жертвоприношения. Все напрасно. Шестнадцатилетняя вдова Грибоедова умерла под вдовьим покрывалом, а сестра ее несколько лет спустя, сделавшись

женой владетельного, поступила в светлейшие Екатерины Александровны. Я же был слишком молод и зависим от обстоятельств, чтобы заноситься со своими претензиями так высоко; не видя цели и проку, остерегался осаждать их сердца вздохами, на которые вообще не любил терять время и, может статься, по этим самым причинам был награжден откровенным расположением, если меня не обманывает самолюбие; быть может, одна душевная доброта заставляла их ласково переносить частое присутствие молодого, не слишком занимательного человека, в котором только и могла для них иметь цену его безрасчетная привязанность ко всему дому; не хочу, однако, для собственного утешения примириться с мыслию, чтобы тут не было хоть искры настоящей дружбы. Я очень любил все семейство; и по сю пору не могу дать себе полного отчета, которая из сестер поистине мне больше нравилась. Лучистые глаза Катерины Александровны и ее чудная улыбка жгли мне сердце, томная красота и ангельский нрав Нины Александровны обливали его целительным бальзамом, к одной стремились глаза и сердечные чувства, к другой влекло душу непреодолимою силой.

– Как тут решить и ума не приложишь. Годами длилось наше знакомство без всякой перемены. Князь Александр Герсеванович и княгиня Саломе были со мной всегда одинаково ласковы, Катерина Александровна и в сане светлости дарила улыбкой, а Нина Александровна продолжала обнаруживать искреннее участие. Короткое знакомство с семейством Чавчавадзевых принесло еще другие плоды. Примеру его последовали в отношении меня и прочие грузинские семейные дома, в Тифлисе мне стало жить тепло и уютно.

В бытность барона Розена, Чавчавадзевы провели в городе только одну зиму. Жили они недалеко от Мадатовской площади, в доме у доктора Депнера. Гостиная их не опорожнялась от гостей; каждый день с утра собирались к ним родственники и родственницы грузинские, потом начинали приходить русские, один за другим, как кто освобождался только от службы. За стол садились иногда кроме семейства по двадцати нежданных гостей; князь Александр Герсеванович держался еще старинных правил русского и грузинского гостеприимства оставлять каждого, кто пришел незадолго перед обедом, и через это порядком расстроил свое состояние. К числу самых частых посетителей дома принадлежал и Николай Павлович Т-в.

Нина Александровна затронула его сердце, и он высказывал ей свои чувства полусерьезно, полушутливо, всегда очень умно, но в таких кудряво-цветистых фразах, что она не могла слышать без смеху его объяснений в дружбе и преданности. Высокий, худой, близорукий, природою наделенный длинными, необыкновенно тонкими ногами, про которые сам говаривал, что осужден ходить на чубучках, он был притом в высшей степени рассеян и, не зная куда девать ноги, имел привычку заплетать их за ножки своего стула. Это обыкновение не раз уже ставило его в весьма затруднительное положение. Однажды у Чавчавадзевых играли вечером в какую-то игру, во время которой играющие должны сидеть в кружке и вставать со стула каждый раз, когда назовут цвет, зверя, или цветок заранее им присвоенные, иначе обязаны платить фант за свою невнимательность. В кругу блистали все хорошенькие глазки, какие только были в тифлисском обществе. Вмешавшись в игру, Николай Павлович опять заплел свои ноги самым хитрым узлом и в глубоком раздумье глядел на Нину Александровну. Неожиданно назвали принадлежащее ему качество. Он не отозвался. Повторили слово; тогда, забыв о своих ногах, он вдруг поднялся и то же мгновение растянулся посреди комнаты вместе со стулом, приставшим к нему как корень к дереву. Трудно было удержать серьезный вид, все расхохотались; одна Нина Александровна с участием бросилась ему помогать. При своем добродушии, она не хотела и замечать его странностей, а видела в нем только хорошие стороны честного, доброго человека и всегда говорила, что очень его любит и находит истинное удовольствие проводить с ним время.

Этот самый Т-в собирал нас к себе на литературные вечера. В просторной комнате широкий, мягкий диван занимал три стены, позволяя предаваться вниманию сидя, лежа, в каком угодно было положении. Посредине стоял большой стол, покрытый зеленым сукном, над которым привешенная к потолку единственная лампа ярко освещала чтеца, оставляя слушателей в таинственном мраке. При такой искусно подготовленной обстановке он читал нам отрывки из своего Cicerone del Caucaso, в котором описывалась рассказанная мною чеченская экспедиция с поэтической точки зрения, между тем как я старался удержать свое повествование в тесных пределах фактической прозы. Умно было написано, занимательно слушать; случалось ему только утомлять нас, зачитываясь до поздней ночи. После чтения подавали хороший ужин, которым, к со-

жалению, не могли вполне насладиться одолеваемые сном слушатели. Кто-то из приятелей вздумал ему посоветовать переменить порядок, начав с ужина и кончая чтением. Он согласился, и на следующий раз мы сначала утолили голод, а потом разлеглись на диване слушать чтеца. Уже с час, декламируя с жаром, он нисколько не замечал, что делается в темных концах комнаты. При одном удачном пассаже Т-в обратился к слушателям: не правда ли, счастливое сравнение? (Ему сильно нравились уподобления во вкусе тогдашней французской школы.) Нет ответа. Он приподнял ширмы над лампой, и что же представилось его взору? Круг слушателей, благодаря соблазнительному дивану, покоился в глубоком сне, а на вопрос его инде отвечали только одобрительным храпом. С той поры он прекратил чтения, но как умный человек продолжал угощать обедами и ужинами без литературной приправы.

Тифлисское общество вообще очень разбогатело людьми, с которыми приятно было жить. Ординарец Корпусного командира, граф Девиер, занял вместе с Цукато маленький красивый домик над оврагом, пролегавшим через Эриванскую площадь. Он был очень хороший пианист, и скоро образовался около него кружок любителей музыки, с удовольствием собиравшихся слушать его приятную игру. Сколько прекрасных вечеров провел я у этих хороших, талантливых людей, давно уже покинувших здешний мир. На Эриванской площади жили еще: адъютант Языков, умерший в помешательстве, Павел Бестужев и Каменский с молодым красивым кумыкским князем Мусса-Хасаем, которого они взялись воспитывать на европейский лад, Савостьянов и умный, хроническою ленью одержимый, Клементий Р., кандидат в офицеры генерального штаба, сыпавший веселыми остротами, когда лежал на своем покойном диване, нахмуренный и едкий, когда необходимость заставляла его расстаться с ним хотя бы на самое короткое время. Число адъютантов Корпусного командира умножилось еще К. Рихтером, отличным офицером и самым добрым товарищем, какого только можно пожелать. Веселый, беззаботный, он глядел на жизнь как на нескончаемый праздник и, не скупясь, тратил ее на удовольствие себе и другим, пока тяжкая болезнь не сокрушила его упругую натуру.

К числу лиц, разнообразивших интерес нашего круга, бесспорно принадлежали многие из помилованных декабристов, отбывавших на Кавказе последние годы своего отчуждения от родины. Это были люди, получившие большею частию хорошее воспитание, некоторые с замечательными душевными качествами, испытанные несчастием и наученные тяжелым опытом жизни. Для молодежи они могли служить спасительным примером и уроком. Спрашиваю, можно ли было, узнав, не полюбить тихого, сосредоточенного Корниловича, автора Андрея Безымянного, скромного Нарышкина, Коновницына, остроумного Одоевского и сердечной добротой проникнутого Валерьяна Голицына. С Александром Бестужевым (Марлинским) я имел случай часто встречаться у брата его, Павла. Литературный талант его известен и давно оценен, поэтому нечего о нем говорить. Как человек он отличался благородством души, был слегка тщеславен, в обыкновенном светском разговоре ослеплял беглым огнем острот и каламбуров, при обсуждении же серьезных вопросов путался в софизмах, обладая более блестящим, чем основательным умом. Он был красивый мущина и нравился женщинам не только как писатель, о чем в мое время кое-что поговаривали в Тифлисе.

Наши сношения с этими лицами были самые открытые и безвредные в политическом смысле. Да мало ли из них, попав в беду совершенно молодыми людьми, сами не зная как, были способны к чему угодно, только не к политической агитации. При всем этом нашлись такие люди и в Тифлисе, которые «из ревности и преданности», а, полагаю, ближе всего из ошибочного низкого расчета, писали тайные доносы насчет опасности, могущей возникнуть от сближения молодых офицеров с людьми, осужденными законом за политическое преступление. Не входя в их забытое прошедшее, с которым они сами давно покончили, без всякой задней мысли и я водился с ними, не опасался показываться публично в их обществе и никак не скрывал мою симпатию к Нарышкину и Голицыну. По этому случаю один господин счел обязанностью шепотом мне посоветовать быть поосторожнее.

– В чем? – спросил я.

– В выборе вашего знакомства.

– С кем?

– С господами... вы сами знаете. Ведь еще помнят, за что они попались.

– Что же может выйти из этого, если я стану продолжать мои сношения, как их начал.

– Начальство может усомниться в направлении вашего образа мыслей.

– Жалею о начальстве, которое во мне так мало уверено. Каждый навет, которым бы вздумали меня очернить, я надеюсь опровергнуть фактом, не одними уверениями; поэтому ничего не опасаюсь. Прощайте, благодарю за нежное участие.

Тот же самый господин гораздо позже советовал мне также прервать знакомство с Чавчавадзевыми по поводу довольно глупого дела, в которое отца их вмешали совершенно безвинно; я опять его не послушал и продолжал видеться с ними. Если это кому приходилось не по душе, то жалею о нем, а не о себе, ибо находил большое удовольствие к ним ездить.

В продолжении всей зимы с тридцать второго на тридцать третий год в Тифлисе много веселились, как веселились в мою бытность в Грузии еще одну только зиму в начале управления генерала Головина, когда его супруга с дочерью и вернувшиеся в город Чавчавадзевы наперерыв старались оживить общество помощию своего неисчерпаемо любезного гостеприимства. В обе зимы нам как будто недоставало времени жить. Обеды в семейных домах сменялись пирами в загородных садах, где под звук тамбурина шемахинских баядерок вокруг стола ходили азарпеш да турий рог, через край переливаясь красною струей кахетинского. Вечера сменялись балами, и почти никогда ими не кончался наш день; чаще всего утренняя заря заставала нас еще у кого-нибудь из товарищей, к которому собиралась окончательно израсходовать остаток сил, не истощенных балом. К поддержанию ровного, всегда приятного хода нашей беззаботно веселой жизни много способствовал вежливый, очищенный от неуместных слов и шуток тон, господствовавший тогда в кругу офицеров, собранных в Тифлисе, можно сказать, со всех концов России. В продолжении всего управления барона Розена за исключением двух неприятных случаев, коснувшихся до людей, не принадлежавших собственно к нашему кругу, в штабе его не произошло ни одной скандальной истории, не случилось вызова и почти не было сказано неприятно громкого слова. Было принято за правило во всех собраниях, на холостых обедах и где бы то ни было, тотчас прекращать разговор, если кто-нибудь из присутствующих объявлял, что он его затрагивает неприятным образом; и все общество единодушно останавливало того, кто бы вздумал поступать в противном смысле. Завели и поддерживали этот тон между нами старшие по летам и по званию во главе их А. Е. Врангель, о котором я и прежде имел случай упомянуть как о человеке с отлично благородным характером.

В нашей дружной семье не обошлось, однако, без урода. Прежде я сказал уже несколько слов о братьях П., которые подобно двум фальшивым нотам вмешались в общую гармонию тифлисского военного общества. Вернувшись из экспедиции, они зафанфаронили, стали жить по княжески, не имея достаточных на то средств, никого этим к себе не привлекли и, замотавшись, принуждены были скрыться со сцены, освистанные публикой, не давшею увлечь себя фальшивым блеском их мотовства.

Кроме их, был еще субъект, невольно обращавший на себя всеобщее, хотя не совсем лестное внимание нашего военного круга. Это был известный П., поляк, не графского, а просто шляхетского происхождения. Как бы, однако, ни помещалась его колыбель, под графскою короной или под соломенною крышей, он был во всех отношениях замечательно талантливая личность и умел, как никто, направить свое плавание по взволнованному житейскому морю. Высокого роста, толстый, с опухлым лицом он при этой не совсем благовидной наружности обладал таким приятным органом, от которого млело сердце, притом умел изъясняться так сладко, так приятно, что бывало слушаем его с невольным увлечением. Он все знал, все видел, и мало существовало европейских диалектов которыми бы он не владел в совершенстве. Его прошедшее было покрыто интересною таинственностию. Носились темные слухи, будто бы он в Южной Америке дрался за свободу и в своей жизни перенес много несчастий, а какие именно, никто не ведал. Положительно знали об одном, что он прибыл на Кавказ не по собственному желанию и принужденно обретался в скромном чине армейского прапорщика. На Кавказе он начал свою карьеру как ловкий человек самым невидным образом, выпросившись на время экспедиции в адъютанты к командиру второго мусульманского полка. В этой должности он сумел привлечь на себя внимание Корпусного командира, который по окончании военных действий приказал, не возвращая в полк, оставить его при штабе. В Тифлисе он держал себя первое время необычайно скромно, в гостиных выбирал самый отдаленный уголок и с видом человека, угнетенного судьбой, едва шепотом передавал свои всегда льстивые замечания. В служебном отношении он избегал всякого заметного дела и трудился в тени, для других.

В это время у баронессы Елизаветы Дмитриевны стали собираться два раза в неделю, как было заведено до экспедиции.

Чтобы хотя несколько разнообразить свои вечера, она принялась эксплуатировать салонные таланты подчиненных своего супруга: кого заставляла играть на фортепиано, кого аккомпанировать на скрипке и виолончели, кого петь, кого рисовать, читать или декламировать. В один вечер выступил на сцену и П., произнес французские стихи собственного сочинения и пожал всеобщую похвалу. Этот приятный талант возбудил желание сблизиться с ним, его стали чаще приглашать, и через самое короткое время он сделался у Корпусного командира домашним человеком. Барон поручил ему свою частную корреспонденцию на французском языке и кроме того стал употреблять в делах щекотливого свойства, требовавших ума и ловкости. П. вошел этим путем в желанную колею. Но окончательно завладел он доброю, честною душой Григория Владимировича, когда в день рождения его второй дочери прочел поздравительную статью: «Les seize ans d´Adele», написанную с таким избытком религиозного чувства и тонкого понимания девичьих отношений к свету и к семейству, что баронесса, слушая, только вскидывала глаза к небу, а у барона навернулись истинные слезы умиления. При виде достигнутого им эффекта сам П. зарыдал; баронесса от души подала руку, барон обнял его, и с той поры он занял в кругу их семейства место самого близкого и доверенного человека. Мне самому не раз случалось видеть, как он разыгрывал сцены, которые далеко не были в моем вкусе; да и у многих других сердце к нему не лежало. Цукато, например, терпеть его не мог и в некоторых случаях даже явно выражал, насколько он питает к нему уважения; но он переносил это с христианским смирением, отнюдь не от недостатка смелости, а потому что не имел в расчете ссориться с людьми, пользовавшимися некоторым значением в военном обществе. У него были разные, не дешево обходившиеся вкусы между прочим, любил он хорошо покушать, а на удовлетворение их требовалось душевное и телесное спокойствие и средства, которыми он, к несчастию, не обладал. Но для этого источники раскрылись ему без долгого искания, благодаря расположению барона и влиянию, которое он себе усвоил. Армяне народ чуткий, зоркий, не проглядят лису, когда она потянула хорошим следом. Корпусный командир верил ему на слово; да как было и не верить такой чистой, бескорыстной душе, безотчетно преданной ему и всему дому!

Долее году прожил он в Тифлисе в этом приятном положении, пользуясь плодами неограниченной веры высшего начальника и питая замечательную вместительность своего желудка, переносившего после сытного завтрака, для которого он держал отличного повара, еще два обеда в гостях, у когонибудь в два часа и потом в четыре у барона, где его каждый день ждал прибор. Потом для него создали особое место. Во внимание многообразных познаний и на деле доказанного дипломатического таланта, его назначили с большим содержанием чем-то вроде английского резидента к азиатскому двору владетеля мингрельского, и тут-то он попал на широкую дорогу всякого удовольствия, позволенного и запрещенного. Много повредил он своему доброму покровителю и делом, и направляя его на ложный след касательно вещей и людей. Без проку боролся Вольховский против его влияния; напрасно другие старались раскрыть глаза истинно честному старику; все доказательства отвергались им с негодованием как клевета, порожденная чистою завистью. Депеши нашего импровизованного дипломата всегда были чрезвычайно занимательны, блистали мыслями, слогом и окончательно объясняли, как в стране, порученной его наблюдению, все обстоит благополучно и быстро подвигается к установлению порядка наивыгоднейшего для России. Прозрел барон, да и то не вполне, когда, оставляя Кавказ, ему пришлось заплатить за П. тысяч до десяти, выданных ему заимообразно из экстраординарной суммы по его собственному приказанию.

После рассказа о том, как мы жили в Тифлисе, надо же припомнить и то, как уладилось служебное дело для меня. Пока мы ходили по горам и по лесам, в Петербурге были составлены новые штаты для генерального штаба, воспрещавшие в моем малом чине исправлять должность начальника отделения. Предложение же Вольховского заведовать им вместо другого, который бы номинально пользовался этим званием, я отклонил, не видя в том проку ни для себя, ни для службы. Владимир Дмитриевич сначала вознегодовал на меня за отказ, но потом дело обошлось, и он стал давать мне работу прямо от себя, которую мне позволено было исполнять на квартире, минуя штабную канцелярию.

Жил я далеко не роскошно с товарищем, князем Чегодаевым, в солдатской слободке, в небольшом домике, который мы нанимали у женатого унтер-офицера. Квартал был не щеголеват, комнаты малы, невысоки, меблированы крайне незатейливо, но зато, проживая как на даче, мы пользовались солнцем и воздухом без всякого стеснения и наших лошадей

всегда имели пред глазами, что в Грузии считалось не последним удобством. Маленькая серая бача (Имеретинский иноходец, со стриженною гривой; тип лошадей, встречаемых на древних барельефах), мой неразлучный товарищ, без труда могла приходить ко мне за хлебом и за сахаром, а бывало, едва раскроешь поутру глаза, а она уже глядит в комнату через низенькое окно. И другими животными, и разною птицей наш двор был не беден; одним словом в солдатской слободке мы пользовались всеми прелестями буколической жизни, имея притом не далее двухсот шагов от себя город со всеми его приманками.

К Пасхе вышли награды за экспедицию. Благодаря чеченской пуле я был произведен в поручики и переведен в генеральный штаб; далее не простирались в то время мои честолюбивые желания. Около той же поры прибыл в Тифлис наименованный обер-квартирмейстером кавказского корпуса полковник Христофор Христофорович фон-дер-Ховен, один из честнейших и добрейших людей, с которыми я нашел счастие встретиться в жизни. У него нам было жить и служить как у Христа за пазухой. Чего бы лучше, служба не трудная и приятная, начальники люди хорошие, товарищи отличные, общество привлекательное, небо ясное – и мы действительно обеими руками ловили удовольствия, которые рассыпали пред нами молодость и благоприятные обстоятельства, пока совершенно неожиданно никем нечаянный случай не разрушил одним взмахом лучшей связи нашего беззаботно счастливого существования. Черная тень легла между нами и грузинским обществом – на короткое время – но удовольствие уже было испорчено. Сказал бы, что знаю про это коротко мне знакомое дело, да лучше, кажется, промолчать до поры до времени. И без того пора кончить.

Т[орнау]. Вена. 1868.

Опубликовано: *«Русский вестник», 1869, т. 79, №№: 1 (с. 5–36); 2 (с. 401–443); 3 (с. 102–155); 4 (с. 658–707).*

Воспоминания кавказского офицера

Часть первая

I.

При заключении Адрианопольского трактата, в 1829 году, Порта отказалась в пользу России от всего восточного берега Черного моря и уступила ей черкесские земли, лежащие между Кубанью и морским берегом, вплоть до границы Абхазии, отделившейся от Турции еще лет двадцать тому назад. Эта уступка имела значение на одной бумаге – на деле Россия могла завладеть уступленным ей пространством не иначе как силой. Кавказские племена, которые султан считал своими подданными, никогда ему не повиновались. Они признавали его, как наследника Магомета и падишаха всех мусульман, своим духовным главой, но не платили податей и не ставили солдат. Турок, занимавших несколько крепостей на морском берегу, горцы терпели у себя по праву единоверия, но не допускали их вмешиваться в свои внутренние дела и дрались с ними или, лучше сказать, били их без пощады при всяком подобном вмешательстве. Уступка, сделанная султаном, горцам казалась совершенно непонятною. Не углубляясь в исследование политических начал, на которых султан основывал свои права, горцы говорили: «Мы и наши предки были совершенно независимы, никогда не принадлежали султану, потому что его не слушали и ничего ему не платили, и никому другому не хотим принадлежать. Султан нами не владел и поэтому не мог нас уступить».

Десять лет спустя, когда черкесы уже имели случай коротко познакомиться с русской силой, они все-таки не изменили своих понятий. Генерал Раевский, командовавший в то время черноморскою береговою линией, усиливаясь объяснить им право, по которому Россия требовала от них повиновения, сказал однажды шапсугским старшинам, приехавшим спросить его, по какому поводу идет он на них войной: «Султан отдал вас в пеш-кеш, – подарил вас русскому царю». «А! Теперь понимаю, – отвечал шапсуг и показал ему птичку, сидевшую на ближнем дереве. – Генерал, дарю тебе эту птичку, возьми ее!» Этим кончились переговоры. Очевидно было, что при таком стремлении к независимости одна сила могла переломить упорство черкесов. Война сделалась неизбежною. Оставалось только сообразить необходимые для того средства и отыскать лучший путь к покорению горцев, занимавших новоприобретенную часть Кавказа.

Для того чтобы получить понятие о нашем положении на восточном берегу Черного моря, в 1835 году, когда судьба забросила меня в Абхазию, необходимо познакомиться с обстоятельствами, сопровождавшими первое появление здесь русских войск.

При Селиме II и Амурате III турки подчинили себе Гурию, Имеретию, Мингрелию и Абхазию. В 1578 году они построили две крепости на берегу моря, одну в Поти, другую в Сухуми. К этому времени, кажется, можно отнести также постройку турецкой крепости у натухайцев, на берегу Геленджикской бухты. В 1771 году абхазцы восстали против турок и принудили их оставить Сухум. Во главе восстания находились два брата, Леван и Зураб Шервашидзе. Поссорившись между собой, один из них, Леван, передал Сухум опять туркам, которые держались в нем после того не более трех лет, утомленные беспрерывными нападениями абхазцев. Тогда Келеш-бей Шервашидзе занял Сухум, силой подчинил себе абхазцев и отдался под верховную власть султана, признавшего его за то владетелем Абхазии и сухумским наследственным пашой. Подчиненность Келеш-бея турецкому правительству длилась также недолго. Дав убежище Тегер-паше требизондскому, осужденному Портою на смерть, он навлек на себя ее негодование и стал искать покровительства России, принявшей в то время под свою защиту Грузинское царство. В то же время он перешел, как говорят, тайным образом в христианскую веру. Турки, услыхав о перемене веры и о сношениях Келеш-бея с русскими, подкупили его старшего сына, Аслан-бея, убить своего отца, которому он должен был наследовать. Преступление совершилось в Сухуме; но Аслан-бей не воспользовался его плодами. Младшие братья его, Сефер-бей, Бостал-бей и Гассан-бей, осужденные на гибель подобно отцу, успели спастись и вооружили против него всю Абхазию. Аслан-бей бежал в Батум от народного мщения, после чего Сефер-бей явно принял христианскую веру и в 1808 году отдал Абхазию под покровительство России, поставленной в необходимость воспользоваться его предложением. От занятия нашими войсками Абхазии и от учреждения в ней некоторого порядка зависело спокойствие Мингрелии, признавшей над собою, подобно Грузии, власть России. Кроме того, Сухум, пользующийся единственным удобным рейдом на всем восточном берегу Черного моря, от Батума до Геленджика, обещал доставить нам военные и торговые выгоды, которыми нельзя было пренебрегать, думая о будущности вновь приобретенных закавказских провинций. По этому поводу и согласно с желанием самого владетеля русские войска вступили в 1810 году в Абхазию, вытеснили турок из Сухума и поместили в нем небольшой гарнизон.

Это обстоятельство нисколько не изменило существовавшего в Абхазии порядка дела. Владетель по-прежнему оставался полным властелином своего народа. Не думая о новых завоеваниях, русское правительство не увеличивало в Абхазии войск, продолжавших занимать одну сухумскую крепость; не мешалось во внутреннее управление княжества и заботилось только об уничтожении влияния турок на народ, обнаруживавший склонность, по примеру владетеля, возвратиться к христианской вере, которую исповедовали его предки. Турки, бежавшие из Сухума, рассыпались между тем по всей Абхазии и с ожесточением возбуждали народ против русских. Отцеубийца Аслан-бей также не переставал разными происками набирать себе приверженцев в Абхазии, и число их возрастало с каждым днем. Первый порыв негодования против него прошел, а турки твердили беспрестанно абхазским магометанам, что Келеш-бей, как отступник, заслужил смерть от руки сына, который в этом случае не совершил преступления, будучи только слепым исполнителем воли Аллаха. Такое толкование поступка Аслан-бея находило веру и одобрение со стороны недовольных в Абхазии, пользовавшихся его именем и его будто бы не угасшими правами на княжество для того, чтобы

производить беспорядки всякого рода. При таких тревожных обстоятельствах две русские роты, находившиеся в Сухуме, едва были достаточны для обороны крепости и не могли думать о водворении порядка в крае. В 1821 году Сефер-бей умер, оставив наследником княжества своего старшего сына Димитрия, воспитывавшегося в Петербурге. Пользуясь его отсутствием, абхазцы, волнуемые Аслан-беем, турками и Гассан-беем, готовившимся, со своей стороны, завладеть княжеством в ущерб своего племянника, вооружились против русских, поддерживавших право законного наследника. Для усмирения Абхазии была назначена экспедиция, кончившаяся водворением Димитрия на княжеском престоле. Гассан-бея схватили и отправили в Сибирь, где он прожил около пяти лет, по истечении которых ему было дозволено вернуться в Абхазию. В 1824 году умер Димитрий, не оставив детей. Восстание в Абхазии повторилось и вызвало новое вооруженное вмешательство со стороны русских, в пользу Михаила, второго сына покойного Сефер-бея.

В 1830 году, когда весь восточный берег Черного моря перешел во владение России, отряд из десяти рот 44-го егерского полка, восьми орудий и небольшой команды казаков прибыл морем в Абхазию и занял Бамборы, Пицунду и Гагры. Первые два пункта, находящиеся в пределах Абхазии, были заняты без выстрела, невзирая на старание абхазских дворян возбудить народ к сопротивлению и, по примеру прежних восстаний, призвать на помощь убыхов и шапсугов.

Гагры, лежащие за Бзыбом, у подножия высокого, скалистого хребта, примыкающего к самому морю, достались нам не без боя. Садзы, убыхи и шапсуги, собравшись в значительных силах, противились высадке и после того несколько раз пытались овладеть новым укреплением открытою силой. Потеряв много людей в своих неудачных нападениях, они переменили образ действия и принялись тревожить наши войска, не давая им отдыха ни днем, ни ночью, нападая на небольшие команды, высылавшиеся за дровами и за фуражом, подстерегая с высоты гор людей, выходивших за стены укрепления, и посылая в них свои меткие выстрелы. Существование гагринского гарнизона сделалось положительно нестерпимым.

Год спустя, русский отряд под начальством генерала Берхмана, состоявший из двух пехотных полков, в числе пяти тысяч человек, овладел Геленджиком, невзирая на упорное сопротивление натухайцев и шапсугов. Недостаток лошадей, рабочего

скота и преимущественно леса, который приходилось подвозить на судах из Керчи и Феодосии, не помешал нашим войскам укрепиться и построить в одно лето все необходимые помещения. Пока производились работы и после того в течение целой зимы неприятель не давал покоя нашим войскам.

До занятия Гагр и Геленджика мы не имели точного понятия об ожидавшем нас сопротивлении, о дурном климате и о других затруднениях, с которыми приходилось бороться нашим войскам на черкесском берегу. Опыт, которым мы обогатились в этих случаях, заставил приостановить дальнейшие действия на берегу Черного моря, до того времени, когда окажется возможность подготовить все средства, необходимые к отстранению замеченных неудобств. Многочисленный и хорошо вооруженный неприятель, встретивший наши войска с отчаянной храбростью, требовал для отражения его численных сил, какими мы не могли располагать в то время на Кавказе. Кази-Мегмет, первый распространитель мюридизма между горцами, поднял против нас Чечню и весь Дагестан, разграбил пограничные города, Кизляр и Моздок, и в последнее время стал угрожать военно-грузинской дороге, нашему ближайшему, если не единственному сообщению с закавказскими провинциями. Сперва надо было усмирить левый фланг кавказской линии, куда и были направлены все свободные войска, а потом уже думать о новых завоеваниях.

Военные действия тридцать второго года в Чечне и в Дагестане доставили нам полный успех. Главнокомандующий кавказским корпусом, барон Розен, поднялся с небольшим отрядом на гору Галгай, близ военно-грузинской дороги, считавшуюся у горцев совершенно неприступною для наших войск, и покорил снова кистинские общества, увлеченные Кази-Мегметом в общее восстание. После того наши войска, под личным начальством барона Розена и Вельяминова, прошли по всей Чечне, разбивая неприятеля везде, где он только показывался; проникнул через Ичкеринский лес в Беной и Дарго, уничтожили эти два селения, и поздней осенью спустились наконец в глубокое ущелье реки Койсу, для того чтобы последним, решительным ударом поразить восстание в его корне. Гимры, в которых Кази-Мегмет родился и постоянно жил, были взяты приступом, и он сам убит. Громкие удачи наших войск и в особенности смерть имама, главы мюридов, сильно поразившая умы горцев, понудили Чечню и дагестанцев покориться безусловно русской воле. Левый фланг кавказской линии ка-

зался усмиренным на долгое время; после этого можно было перенести снова военные действия в западную часть Кавказа и заняться предпочтительно устройством береговой линии.

Полагая, что горцы не в силах долго обороняться собственными средствами, без помощи турок, доставлявших им товары, соль и разные военные припасы в промен на женщин и на мальчиков, все наше внимание обратилось на прекращение турецкой торговли с черкесами. Для этой цели уже в 1830 году черкесский берег был объявлен в блокадном положении, и для наблюдения за ним учреждено постоянное крейсерство. Невзирая на эту меру, турецкие купцы продолжали сообщаться с черкесами. Наши крейсеры весьма редко успевали их захватывать, так как наши парусные килевые суда (пароходов не существовало еще тогда в черноморском флоте) должны были держаться в некотором отдалении от берегов и в случае бури уходить в открытое море, между тем как плоскодонные турецкие чектермы плавали почти всегда под защитой берега и в непогоду вытаскивались на него или прятались в устьях бесчисленных речек, впадающих в Черное море.

Малый успех морской блокады привел к заключению, что сообщение турок с черкесским берегом прекратится только в том случае, когда все пункты, которые они привыкли посещать, будут заняты русскими укреплениями. Эта мысль, казавшаяся весьма основательной и удобоисполнимой на первый взгляд, встречала в применении невыгоды и затруднения, которые могли оценить вполне только люди, близко знакомые с кавказскими обстоятельствами. Одно из главных затруднений для учреждения береговой линии заключалось тогда в недостатке точных сведений о местности, о количестве неприятеля и о средствах, которыми он располагал для своей обороны. Кроме того, было весьма желательно отстранить неудобства, обнаруженные прежними десантными экспедициями, ставившими сухопутные войска в совершенную зависимость от моря. Но для того чтобы решить, дозволяют ли местность и обстоятельства действовать предпочтительно сухим путем, следовало опять-таки точнее изучить страну, в которой мы предполагали утвердиться прочным образом. Все это побудило Вельяминова противиться ускоренному занятию морского берега рядом укреплений, не связанных между собою и с линией хорошими и безопасными дорогами. По его мнению, для основательного усмирения горцев следовало остерегаться более всего опрометчивости, подвигаться в горах шаг за шагом, не оставляя за

собою непокоренного пространства, и заботиться о достижении положительных результатов на будущее время, а не мгновенных блестящих успехов, которые уже не раз влекли за собою целый ряд неожиданных неудач.

Но в 1834 году последовало приказание немедленно положить первое начало устройству береговой линии, открыв военные действия против черкесов с Кубани и с южной стороны гор, из Абхазии; а для пополнения сведений о береге между Гаграми и Геленджиком предписано было произвести усиленные десантные рекогносцировки.

Покоряясь высшей воле, Вельяминов двинулся весной тридцать четвертого года за Кубань из Ольгинского редута с целью открыть сообщение с Суджукскою бухтой. Постройка Абинького укрепления заняла все лето. В Абхазию был послан в том же году под командою генерал-майора N. отряд, состоявший из нескольких батальонов, для разработки дорог и для постройки укреплений, необходимых для защиты сообщения. В течение лета N. успел разработать дорогу не далее Драндского древнего монастыря, который он обратил в укрепление, и построить небольшой редут в Илори. Жители не обнаруживали никакого сопротивления; зато наш отряд нашел столько препятствий собственно в абхазской природе, что N. не надеялся проложить дороги от Дранд до Бзыба прежде осени другого года, считая притом совершенно невозможным продолжать сухим путем движение за Гагры, по причине скал, преграждавших береговую дорогу около этого места. Означенное препятствие существовало во всей силе только для наших войск, обязанных возить за собою обоз и артиллерию. Горцам оно не мешало проходить в Абхазию разными другими горными путями или проезжать в хорошую погоду около скал, чему совершенно препятствовал прибой во время ветра со стороны моря. Это обстоятельство еще более затрудняло вопрос о пути, который следовало избрать для устройства береговой линии, и побудило военное министерство повторить требование относительно усиленных рекогносцировок, произвести которые давно уже было предписано.

Но как барон Розен, так и Вельяминов в одинаковой мере желали избегнуть необходимости употребить в дело этот способ, который, по мнению их, не мог принести ожидаемой от него пользы. Для производства десантных рекогносцировок в разных пунктах, на протяжении сорока географических миль совершенно нам незнакомого, гористого берега, покрытого

сплошным лесом, представлявшим для неприятеля отличную оборону, требовалось употребить несколько тысяч человек и около двадцати военных и транспортных судов. Жертвы людьми и деньгами, которые правительство должно было понести в этом случае, далеко превышали выгоды, какие могли принести рекогносцировки. Места пришлось бы занимать наудачу, платя жизнью десятков солдат за каждый клочок земли, не превышающий пространства, находящегося под огнем нашей артиллерии. Самые важные сведения о дорогах внутри гор, о количестве народонаселения, о его средствах к жизни и к войне, оставались совершенно недоступными для войск. Все потери и издержки, понесенные во время рекогносцировок, должны были сверх того повториться еще раз при окончательном занятии пунктов, избранных для постройки укреплений. Кроме того, рекогносцировки, без сомнения, привлекли бы внимание горцев на осмотренные места и побудили бы усилить их оборону искусственными средствами, сверх природных препятствий, которыми так щедро наделен черкесский берег.

Оставалось одно средство заменить полезным образом малообещавшие рекогносцировки: поручить достаточно сведущему офицеру осмотреть тайным образом морской берег. Благодаря расположению памятного всем старым кавказцам генерала Вальховского, выбор пал на меня. На Кавказе я находился с начала тридцать второго года, участвовал прежде того в задунайской кампании против турок и в польской войне. Получив довольно значительную рану во время ичкеринской экспедиции тридцать второго года, я был долго болен и через год еще принужден был провести лето на кавказских минеральных водах для укрепления моих сил. Когда я вернулся в Тифлис, Вальховский встретил меня с предложением отказаться на долгое время от общества и от всех его удовольствий, преобразоваться с виду в черкеса, поселиться в горах и посвятить себя на сообщение сведений, добыть которые предполагалось было такою дорогою ценой: он не скрыл от меня опасностей, с которыми я должен был бороться; да и я сам понимал их очень хорошо. Так как возлагаемое на меня дело выходило из круга обыкновенных поручений, то нельзя было требовать от меня его исполнения служебным порядком, без моего добровольного согласия. Поэтому главнокомандующий поручил генералу Вальховскому убедить меня ехать в горы, предоставив мне самому назначить условия, на которых я считал для себя

выгодным оказать требуемую от меня услугу. Готовый жертвовать собою безусловно для государственной пользы, но отнюдь не располагая торговать своею жизнью и свободой, я отвергнул условия, которые могли касаться до моих личных выгод, и настоял только на доставлении мне всех тех преимуществ, от которых зависела, по моему убеждению, удача предприятия. Барон Розен согласился предоставить мне право: располагать свободно собою и своим временем, вступать в сношения с покорными и непокорными горцами, не стесняясь существующими правилами, и, в указанных мне границах, обещать им награды или прощение за различные преступления, если кто из них станет мне помогать в моих делах. Обеспеченный таким образом против постороннего вмешательства местных кавказских властей, я принялся с охотою и с уверенностью в успехе за мое поручение и в тридцать пятом году сделал два удачных путешествия из Абхазии на линию и обратно.

Не я первый из русских отправлялся в горы. В 1830 году шапсугский старшина Абат Беслиней провел с опасностью жизни переодетого артиллерийского капитана Новицкого по дороге, которую Вельяминов разрабатывал после того в тридцать пятом году. Путешествие их длилось трое суток, в которые они проехали около семидесяти верст, пользуясь ночным временем. В 1834 году генерального штаба капитан князь Шаховской перешел через снеговой хребет из Сванетии в Большую Кабарду. Путешествие его было весьма любопытно, сопряжено с большими трудностями среди дикой природы, но не представляло прямой опасности для жизни. Вновь покорившийся владетель Сванетии, к которому он был отправлен с подарками, принял его у себя открыто, переправил его со своими людьми через горы и сдал князьям покорной нам Кабарды, проводившим его далее на линию.

Путешествие, которое мне предстояло исполнить вдоль черкесского берега, предпринималось при совершенно иных условиях. Первое затруднение состояло в отыскании надежных проводников, способных, по смелости и по своему положению в горах, взяться за подобное дело. Далее, я должен был проникнуть в середину самого густого черкесского населения, встревоженного и раздраженного опасностью, угрожавшею ему с двух сторон, вследствие появления наших войск в Абхазии и за Кубанью. Мне предстояло осмотреть не одну какуюнибудь дорогу, а весьма значительное пространство в горах, жить и путешествовать долгое время между неприятелем, ко-

торого сметливая недоверчивость равнялась вражде к нам, и не изменить себе ни одним словом или движением, несвойственными горцу. Я не знал черкесского языка и умел только сказать несколько слов по-татарски. Последний недостаток не должен был, впрочем, служить для меня столь непреодолимым препятствием, как могут подумать не знающие Кавказа. Между горцами существует такое множество различных наречий, что мне всегда было возможно выдавать себя за человека, принадлежащего к племени, которого языка не понимали жители того места, где я находился.

По этим причинам многие на Кавказе, долее меня имевшие случай ознакомиться с горцами и вообще с местными обстоятельствами, считали подобного рода путешествие делом совершенно несбыточным. Но чем более представлялось препятствий и затруднений, тем сильнее укоренялось во мне желание исполнить путешествие вопреки всем предсказаниям; я, впрочем, нисколько не скрывал от себя, что в случае неудачи мое положение в горах делалось действительно безвыходным.

Для того, чтобы скрыть настоящую цель моего отъезда в Абхазию, откуда найдено было удобным начать мои путешествия, я получил гласное назначение состоять при войсках абхазского действующего отряда. Не теряя времени, я выехал из Тифлиса в декабре тридцать четвертого года, хотя ненастное зимнее время обещало мне самую трудную и неприятную дорогу.

II.

Не стану описывать подробно моего путешествия от Тифлиса до границ Абхазии; оно было весьма незанимательно. Зимнее время скрывало от меня живописную сторону богатой имеретинской и мингрельской природы. Плохие дороги, дурные ночлеги, холод, грязь и снег попеременно преследовали меня от начала до конца путешествия. До Сурама я ехал на русских почтовых телегах; всем известно, как они покойны. Через Сурамские горы и далее приходилось ехать верхом, на казачьих переменных лошадях. В Кутаисе я остановился на несколько дней, чтобы явиться к управляющему Имеретией, начальнику абхазского действующего отряда, знавшему только о моем гласном назначении находиться при войсках в Абхазии, так как в Тифлисе признано было необходимым никому не

поверять тайны моего настоящего поручения, для того чтобы предохранить меня от последствий всякой даже неумышленной нескромности. Оттуда я продолжал свой путь без отдыха. Теперь, говорят, устроена от Тифлиса до Поти дорога, весьма удобная для проезда в самом тяжелом экипаже; тогда было совсем не то; в 1834 году и еще долго после того и верхом было нелегко проехать по этим местам во всякое время года. Особенно последние три почты, не доезжая Редут-Кале, были невыносимы. Дорога, проходившая над болотом, была устлана полуобтесанными бревнами, плававшими в тинистой грязи. При каждом шаге, который делала лошадь, ступая на них, они погружались в грязь. Не попав на бревно, лошадь проваливалась в болото выше колена, падала и нередко сбрасывала с себя седока. Тогда все останавливались, поднимали упавшего, освобождали лошадь из западни, в которую она попала, хорошо еще, если не с переломанными ногами. Не проходило часа без подобного происшествия с кем-нибудь из нашего поезда, состоявшего, кроме меня, из моего слуги, вьюка и обычной команды донских постовых казаков, без которых не ездили в то время даже по Мингрелии. Подобного рода похождениями и чувством постоянного голода, так как на казачьих постах имелись только хлеб да кислое вино, ограничивались мои путевые впечатления.

От самого Кутаиса я не пользовался другим помещением, кроме постовых плетневых хижин, ночуя в них, по кавказскому обыкновению, на земле, окутанный в бурку вместо постели и одеяла; поэтому я немало обрадовался, услышав шум моря, означавший близость Редут-Кале, в котором я ожидал найти некоторое вознаграждение за испытанные мною лишения. Когда мы подъехали к Редуту, совершенно смерклось, и только эта темнота помешала моему преждевременному разочарованию. Редут-Кале – земляное укрепление, построенное на берегу моря, около устья реки Хопи, посреди непроходимых болот, был в то время забытый уголок, в котором прозябали, изнуренные лихорадками, несколько солдат, офицеров и карантинных и таможенных чиновников. Внутри укрепления, уставленного небольшим числом деревянных строений, на всем лежала печать скуки, тоски, ветхости и бедности. От дождя, лившегося весь день, я измок до костей и был покрыт грязью, падав с лошадью несколько раз. С нетерпением желал я обогреться и отдохнуть от дороги. По приказанию коменданта мне указали лучшую из комнат, определенных для приема путешествующих

по делам службы. Кроме стола, двух стульев и деревянной кровати, без тюфяка, в ней не существовало никакой мебели; зато множество досок, расставленных по комнате в виде колонн, подпирали потолок, угрожавший, без помощи их, накрыть своею тяжестью дерзкого жильца. К моему счастью, в комнате был огромной величины камин, в котором развели огонь, позволивший мне обсушиться, сварить чаю и изжарить тощую курицу, проданную мне сторожем дома за дорогие деньги. На другой день, собираясь в дорогу, я заметил, что дом, в котором я провел ночь, был и снаружи подперт с боков бревенчатыми контрфорсами, без которых он мог легко развалиться во все стороны. Надеюсь, что решились разобрать на дрова его прежде, чем какой-нибудь несчастный путешественник нашел под его развалинами преждевременную кончину.

Сгорая нетерпением скорее приехать в Бамборы, где я должен был найти генерала Пацовского, командовавшего, за отсутствием N., всеми войсками в Абхазии, я не продлил ни на один час своего отдыха в Редут-Кале и с рассветом другого дня отправился в дорогу. Я спешил увидать Пацовского, потому что в Абхазии он был единственный человек, имевший возможность помочь мне в моем предприятии делом и советом, зная край и пользуясь хорошим влиянием на абхазцев.

От Редут-Кале до Сухума вели две дороги. Первая из них, служившая для абхазцев обыкновенным сообщением искони веков, проходила над самым морем по береговому песку и мелким камням. Весьма неудобная для движения артиллерии и обозов, она, кроме того, заливалась водой в ветреную погоду. Другая была проложена нашими войсками в прошедшем году, для избежания этого неудобства, в некотором расстоянии от моря. Небо было покрыто тучами, необыкновенно сильный ветер дул с моря, гряды темных волн, окаймленных белой пеной, мерно разбивались об обрывистый берег, возвышавшийся справа над дорогой, и заливали ее на протяжении, какое мог видеть глаз. Берегом ехать было невозможно. Казаки просили меня лучше переждать погоду, чем следовать новою дорогой, по которой, как они говорили, лошади не дойдут до первого поста, находившегося в двадцати верстах от Редута. Время было для меня дорого, и я, не слушая их совета, отправился по верхней дороге, разработанной генералом N., полагая найти ее все-таки в лучшем виде, чем как говорили постовые казаки. Но скоро я убедился в справедливости их слов. Проходя на большом протяжении через вековой лес, без выбора местности, вдоль глубоких лощин и по топким местам, она извивалась лентой густой черной грязи, в которой лошади утопали выше колена, спотыкаясь на каждом шагу о пни и корни срубленных деревьев. В Абхазии снег начинал таять, и это обстоятельство не служило к улучшению обыкновенных качеств дороги. Не находя никакого способа подвигаться по ней вперед, мы были принуждены объезжать ее по лесу, медленно пробираясь между деревьями, хлеставшими нас ветвями в лицо, и частым колючим кустарником, цеплявшимся за лошадей и рвавшим на нас платье.

Много времени отнимали у нас также переправы через бесчисленное множество речек, выступивших из своих берегов, по причине ростепели и морского прибоя, останавливавшего их течение. В Анаклии, мингрельском пограничном местечке, со смешанным населением из турок, мингрельцев, абхазцев и армян, мы переправились через широкий Ингур. Это была единственная переправа по всей дороге от Редут-Кале до Бамбор, на которой я нашел паром, хотя и плохой, но на котором все-таки можно было перевезти в один раз небольшое число лошадей и повозок, и при нем несколько человек перевозчиков. На всех других речках мы встречали только два выдолбленных из дерева и сплоченные между собою каюка, на которых едва становилась одна лошадь, и виноградную лозу, перекинутую вместо каната с одного берега на другой, за которую держались руками во время переправы. Случалось и так, что один маленький каюк, вытащенный на берег, обозначал место, где следовало переправиться. О перевозчиках не было и помину. Жители, на которых лежала обязанность оберегать переправы и содержать на них перевозчиков, исполняли кое-как свою обязанность, пока войска находились вблизи. Вслед за удалением их они сами разбегались и уносили сверх того канаты, доски и все железо, находившееся на паромах. Строить на каждой переправе посты и занимать их командами было бы затруднительно и дробило бы войска, а оставлять по нескольку человек, для присмотра за туземными перевозчиками, было опасно.

Мои конвойные казаки, хорошо знакомые с существующим порядком, завидев издали речку, тотчас бросались отыскивать паром или каюк в кустах и в затопленном водою камыше, снимали вьюки, расседлывали лошадей, и переправа начиналась. Лошадей пускали обыкновенно вплавь, для чего один казак садился, раздевшись, на лучшую лошадь и плыл впереди,

знаяя, что другие лошади от нее не отстанут. Людей, поклажу и седла перевозили в каюке, на дне которого помещались с трудом два или три человека, занятые одной мыслью и одним делом – удержать в равновесии каюк, который подпрыгивал и крутился, как щепка, под напором быстрой речки, стремившейся в море, и прибоя, отбрасывавшего назад ее течение. Донские казаки, содержавшие в Абхазии конную почту, были вообще хорошие пловцы, как все русские, живущие на берегу больших рек; поэтому я не боялся потонуть, хотя сам не умел плавать.

В первый день моего отъезда из Редут-Кале я добрался с большим трудом, поздно ночью, до первого поста, сделав не более двадцати верст. Объезды, которые мы принуждены были отыскивать беспрестанно в лесу, для того, чтобы избегнуть мучения ехать по разработанной дороге, и частые переправы нас совершенно измучили. Люди и лошади едва дотащились до ночлега. На другой день, испытав те же самые напасти, я переехал в Илори, на границу Абхазии, где в прошедшем году наши войска построили укрепление на берегу Гализги. Настоящая граница Абхазии начиналась на правом берегу Ингура. Гализга служила прежде только для разделения двух абхазских округов – Самурзаканского и Абживского. По причинам, которых я не мог никогда понять ясным образом, Самурзаканский округ был причислен нами к владениям князя мингрельского, и абхазская граница отодвинута с Ингура к Гализге. Последствием этого отчисления было то, по крайней мере, в мое время, что самурзаканцы, избавленные от послушания своему природному князю, отказывались также повиноваться и новому владетелю; а независимое направление своего образа мыслей принялись обнаруживать воровством и разбоями.

Илорский редут, если только можно назвать этим именем неправильные кучи грязи, означавшие места, на которых следовало находиться брустверу, вмещал в своей окружной черте роту грузинского гренадерского полка. Солдаты, жившие в балаганах, построенных из жердей и из камыша, буквально утопали в грязи. Ротный цейхгауз, провиантский магазин, конюшни и кухни не имели места в укреплении. Желая осмотреть его внутренность, я оставил в грязи солдатские сапоги, надетые мною вместо калош, сверх тонкой черкесской обуви, и был очень доволен, когда сам из нее освободился с помощью взявших меня под руки солдат. Трудно было понять, для какой надобности редут был построен в Илори, где он ничего не защищал кроме оборонявших его солдат; а зачем они здесь находились, и притом в числе одной только роты, еще менее того можно было объяснить. Самый редут исполнял очень дурно свое официальное назначение, потеряв под потоком абхазских осенних дождей всю оборонительную силу своего профиля. Смотря на него, невольно рождалась мысль, почему не строили тогда в Абхазии, чрезвычайно богатой строевым лесом всех родов, деревянных оборонительных казарм, укреплений из палисада, хотя бы даже из плетня, увенчанного колючим кустарником, а усиливались вскидывать насыпи из жирного иловатого грунта, совершенно неудобного для земляных построек. Человек полтораста солдат, помещенных в редуте, ни в каком случае не были в силах ни предупредить, ни остановить беспорядков, если б они возникли между жителями.

Для надзора за переправою через Гализгу и для перемены лошадей достаточно было бы иметь здесь казачий пост, усиленный десятками двумя пехотных солдат. К нашему несчастью, в то время на Кавказе делалось множество подобных ошибок. Беспрестанно занимали места без всякой надобности, строили укрепления, неприспособленные ни к местности, ни к роду войны, помещали в них гарнизоны слишком слабые для того, чтобы держать в страхе жителей, раздробляли таким образом свои силы, войска подвергали без всякой пользы болезням и всевозможным лишениям, а горцам доставляли этими фальшивыми мерами только случай обкрадывать и убивать русских солдат. Причина этому заключалась в невозможности главным начальникам все видеть своими глазами и обсудить собственным умом, и в неспособности и неопытности частных командиров, особенно таких, которые прибыв из России, получали, по своему чину или по какому-нибудь другому поводу, отдельные начальства и, не слушая старых кавказских служивых, принимались распоряжаться в горах или посреди абхазских и мингрельских болот по правилам воинского устава и школьной фортификации того времени. Не забуду, как один из инженеров, укреплявших береговую линию, спросил с удивлением: из какой фортификации взято это правило, когда ему советовали вместо палисада, располагаемого на кроне бруствера, усадить его колючим кустарником, что было бы не только дешевле, но и действительнее. Надо прибавить, что колючий кустарник употреблялся с большою пользою еще во времена Ермолова, при котором все укрепления на Кабардин-

ской плоскости были усилены этим оборонительным средством, и благодаря ему всегда избавлялись от несчастья видеть в своих стенах неприятеля, что случалось с некоторыми укреплениями черноморской береговой линии, строители которых были весьма ученые теоретики.

От Илори до Дранд считали сорок верст, которые я проехал в один день, потому что на этом пространстве встречалось меньше леса, следовательно, и дорога была получше. Через три рукава Кодора, на которых не было возможности устроить паромов, по причине необыкновенно быстрого течения, мы переправились вброд, имея воды выше седла, так что местами лошади должны были плыть.

Драндская древняя церковь, построенная, как должно полагать, в середине шестого века, в одно время с Пицундским монастырем, лежит в пяти верстах от морского берега, на возвышении, образующем открытую площадь, окруженную лесом со всех сторон. Как памятник византийской архитектуры, она представляла немало замечательного; но я не имел тогда времени заняться ее рассмотрением и ограничился первым впечатлением, которое она произвела на меня своею простою, величественною массой, уединенно господствовавшею над пустынною окрестностью. Кто пожелает ближе познакомиться с характером ее постройки, равно как и с другими памятниками древности на Кавказе, найдет их подробное описание в путешествии археолога Дюбуа. Направо от Дранд виднелись постепенно подымавшиеся лесистые контрфорсы главного хребта, подпиравшие ряд снеговых вершин, врезавшихся в горизонт зубчатою блестящею стеной. Налево шумело море, скрытое от глаз темными лесами. За исключением этого шума повсюду царствовала пустынная тишина.

Выбор этого места под укрепление был весьма удачен, жаль только, что при этом коснулись церкви, заняв ее офицерскими квартирами и складом провианта. В полухристианской, полумагометанской Абхазии следовало беречь подобного рода памятники христианской старины, к которым сами абхазцы-мусульмане питали неизъяснимое чувство благоговения, основанное на темных преданиях о святыне, осенявшей веру их праотцов. В военном отношении этот пункт представлял весьма ощутительные выгоды: давал твердый базис для действий против Цебельды, занимавшей неприступные ущелья по верховьям Кодора, и представлял, по причине здорового климата и хорошей воды, все условия, необходимые для сбережения

войск. Приятно было видеть свежие и веселые лица солдат, ясно свидетельствовавшие в пользу драндской стоянки. Число больных в батальоне Грузинского гренадерского полка, зимовавшего в Драндах, не превышало обыкновенно двенадцати человек из семисот. Это был замечательный факт между кавказскими войсками, которые обыкновенно страдали и гибли несравненно более от болезней, чем от неприятельского оружия. В Драндах я воспользовался с удовольствием дружелюбным гостеприимством батальонного командира для того, чтоб отдохнуть один день и вознаградить себя, в первый раз после Кутаиса, за усиленную воздержанность, на которую я был осужден во время всего пути.

От Дранд дорога спускалась к берегу через густой лес и, поворотив направо, вела потом до Сухума, над самым морем, по глубокому береговому песку. С одной стороны море, а с другой непроходимый лес отнимали у нее простор до того, что местами она была не шире четырех или пяти саженей. Здесь абхазцы перегородили в двадцать четвертом году дорогу высоким завалом и встретили из-за него и из лесу самым убийственным огнем русский отряд, шедший, под начальством управлявшего Имеретией князя Горчакова, выручать капитана Марачевского, оборонявшего, около Бамбор, с двумя ротами абхазского владетеля Михаила от его восставших подданных. Несмотря на отчаянное сопротивление неприятеля и на невыгоды положения, подвергавшего их метким выстрелам в упор от невидимых противников, наши войска мгновенно овладели завалом и открыли себе дорогу в Сухум. Абхазцы, видя, что русских нельзя остановить страхом смерти и перегородить им дорогу открытою силой, рассыпались после того в опушке леса, прекратили огонь по солдатам и стали стрелять исключительно по артиллерийским и по вьючным лошадям. Перебив большую часть из них, они принудили отряд остановиться в Сухуме и выждать, пока собралось достаточное число судов для перевозки его морем в Бамборы, потому что сухим путем не на чем было везти провиант и снаряды. От этого Марачевский едва не погиб. Более шестисот убитых лошадей лежали на морском берегу и заражали воздух по дороге, что принудило нарядить на другой год два военных транспорта для отвоза их остатков в открытое море.

Не доезжая пяти верст до крепости лежало на пути абхазское селение Келассури, в котором жил Гассан-бей, дядя владетеля. Его рубленный деревянный дом, имевший вид широкой

четвероугольной башни, стоял на высоких каменных столбах. Крытая галерея, обхватывавшая весь дом, на которую вела узкая и чрезвычайно крутая лестница, облегчала его оборону. Двор был окружен высоким палисадом с бойницами, в котором открывалась тесная калитка, способная только пропустить одного человека или одну лошадь. Довольно было взглянуть на постройку дома, на окружавший его палисад, на эту маленькую, плотно затворенную калитку, чтобы понять всегдашнее состояние опасения, в котором Гассан-бей проводил свою жизнь. Тревожное положение Абхазии вообще, личная вражда, какую он успел возбудить во многих, и несколько покушений на его жизнь, от которых он спасался почти чудом, заставляли Гассан-бея не пренебрегать никакими мерами осторожности.

Против его дома, над самым морем, находился длинный ряд деревянных лавок, принадлежавших туркам, перешедшим из Сухума в Келассури, когда крепость досталась русским. На пороге лавок сидели по своему всегдашнему обыкновению турецкие купцы и курили из длинных чубуков, с видом глубочайшего спокойствия. Казалось, ничто, что происходило кругом, не занимало их духа, парящего в неведомых пределах, – так безжизненно-равнодушно глядели они вдаль. Но равнодушие их было очень обманчиво. С одной стороны, они наблюдали за дорогой, пристально разглядывая проезжающих, а с другой не упускали из виду нашей военной эскадры, стоявшей на сухумском рейде. Ничто из происходившего на наших судах не скрывалось от их напряженного внимания. Из всего они выводили свои заключения, имевшие одну постоянную цель: обмануть бдительность наших моряков и провезти запрещенный товар. Все, что клонилось к нашему вреду и могло мешать нашим видам, радовало их душевно. Турки откровенно нас ненавидели – это в порядке вещей. Прежде они первенствовали в Абхазии и пользовались самою прибыльною торговлей с черкесами и с абхазцами, от которой купец обогащался в три или четыре рейса; теперь мы их вытеснили из этого выгодного положения и старались, кроме того, совершенно уничтожить их торговлю, захватывая и обращая в призы суда, нагруженные военными припасами и черкешенками.

Гассан-бей, управлявший Сухумским округом на правах удельного князя, считался не без причины самым закоренелым покровителем турок, проживавших в Абхазии, и этого нельзя было ставить ему в вину. Религия, привычки молодости склоняли его на сторону турок, и, кроме того, он находил постоянный источник доходов в своем келассурском базаре. Турецкие купцы платили ему значительную пошлину за право торговли и сверх того доставляли ему все редкие товары, которых нельзя было найти в целой Абхазии. Носились темные слухи про ночную торговлю на этом базаре, несравненно более оживленную, чем какою представлялась его денная деятельность, про лодки, виденные в лесу недалеко от Келассури, к которым съезжались в ночное время толпами вооруженные люди; но все это были, кажется, одни пустые толки завистников Гассан-бея. Наши военные баркасы, проходившие иногда случайно ночью мимо Келассури, никогда не замечали ничего подобного: базар они находили всегда в глубоком сне, а по всему берегу, на расстоянии десяти верст от Гассан-беева дома, не было уголка, в котором могла скрыться турецкая чектерма; в этом ручались все наши моряки, осматривавшие берег с величайшим вниманием. Поэтому келассурские турки невозбранно продолжали продавать табак, рахат-лукум и бумажные материи и следить с участием и любопытством за нашею эскадрой, рассматривая ее, когда было нужно, в свои длинные зрительные трубы.

Прибыв с намерением отыскать в Абхазии средство проехать за Гагры, к неприязненным черкесам, я не мог долго оставаться на одном месте; я должен был, делая беспрестанные поездки, знакомиться с краем и с людьми, от которых, по моему расчету, можно было ожидать помощи для моего предприятия. Прежде всего было необходимо составить себе связи и знакомства между абхазцами, с которыми обстоятельства заставляли меня иметь дело, и найти благовидный предлог для моих будущих поездок, способный отвлечь их недоверчивое любопытство от моего настоящего намерения. Мне казалось, что лучше всего начать дело с умного и хитрого Гассан-бея, тайного противника русских, имевшего большой вес у абхазцев, недовольных существовавшим порядком вещей. Я решился не миновать его дома. Для меня было очень важно приобрести его расположение и, если можно, выиграть его доверенность. Не рассчитывая даже на его содействие, все-таки было лучше иметь его приятелем, чем врагом; его вражда была бы вдвойне для меня опасна по причине связей, которые он имел в горах. К счастью, предлог для моих будущих странствований по Абхазии был у меня приготовлен, и не только должен был успокоить любопытство Гассан-бея, но даже заинтересовать его

самого, касаясь несколько его личных расчетов. Он заключался в цебельдинском деле, о котором мне было поручено собирать при случае самые точные сведения. Упоминая об этом деле, я считаю необходимым объяснить: что такое была в то время Цебельда и в чем состоял, говоря дипломатическим языком нашего времени, цебельдинский вопрос, очень простой для горцев, но чрезвычайно запутанный для нас.

Абхазия, подчинившаяся России в лице своего владетеля, занимала морской берег от Ингура до Бзыба и делилась на четыре округа: Самурзаканский, Абживский, Сухумский и Бзыбский. Самурзаканский округ, как я прежде упомянул, был нами отчислен к Мингрелии. Кроме того, находилось в горах, между источниками Бзыба и Кодора, независимое общество, составленное из абхазских выходцев, именуемое Цебель и долженствовавшее, по своему географическому положению между снеговым хребтом и абхазским прибрежьем, составить пятый округ Абхазии, но которое всегда отказывалось повиноваться владетелю, находя в неприступности занимаемого им местоположения достаточную защиту от его притязаний. Когда русские войска занялись в Абхазии разработкой дорог, цебельдинцы воспользовались этим обстоятельством для того, чтобы беспрестанно тревожить нас, угонять порционный скот, лошадей и убивать одиночных солдат, удерживаясь, впрочем, от нападений открытою силой. Кроме прямого вреда, который они нам делали, их пример увлекал иногда абхазцев и, что было хуже всего, давал им случай производить кражи и убийства под их именем.

Малочисленная Цебельда, состоявшая, по нашим тогдашним сведениям, не более как из восьми сот или тысячи семейств, служила неприятною помехой для наших дел в Абхазии. Для усмирения ее силою надо было пожертвовать временем и частью войск, которые, казалось, полезнее было употребить на работы, имевшие предметом скорейшее устройство береговой линии, обещавшей, как тогда полагали, отнять у горцев все способы сопротивления. В то время мингрельский владетель, Дадиан, предложил свои услуги, обещая мирным путем склонить цебельдинцев жить покойно и даже подчинить себя русской власти, если их навсегда избавить от покушений абхазского владетеля на их независимость. Предложение его было принято с большим удовольствием. Дадиан не имел никакого значения у цебельдинцев и мог на них действовать только через Гассан-бея, которого сестра была замужем за Хенкурусом

Маршанием, одним из цебельдинских князей. Оба они сошлись в этом деле, ненавидя в равной степени Михаила, владетеля Абхазии, и имея в виду выслужиться на его счет перед русским правительством и сделать ему чувствительную неприятность, уничтожив окончательно его влияние на цебельдинцев. Но связь Гассан-бея с Дадианом не могла быть откровенна; действуя с одной стороны против выгод Михаила, он с другой мешал под рукою переговорам Дадиана с цебельдинцами, не видя особых выгод для себя в положительном успокоении Абхазии и в примирении ее горных соседей.

Между тем и Михаил принял косвенное участие в этом деле, противясь, сколько было возможно, проискам Дадиана и Гассан-бея совершенно отвлечь от него Цебельду. Как владетель, он был прав, действуя в пользу своей власти, которая одна могла послужить к сохранению в Абхазии чего-то похожего на гражданский порядок. Мы, русские, не имели в ней тогда никакого нравственного значения и могли опираться на одну только силу. Да и в цебельдинском деле он имел возможность более способствовать нашим выгодам, чем его два соперника. Особое расположение к Дадиану мингрельскому и какое-то бессознательное предубеждение против Михаила не позволяли нам ясно видеть истинное положение дел. Из всех этих противоположных интересов сплелась, как водится у горцев, непроницаемая сеть самых хитрых интриг, в которой русские власти запутались наконец, ничего не понимая. Я не имел самонадеянной мысли распутать эту сложную, хитро связанную интригу; но находил весьма удобным воспользоваться ею для моей собственной цели. Она мне давала случай сблизиться с Гассан-беем, не жаловавшим нас вообще, а через него и с другими туземцами, врагами русского порядка, между которыми я, скорее всего, мог отыскать помощников для моего предприятия, и узнать их мысли, нисколько не обнаруживая сокровенных желаний.

Подъехав к дому, я остановился и, не называя себя, послал узнать, желает ли Гассан-бей видеть у себя проезжего. Это одна из выгодных сторон кавказского гостеприимства. Чужого человека принимают, не спрашивая, кто он, откуда и куда едет, пока он сам не сочтет необходимым объявить об этом, иногда только за тайну, одному хозяину, имея причины скрыть свое имя и свои дела от посторонних людей. Пока обо мне докладывали, прошло хороших полчаса. В это время рассматривали из дому меня и моих конвойных с большим вниманием. Беспре-

станно показывались у бойниц разные лица, вглядывались в меня очень пристально и потом исчезали. Наконец калитка отворилась, и Гассан-бей вышел ко мне навстречу, имея за собой несколько абхазцев с ружьями в руках. Я увидал в нем плотного человека, небольшого роста, одетого в богатую черкеску, с высокою турецкою чалмой на голове, вооруженного двумя длинными пистолетами в серебряной оправе; один из них он держал в руке готовый для выстрела. Кто только знавал Гассан-бея, не помнит его без этих пистолетов, спасавших его раза два от смерти и из которых он стрелял почти без промаха.

Оставив лошадь, я подошел к нему с просьбою дозволить мне назвать себя и объясниться во всем, когда мы будем наедине. Гассан-бей молча ввел меня в комнату, усадил на низком диване против себя, потребовал кофею и чубук, как следовало по турецкому обыкновению, и выслал прислугу. Я назвал себя, сказал о моем назначении состоять при войсках и о причине, побудившей меня одеться по-черкесски; имея, прибавил я, поручение изучить цебельдинское дело, что требовало от меня беспрестанных поездок по Абхазии, я счел благоразумным не обращать на себя внимание народа. Моя откровенность до того понравилась Гассан-бею, что мы через полчаса сделались совершенными друзьями и поверяли друг другу свои самые сокровенные мысли, – разумеется, не теряя должной осторожности. Он не только согласился со мною, по крайней мере на словах, во всем, что я говорил насчет сильно интересовавших его абхазских и цебельдинских дел, и похвалил мое намерение под черкесскою одеждой остаться для народа неизвестным лицом, но снабдил меня, сверх того, множеством весьма основательных советов, касавшихся моей личной безопасности. После многоблюдного турецкого обеда, приправленного красным перцем до такой степени, что я опалил себе горло и нёбо, как огнем, Гассан-бей проводил меня до Сухума с довольно пестрою толпой своих конных телохранителей. В крепость он не заехал, имея от нее непреодолимое отвращение с того времени, когда его схватили в ней неожиданно перед отправлением в Сибирь.

Сухум произвел на меня самое неблагоприятное впечатление. Базар, находившийся перед крепостью, состоял не более как из двадцати грязных духанов-кабаков, в которых были выставлены для продажи без всякого разбора: вино, водка, табак, седла, оружие, говядина, соленая рыба, овощи и самые простые турецкие материи. Хозяева были греки и армяне. По единственной топкой улице этого рынка прохаживались лениво несколько абхазцев с винтовками за спиною, с башлыками на голове, повязанными в виде чалмы, и перебегали матросы в своих холщовых брюках и темно-зеленых куртках, заглядывая в лавки и торгуясь с купцами. Только из одного духана раздавались веселые голоса; в его открытом окне виднелись эполеты и фуражки наших морских офицеров. Это был духан Тоганеса, избранный ими для постоянного пристанища на берегу, единственное место отдыха в Сухуме, доставлявшее им возможность за стаканом портера или марсалы забывать невыразимую тоску, которую он наводил на каждого. Тоганесова лавка отличалась от других духанов поставленною перед ее дверьми гипсовою статуей с транспорта, потерпевшего кораблекрушение посреди сухумской бухты.

Крепость, построенная из дикого камня в виде четырехугольника, около ста саженей по фасу, с башнями по углам, имела вид развалины. Внутри ее помещались две ветхие, деревянные казармы, госпиталь, артиллерийский цейхгауз, провиантский магазин и дом коменданта. Сухумский гарнизон составляли две пехотные роты и команда крепостной артиллерии. Люди имели болезненный вид несчастных жертв, обреченных на вечную лихорадку, от которой половина их ежегодно умирала. Они знали это и, нельзя сказать со спокойным духом, но безропотно несли свою участь, не переставая исполнять тяжелую службу с покорностью, свойственною русскому солдату. Побеги случались между ними очень редко. При турках считали в Сухуме около шести тысяч жителей; в тридцать пятом году нельзя было насчитать и сотни, сверх гарнизона. Прежде крепость была окружена красивыми предместьями, отличавшимися множеством тенистых садов, и пользовалась отличною водой, проведенною из гор далее мили. Турки называли Сухум вторым Истамбулом. Теперь расстилались около крепости болота, заражавшие воздух своими гнилыми испарениями; водопроводы были разрушены, солдаты пили вонючую, тинистую воду, и это было главною причиной болезней. Нас нельзя было нисколько винить в упадке Сухума, он был неотвратимым последствием неблагоприятных обстоятельств, сопровождавших пребывание наших войск в Абхазии.

Видя, что мы положительно утвердились в крепости, турки оставили немедленно предместье; абхазцы не имели обыкновения жить в городах; а русское население не могло существовать

в соседстве их, при тревожном и неустроенном состоянии, в котором находился край. Окрестности Сухума опустели, и только в стенах крепости прозябали около четырехсот русских солдат, из числа которых сто человек постоянно лежали в лазарете. Весьма понятно, что эта горсть людей не могла в одно время исполнять службу, обороняться от дразнившего ее неприятеля и производить около крепости очистительные работы, лежавшие прежде на всем турецком населении. В таком положении застал я Сухум. Впрочем, если крепость и ее окрестности не имели ничего живого и привлекательного, зато рейд представлял картину самой оживленной деятельности. Кроме нескольких десятков турецких чектерм, качавшихся на воде, около десяти русских военных судов разной величины, начиная от красивого фрегата до уродливой толлы, лежали на якоре перед Сухумом. Тяжелые баркасы и легкие шлюпки перерезывали бухту по всем направлениям, сообщаясь с берегом и с судами, на которых кипела работа. Эскадра спешила исправиться от повреждений, причиненных ей последнею бурею, недели за две до моего приезда. Статуя, поставленная у дверей Тоганесова духана, принадлежала транспорту, выброшенному на берег этою бурей, причем его капитан и четыре матроса сделались жертвою моря. И другие суда были близки испытать ту же участь, если бы не унялся ветер. Фрегат, на котором находился контр-адмирал, касался уже дна: корвет и бриг потеряли рули, не считая поломанных мачт, рей и бугшпритов у прочих судов. Все это происходило в сухумской бухте. Несмотря на двойные и тройные якоря, корабли несло к берегу. Сильный ураган налетел с такою быстротой, что наша эскадра не успела уйти в открытое море. Мне очень хотелось побывать на наших кораблях и познакомиться с морскими офицерами, пользовавшимися уже тогда репутацией образованных людей и отличных моряков, но я должен был на этот раз отказать себе в этом удовольствии, имея в виду доехать как можно скорее до Бамбор.

Оставив Сухум на другой день с рассветом, я приехал к обеду в бамборское укрепление. От Сухума до Бамбор считали сорок пять верст довольно удобной береговой дороги, загроможденной камнями только в одном месте, что не составляло, впрочем, чувствительного препятствия для пешего или для конного. Брод через Гумисту считался довольно опасным в полноводье; другие маленькие речки не заслуживали внимания.

В Бамборах, где я должен был иметь свое постоянное пребывание, помещались: батальон 44 егерского полка, полковой штаб и все главные военные заведения и склады для войск, занимавших Абхазию. Генерал Пацовский, командир егерского полка и начальник всех войск во время отсутствия генерала А., жил в Бамборах, занимая длинный низенький дом с небольшим садиком впереди, стоявший возле гауптвахты, на обширной площади. Укрепление имело вид большого бастионированного параллелограмма и состояло из земляного бруствера обыкновенного размера. Внутренность его, разбитая на шесть правильных кварталов, обстроенных небольшими, чисто выбеленными домами, длинными казармами и магазинами, была опрятна и не наводила тоски, свойственной другим абхазским укреплениям. Возле крепости находился небольшой форштат с неизбежным базаром, населенным армянскими и греческими торгашами. Сюда абхазцы, а под их покровительством и незнакомые неприятельские черкесы приходили, менее для торговли, чем для того, чтоб узнавать новости и высматривать, что делается у русских. Положение Бамбор в широкой и привольной долине реки Пшандры, в трех верстах от морского берега и почти в таком же расстоянии от селения Лехне, или Саук-су, как его называли турки, местопребывания владетеля Абхазии, давало этому пункту значение, которым Пацовский воспользовался весьма искусно для сближения с нами абхазцев и для распространения на них, сколько было можно, нашего нравственного влияния. Бамборы имели только одну невыгоду, общую со всем берегом, на котором, кроме трех бухт, Геленджикской, Суджукской и Сухумской, нигде не существовало удобного якорного места. Суда не могли бросать перед Бамборами якоря ближе трех миль от берега, что служило чувствительным затруднением для выгрузки военных тяжестей, привозимых сюда в довольно большом количестве. Сверх того, суда должны были уходить в море с открытого бамборского рейда при первых признаках будущей зыби, из опасения быть брошенными на берег прежде, чем разыграется ветер, который позволил бы распустить паруса. В тридцать девятом году военный пароход, стоявший на якоре в Туапсе, разбился, прежде чем успели развести пары. Подобных несчастных примеров можно было насчитать очень много.

Приехав в Бамборы, я, не меняя одежды, пошел явиться к генералу Пацовскому. Его ласковый прием ободрил меня с первого раза и расположил к этому почтенному человеку;

впоследствии, чем ближе узнавал я его, тем более возрастала моя вера в его душевную доброту. По его приказанию меня поместили в крепости в двух светлых и покойных комнатах, снабженных всем, что могло быть необходимо для отдыха и для занятий. Слишком мало думая в то время об удобствах жизни, я оценил эту заботливость обо мне со стороны Пацовского не по мере удовлетворения моих скромных потребностей, а по силе доказанной им внимательности. Эта квартира, которую я помню будто вчера только с нею расстался, редко, впрочем, видела меня в своих стенах. Я спал или изредка занимался в ней, находясь все остальное время в разъездах или в доме у Пацовского, который по кавказскому гостеприимному обычаю с первого дня пригласил меня бывать у него и обедать, когда захочу. Жена, трое маленьких детей и две воспитанницы лет десяти составляли его семейство. Пацовская была весьма недурна, добродушна и старалась всеми мерами сделать свой дом приятным для посещавших его, в числе которых я бывал почти ежедневным гостем. Кроме нее находились в укреплении еще три офицерские жены, которых можно было, за неимением других, пригласить на кадриль или мазурку. Ими ограничивалось наличное женское общество, что нисколько не мешало молодым офицерам танцевать и веселиться от всей души в неизвестном уголку земли, носившем название Бамбор. На берегу моря, недалеко от укрепления, зимовали: батальон Грузинского гренадерского полка и артиллерийская батарея, принадлежавшие к абхазскому действующему отряду.

Это обстоятельство служило к немалому оживлению бамборского общества. Во всю зиму Пацовская давала у себя танцевальные вечера по два раза в неделю. Не только вышепоименованные дамы, но и ее маленькие воспитанницы принимали в них участие, а за недостатком женского пола становились молодые офицеры и танцевали доупаду. Люди пожилые, не танцующие, проводили вечер за бостонным столом. Бал кончался ужином, более сытным, чем изысканным, за которым не жалели абхазского вина, которое, право, было весьма недурно. Все это было очень незатейливо, но занимало молодежь, богатую избытком жизни, и отвлекало от менее невинных удовольствий, неразлучных с военною зимовкой. Забавно было видеть, как в темную дождливую ночь собирались на бал. Из прибрежных бараков офицеры съезжались верхом, укутанные в бурки и башлыки, провожаемые казаками, освещавшими дорогу факелами, а иногда и пехотным конвоем с заряженными ружьями, без которого неблагоразумно было ехать через лес, находившийся между морем и укреплением. Гости, жившие в стенах крепости, приходили пешком. Глубокая грязь, затапливавшая все улицы при первом дожде, не допускала обыкновенных калош, вместо которых принуждены были надевать сверх комнатной обуви тяжелые солдатские сапоги. Не легко было совладать с ними в грязи, поэтому два солдата провожали каждого посетителя: один вел его под руку, другой светил впереди фонарем; я был тогда довольно молод, готов воспользоваться каждым случаем, обещавшим некоторое удовольствие, и поэтому нисколько не пренебрегал скромными бамборскими вечерами.

Но главное удовольствие я находил бесспорно в обществе самого Пацовского. С удивительным терпением и скромностью, принадлежащими истинному достоинству, он объяснил мне самым подробным образом свои прежние действия в Абхазии и знакомил меня с положением края. Уверившись в его прямом характере и здравом смысле, не подчинявшихся внушениям мелочного самолюбия, я открыл ему в скором времени настоящую цель, которую я преследовал в Абхазии. В скромности Пацовского я был уверен, потому что никто лучше его не понимал опасности, которой могло подвергнуть меня одно неосторожное слово. По его мнению, не существовало никакой возможности проехать из Абхазии за Гагры; во-первых, потому что он не знал абхазца, могущего быть моим проводником, а во-вторых, по причине удвоенной осторожности, с которою неприятель караулил Гагринский проход со времени прибытия в Абхазию действующих войск. Позже я совершенно убедился в справедливости его мнения, но на первый раз не смел отказаться от своего предприятия, основываясь только на его словах и не уверившись сам в положительной невозможности исполнить его с этой стороны. Я не скрыл от него моего намерения стараться всеми силами опровергнуть фактом его убеждение, после чего он откровенно пожелал мне успеха, обещая помогать мне с своей стороны сколько будет возможно. Слово свое он сдержал как следует. Чувство душевного уважения, которое я сохранил к его памяти до сих пор, двадцать семь лет после нашего знакомства, побуждает меня указать на его хотя не громкие, но весьма полезные заслуги в Абхазии.

Пацовский начал свою службу на Кавказе с юнкерского звания, тридцать лет до нашей встречи. На глазах Цицианова,

Котляревского и Ермолова он брал с боя каждый чин и, будучи полковником, был назначен при Алексее Петровиче сперва тифлисским комендантом, а потом командиром 44-го егерского полка. Это обстоятельство свидетельствует уже достаточно в пользу Пацовского, потому что Ермолов не имел обыкновения давать полки людям ради имени, связей, дружбы или в утешение прекрасных глаз, кроме того, обладал отменным даром угадывать людей и употреблять их согласно с их способностями и наклонностями. Из немалого числа генералов, командовавших при мне на Кавказе, я знал только одного равнявшегося с ним в этом отношении: это был Алексей Александрович Вельяминов. Факты, которые я имел перед глазами, ясно доказывали, что Ермолов не ошибся в Пацовском. В тридцатом году он высадился в Абхазии с десятью ротами своего полка, с восемью орудиями и с командою казаков, занял Гагры, Пицунду и Бамборы и не переставал трудиться с того времени над устройством порученной ему части. Что он успел в этом более, чем можно было ожидать от скудных средств, которыми он располагал, должен был сознаться каждый человек, видевший Бамборы и понимавший военное дело. Укрепив Пицунду и Гагры и построив в них необходимые помещения для гарнизонов, Пацовский успел в четыре года полковыми средствами возвести бамборское укрепление с казармами, офицерскими домами, всеми солдатскими хозяйственными заведениями и окружить его садами и огородами, возбуждавшими удивление и зависть абхазцев. Кроме главного укрепления он построил редуты из палисада: на берегу моря для склада провианта, на реке Хыпсте, для сбережения полковых лошадей, ходивших в этом месте на траве, и на реке Мцыше, для защиты пильной мельницы, им же устроенной. Все эти работы были произведены руками солдат, без всякого отягощения для них. Надо было видеть его заботливость о солдатских нуждах и его снисходительность к их недостаткам, не мешавшие ему нисколько поддерживать между ними самую строгую дисциплину, чтоб оценить вполне его практический ум и сердечную доброту.

Абхазцев он умел привлечь к себе и овладеть их доверенностью, приноравливаясь к их понятиям и не нарушая ни в каком случае данного слова. Сами вероломные, они тем более умели ценить правдивость. Они верили ему безотчетно и приезжали к нему издалека за советом и за помощью. В подобных случаях он помогал им часто своими собственными деньгами, не заботясь, будут ли они ему возвращены правительством.

Пильная мельница на Мцыше служила одним из главных способов сближения абхазцев со своими русскими соседями. До Пацовского абхазцы не видывали пильной мельницы и делали доски с руки пилою и топором или получали их морем от турок. Мало-помалу они стали приезжать на Мцышу выменивать и выпрашивать доски у Пацовского, которые он им давал под разными условиями, имевшими в предмете выгоды полкового устройства. Сношения завязались, и скоро возникла из них некоторая зависимость абхазцев от русского изделия. Надо быть очевидцем подобного обстоятельства, чтобы понять, как легко можно сблизиться иногда с необразованным противником помощью самого простого средства, если оно дает ему материальные выгоды, заставляющие его забывать, хотя на время, нравственный гнет, который всегда лежит на завоеванном народе.

Значение, которое Пацовский умел приобрести в глазах абхазцев, отзывалось на всех русских. В Бзыбском округе, где находились Бамборы, не было слышно о нападениях на наших солдат, ходивших поодиночке в самые дальние селения. Абхазцы встречались с ними как с добрыми знакомыми, детьми Пацовского, которого они любили. Говоря о хороших отношениях, существовавших в Бзыбском округе между русскими и абхазцами, надо отдать справедливость владетелю, прилагавшему со своей стороны все старания поддержать эти отношения. N. смотрел на вещи другими глазами, и, право, не его вина, если наши дела не приняли в то время более выгодного для нас оборота. Вмешавшись, как начальник страны, в споры Дадиана и Гассан-бея с Михаилом, он принял слишком явно сторону первого, видимо, задел интересы последнего, оскорбил его самолюбие и возбудил в нем неудовольствие, имевшее последствием разлады в других делах, которые, по своему существу, вели к цели столько же выгодной для самого владетеля, как и для нас. Пацовский то и дело мирил обе стороны и улаживал их отношения, что не всегда было легко при столкновении русской начальственной власти с владетельскою гордостью, опиравшеюся на сан и на свои независимые права.

Вскоре после моего прибытия в Бамборы я поехал с Пацовским в Лехне представиться владетелю, имевшему в то время звание полковника лейб-гвардии Преображенского полка. Дорога вела по широкой и совершенно гладкой поляне, уставленной тополями, шелковичными и ореховыми деревьями, повитыми до самой вершины необыкновенно толстыми лозами,

составляющими одно из главных богатств абхазских поселян. От винограда, растущего в изобилии на этих лозах, получается очень порядочное вино, добываемое в Абхазии самым первобытным способом. Жители делают для этого яму в земле, обкладывают ее глиною и потом обжигают сколько можно, разложив в ней огонь. Вытоптав виноград ногами в этой яме, из нее вычерпывают вино, когда сок перебродил, и хранят его в глиняных кувшинах, зарытых в земле. Лозы стоят в поле без ограды; каждый хозяин знает свое фруктовое дерево и употребляет весьма дешевый способ для сбережения его от воров. Для этого привешивают к лозе, к скотине или к каждому другому предмету, который желают уберечь от воровских рук, кусок железного шлака. Не каждый горец осмелится тронуть вещь, отданную под покровительство этого талисмана, угрожающего, как полагают, насильственною смертью чужим рукам, которые позволят себе коснуться его. Впрочем, и кавказские горы имеют своих вольнодумцев, пренебрегающих подобного рода угрозами. От них уберегает одно ружье, исправляющее у черкесов главную полицейскую должность.

Дом владетеля нет причины описывать подробно. Архитектурою он был много похож на дом Гассан-бея и отличался от него только размерами, будучи несравненно выше и просторнее. Палисад заменялся высоким плетневым забором, огораживавшим чрезвычайно обширный двор. Вместо тесной калитки отворялись для приезжего широкие ворота. Заметно было, что Михаил менее Гассан-бея опасался врагов или более надеялся на своих окружающих. Налево за оградою, в расстоянии ружейного выстрела от владетельского дома, находилась старинная церковь. Въезжая на двор, я рассматривал с большим любопытством дом и его окрестности, представлявшие для меня много замечательного. Здесь две русские роты и двадцать два абхазца, не покинувшие своего князя, защищались в двадцать четвертом году более трех недель против десяти или двенадцати тысяч джекетов, убыхов и бунтующих жителей Абхазии. Около трехсот пятидесяти человек, занимавших дом, службы и двор, огороженный одним плетнем, без рва и бруствера, успели не только выдержать осаду, но отбить удачно несколько нападений открытою силой, пока не выручил их, высадившись в Бамборах, князь Горчаков, командовавший войсками в Имеретии.

Во время осады неприятель занял церковь, о которой я выше упомянул, командовавшую над всею окрестностью, и стал

обстреливать из нее середину двора. В темную ночь двадцать солдат под командой поручика (не припомню его имени) сделали вылазку, ворвались в церковь и перекололи всех засевших в ней абхазцев, кроме одного, успевшего скрыться на хорах. Очистив церковь, они отступили в ограду владетельского дома, потеряв только четырех человек. Этот урок подействовал на неприятеля так сильно, что он не решался более занимать церкви, стоявшей, как опыт доказал, слишком близко от руки и штыка наших солдат. Человек, уцелевший в церкви от побоища, был известный абхазец Каца Маргани, передавшийся впоследствии всею душой на сторону владетеля, который, кажется, теперь еще жив и пользуется генеральским званием. Сам Каца рассказывал мне об этом ночном происшествии, признаваясь, что при одном воспоминании о нем его пробирает дрожь и что он в жизни своей не испытал ничего более ужасного. Каца же, как все знают, был не из числа робких и в продолжение своей жизни не раз глядел смерти в глаза без страха. На дворе владетельского дома не существовало тогда колодца, а водою пользовались из ручья, протекавшего возле самой ограды. К ручью вел спуск под гору около десяти сажен по совершенно открытому месту. Днем неприятель занимал все пункты, с которых можно было обстреливать ручей, и засыпал пулями каждого, кто подходил к воде. Ночью он приближался к самому ручью. Опасаясь, что абхазцы перебьют поочередно всех людей, пытавшихся достать воды, решили придумать другое, более безопасное средство запасаться ею. В доме оказался старый винный бурдюк, который ухитрились приспособить для этой потребности. Его поставили на колеса, к верхнему концу приделали клапан, а к нижнему груз, и в этом виде начали спускать на веревках в ручей, где он наполнялся водою, после чего его втаскивали на гору.

Несколько дней гарнизон пользовался водою, добытою этим замысловатым способом. Сначала неприятель осыпал бурдюк выстрелами, но пули скользили по его толстой и упругой оболочке. Тогда несколько неприятельских удальцов подкрались ночью к самой ограде, и, когда наши на рассвете стали опускать бурдюк за водой, они напали на него и изрубили кинжалами. Почти все они заплатили жизнью за это отважное дело, но другого бурдюка не было, и гарнизон остался без воды. После нескольких дней мучительной жажды дождик, пошедший вовремя, помог нашим людям. Провианту не было совсем; люди доедали последнюю кукурузу, заготовленную в доме для

владетельских лошадей, которые были съедены уже прежде. В это-то время подоспел князь Горчаков и освободил осажденных, принудив горцев удалиться. Об этой защите владетельского дома в Лехне нашими солдатами, кажется, никто не писал, и я слышал о ней только в Абхазии, на самом месте действия. Командовал ротами, принадлежавшими к 44-му егерскому полку, капитан Марачевский, которого Ермолов наградил за это дело орденом Св. Владимира четвертой степени с бантом, что считалось в то время необыкновенным отличием.

Михаил Шервашидзе, абхазский владетельный князь, носивший у своих имя Гамид-бея, был тогда красивый молодой человек, лет двадцати четырех, пользовавшийся всеми качествами, имеющими высокую цену у черкесов, то есть был силен, стрелял отлично из ружья, ловко владел конем и не боялся опасности. Как правитель, он был, несмотря на свою молодость, далеко не хуже, если не лучше других, много хваленых кавказских владельцев; понимал простые нужды своего народа и умел заставить себе повиноваться. В отношении русских он держал себя как следует, без особой гордости и без подобострастия, действовал нескрытно и охотно исполнял все наши требования, когда они не находились в совершенном разногласии с средствами и с пользою Абхазии. Я познакомился с ним очень коротко и искренно полюбил его за участие, которое он мне показывал, и за его откровенные поступки со мною. Пацовский понимал его настоящим образом и, как умный человек, защищал его против людей, обвинявших его в нерасположении к русскому правительству, потому только, что они не находили в нем всегдашнего выражения покорности, которая в сущности так редко доказывает истинную преданность. Как настоящий горский князь, Михаил исполнял правила гостеприимства в самых широких размерах; никто не уезжал из его дома без угощения и без подарка. Мне он подарил в начале нашего знакомства прекрасную винтовку, с которою я потом никогда не расставался до моего последнего, весьма неудачного путешествия, лишившего меня и этой дорогой для меня вещи.

Насчет Цебельды Михаил объяснился со мною без всяких хитростей. Все, что он говорил об этом деле, вполне согласовалось с мыслями Пацовского. Он считал не только бесполезным, но даже вредным уговаривать цебельдинцев покориться, когда они сами не находили в этом ни нужды, ни выгоды. Это значило придавать им важность, которой они не имели. Только

сила могла их принудить променять свою необузданную волю на подчиненность, тягостную для каждого горца. Прекратить же их набеги, и сделать их по возможности безвредными для русских в Абхазии, мог только он один, при добровольном содействии своего народа. Для этого он должен был сохранить в полной силе свою власть над абхазцами, и то значение, которым он пользовался в Цебельде, зависевшей от него по случаю зимних пастбищ, удобных для них только в его владениях. Он никак не рассчитывал допустить Дадиана мешаться в его дела или предоставить Гассан-бею случай усилить свое личное значение на счет его владетельных прав. Это было ясно и так справедливо, что тут нечего было спорить.

Пацовский, заботясь, сколько было возможно, облегчить для меня сношения с абхазцами, назначил поручика своего полка, абхазского уроженца Шакрилова, находиться постоянно при мне в звании переводчика. Шакрилов говорил равно хорошо по-русски, по-абхазски и по-турецки, знал основательно свою родину, и к этим качествам, делавшим из него весьма дорогую находку для меня, присоединял еще большую смелость, прикрытую видом необыкновенной скромности. Он и другой абхазец, Цонбай, первые решились вступить еще молодыми людьми в русскую военную службу. Пацовский, желая этим способом составить новую связь с абхазцами и приманить их выгодами службы, взял Шакрилова и Цонбая к себе в дом на воспитание, и в несколько лет образовал из них прекрасных офицеров, ни в чем не отстававших от своих русских товарищей. Шакрилов был женат, имел старика-отца и трех братьев. Отец и старшие братья остались мусульманами; два младшие брата, Муты и мой переводчик Николай, продолжавший также носить название Эмина, приняли христианскую веру.

В Абхазии нередко встречались подобные случаи, когда в одном и том же семействе бывали и христиане и магометане, что, впрочем, нисколько не вредило их родственному согласию. С шестого по шестнадцатый век весь абхазский народ исповедовал христианскую веру. Церковью управлял независимый католик, имевший пребывание в пицундском монастыре; в Драндах находилось епископство, и, кроме того, вся Абхазия была усеяна церквами, развалины которых я встречал на каждом шагу. Турки, обратившие абхазцев в магометанскую веру, не успели совершенно уничтожить в них воспоминаний о христианской старине. В абхазском магометанстве не трудно было заметить следы христианства в соединении с остатками язы-

чества. Когда Сефер-бей принял христианскую религию, примеру его последовали некоторые абхазцы; другие крестились позже при его наследниках. Новообращенные христиане строго исполняли все наружные обряды, налагаемые церковью, не расставаясь, однако, с некоторыми мусульманскими привычками, вошедшими в народный обычай. Они имели, например, не более одной жены; но зато позволяли себе менять ее при случае. Абхазские магометане не отказывались ни от вина, ни от мяса нечистого животного противного каждому доброму мусульманину. Христиане и магометане праздновали вместе Рождество Христово, Св. Пасху, Духов день, Джуму и Байрам и постились в рамазан и великий пост, для того чтобы не давать друг другу соблазна. Те и другие уважали в одинаковой степени священные леса и боялись не на шутку горных и лесных духов, которых благосклонность они снискивали небольшими жертвами, приносимыми по старой привычке тайком, так как это запрещалось им священниками.

В Бамборах я не терял долго времени. Одна из моих первых поездок была направлена в Пицунду, куда я поехал вместе с Пацовским, с целью осмотреть место для постройки укрепления, долженствовавшего обеспечить сообщение Гагр с Бамборами. Пицундский монастырь, занимаемый нашими войсками, лежал на берегу моря, совершенно в стороне от прямой гагринской дороги, загороженный от нее и от Бамбор цепью невысоких, но очень крутых, покрытых лесом гор. Через эти горы вела в Пицунду довольно неудобная вьючная дорога, проходимая только для войск, а не для артиллерии и для тяжестей, которые принуждены были доставлять туда морем. От Бамбор до Пицунды считалось двадцать восемь верст, от Пицунды до Гагр восемнадцать. Прямая гагринская дорога была двенадцатью верстами ближе, и на ней не встречалось гор. На ней же существовал около Аджепхуне довольно удобный брод через Бзыб. Между Пицундою и Гаграми переправа через эту реку, возле ее устья, была в полноводье положительно невозможна, а в остальное время года чрезвычайно опасна, по причине переменчивого ложе, то заносимого с моря песком, то размываемого быстрым речным течением. Бзыб обтекал северную подошву горного хребта, заслонявшего пицундский мыс от Бамбор.

Между Бзыбом и отраслью главного кавказского хребта, примыкавшею за Гаграми к морскому берегу, открывалась широкая равнина, принадлежавшая по своему положению к

Абхазии; но загагринские джекеты завладели ею для пастбища, и абхазцы молча терпели это нарушение своих прав, чтобы не заводить открытой ссоры с своими нахальными соседями. На берегу Бзыба, у поворота дороги через горы в Пицундский монастырь, находилось многолюдное селение Аджепхуне, в котором жили Инал-ипы, считавшиеся, после владетеля, самыми богатыми и сильными князьями в Абхазии. От Бамбор до Аджепхуне существовала уже весьма удобная дорога; далее не встречалось никакого затруднения проложить ее по совершенно ровной местности до самого Гагринского монастыря. Выгоднее Аджепхуне нельзя было найти пункта для предполагаемого укрепления: оно оберегало бы здесь в одно время дорогу от Бамбор к Гаграм и к Пицунде и переправу через Бзыб, повелевало бы неприятельскими пастбищами и наблюдало за пограничным абхазским населением, имевшим постоянные сношения с приморскими, одноплеменными с ним джекетами. Пацовский одобрил мой выбор во всех отношениях; я прибавил чертеж проектированного мною укрепления, приспособленного к местным обстоятельствам: земляного редута с деревянными оборонительными казармами посреди фасов, от которых выдавались капониры для обороны рва.

Каждая казарма, представляя собою отдельный редут, способный защититься, если бы неприятель даже ворвался во внутренность его, должна была делиться на две равные половины помощью больших сеней, находившихся в непосредственной связи с капониром. Окна казарм я предлагал обратить во внутренность укрепления; в наружной стене должны были находиться одни бойницы с задвижками. Нары помещались бы посреди казармы, для того чтобы солдаты, в случае тревоги, вскочив с постели, находили свои ружья возле стены, которую им следовало оборонять. Я считал это необходимым для того, чтоб облегчить нашим солдатам мучительное положение, в которое приводили их черкесы, заставляя их несколько раз ночью выбегать на бруствер в одной рубашке и по целым часам напрасно ожидать нападения, которое обыкновенно они производили, измучив сперва гарнизон пустыми ночными тревогами, продолжавшимися иногда целые месяцы. Моя мысль была в то время совершенно нова на Кавказе, и, кажется, только по этой причине не заслужила одобрения тифлисского инженерного управления, которому следовало ее подробно рассмотреть. В 1840 году начали строить, с некоторым изменением, подобного рода укрепления на всей береговой

линии, убедившись, как мало защищают простые земляные насыпи от черкесского способа вести войну, особенно в обстоятельствах подобных тем, в каких находились тогда наши войска на восточном берегу Черного моря.

Пицундский монастырь занял мое внимание еще более Драндской церкви; положение его было не менее живописно, а постройка отличалась величиною и некоторыми частными достоинствами, которых не было у последней. Церковь чисто византийской архитектуры, воздвигнутая по указанию Прокопа в шестом веке, в царствование Юстиниана, сохранилась довольно хорошо. В одном приделе были видны на стенах и на потолке весьма любопытные фрески, пережившие время владычества турок в Абхазии. На большом ореховом дереве, возле церкви, висел колокол весьма искусной работы, с изображением Мадонны и латинскою надписью, указывавшею, что он был отлит в 1562 году. Уважение, которое абхазцы и джекеты питали по преданию к остаткам Пицундского монастыря, не позволило им коснуться этого колокола, принадлежавшего ко времени генуэзского владычества на восточном берегу Черного моря.

Пицунда было снабжена отличною ключевою водой посредством древнего водопровода, сохранившегося в полной целости. На Пицундском мысу существовала, кроме того, сосновая роща, единственная по всему абхазскому прибрежью, доставлявшая отличный строевой лес. Две роты егерского полка, занимавшие Пицунду, помещались в монастырской ограде, к которой Пацовский пристроил по углам деревянные башни для фланговой обороны. Они пользовались здоровым климатом, хорошею водой, но находились здесь без всякой особой цели. Лесистые окрестности монастыря скрывали неприятельские партии, проходившие через горы или пристававшие к берегу на галерах; двух рот было слишком мало для того, чтобы отыскивать их и драться с ними в лесу; поэтому пицундский гарнизон ограничивался собственною обороной, довольный тем, когда ему удавалось сберегать от неприятеля свой скот и казенных лошадей. До Гагр мы не пытались доехать, так как пространство, лежавшее между ними и Пицундою, было, как я уже упоминал, в руках неприятеля. Туда еще можно было проехать, не подвергаясь опасности; но обратно пришлось бы пробиваться через неприятеля, который, конечно, не упустил бы удобного случая отрезать нам дорогу. Это обстоятельство доказывало ясно, что гагринское укрепление, невзирая на свою позицию, вследствие которой оно считалось

ключом береговой дороги, вовсе не открывало нам пути в неприятельские владения и не запирало для неприятеля входа в Абхазию. Чего же можно было ожидать от других подобных крепостей на морском берегу?

После того я продолжал, не давая себе отдыха, странствовать по горной Абхазии, осматривать дороги и знакомиться с людьми, от которых надеялся узнать что-нибудь полезное для моего скрытого намерения. Беспрестанно бывал я в Сухуме, в Келассури у Гассан-бея, или в Драндах, не говоря уже о моих частых посещениях владетельского дома. Дороги были в то время весьма небезопасны. Между Бамборами и Сухумом появлялись нередко разбойники из Псхо и Ачипсоу, двух независимых абазинских обществ, занимавших высокие горы около источников Бзыба и Мдзымты; между Сухумом и Драндами встречались цебельдинские искатели приключений. Трудно было уберечься от них, тем более что все выгоды находились на их стороне. Спрятанные в чаще, они выжидали путешествующих по открытой дороге, пролегавшей между морем и густым лесом, убивали их из своей засады и грабили, не подвергаясь сами большой опасности. Абхазские леса были непроходимы для того, кто не знал местности и всех проложенных по ним воровских тропинок. Дерево теснилось возле дерева; огромные пни и корни дерев, опрокинутых бурею, загораживали дорогу со всех сторон; колючие кусты и тысячи нитей от вьющихся растений, снабженных острыми шипами и широкими листьями, пресекали путь и составляли непроницаемую сеть, через которую можно было прорываться только с помощью топора или кинжала. Поэтому, иногда даже видя неприятеля, нельзя было до него добраться и его преследовать. Беспрестанно получались известия о солдатах и казаках, убитых из лесу неведомо кем; нередко сами абхазцы подвергались той же участи, и только после долгого времени успевали узнавать, кто были убийцы. Впрочем, каждый участок береговой дороги имел своего героя, присвоившего себе право грабить путешественников преимущественно на его протяжении. Между Бамборами и Сухумом делал обыкновенно засады со своей шайкой абхазский беглец Софыдж Габлия, живший в Псхо, которого имя наводило неописанный страх на каждого из его соотечественников, имевшего повод считать его своим недругом. Про его хитрость и отвагу рассказывали чудеса. Что Софыдж ненавидел русских и подстерегал их где было возможно, считалось в порядке вещей и никого не удивляло. За Сухумом и

около Дранд грабил чаще других цебельдинский князь Богоркан-ипа Маршомий, молодой, ловкий и смелый наездник.

Николай Шакрилов был моим неразлучным товарищем во всех поездках. Люди, встречавшие нас на дороге в горской одежде, с винтовками за спиною, ни в каком случае не могли принять нас за русских служащих. Это было первое условие нашей безопасности. Зная, что от случайной встречи с Софыджем, с Богоркан-ипою или с другим разбойником и от пули, направленной из лесу, не существовало другой защиты кроме случая же и счастья, мы заботились только о том, чтоб уберечь себя от засады, приготовленной собственно для нас. С этой целью я менял беспрестанно моих лошадей и цвет черкески; выезжал в дорогу то с одним Шакриловым, то с его братьями или с более многочисленным абхазским конвоем, который мне давали владетель или Гассан-бей. Никогда я не говорил заранее, когда и в какое место намерен ехать; никогда не возвращался по прежней дороге. Эта последняя предосторожность соблюдается постоянно у горцев, из коих редкий не имеет врага, способного выждать его на пути, если он ему будет известен. Моего Николая Шакрилова знали весьма многие в Абхазии. Встречая его часто с незнакомым человеком в горском платье кабардинского покроя и с бородою, усвоенными мною с намерением противно абхазскому обычаю, потому что я не знал языка и не мог выдавать себя в Абхазии за абазина, любопытные стали дознавать, кто я таков и по какому поводу бываю так часто у владетеля и у Гассан-бея. Находя ответы, которые давали им по этому случаю Шакриловы, да и сам Гассан-бей (владетеля не смели спрашивать), недовольно ясными, они начали за мною следить, и я сделался, не зная того, предметом частых разговоров абхазских политиков. Вследствие этих толков и внимания, которого я не мог избегнуть со стороны людей, заботившихся более всего о том, что происходило на больших дорогах, мои поездки не остались без приключений.

В конце февраля сделалась тревога по всей Абхазии. Разнесся слух, будто цебельдинцы, восстановленные против абхазского владетеля происками Дадиана и Гассан-бея, намерены ворваться неожиданно в Абхазию с единственною целью дать явное доказательство того, как они его мало боятся и уважают. Дело было придумано довольно ловко. Одним ударом хотели поставить его на решительно враждебную ногу с цебельдинцами и уронить в глазах собственных подданных, которых

кровь и разорение по этому случаю должны были пасть лично на него. Цебельда разделилась на две партии: одна желала сохранить с ним прежние мирные отношения; другая выжидала только случая нанести ему оскорбление. Для последней все предлоги были хороши. В первом порыве гнева владетель хотел арестовать Гассан-бея и сам напасть на цебельдинцев, прежде чем они успеют спуститься в Абхазию; с этою целью он разослал во все стороны собирать дружину из преданных ему людей. Перед тем он заехал посоветоваться с Пацовским, успевшим уговорить его не предпринимать ничего против Гассан-бея, вероломство которого невозможно было доказать и который явно ни в чем не нарушал своих обязанностей, а напротив того воспользоваться им же, для того чтобы покончить дело без кровопролития. Пацовский советовал созвать сперва цебельдинских князей и старшин на совещание в Келассури, предложив самому Гассан-бею принять на себя обязанность посредника в их распре с владетелем. Расчет Пацовского был весьма основателен: если Гассан-бей действительно поднял цебельдинцев, то он имеет возможность и унять их воинственный порыв. Пацовский знал хорошо Гассан-бея и был уверен, что он не решится действовать открыто против выгод владетеля, что довольный ролью посредника, из одного самолюбия, постарается покончить дело хорошим образом, как для того, чтобы явно обязать владетеля, так и для того, чтобы выказать перед русскими властями вес, каким он пользуется в Цебельде и в Абхазии. Сбор дружины Пацовский одобрил, находя весьма благоразумным со стороны владетеля показать своим неприятелям, что он имеет средства и готов встретить их силою, если добровольно не откажутся от своих враждебных намерений. Это был лучший способ кончить дело, не вынимая ружей из чехлов.

Собрав около пятисот конных абхазцев, владетель отправился к Гассан-бею в Келассури. Пацовский был нездоров и попросил меня ехать в Сухум, с тем чтобы следить за ходом переговоров и немедленно дать ему знать, если какое-нибудь неожиданное обстоятельство потребует его личного присутствия. На другой день я прибыл в Сухум с моим Эмином Шакриловым. Каца Марганий находился в числе дворян, провожавших владетеля. Не знаю, право, за что этот человек меня очень полюбил, и, следя за мною, кажется, один догадывался, что я имею скрытое намерение. Каца говорил только по-абхазски, и я очень жалел, что не мог объясниться с ним без

переводчика; при его тонком уме и при значении, которым он пользовался в народе, я мог найти у него пособие или, по крайней мере, весьма полезные указания для моего дела; но я молчал, опасаясь поверить мою тайну кому бы то ни было, не исключая даже Шакрилова. Узнав, что я приехал в Сухум с одним Эмином, Каца покачал только головой. «Очень неосторожно, – сказал он мне, – ездить вдвоем в такое тревожное время; побереги свою голову, она нужна тебе для другого дела; не бойся меня, я тебе искренний приятель и не выдам тебя, а в доказательство моей дружбы скажу, что за тобою уже следят. Богоркан-ипа хвалился тебя поймать и привезти в Цебельду, живого или мертвого, если ты не перестанешь ездить по Абхазии, и прибавил, что он позволяет надеть себе через плечо прялку вместо ружья, если он не сдержит своего слова, только бы ему удалось тебя встретить. Ты знаешь, что значит у горца подобный зарок». Поблагодарив Маргания за совет и за приятельское уведомление, я сказал, что у меня нет никакого тайного намерения, и уверял его, что езжу весьма часто в разные стороны из одного любопытства, а еще более потому, что не люблю сидеть долго на одном месте. Это не удовлетворило Маргания, прекратившего разговор словами: «Ты молодая лисица, а я старый волк, напрасно станем друг друга обманывать».

Скоро съехались в Келассури цебельдинские старшины; владетель послушался совета, данного ему Пацовским. Я остался с намерением в Сухуме и только посылал Шакрилова в Келассури узнавать каждый день, что там делается. В то время, я знаю, партизаны Дадиана обвиняли меня в Тифлисе перед главнокомандующим, будто бы я вмешался в цебельдинское дело и дал ему неблагоприятный оборот. Это обвинение было несправедливо уже потому, что распря владетеля, Гассан-бея и цебельдинцев распуталась самым лучшим образом, без военной тревоги, как требовали тогда наши выгоды в Абхазии. Так называемое усмирение Цебельды путем переговоров была бессмыслица, которой могли верить только люди решительно незнакомые с положением дел в западной части Кавказа. Кроме того, я никогда не мешался в самый ход дела, а только следил за ним со стороны, изучая его, как я говорил владетелю и Гассан-бею. Изучать дело значило знакомиться с положением Цебельды и с отношениями ее к Абхазии. Для этой цели я мог выслушивать каждого и даже высказывать иногда мое личное мнение, что меня ни в чем не связывало и не обязывало никого действовать, как я думал.

В Сухуме я проводил почти все мое свободное время на судах нашей эскадры или в крепости у доктора К*, с которым я познакомился очень близко, находя у него всегда готовую квартиру, место за столом и постель, как водилось в старину на Кавказе. Он был женат на молоденькой и хорошенькой черноглазой армянке из Астрахани, которая была в Сухуме единственная представительница своего пола и во всех отношениях представляла его весьма недурно. Сам он, хороший доктор и очень умный человек, пользовался уважением всего сухумского общества, состоявшего почти исключительно из наших моряков, и имел один только недостаток: он был беден и своими трудами не мог ничего нажить, не имея в Сухуме другой практики кроме военного госпиталя. Лишь Гассан-бей призывал его иногда на совет, когда заболевала одна из его жен, и платил за визиты натурою, баранами или табаком. В таких случаях К* приходилось прописывать рецепты заочно, основываясь на описании болезни, какое делал сам Гассан-бей, строго соблюдавший турецкий обычай никому не показывать жен своих. По этому поводу К* рассказывал довольно оригинальный анекдот. У любимой жены Гассан-бея заболело колено. К*, призванный на помощь, отказался положительно дать совет, не видав прежде больной. Об этом Гассан-бей не хотел и слышать, требуя, чтобы доктор удовольствовался его рассказом. Завязался спор, из которого доктор вышел наконец победителем. Гассан-бей нашел способ удовлетворить медика, не нарушая законов гарема. Перед диваном, на котором лежала больная жена, поставили ширмы с прорезанным в них небольшим отверстием. В присутствии Гассан-бея просунули ее ногу через это отверстие для осмотра доктором, которому не позволили, впрочем, до нее дотронуться и который никогда не видал лица своей больной.

Скажу несколько слов о жене моего знакомого доктора. В таком глухом месте, как Сухум, единственная порядочная женщина невольно должна была обратить на себя внимание и занять заметное место в многочисленном обществе мужчин, составлявших около нее постоянный круг обожателей. Моя докторша умела в одно и то же время исполнять обязанности небогатой женщины, заботясь беспрестанно о своих домашних делах, и удовлетворять требованиям общества, составленного, к счастью, из одних военных, которые при подобных обстоятельствах весьма не взыскательны и довольствуются существенным наслаждением простого, но дружеского приема,

нисколько не обращая внимания на щегольство или на бедность обстановки. Свое маленькое хозяйство она держала в большом порядке, занимаясь им в продолжение целого дня, а вечером, нарядившись, как позволяли обстоятельства, принимала гостей; и в гостях, право, не бывало недостатка. Гостеприимные хозяева жили в старом пашинском доме, стоявшем на крепостной стене. Перед окнами находилась большая терраса, обращенная к морю и покрытая кустами самых лучших душистых роз, составлявших единственное хорошее наследство, перешедшее к нам от турок. На этой террасе собирались каждый вечер почти все офицеры нашей эскадры, начиная от почтенного командира и до младшего мичмана; и все они без исключения сыпали к ногам хорошенькой докторши богатую жатву комплиментов и самых изысканных любезностей, а она отвечала им только улыбками и стаканами горячего чаю. На кораблях давали в честь ее обеды и вечера, убирали суда флагами, освещали разноцветными фонарями, устраивали фейерверки на воде, заставляли флотскую музыку играть на крепостной площади – все из угождения ей одной. Немногим женщинам, я полагаю, удавалось видеть разом у своих ног такое большое число поклонников, преданных ей исключительно.

Пока я в Сухуме переезжал с одного корабля на другой или проводил целые дни у доктора и, казалось, решительно ничем не был занят, я не упускал из виду Келассури и знал все, что там происходит. Дело не ладилось сначала, и было мгновение, в которое оно стало принимать довольно раздражительный оборот. Я не замедлил дать знать об этом Пацовскому, который, как бы случайно, приехал в Сухум инспектировать гарнизон, разумеется, имел при этом случае свидание с владетелем и с Гассан-беем, и успел их согласить и дать переговорам более выгодное направление. Сделав свое дело, он уехал обратно в Бамборы, а я остался ожидать окончательного исхода переговоров. Дней через пять все было приведено в порядок, сколько позволяли обстоятельства и нравы переговаривавшихся: цебельдинцы дали обещание не вторгаться в Абхазию, взамен чего Михаил обязался не нападать на них и не обижать тех из них, которые станут приходить в его владения без дурных намерений. Лишь одна частная вражда между каким-то цебельдинским семейством и владетельскими телохранителями осталась не решенною, потому что первые упирали на право кровомщения, а вторые на свою полицейскую обязанность задерживать и даже убивать воров и разбойников; сам же Михаил

весьма основательно не считал возможным сделать в этом случае уступки. Гассан-бей старался всеми силами дать переговорам возможно благоприятный оборот для владетеля и покончить их в самое короткое время, столько же из самолюбия, чтобы возвысить себя в его глазах, сколько, полагаю, и для того, чтобы скорее избавиться от него и от его многочисленной дружины, которую он, как княжеский вассал, был обязан кормить, пока она находилась в его округе. По наружности все остались довольны исходом дела и начали разъезжаться по домам.

В день отъезда владетеля сухумский комендант дал обед в его честь, задержавший нас до пяти часов вечера. Когда мы сели на лошадей, небо было покрыто тучами, море волновалось, и ветер дул с большою силой. Накинув бурки и окутав головы башлыками, мы выехали густою толпой на береговую дорогу. Я ехал возле владетеля, окруженного полусотнею своих телохранителей, за которыми следовала конница, собранная из разных мест Абхазии. Погода становилась хуже с каждым часом, ветер усиливался, и дорога исчезала под водой. Волнение заливало ее все более и более, разбиваясь с шумом и пеною под ногами наших лошадей, которые от испуга храпели и только под ударами плети подавались вперед. Наконец двум человекам нельзя было ехать рядом, и наш поезд растянулся в одну длинную нить. Стало темнеть, когда незнакомый человек обскакал нас всех и, сказав несколько слов владетелю, скрылся в лесу. Михаил имел под собою светло-серую лошадь, и мы оба были очень заметны по белым черкесским башлыкам, которых абхазцы не имеют привычки носить, предпочитая темные цвета. Вслед затем Михаил пересел на другую лошадь, переменил башлык и приказал одному из своих людей дать и мне башлык другого цвета, прося меня настоятельно держаться как можно ближе к нему.

Все эти предосторожности объяснялись известием, доставленным ему догнавшим нас человеком, будто цебельдинцы, имеющие против него канлу (так называют в горах обычай кровомщения) из-за его телохранителей, намерены убить его, пользуясь темнотою и дурным временем, чрезвычайно облегчавшими подобного рода предприятие. Им нетрудно было вмешаться в число провожавших нас людей, растянутых на чрезвычайно большом пространстве, закутанных в башлыки и не узнававших друг друга, сделать покушение против владетеля, а при случае и против меня, как он сам меня предостерегал, и

потом, бросив лошадей, скрыться в лесу, где их никто бы не отыскал в подобную погоду. Долго следовал я за Михаилом, впереди которого ехал на светлой лошади его любимый слуга, хорошо говоривший по-русски и по-грузински, без которого он никуда не выезжал. Ветер обратился между тем в настоящий ураган; крупный дождь бил в глаза и ослеплял нас совершенно. В темноте была видна одна белая пена, мелькавшая под ногами лошадей; брызги воды обдавали меня с ног до головы; я потерял из виду владетеля. Шакрилова уже давно не было возле меня, и мне пришлось ехать между совершенно незнакомыми людьми, обгонявшими меня беспрестанно, не обращая на меня никакого внимания. В одном отношении это было для меня, может быть, и хорошо, но, с другой стороны, ставило меня в самое затруднительное положение: не зная языка, я ни с кем не мог объясниться и не понял бы, чего от меня хотят, если бы кто-нибудь ко мне подъехал.

На половине пути между Сухумом и Бамборами дорога огибала мыс, усеянный огромными обломками скал. Здесь море захватило совершенно дорогу; волнение дробилось о камни с громовым шумом; лошадь не хотела идти вперед, подымалась на дыбы и бросалась в сторону; я решительно не знал, что делать, но, всматриваясь в темноту, скоро заметил, что я один бьюсь открыть себе проезд между скалами. Абхазцы исчезали один за другим в лесу, возвышавшемся вправо от дороги подобно высокой черной стене. Я поворотил мою лошадь в ту же сторону, но этого было недостаточно для того, чтобы поправить мое положение. После первых шагов в лесу я заметил, что не выпутаюсь из чащи в подобную ночь. Тут было еще темнее, чем на морском берегу, вой ветра оглушительнее; деревья трещали и скрипели под напором бури; изредка мелькали возле меня, подобно черным теням, конные абхазцы, ехавшие по разным направлениям, каждый из них, зная местность, более или менее предвидел, куда он должен был приехать, а я даже не мог об этом спросить. В эту минуту я решился остановить лошадь и звать наудачу Шакрилова, не имея, впрочем, большой надежды его дозваться. Однако моя попытка не пропала даром: я вздрогнул, почувствовав неожиданно на моем плече чужую руку, и мое первое движение было схватить пистолет, но голос подъехавшего ко мне абхазца успокоил меня, я узнал в нем Кацу Маргани. Знаками он звал меня ехать за собою. Долго мы пробирались по лесу, то под гору, то на гору, местами он вел свою лошадь на поводу, наконец выехали на

открытую площадку, посреди которой темнелся балаган, освещенный изнутри редкими вспышками огня. Возле шалаша стояли две лошади. «Хорошо! – сказал Маргани по-абхазски, увидав лошадей. – Владетель здесь». Столько я мог понять, хотя и не знал языка. Привязав своих лошадей, мы вошли в шалаш и увидали в нем владетеля с одним человеком, которые, нагнувшись над кучею сырого хвороста, усиливались развести огонь. Они нас не заметили, будучи заняты своим делом; да и, кроме того, буря шумела так громко в лесу, что они не могли слышать, как мы подъехали.

Тихо начали мы снимать с себя мокрые башлыки и бурки, когда Михаил сказал своему товарищу: «Только раздуем огонь, ты, Якуб, ступай опять в лес собирать наших людей из Лехне и непременно отыщи с ними Т.; он пропадет в эту ночь, не зная языка. Тебе известно, какие молодцы есть между нашими; другой из них не долго задумается попотчевать его кинжалом в темноте; да и концы в воду». – «Меня не надо отыскивать, я здесь», – отозвался я на слова владетеля. Неожиданность моего ответа поразила его до того, что он отскочил на несколько шагов и, бледный, вперил блуждающие глаза в темноту, из которой раздался мой голос, пока я не выступил к огню, освободившись от башлыка. Тогда он оправился и задыхаясь проговорил: «Так это вы; как вы сюда попали? Право, я полагал, что вас уж нет в живых и что ваш дух ответил мне; говорят, подобные случаи бывают». В первые минуты действительно нелегко было объяснить, каким образом нашел я в темную бурную ночь, среди совершенно незнакомой мне местности, охотничий шалаш владетеля, о существовании которого знали только весьма немногие абхазцы. Потеряв в лесу бамборскую дорогу и разлучившись с провожавшими его людьми, сам Михаил и не отстававший от него Якуб отыскали его с большим трудом. Съехались же мы в шалаше самым естественным образом. Каца Маргани знал о нем и повел меня туда, рассчитывая застать в нем владетеля, если буря не позволила ему продолжать путь, или по крайней мере воспользоваться им для ночлега. На меня Каца наехал случайно и, услыхав, что я зову Эмина, понял, в чем дело, и поспешил мне помочь.

В ночь собрались к шалашу несколько человек владетельских телохранителей, ветер стих поутру, и на другой день мы прибыли благополучно в Бамборы. Перед нашим выездом из шалаша, приехали сказать владетелю, что два человека из

провожавших его абхазцев найдены убитыми на берегу моря. Михаил не сомневался в том, кто были виновники этого дела, и знал, где их должно было отыскивать, да сила его не хватала так далеко. Это были цебельдинцы, о которых я уже говорил, отплатившие за кровь своих родственников, убитых несколько времени тому назад владетельскими людьми. Не отыскав случая или не имея довольно решительности отомстить, как они грозили, самому владетелю, они обратили мщение на двух посторонних абхазцев, которых родственники теперь были обязаны в свою очередь подстерегать цебельдинских разбойников и непременно заплатить им кровью за кровь. Канла переходит по наследству от отца к сыну и распространяется на всю родню убийцы и убитого. Самые дальние родственники убитого обязаны мстить за его кровь; даже сила и значение какого-нибудь рода много зависят от числа кровомстителей, которых он может выставить. Канла прекращается не иначе как по суду, с уплатою кровавой пени, когда враждующие стороны того пожелают. Они могут судиться духовным судом, по шариату, или по адату, произносящему свои решения на основании обычая. По силе шариата все мусульмане равны перед Кораном, и кровь каждого из них, князя или простого землевладельца, ценится одинаково; адат признает постепенное значение различных сословий; и жизнь князя стоит дороже жизни дворянина, имеющего в свою очередь преимущество над простым вольным человеком. По этой причине люди высшего звания предпочитают адат, а низшие стараются подвести дело под шариат. Одно соглашение враждующих сторон передать дело канлы решению шариата или адата порождает столько споров и ссор, что горцы прибегают к суду только в крайнем случае, когда канла угрожает принять слишком большие размеры, или когда весь народ заставляет семейство кончить свою распрю этим способом.

Несколько раз случалось мне упоминать о телохранителях владетеля. В Абхазии они называются ашнахмуа и составляют особое сословие, не существующее в этом виде в других кавказских княжеских владениях. Говоря о них, считаю не излишним сказать несколько слов об абхазцах вообще, о разделении их на различные сословия и об обычных правах этих сословий.

Восточный берег Черного моря населен двумя совершенно различными племенами: от Анапы до реки Саше живут натухайцы и шапсуги, принадлежащие к племени, известному у нас под именем черкесского, или адыге, как они сами себя называют; от Саше до устья Ингура морской берег занят абазинами, называющими себя «абсасуа». Последние делятся на джекетов, или садзов, живущих между реками Саше и Бзыб, и на абхазцев, составляющих отдельное владение. Черкесы и абазины говорят на двух различных языках, не имеющих между собою никакого сходства. Трудно определить число абхазского народонаселения: в мое время нам не удавалось еще нигде пересчитать горцев точным образом. Все цифры того времени, которыми означали кавказское население, брались приблизительно, можно сказать на глаз. По понятиям горцев считать людей было не только совершенно бесполезно, но даже грешно; почему они, где можно было, сопротивлялись народной переписи или обманывали, не имея возможности сопротивляться. В мое время, то есть в тридцать пятом году, считали в Абхазии около сорока тысяч голов мужского пола, цифра, которую я повторяю, не позволяя себе ручаться за ее точность.

Абхазцы, называющие своего владетеля «ах», делятся на пять сословий: на «тавад», князей; «амиста», дворян; «ашнахмуа», владетельских телохранителей, составляющих среднее сословие; «анхао», крестьян, и «агруа», рабов.

Владетельская власть была в то время весьма ограничена. Не получая определенной подати от народа и пользуясь только постоянным доходом с своих собственных земель, владетель находился в зависимости от князей и дворян, которые всегда были готовы сопротивляться его требованиям, когда они не согласовались с их сословными интересами. Принудить кого-нибудь из них подчиниться безусловно его воле он мог не иначе, как с помощью тех же дворян, которых он должен был в подобном случае сперва склонить на свою сторону просьбами и подарками. Согласно весьма древнему обычаю, владетель пользовался правом раза два в году навестить каждого князя и дворянина и при этом случае получить от него подарок. Кроме того, ему платилась особенная пеня за убийство, воровство и за каждый другой беспорядок, произведенные в соседстве его дома или на земле, составляющей его родовую собственность. Эти подарки и пени составляли единственную подать, получаемую владетелем от своих подданных.

Князья и дворяне числятся в одной категории, имея одинаковые права над народом и те же обязанности в отношении к владетелю. Они составляют господствующий класс землевладельцев. Крестьянами они владеют на праве подданства за

землю, которою они их наделяют, сами избавлены от податей и не подлежат другому наказанию, кроме денежной пени. По зову владетеля они обязаны собираться для защиты края и его собственного лица, обязаны также почтить его подарком, когда он посещает их дома. Ценность подарка зависит от достатка и от воли хозяина, который обыкновенно старается из самолюбия не отставать в этом случае от своих богатых собратьев. Абхазское дворянство, в чувстве своей независимости, никогда не хотело признавать подарок, делаемый владетелю, за обязательную повинность, считая его только способом доказать свое уважение почетному гостю. Вообще должно заметить, что правила гостеприимства, установленные здешним обычаем, во всех отношениях весьма разорительны для абхазцев. Земля их покрыта лесом, пастбища скудны, следственно, они очень небогаты скотом; а обычай требует между тем от хозяина в честь каждого почетного гостя убить козла, барана или даже быка и ставить его разом на стол, причем, что подано, должно быть и съедено, если не гостями, так народом, сбегающимся на угощение приезжих. В прочее время абхазец живет чрезвычайно умеренно, имея обыкновение есть только один раз в сутки, перед закатом солнца. Вместо хлеба здесь употребляют кукурузу или крутую кашу из мингрельского проса, гомми, и обыкновенная пища состоит из вареного мяса, яиц и молока, приготовленных самым простым образом. Княжеским званием пользуются в Абхазии: Шервашидзе, Инал-ипы, Анчабадзе, Эмхуа, Чабалурхуа, Маршани и Дзапш-ипы. Самые значительные дворянские фамилии: Лакербаи, Маргани, Микамбай и Зумбай. Кроме того, существуют в Абхазии незначительные дворяне, называемые лесными, «акуаца амиста», состоящие из чрезвычайно многочисленных родов: Цымбай, Баргба и Акыртаа.

«Ашнахмуа», владетельские телохранители, составляют особенное сословие, степенью ниже дворянства, но пользуются всеми его правами относительно земли и крестьян. Это сословие образовалось частью из владетельских крестьян, освобожденных от повинностей и поставленных выше своего прежнего звания за разные заслуги, частью из черкесских выходцев, прибегнувших под защиту владетеля, который мог им дать только это сословное положение, не имея права возвышать в дворянское достоинство, достающееся не иначе как по рождению. Они не платят никаких податей, и вся обязанность их заключается в охранении владетеля и его дома.

Крестьяне имеют право владеть землей и даже рабами, но сами несут установленные обычаем повинности по отношению к господину, на земле которого поселены. Они обязаны помогать ему в полевых работах, когда их собственные хозяйственные дела то допускают, два раза в год давать ему по полной арбе кукурузы или гомми, по одной скотине и по кувшину вина с дыма. Телесное наказание не допускается в Абхазии для крестьян, и их заковывают в железа только в случае неисполнения своих обязанностей или сопротивления господину. Крестьянин вправе звать своего господина на суд за обиды и за притеснение и, когда господин окажется действительно виновным, освобождается от его власти. Чтобы спастись от мщения своего прежнего владельца, освобожденный крестьянин обыкновенно принужден селиться на земле другого дворянина, подчиняясь обыкновенным крестьянским условиям, или отдать себя под непосредственное покровительство владетеля. В первом случае он меняет только господина, во втором делается чем-то похожим на вольного собственника, неизъятого, впрочем, от обычной крестьянской подати.

Рабы существуют в Абхазии двух родов: коренные «агруа», рожденные в крае, и новые, добытые грабежом или на войне. Раб составляет неотъемлемую собственность своего господина, обязанного его кормить и одевать или снабдить его землею, подобно крестьянину. Находясь в доме своего господина, раб обязан исполнять все работы, которые на него будут наложены; если же господин снабжает его землей, то он обязан работать на хозяина три дня в неделю, а в остальное время свободен. Дочери рабов находятся в доме владельца, имеющего право подарить их, кому захочет, променять или продать. Жены рабов не могут быть разлучены с мужьями. Коренного агруа господин может продать не иначе, как с разрешения владетеля, который один имеет над ними право жизни и смерти; новоприобретенного раба он продает куда и как ему угодно. Хотя рабы не изъяты от телесного наказания, но оно почти никогда не исполняется над ними, потому что горцы вообще его гнушаются.

Власть родительская неограниченна. Отец не отвечает ни перед кем за жизнь своего ребенка; но абхазцы, как и прочие горцы, так сильно привязаны к своим детям, что случаи злоупотребления родительской власти почти неслыханны.

Обычные законы о наследстве весьма просты. Имение делится после умершего поровну между его сыновьями. Дочери

не имеют участия в наследстве, но должны получить пропитание до замужества у своих братьев, обязанных также дать им приданое сообразно их состоянию. Когда умерший не имел прямых наследников, то имение делится поровну между его ближайшими родственниками, которые равномерно обязаны содержать и выдать замуж его дочерей. Вдова ничего не получает из имения своего покойного мужа, но вправе требовать пожизненного содержания от его наследников. Имение человека, умершего без наследников, переходит к владетелю.

Все спорные дела решаются в Абхазии судом по обычаю; к шариату абхазцы прибегают редко и весьма неохотно, так как исламизм не пустил еще между ними глубоких корней. Тяжущиеся стороны выбирают обыкновенно судей из числа дворян, пользующихся весом в народе. Избранные судьи назначают, по своей воле, день суда, испросив на то соизволение владетеля. В случае важного дела заседание помещается в ограде одного из древних монастырей, возле развалин церкви или под тенью священных дерев, в местах, уважаемых абхазцами по преданиям христианской и языческой старины. Народ собирается слушать дело, которое обсуживается публично. Судьи, дав присягу, что станут судить дело по совести, по правде и по обычаю, выслушивают тяжущихся и свидетелей и, когда все обстоятельства приведены в ясность, удаляются для тайного совещания. Согласившись между собою, они, до объявления приговора, берут от обеих спорящих сторон присягу и поручительство в исполнении его, потому что на судьях лежит обязанность не только решить дело, но и выполнить решение. Иногда тяжущиеся подчиняются суду самого владетеля, который в таком случае разбирает дело на основании общих правил, служащих руководством для обыкновенного третейского суда. Подобным образом разбираются все дела, касающиеся до наследственных споров, до условий, семейных дел, воровства, грабежа, убийства и кровомщения.

Смертная казнь не существует в Абхазии. Князья и дворяне отвечают обиженному только своим имуществом; крестьяне своею личною свободой, когда их собственности не достанет на уплату пени. В таком случае они обращаются в собственность обиженного, который может их продать в рабство или оставить за собою, пока они не найдут способа откупиться. Пеня вносится деньгами, скотом и всякого рода имуществом или мальчиками-рабами. За воровство, грабеж или убийство, учиненные в соседстве владетельского дома или на земле, принадлежащей владетелю, преступник подвергается, сверх обыкновенного взыскания в пользу пострадавших, уплате самому владетелю двух мальчиков, ростом не ниже четырех и не выше шести ладоней, или денежному взносу их стоимости. Для определения меры детского роста служит ладонь того, кто взимает пеню.

За убийство зовут на суд только люди, не имеющие силы сами отомстить обидчику, или когда кровомщение угрожает сделаться бесконечным.

За бесчестие женщины или девушки отплачивают смертью, не зная в этом случае другого способа загладить стыд. В минуту доказанной неверности жены муж имеет право убить ее. По суду она обращается только в его рабу, что ему дает возможность продать ее. У черкесов, строго соблюдающих правила исламизма, существует совершенно противоположный обычай. Муж пользуется правом продать неверную жену, если он не хочет подвергнуть ее суду шариата, неумолимо наказывающего смертью подобного рода преступления.

Все абазинское племя воинственно несколько менее черкесов. Занимая весьма лесистую и гористую местность, абазины дерутся преимущественно пешком и пользуются славою отличных стрелков. В домашней жизни, в одежде и вооружении они совершенно сходны с черкесами и отличаются от них в этом отношении только двумя особенностями, весьма приметными для горца. Кафтан, с патронами на груди, составляющий общую горскую одежду на всей северной стороне Кавказа, они носят гораздо короче черкесов и, кроме того, имеют привычку обвивать башлык чалмою около шапки, когда концы его не распущены по плечам против дождя, чего не делают черкесы.

Прибрежные абхазцы занимаются рыбною ловлей. Устья горных речек, впадающих в море, изобилуют лососиною, которая составляет весьма лакомую пищу и по здешнему обычаю жарится обыкновенно на вертеле. Берега посещаются летом несчетным количеством дельфинов, которых абхазцы ловят для вытапливания из них жиру, закупаемого турками и греками. Ловля дельфинов весьма любопытна. В хорошую погоду они имеют привычку держаться на поверхности моря, подпрыгивая беспрестанно колесом. Тогда абхазцы выезжают на самых маленьких каюках, выдолбленных из дерева, обхватывают довольно большое водяное пространство длинною сетью, имеющею футов шесть ширины, с поплавками наверху и с тяжестью

внизу, заставляющими ее принять в воде вертикальное положение. Два или три каюка въезжают во внутренность обхваченного сетью пространства, и ловцы начинают бить баграми находящихся в нем дельфинов. Этот способ ловли не безопасен, потому что каюки иногда тонут под тяжестью убитой рыбы и опрокидываются, когда дельфины ударяют в них, кружась в воде, но абхазцы не боятся этого, плавая не хуже дикарей островов Южного океана.

Хлебопашество находится в Абхазии, как и во всех горах, в самом первобытном состоянии и ограничивается небольшим посевом «гомми», кукурузы, ячменя, фасоли и табаку. Пшеницы сеют очень мало. Русские научили абхазцев разводить капусту, картофель и некоторые другие овощи. Абхазия чрезвычайно богата виноградом и разными фруктами, в особенности грушами, сливами и персиками, растущими без всякого ухода. В лесах господствуют – дуб, бук, чинар, чиндар, орех, каштан и шелковица. Около Сухума встречается в больших размерах буковое дерево и растет лавр. Скотом абхазцы беднее прочих горцев. Лошади их небольшого роста и не отличаются силою; ослы в большом употреблении. Дичи так много в горах и в абхазских лесах, что хлебопашцы не знают, как уберечь от нее свои поля. Чаще всего встречаются дикие козы, серны и кабаны. Последние производят весьма убыточные опустошения в полях, засеянных просом, почему абхазцы истребляют их без пощады и продают в Сухуме их головы и окорока за несколько зарядов пороху. Из диких зверей водятся медведи, волки, лесные кошки, лисицы, куницы и шакалы в несметном количестве. Иногда случается охотникам ловить барсов, но это бывает не часто.

Приключение, случившееся со мной в поездку с владетелем, не отняло у меня охоты продолжать мой прежний образ жизни, которому я предавался не без цели. Я был слишком беспечен для того, чтобы задумываться долго над советом Каца Маргани, и мысленно надеялся на свое счастье, когда мне напоминали о Софыдже или о Богоркан-ипе, указывая на их дерзкие и хитрые проделки. Моя уверенность не обманула меня в этом отношении. Случай свел меня с одним из них лицом к лицу, и я вышел из этой встречи цел и невредим. Расскажу, как это случилось.

Проживая в Бамборах, я виделся с владетелем почти ежедневно, навещая его в Лехне, и по-прежнему продолжал появляться нередко в Сухуме и Келассури. Невзирая на скрытную

вражду, существовавшую между Михаилом и Гассан-беем, я находился с обоими в самых лучших отношениях и пользовался их доверенностью в одинаковой мере, употребляя для этого самое простое средство – никогда их не ссорить, а напротив того, улаживать дело, когда между ними возникали какие-нибудь недоумения. Для моих собственных дел мне были нужны более всего личные друзья. Часто я проводил у Гассан-бея по несколько дней сряду, ночевал у него, играл с ним в шахматы, кормился его жирными турецкими обедами, приправленными красным перцем от первого до последнего блюда, или ездил с ним в Дранды к батальонному командиру играть в бостон. Гассан-бей выучился этой игре в Сибири, очень ее любил, играл хорошо и твердо помнил бостонный расчет, невзирая на свою безграмотность.

Однажды я приехал в Келассури с одним Шакриловым, не застал Гассан-бея и, не останавливаясь поэтому в его доме, поехал в Дранды, желая узнать от батальонного командира подробности дела, случившегося около самого укрепления. Дело это заключалось в том, что цебельдинские разбойники угнали несколько подъемных лошадей и убили двух солдат, которые их стерегли. От Келассури до Дранд недалеко, и мы приехали через два часа в укрепление. Первое время естественно прошло в рассказах о неприятном происшествии; потом сели обедать. Мы были еще за столом, когда караульный офицер прислал спросить, к нам ли принадлежат абхазцы, расположившиеся кормить лошадей в виду укрепления. В Абхазии, как и во многих других местах на Кавказе, видя перед собою горцев, редко можно было знать наверное, друзья ли они или неприятели. Чрезвычайно дерзкие в своих воровских покушениях, они подъезжали довольно часто в небольшом числе к укреплениям и останавливались около них с видом миролюбивых людей, имеющих какую-нибудь надобность; потом, выждав удобную минуту, бросались неожиданно на солдат и на скотину, находившихся вне укрепления, убивали одних, угоняли другую, и уходили, прежде чем успевали послать за ними погоню. Поэтому караульные были обязаны следить за всеми горцами, показывавшимися вблизи постов и укреплений, и тотчас дознавать, кто они и зачем приехали.

Ответив, что мы приехали только вдвоем и что об этих людях ничего не знаем, я поручил Шакрилову рассмотреть их в зрительную трубку. Исполняя мое приказание, он насчитал семь человек, совершенно ему незнакомых, пасших своих ло-

шадей в расстоянии пушечного выстрела. Можно было выслать казаков, узнать поближе, кто они таковы, и даже заставить их отъехать подальше; но это было плохое средство от них избавиться. Хуже было встретиться с ними на дороге, чем возле укрепления, если они действительно составляли неприятельскую партию. Я был уверен, что никто не знал о моем предположении ехать в Дранды и не следил за мною. На дороге мы хорошо осматривались во все стороны и также никого не видели. Поэтому я не полагал, что эти люди, кто бы они ни были, выжидают собственно меня. Лучше всего было оставить их в покое, не показывая даже вида, что за ними наблюдают, и дождаться, когда они сами уедут, замечая только в какую сторону, для того чтобы не наткнуться на них неосторожным образом. Несколько раз я посылал и сам ходил узнавать из-за бруствера, очистили ли они место; но лошади паслись попрежнему, а люди около них, казалось, спали крепким сном. Перед вечером мне дали знать, что они, наконец, уехали по направлению к Кодору, в противоположную сторону от моей дороги.

Из предосторожности я дал пройти еще получасу и оставил потом укрепление, невзирая на убеждения коменданта переночевать у него или взять, по крайней мере, казачий конвой. Ночевать я не остался для того, чтобы сдержать мое обещание провести вечер в Келассури, опасаясь дать Гассан-бею дурное понятие о моей смелости, если он узнает, что остановило меня приехать; а от казачьего конвоя я отказался, желая сберечь в глазах абхазцев неизвестность, в которую облекал меня мой черкесский наряд. Дорога из Дранд вела через открытую поляну, под гору, в густой лес, примыкавший к морскому берегу. Лесом приходилось ехать около трех верст. Подъезжая к опушке, мы увидели несколько в стороне от нашей дороги стреноженных лошадей и около них людей, которые, заметив нас, стали подыматься с земли. Шакрилов узнал в них горцев, кормивших так долго лошадей в виду крепости, и тотчас вывел заключение, что они бродят здесь не с добрым намерением. В лесу мы прибавили шагу, нисколько не ревнуя схватиться с ними двое против семерых. Дорога была так узка, что Шакрилов не мог ехать рядом со мною. Мы не сделали по лесу двухсот шагов, как перед нами показался ехавший нам навстречу высокого роста молодой человек. По горскому обыкновению, когда встречаются незнакомые люди, уступает дорогу тот, кто чувствует себя ниже званием или слабее. Дворянин черкесского

рода скорее станет драться, чем своротит для абазина. Молодой человек был абазин, а моя черкеска, оружие и отличная кабардинская лошадь обличали черкеса не простого звания.

Я знал настолько горцев, чтобы понять, что в этом случае мне надо было удержать дорогу или возбудить в моем противнике пренебрежение ко мне, что было опасно. Мы ехали прямо один на другого. Не доезжая двух шагов, абазин положил левую руку на чехол своей винтовки. Как известно, горцы носят ружье за плечами в бурочном чехле, из которого выхватывают его мгновенно одним взмахом правой руки, откинув сперва левою рукой чехол с приклада. Это движение, означавшее вызов, доказывало, что он не намерен уступать. Не касаясь своего ружья, я взмахнул плетью, и наши лошади столкнулись мордами. Это его так озадачило, что он невольно своротил в сторону, но, поравнявшись с Шакриловым, вдруг схватил его лошадь за повод, назвал по имени и стал ему с горячностью говорить что-то по-абхазски. В ту же минуту я остановил лошадь, взвел курок у моего поясного пистолета и повернулся на седле, готовый выстрелить ему в спину прежде, чем он успеет взяться за оружие. Когда курок щелкнул на взводе, абазин оглянулся, сказал еще несколько слов, с видом сдержанной досады, взмахнул плетью и отъехал скорым шагом. Несколько времени мы удалялись друг от друга, беспрестанно оглядываясь и в полной готовности выхватить ружья, если понадобится. На первом повороте дороги Шакрилов объявил мне, что мы встретили Богоркан-ипу, что люди, бывшие в лесу, принадлежат к его шайке и что нам остается теперь только уходить, не дожидаясь, пока он опомнится и станет нас догонять со своими товарищами. До Келассури мы скакали сколько было силы у лошадей, и только в виду деревни дали им вздохнуть. Тут Шакрилов рассказал мне, как было дело. Богоркан-ипа, озадаченный и рассерженный моею неуступчивостью, спросил его грозным голосом, схватив повод лошади: «Кто едет с тобою? – не пущу ни шагу, пока не ответишь!» Шакрилова он узнал, видев его несколько раз в доме у Михаила.

– Кабардинский князь, гость владетеля.

– Как его зовут, куда вы ездили и зачем?

– Не мое дело знать его имя и его дела. Владетель приказал мне проводить его в Дранды, и я исполняю владетельское приказание.

– Все это неправда!

– В твоей воле верить или нет.

– А если я вздумаю остановить вас обоих? – мои люди в двух шагах.

– Попробуй! если мы еще дадимся! – не забывай только, что за кровь своего гостя мстит владетель и что пуля его хватает далеко.

В это мгновение я взвел курок у пистолета.

– Это что значит? – спросил Богоркан-ипа.

– То значит, что кабардинец не намерен долее терпеть твоего нахальства. Разве ты не держишь моей лошади? – Если бы не в чужой земле, так он бы тебе давно показал, позволено ли с ним шутить.

Уверенность, с которою говорил Шакрилов, и мой пистолет наготове усмирили гнев Богоркана. С словами: «Эти кабардинцы бешеные собаки!» он бросил повод лошади Шакрилова и отъехал.

Вечером я рассказал мое похождение Гассан-бею, который поздравил меня с тем, что я так дешево отделался, потому что сила была на стороне Богоркан-ипы, и он не призвал своих людей только из страха канлы, если б я действительно оказался кабардинским князем, за которого меня выдавал Шакрилов. При этом я не мог отказать себе в удовольствии попросить Гассан-бея передать цебельдинцу, что, встретившись с незнакомцем, которого он так самонадеянно обещал привести домой живого или мертвого, и не сдержав своего слова, хотя имел силу на своей стороне, он заслужил таким славным подвигом полное право не только вооружиться прялкою вместо ружья, но даже надеть женскую юбку. Сильнее этого нельзя было обидеть горца.

Пока я ездил, знакомился и не находил людей, которых отыскивал, наступила весна, дороги просохли и приблизилось время для наших войск приняться опять за прошлогоднюю работу, прорубать леса и насыпать укрепления. В конце апреля приехал в Абхазию генерал N. Мои исследования и предположения не были им одобрены. Место, выбранное мною для бзыбского укрепления, показалось ему неудобным, и он предоставил себе самому отыскать новый пункт. Осмотрев разные места, он нашел его, наконец, возле устья Бзыба, в четырех верстах севернее Пицунды, где он также предполагал учредить переправу. По моему мнению, место было одинаково неудобно для переправы и для укрепления. Заброшенный уголок на берегу моря, отрезанный высоким гребнем от всех населенных мест, в стороне от дороги, посреди густого леса, этот

пункт ничем не владел и ничего не защищал. Бзыб проходим везде в обыкновенную воду, но в три летних месяца, когда снег тает в высоких горах, или после сильных дождей полая вода заливает все броды. Горцы называют Бзыб бешеною рекой, потому что по всему берегу Черного моря нет другой реки, которая так неожиданно и так скоро поднимается, так часто меняет глубину и направление и в которой гибнет столько людей от неимоверной быстроты течения. Около Аджепхуне и выше этого селения броды весьма удобны в обыкновенное время, хотя с опасностью, но возможны и в полноводье, между тем как возле устья исчезает всякая возможность воспользоваться бродом или устроить переправу. N. оправдывал свой выбор тем, что шапсуги и джекеты пристают в этом месте на своих галерах, делая на Абхазию набеги с моря, и что он надеется прекратить эти набеги, устроив здесь укрепление. Это было весьма сомнительно. Прибрежные черкесы и абазины, живущие на севере от Абхазии, имели действительно обыкновение отправляться на морской разбой в узких, длинных и чрезвычайно легких лодках, вмещавших от тридцати до пятидесяти человек. Эти лодки, названные нами галерами, были уже известны византийским грекам под именем «камар». Быстрота их удивительна, и они так легки, что люди выносят их из воды на своих плечах, прячут в лесу и отправляются потом на грабеж. Черкесские морские разбойники приставали около устья Бзыба, потому что это место не посещалось никем и находилось в совершенной глуши, но кто мог заставить их приставать к нему, если бы на нем находилось наше укрепление; несколько сот саженей выше или ниже его, да и где угодно имелось множество подобных притонов на абхазском берегу.

Как ни противился этому выбору Пацовский, что ни говорил о нем владетель, N. остался непоколебим. Морские силы черкесов заняли совершенно его воображение. Часть отряда под его личным начальством отправилась строить бзыбское укрепление, для которого надо было сперва очистить лес. Полтора батальона получили назначение устроить дорогу через горы между Аджепхуне и Пицундою. Для прикрытия работ на левом берегу Бзыба необходимо было выдвинуть авангард на правый берег реки и устроить для него сообщение с главным отрядом. С этой целью N. вызвал к войскам владетеля с несколькими сотнями абхазских милиционеров, которых он расположил в лесу за Бзыбом, дав им в подкрепление две русские роты. Скоро и Пацовский отправился из Бамбор на Бзыб, и я остался

в опустелом укреплении, один с Шакриловым, преследовать с упрямством цель, для которой я приехал в Абхазию. Дамское общество, остававшееся в осиротелых Бамборах, не занимало меня достаточно для того, чтобы хотя на одно мгновение отвлечь мои мысли от предприятия, которому я предался всею душой, с увлечением молодого восторженного воображения. В Тифлисе я дал слово не упустить никакого случая, сколько бы он ни представлял опасностей, увидать морской берег за Гаграми, чтобы разрешить различные спорные вопросы, и сгорал нетерпением исполнить мое слово, имея в виду одну пользу, какую я надеялся принести своим самопожертвованием. Между тем я встречал с каждым днем новые затруднения и все более убеждался в том, что не найду в Абхазии средств исполнить мое поручение. Всего проще было отказаться от него, основываясь на положительной невозможности, и никто не мог доказать противного; но не боясь чужих упреков, я стыдился самого себя. Чего нельзя было найти в Абхазии, можно было отыскать в другом месте. Днем и ночью я работал мысленно, придумывая новые средства и другие пути для моего путешествия. К этой борьбе с враждебными обстоятельствами присоединилась для меня еще новая напасть, угрожавшая разрушить все мои планы.

Начальник абхазского отряда, несогласный с моим взглядом на вещи и недовольный тем, что я имел, сверх официального, еще другое назначение, освобождавшее меня от его непосредственного надзора, начал мне вредить служебным путем, выставляя все мои действия, не имеющими положительного основания и не обещающими никакого результата. Получив об этом уведомление из Тифлиса, я понял очень хорошо, что могу опровергнуть его заключения не словами, а только фактом, и должен спешить представить его на глаза тех лиц, которым старались внушить против меня предубеждение. Мое положение было в это время незавидно, и я решился освободиться из него, составив следующий план, основанный на сведениях, собранных мною в Абхазии. Не надо забывать, что в то время все эти сведения были для нас еще очень новы, и никто не знал, где именно живут люди того или другого племени и каким языком они говорят. Абхазцы, как я узнал, не имели никакой связи с шапсугами; сношения их с приморскими джекетами были совершенно ничтожны; и так как неприятель караулил гагринскую дорогу день и ночь со времени прихода наших войск на устье Бзыба, то нечего было и думать проехать этим

путем. Между тем Башилбай, Шегирей, Там и некоторые другие аулы на северной покатости гор состояли из населения чистого абазинского происхождения, с которым абхазцы поддерживали самые дружеские отношения, находя в этих аулах пристанище, когда им случалось переходить через снеговой хребет с целью грабить черкесов, с которыми они давно уже жили не в ладу.

Мое намерение было, пользуясь этим обстоятельством, перейти через горы с абхазцем, имеющим друзей или родственников в одном из означенных аулов, слывших настоящими разбойничьими гнездами, поселиться в нем и, выждав удобный случай, склонить первого решительного удальца провести меня к морю. Этот расчет был составлен мною не необдуманно, и я имел уже в виду людей, к которым я хотел обратиться с моим предложением. На верховье Зеленчука, недалеко от Башилбая, скрывались абазинские князья Ловы, жившие прежде на линии в своем собственном ауле, лежавшем на берегу Кумы. В припадке оскорбленной гордости они убили пристава, поставленного русским начальством над их аулом и принадлежавшего к числу их узденей; после того им нельзя уже было оставаться в пределах, подвластных русской власти. Они бежали в горы с довольно большим числом преданных узденей и более четырех уже лет тревожили нашу границу своими частыми и весьма удачными набегами. Имя их получило некоторую известность на линии и между черкесскими абреками; дела их, согласно горскому взгляду на вещи, шли хорошо; но сами они скучали о родном месте и, не увлекаясь своими удачами, думали только о том, как бы снова сблизиться и помириться с русскими. Об этом я узнал от абхазского дворянина Микамбая, ходившего в прежние времена довольно часто на северную сторону гор. Я познакомился с ним в одну из моих поездок по нагорной части Абхазии и, не зная еще, на что может он мне пригодиться, на всякий случай стал поддерживать наше знакомство, приглашая его к себе и делая ему подарки, которые он очень любил.

Не полагаясь на его дружбу, я не открывал ему моих настоящих намерений, решившись поверить их только тому горцу, который бы согласился быть моим проводником. Поэтому я просил только Микамбая переслать от меня к Ловам турецкое письмо, написанное Эмином Шакриловым, в котором я предлагал им мое посредничество, если они действительно намерены покориться, и звал их к себе в Абхазию переговорить об

этом деле. Охотник Хатхуа, один из крестьян Микамбая, сходил с этим письмом через горы и принес мне ответ, в котором Ловы с удовольствием принимали мое предложение, но отказывались ехать в Абхазию, опасаясь оставить без защиты свое семейство, на которое русские войска могли напасть в продолжение их отлучки. Они предлагали мне самому приехать к ним для свидания, обещая принять меня как неприкосновенного гостя, кто б я ни был, так как в моем письме я объявил им, что назову себя только тогда, когда наше дело уладится и они удостоверятся в моем праве говорить именем русского правительства. Их приглашение меня очень обрадовало, давая мне весьма благовидный предлог для путешествия через горы. Я решился воспользоваться им немедленно. С письмом Ловов в руке я предложил Микамбаю провести меня через горы, уверяя его притом, что я предпринимаю эту поездку единственно для того, чтобы не упустить случая помирить с русскими таких опасных абреков, каковы братья Ловы, и в то же время вывести их самих из ненадежного положения, в которое они себя поставили. Невзирая на мои убеждения, подкрепленные выгодными предложениями, Микамбай отказался решительно идти со мною на линию, считая подобное предприятие слишком опасным, особенно после случившегося недавно происшествия, состоявшего в следующем.

Осенью, перед моим приездом в Абхазию, выбросило бурею недалеко от устья Бзыба турецкое судно, на котором возвращались из Мекки черкесские хаджии. Ни один из них не знал абазинского языка, и это их погубило. Простые абхазцы, из ближайших селений, услыхав о крушении судна с чужими людьми, говорящими на каком-то непонятном языке и имеющими при себе много товару и богатое оружие, сбежались их грабить. Хаджии стали обороняться, и дело кончилось тем, что народ перебил из их числа тридцать трех человек. Только семеро успели спастись от смерти, благодаря Ростому Инал-ипе, к несчастью, прискакавшему слишком поздно на место побоища. Спасенные им черкесы, все без исключения, были покрыты ранами. Владетель, который не мог смотреть равнодушно на это несчастное происшествие, призрел раненых у себя в доме, где старался всеми способами облегчить их горькую судьбу. Между ними находился семидесятилетний кабардинец, хаджи Джансеид, которому абхазцы прибавили шесть новых ран к двадцати прежним, покрывавшим его старое тело. Казалось, смерть его была неизбежна, но, благодаря уходу за ним во владетельском доме, он вылечился и со всеми принадлежавшими ему вещами и большими подарками был отправлен к себе. После этого негостеприимного поступка абхазцев с мусульманами, возвращавшимися из святого путешествия в Мекку, кабардинцы, шапсуги и абадзехи, имевшие между побитыми хаджиями своих соотечественников, назвали Абхазию проклятою страной и поклялись убивать беспощадно каждого абхазца, который им попадется, кроме Ростома Инал-ипы и владетеля, сохранивших жизнь израненных хаджиев. Микамбай находил слишком неблагоразумным для абхазца ехать на другую сторону гор, пока время не загладит, хотя несколько, впечатления, произведенного этим делом на черкесов, и нисколько не желал попасться им один из первых на глаза.

Шакрилов проводил меня к Микамбаю и служил переводчиком в переговорах с ним. Это были последние услуги, оказанные им мне. Вслед за тем генерал N. потребовал его к себе переводчиком, и Шакрилов отправился в отряд, находившийся на Бзыбе, поручив мне не забывать его жены, жившей в небольшом домике по дороге от укрепления в Лехне. С потерею Шакрилова я остался без языка и, когда приезжали ко мне абхазцы, должен был поневоле прибегать к обязательному посредничеству его жены. Она говорила по-русски не хуже своего мужа и вела в этих случаях за меня разговор с людьми, которых я к ней привозил. В Абхазии скрывают женщин, равно как и у прочих горцев, но она пользовалась, как христианка и жена русского офицера, свободою, которой не имели другие абхазки, показывалась без покрывала и принимала у себя гостей, впрочем, всегда только в присутствии какой-нибудь старой родственницы.

Не уладив дела с Микамбаем, я поехал в бзыбский отряд с намерением упросить владетеля доставить мне другой способ съездить через горы к Ловам. Кроме того, я любопытствовал увидать вблизи работы, производившиеся на Бзыбе, и переправу через эту реку, о которых доходили до меня разные непонятные слухи. Ожидали полноводья, и именно в это время надо было изучить свойства реки для того, чтоб убедиться в невозможности устроить на ней какого бы рода ни было постоянную переправу, кроме натурального брода, когда состояние воды его допускало. Я знал характер Бзыба довольно хорошо, по расспросам, но теперь хотел лично удостовериться, верны ли были сведения, собранные мною через Шакрилова и которые я передавал уже начальнику войск. С одним из его

братьев я приехал в отряд в то самое время, когда вода стала подниматься. Не видав собственными глазами, трудно себе представить силу и быстроту, с какою беспрестанно возрастающая масса воды отрывала куски берега, ворочала камни и проносила в море огромные деревья, подмытые в корнях. Для переправы на другой берег ходил баркас на блоке по якорному канату, перетянутому через реку под острым углом. Вниз он летел с быстротою стрелы, пущенной из лука; вверх его тянули более ста солдат, выбиваясь из сил и работая иногда целый час, хотя река была в этом месте не шире сорока саженей. Когда баркас тянули вверх по течению, вода ударяла в его носовую часть с такою силой, что каждое мгновение можно было ожидать, что он разобьется в щепки или будет залит водою. Устройство этой переправы стоило неимоверных трудов, канаты рвались, баркасы ломало, и надо отдать полную справедливость искусству и терпению, с которыми наши моряки успели, наконец, взять верх над бешеною рекой. Я не понимал только цели, для которой все это делалось, и удивлялся, что до сих пор не случилось какого-нибудь большого несчастья. Его дождались, впрочем, очень скоро. Ночью река выступила из берегов и залила часть лагеря, в котором я ночевал; пришлось спасаться в рубашках и переносить палатки на другое место.

Укрепление мне показалось также не на месте; его разбили слишком близко к реке, имевшей обыкновение менять беспрестанно свое течение и обмывать берега на весьма большое пространство. В военном отношении я не мог не сознавать его положительной бесполезности. Оно строилось в виде бастионированного треугольника для двух орудий и для гарнизона в сорок человек, в ста саженях от морского берега, кончавшегося десятифутовым обрывом. За этим обрывом черкесские галеры оставались скрытыми от выстрелов из укрепления и могли, если бы им вздумалось, приставать к берегу у него под носом; а выходить на встречу к неприятелю, не зная числа его, едва ли можно было советовать такому малочисленному гарнизону. К счастью, Бзыб принял на себя труд решить вопрос о выгодах и невыгодах этого укрепления, размыв его следующею весной до основания, так что люди промучились в нем только одну зиму. Жаль было только трудов и времени, потерянных на его постройку.

На другой день я переехал на правую сторону реки в лагерь абхазского ополчения, утопавшего в грязи, между пнями и валежником вновь расчищенного леса. Владетель принял меня в

низеньком балагане, на мокрой соломе, в весьма дурном расположении духа, и сообщил мне с первых слов, что абхазцы громко ропщут на скучную стоянку в лесу, без всякого дела, и что ему самому надоело караулить неприятеля, который не показывался еще, да и вперед не покажется, имея твердое намерение не мешать русским на Бзыбе, а встретить их только когда они двинутся за Гагры. Сам он намеревался просить начальника отряда уволить его из лагеря с частью милиции, которую, по его мнению, должно было разделить на несколько смен, для того чтобы не отнять у людей совершенно всякую охоту нам служить. Михаил рассуждал в этом случае весьма справедливо и нисколько не думал отказывать нам в своей помощи. Но он знал свой народ и предвидел, что милиционеры станут разбегаться, если не будут иметь перед собою достаточно короткий и точно определенный срок службы; а для того чтобы не допустить между ними самовольных отлучек и явного сопротивления, в случае строгости, существовало одно средство – распустить их добровольно. По нетерпеливости характера, абхазцы были решительно неспособны к долгой и скучной сторожевой службе, им надо было, собравшись, пострелять, подраться, пограбить и потом сейчас разойтись. С моей стороны я рассказал владетелю мою неудачу с Микамбаем и просил его помочь мне проехать на линию. Князь Михаил обещал мне взяться за это дело, вернувшись в Лехне, считая даже возможным уговорить самого Микамбая быть моим проводником, несмотря на его весьма основательные опасения встретиться с кабардинцами или абазинами после несчастного истребления хаджиев. Старик Микамбай, сказал мне владетель, не труслив, чрезвычайно изворотлив, хорошо знает дороги в горах и очень часто в своей молодости и даже еще недавно ходил за горы красть лошадей и черкесских мальчиков. Эти подвиги доставили ему известность и уважение в Псоу и в Цебельде, где он, кроме того, имеет родственников. На случай же встречи с черкесами Михаил обещал дать мне одного из братьев Шакриловых с письмом на имя Хаджи Джансеида, давшего ему из благодарности святое слово беречь как самого себя каждого, кого он поручит его покровительству.

В тот же день владетель отпросился из отряда с половиною милиционеров. Людей, кладжу и седла переправили обратно на баркасе. Лошадей пустили вплавь, не через Бзыб, так как это было невозможно, а морем, по которому они обогнули огромною дугой быстрину реки и выплыли на другой стороне. Аб-

хазские лошади держатся на воде немногим хуже своих хозяев. В Бамборах наши корабли становились на якоре не ближе трех итальянских миль от берега, и я имел тут возможность видеть, как плавают абхазцы. Двое или трое из них бросались раздевшись в море, доплывали до корабля, выпивали на палубе по стакану водки и, отдохнув полчаса, тем же путем возвращались на берег.

Не позже как на третий день после моего отъезда из отряда в Бамборы прискакал абхазец уведомить меня о несчастье, случившемся на Бзыбе. Видев состояние реки и переправу через нее, я мог ожидать несчастья, но отнюдь не полагал, что оно коснется меня так близко. Баркас, ходивший от одного берега к другому, опрокинуло напором воды с бывшими на нем двадцатью человеками, из которых двенадцать потонуло. В числе утопших находился Эмин Шакрилов, тело которого унесло в море, так что его не смогли даже отыскать. Это известие меня чрезвычайно огорчило, потому что я привык видеть в Шакрилове моего неразлучного товарища и любил его за добрый нрав и за качества ума, которыми он отличался перед всеми знакомыми мне молодыми абхазцами. Первым долгом было для меня поспешить к его несчастной вдове. Здесь меня ожидала сцена, которой я не мог предвидеть, не имевши прежде случая присутствовать на абхазском погребении.

В нескольких шагах от дома, около которого толпилось немалое число мужчин и женщин, я сошел с лошади и попросил уведомить вдову о моем приезде. Через несколько времени послышался из дома громкий плач, дверь отворилась, и Шакрилова вышла ко мне, рыдая и заливаясь слезами; несколько молодых девушек, родственниц покойного мужа, окружали и поддерживали ее. Она была одета в длинную шерстяную рубашку черного цвета, босая, с открытою грудью и с распущенными волосами. Лицо, грудь и руки были исцарапаны и избиты до крови не только у нее, но и у всех родственниц Шакрилова. Непритворная скорбь, написанная на ее лице, возбуждала искреннее сожаление; но, признаюсь, язвы, которыми оно было изуродовано, не усиливали этого чувства, а возбуждали только отвращение. В этом случае она исполняла обычай, которого никакая абхазка не смела нарушить под опасением потерять всякое уважение в народе. Выслушав от меня выражение участия, какое принимал я в постигшем ее горе, она ввела меня за руку в шалаш, построенный возле дома и убранный внутри коврами и разными материями, посреди которого

стояла на высоких подмостках парадная постель. Вместо неотысканного тела лежало на постели платье Шакрилова, оружие и седло висели над изголовьем. При виде этих вещей, принадлежавших покойнику и как бы заменявших его теперь, плач и рыдания, перемешанные с ударами в грудь и лицо, возобновились с удвоенною силой и продолжались, пока вдова не упала в изнеможении на кресла, поставленные для нее возле подмостков. После нескольких минут отдыха ее отвели в дом. Эта сцена должна была повторяться при появлении каждого нового посетителя, причем все присутствующие женщины присоединяли свои голоса к плачу вдовы с оглушительным рвением. Приличие не позволяло мне скоро уехать; я должен был увидать еще несколько выходов вдовы и исполнил свою обязанность весьма добросовестно, не желая показать пренебрежения к народному обычаю, особенно когда дело касалось до человека, который, как все знали, в продолжение многих месяцев не отставал от меня ни на шаг.

Между тем владетель призвал к себе Микамбая и, после продолжительных отказов с его стороны, уговорил его проводить меня через горы. Он просил только дождаться для нашего путешествия теплых июньских дней, когда горы очистятся, сколько можно более, от снега, а до того времени считал необходимым не только о нем никому не говорить, но даже прекратить между нами всякого рода гласные сношения, а мне не оставлять Бамбор, для того чтоб отвлечь от себя совершенно внимание абхазцев.

Время ожидания проходило для меня чрезвычайно скучно и медленно. Кроме обеда в доме Пацовской и вечера за бостоном у нее же, да прогулки верхом в ближайших бамборских окрестностях, я не имел других средств подавить нетерпение, с каким я ожидал моего отъезда. Через три недели после несчастной кончины Шакрилова было положено его семейством совершить поминки по нем, тем же самым порядком, который описывал несколько веков тому назад генуэзец Интериано. Отец покойного Эмина приехал в Бамборы звать меня на эти поминки, на которых должен был присутствовать сам владетель. Каждый гость обязан сделать при этом случае какой-нибудь подарок вдове, без чего подобные поминки, продолжающиеся трое суток, в течение которых поминающие обязаны кормить всех посетителей, могут совершенно разорить небогатое семейство. Гости приносят в подарок, кто чем богат, оружие, сукно, холст, материи, лошадей, скотину, баранов, даже домашнюю птицу и зерно.

Взяв с собою для подарка кусок шелковой материи и десятка два целковых, я поехал на место собрания, назначенного около домов, принадлежавших семейству Шакриловых, между Бамборами и владетельским домом. Вся поляна была покрыта людьми и лошадьми, расположенными живописными группами под тенью высоких шелковичных дерев, обвитых виноградными лозами. Народу собралось более двух тысяч. В открытом поле стояли подмостки с кроватью, убранною попрежнему коврами, материями и платьем, принадлежавшим покойнику. Возле подмостков сидела вдова под черным покрывалом, окруженная множеством молодых и очень хорошеньких женщин в самых ярких нарядах. Недалеко от нее братья покойника держали под уздцы трех лошадей, оседланных разными седлами, детским, щегольским с серебряными украшениями и боевым. Когда я приехал, все еще были заняты утренним угощением. Груды вареного мяса и баранины истреблялись с неимоверною скоростью; котлы с просом кипели во всех местах, вино, разносимое в глиняных узкогорлых кувшинах, лилось ручьем.

Когда все насытились, народ собрался в одно место и образовал круг, в середину которого ввели первую лошадь с детским седлом. Возле нее шел импровизатор, рассказывавший рифмованным напевом, как рос Эмин в детстве на радость отца и матери. Когда привели лошадь с седлом из яркого сафьяна, украшенного серебряным галуном, тот же человек пел народу о красоте и ловкости покойного и рассказывал, как на него заглядывались и как вздыхали о нем абхазские красавицы. При появлении лошади с боевою сбруей он привел на память его военные достоинства, храбрость, хитрость и рассказал его несчастный конец. Под конец каждой фразы народ отвечал на его слова, громко вскрикивая и ударяя себя по лицу, в знак скорби и сожаления. Это прославление покойника повторялось в течение трех дней каждое утро, между тем как жена его сидела неподвижно под своим покрывалом. После того стреляли в цель из ружей разными способами, с присошек и с руки, в неподвижную и в подвижную мишени, в кружок, поднятый на высоком шесте, и в живого орла, привязанного к вершине его на длинной веревке. За удачные выстрелы раздавались призы разного достоинства, начиная от огнива и поясного ремня, до пистолета в серебряной оправе. Выстрелы гремели весь день до позднего вечера, пока народ не принялся опять пировать при свете многочисленных огней. Женщины отправились потом ночевать в Лехне, а мужчины заснули на месте, укутавшись в бурки по кавказскому обыкновению.

На третий день была назначена скачка, которою всегда кончается тризна по умершему. Эта скачка представляла самый оживленный и самый любопытный эпизод празднества. Скакали на тридцати лошадях мальчики лет двенадцати и четырнадцати, имея под собою черкесские седла без подушек, для того чтоб не сидеть, а стоять в стременах, с места поминок к Пицундскому монастырю и обратно, через горы по чрезвычайно тесной и каменистой дороге. Расстояние, которое они должны были проскакать, составляло около сорока восьми верст. Хозяева скаковых лошадей следовали за ними на переменных лошадях, расставленных по дороге, имея право возбуждать их голосом и хлопаньем, не касаясь только плетью. Вся эта ватага, состоявшая более чем из сотни ездоков, неслась, подобно вихрю, с криком, гиком и хлопаньем нагаек, через бугры и рытвины, по полям и по лесу, на гору, под гору, нигде не сдерживая лошадей, с одной мыслью перегнать один другого и взять призы, состоявшие в прекрасной кабардинской лошади с седлом и в богатом ружье, пожертвованных владетелем на поминки Шакрилова. Я ничего не видал в Абхазии более увлекательного этой скачки. Владетель и я вмешались в толпу, когда она понеслась мимо нас, и скакали с нею, пока наши лошади не выбились из сил и мы не были принуждены остановиться поневоле. Редкая скачка подобного рода обходится без несчастья. Мальчики очень часто падают с лошадей, убиваются, и за одними поминками следуют другие, кончаясь теми же головоломными скачками. На этот раз, к великой радости участников скачки, все скакавшие дети остались в целости; тризна совершилась как следует по закону праотцов, и дух бедного Эмина мог, наконец, успокоиться.

Скоро после этих тревожных дней, поднявших на ноги весь Бзыбский округ, Михаил дал мне знать, что Микамбай готов к отъезду и ждет меня у себя. Муты, старший брат покойного Эмина, был назначен ко мне переводчиком и снабжен от владетеля охранным письмом на имя хаджи Джансеида, если бы мы имели несчастье встретить черкесов. В дорогу мне нечего было долго собираться. На маленькой абхазской лошади, ружье за плечами, в саквах одна перемена белья и обуви, да часы, бусоль и записная книжка с карандашом за пазухой, – я выехал в одно утро из Бамбор с Муты Шакриловым, сказав всем знакомым, что я еду в Сухум провести несколько дней в

обществе морских офицеров. В Сухуме я пробыл не более одного дня и выехал из крепости по бамборской дороге, распустив на базаре слух, что меня неожиданно потребовали в бзыбский отряд, куда я спешу проехать, минуя даже свою квартиру. Отъехав верст десять от Сухума, мы повернули в лес, прождали в нем, пока смерклось, и оттуда, никем не замеченные, пробрались горными тропинками к Соломону Микамбаю в Анухву. На Кавказе нельзя было в то время иметь довольно осторожности, особенно мне, за которым, как я не раз замечал, следили невидимые глаза. Но в этот раз мой след совершенно пропал в Абхазии для непрошенного любопытства; кроме владетеля, никто не знал, куда я девался.

III.

В Анухву, лежавшую в горах, против Анакопии, верст пятнадцать от морского берега, мы приехали поздно ночью. Микамбай ожидал нас каждый час, и наши постели были уже приготовлены в кунахской, как называют дом, назначенный для гостей. Абхазцы, равно как и черкесы, живут обыкновенно в хижинах, крытых соломою или камышом, которых плетневые стены плотно замазаны глиной, перемешанной с рубленою соломой. В каждой хижине по одной комнате, получающей свет через двери, растворенные настежь летом и зимою. Около стены возле дверей сделано полукруглое или четвероугольное углубление в земле для огня, над которым привешена высокая труба из плетня же, обмазанного глиною. По другую сторону очага, в почетном углу, находится небольшое окно, без стекла, плотно запираемое ставнею и служащее более для наблюдения за тем, что происходит на дворе, чем для освещения внутренности хижины. У горцев каждый имеет свою особую хижину: хозяин, его жены, взрослые дети; но посторонний человек никогда не проникает в эти помещения, посвященные исключительно семейной жизни. Для гостей определена кунахская, совершенно пустая комната, убранная только по стенам рядом деревянных гвоздей для развешивания оружия и конской сбруи. Сидят и спят в ней на земле, на камышовых циновках, на коврах, подушках и тюфяках, составляющих у гостеприимного черкеса самую значительную и самую роскошную часть его домашних принадлежностей. В кунахской всегда есть, кроме того, медный кувшин с тазом для умыванья и намазлык, шкурка от дикой козы или небольшой коврик, для совершения молитвы. Кушанье подают на низких круглых столиках. Весьма немногие знатные и богатые горцы строят рубленные деревянные дома. Микамбай имел такой дом, и по этой причине слыл очень богатым человеком. Дом этот, занятый его семейством, был в два этажа, с окнами, затянутыми пузырем, между которым кое-где проглядывало небольшое стеклышко, добытое от русских. Кроме того, Микамбай пользовался уважением народа еще по другой причине: его меховая шапка была постоянно обвита белою кисейною чалмой, доставлявшею ему вид и титул хаджия, хотя он никогда не бывал в Мекке. На Кавказе нередко горец, задумавший ехать в Мекку поклониться Каабе, надевает чалму, принимает название хаджия и пользуется им иногда всю жизнь, не думая исполнить своего обета; а народ смотрит на него с глубоким уважением, как на избранника веры.

Весь следующий день хаджи Соломон посвятил обсуждению вопросов, касавшихся до нашего путешествия. Горцы не начинают никакого дела, не собрав для совета всех в нем участвующих. Переговоры бывают в этих случаях очень продолжительны, так как старики, излагающие обыкновенно содержание дела, любят говорить много и медленно, и в свою очередь также терпеливо и внимательно выслушивают чужие речи. По черкесским понятиям, опрометчивость и нетерпеливость простительны только детям и женщинам, а мужчина должен обдумывать и обсуждать каждое предприятие зрелым образом и, если есть у него товарищи, то подчинять их своему мнению не силою, а словом и убеждением, так как каждый имеет свою свободную волю. Мне нельзя было уклониться от этого обыкновения, и я провел весь день в переговорах и рассуждениях, выслушивая поочередно мнение всех моих будущих путевых товарищей, знавших, что я русский и еду за горы для свидания с князьями Лов.

Всего нас готовилось в дорогу семь человек: трое верхом: Микамбай, я и Муты Шакрилов, и четверо пеших: Хатхуа, двое слуг Соломоновых, да Багры, абазин из Псоу или Псхо, женатый на дочери Хатхуа. Последнего вызвал Микамбай из Псхо, для того чтоб он служил проводником при проезде через места, принадлежащие этому обществу. Мы не могли обойтись без него, так как в горах опасно путешествовать по незнакомым местам, не имея провожатого из того племени, общества или аула, через которые приходится ехать. Такой

провожатый служит перед своими ответчиком за путешествующих и, с другой стороны, обязан защищать их и мстить за них, если им будет нанесена обида. Багры был настоящий горный волк, готовый на все из алчности, подчинявшийся одному инстинкту своей хищной природы, но в то же время бессознательно покорный всему, что повелевал вековой обычай. Полуодетый, с обнаженною грудью и с руками голыми до локтей, покрытыми густыми черными волосами, с всклокоченною бородой и с косматою шапкой на голове, из-под которой светилась пара маленьких черных глаз, с буркою на плечах, – он походил скорее на какого-то мохнатого зверя, чем на человека. Только три вещи: ружье, обувь и кинжал, без которых нельзя жить и путешествовать в горах, были у него исправны; все остальное висело на нем в лохмотьях. Микамбай и даже сам Хатхуа мало ему верили и не решились бы взять его в товарищи, если бы не знали за ним слабых сторон, позволявших спутать его по рукам и по ногам. Багры очень любил деньги, но еще более денег любил он свою жену: через нее-то надеялись привязать его к нашему делу.

За это взялись следующим образом. У черкесов существует давний обычай не воспитывать дома детей знатного происхождения. Вскоре после рождения мальчика отдают обыкновенно на прокормление и воспитание в чужую семью, до тех пор пока он не подрастет и не научится владеть оружием. Весьма часто выбирают для этого совершенно другое племя. Принявший ребенка на воспитание называется аталык и приобретает все права кровного родства с семейством своего питомца. Этот обычай много способствует к примирению и к сближению между собою разноплеменных горских семей и обществ; а дети научаются говорить на чужих наречиях, что для них бывает весьма полезно при существующем на Кавказе разноязычии. Женщины заботятся с особенною нежностью о своих питомцах, которые тем сильнее привязываются к посторонним кормилицам, чем менее знают своих родных матерей. Горцы убеждены, что вред, сделанный аталыком своему питомцу, навлекает неотвратимое несчастье на семейство аталыка, падающее преимущественно на кормилицу. Кроме аталычества существует еще другой род приемного родства, хранить который обычай повелевает так же свято, как и настоящее аталычество. Если два человека согласились составить между собою союз на жизнь и на смерть, то жена или мать одного из них дает другу мужа или сына коснуться губами три раза своей

груди, после чего он считается родственником семьи и пользуется покровительством, какое принадлежит действительному питомцу. При этом случае делаются подарки аталыку и кормилице. Жена Багры, пришедшая с мужем погостить в отцовском доме, была налицо, следственно, дело не представляло больших препятствий. С согласия мужа, Хатхуа породнил меня с нею описанным способом, причем несколько кусков бумажной материи, холста, ножницы и иголки, считавшиеся в Псхо неоцененными редкостями, да кинжал с золотою насечкой запечатлели наш союз. Багры, вступив в обязанность аталыка, принадлежал мне вполне. Благодаря его суеверию и привязанности, которую он питал к своей жене, я мог полагаться на него как на самого себя.

Совет, на который мы были созваны, начался торжественною присягой хранить все дело в совершенной тайне, не обманывать и не выдавать друг друга ни в каком случае, даже если б это стоило жизни. Шакрилов и я клялись крестом, абхазцы кораном, а Багры могилою отца и матери. После того сообразили, какою дорогой нам следовало идти через горы, и постановили условия, на которых Микамбай и его товарищи соглашались служить мне проводниками и защитниками. Дорогу выбрали через Псхо, как потому, что с нами был Багры, так и потому, что на ней менее всего предвиделось для меня опасности быть открытым. Жители Псхо, родом абазины, редко приходят в Абхазию и спускаются на северную сторону гор только для грабежа, не имея другого столкновения с настоящими черкесами; потому между ними и нетрудно было выдать меня за кабардинца. Через Цебельду, где меня знал Хенкурус Маршани, зять Гассан-бея, и однажды видел, около Дранд Богоркан-ипа, было бы неблагоразумно направить наше путешествие. Непредвиденная встреча с этими людьми могла бы нам обойтись слишком дорого. По окончании путешествия, если проводники исполнят добросовестно свое дело, я обязался заплатить: хаджи Соломону триста целковых, Хатхуа пятьдесят, двум крестьянам Микамбая по двадцати пяти; Багры выпросил у меня оседланную лошадь и двух коров с телятами; Шакрилов желал офицерского чина. Владетель, сделавший, кроме того, подарки Микамбаю, вперед поручился за меня в точном исполнении всего, что стану обещать; следственно, сомнения тут не могло существовать, и совет заключился решением выехать на другой день, перед рассветом. Шакрилов занялся чисткою нашего оружия и приведением в исправность конской

сбруи; я лежал на ковре, в самом темном и прохладном углу кунахской, и от нечего делать курил и думал, довольный тем, что нас оставили одних.

В абхазских селениях дома раскиданы на большом пространстве небольшими группами, означающими число отдельных семейств. Жители сходятся довольно редко и только издали наблюдают одни за другими, стараясь, из чувства приличия, победить свое любопытство и недоверчивость, побуждающие их мешаться в дела соседей. Хаджи Соломон не мог скрыть ни от кого, что у него гостит чужой человек; но почтение, которое он внушал крестьянам Анухвы, оберегало нас от нескромности любопытных, и никто из них не решился допытываться, кого именно хаджи принял под своею кровлей. Перед самым вечером наше спокойствие было нарушено неожиданным конским топотом возле кунахской. Люди засуетились, Микамбай вышел навстречу гостям и через несколько времени вернулся с тремя чужими горцами. На лице его была заметна скрытая досада: гости приехали, видимо, некстати; но ничего не оставалось, как принять их, а наше путешествие отложить до их отъезда. Приезжих расположили довольно далеко от нас, на другом конце кунахской, которая, к нашему счастью, была очень велика и темна. Микамбай, как водится, сам снял с них оружие и, вместо того чтобы повесить его в кунахской, приказал отнести к себе в дом.

Это могло иметь, по черкесским обычаям, двоякое значение: или что хозяин берет на себя, из дружбы, всю ответственность за безопасность гостей под его кровлею, или что, не зная их, не очень им доверяет. После того взошел Багры и, увидав приезжих, стал с ними здороваться как с весьма короткими знакомыми. Тогда я понял досаду Микамбая: приезжие были из Псхо. После ужина мы легли спать на тех же местах, где прежде сидели, и провели ночь, как и весь другой день, возле гостей из Псхо, с видом невозмутимого равнодушия, будто не замечали друг друга, и нисколько не заботились о соседях, которых нам Бог послал. Между тем, я уверен, они пересчитали все пряжки на наших ремнях и знали, сколько у нас патронов на груди; да и мы, с своей стороны, старались по их одежде, вооружению и приемам заключить, чего можно было от них надеяться и чего должно было опасаться. Перед вечером они отправились к морю, объявив, что едут повидаться с родственниками в Абживском округе. Могло быть, что они действительно имели в Абживе родню; или, может быть, ехали туда с весьма обыкновенным намерением перехватить на дороге что ловко попадется под руку: мальчика, девочку, лошадь или корову, – это нисколько не касалось до нас. Интересовало нас только узнать, расходятся ли наши дороги, действительно ли они едут к морю, когда нам самим надо ехать в горы, и можем ли мы быть уверены, что не столкнемся с ними в Псхо. Долго мы глядели им вслед и с удовольствием видели, как они удалялись от нас на запад.

Было еще совершенно темно, когда хаджи Соломон поднял нас на ноги, уговаривая скорее сесть на лошадей, чтобы выехать из Анухвы до рассвета. Но и ночь, казалось ему, не довольно еще ручалась за тайну нашего отъезда и избранного нами пути: он повел нас сперва под гору, в совершенно противную сторону, потом обогнул по лесу селение и только к утру вывел нас на нашу настоящую дорогу. Она поднималась круто в гору и была так тесна, что мы должны были ехать один за другим. Впереди шел Хатхуа с Багры, потому что они знали дорогу лучше прочих; за ними ехал хаджи Соломон, потом следовали я и Муты; шествие заключали двое слуг Микамбая, тащившие на своих плечах мешки с просом, тулуки с кислым молоком, котел и подгонявшие двух баранов, назначенных для нашего продовольствия до первого селения, лежавшего в трех переходах впереди нас. Багры уже описан мною; но я сказал слишком мало о Хатхуа, нашем главном путеводителе. Ему было более семидесяти лет, из коих боль-шую часть провел он не под кровлею, а в путешествиях и на охоте в горах. Высокий, худощавый, закаленный в трудах и опасностях, всегда рассудительный и хладнокровный, стрелок без промаха – этот железный человек не имел в целой Абхазии равного себе охотника, который бы так хорошо знал в горах все тропинки и все скрытные места, представлявшие удобную защиту от врага и от непогоды. Его загорелое морщинистое лицо, казалось, имело самое угрюмое выражение, но, всматриваясь в него поближе, можно было отыскать мягкие черты, позволявшие угадать его настоящий характер. Он был невероятно добродушен. Обыкновенно он молчал; когда его спрашивали, отвечал коротко и отрывисто; но зато находился в беспрестанном движении и делал более других. Усталость не существовала для него; он вставал раньше и ложился позже всех, осматривал каждый раз с большим вниманием места около ночлега, замечал все и по признакам, незаметным для прочих, делал самые безошибочные заключения. Его опытность и верный взгляд на

все касавшееся горной жизни, знание зверей, за которыми он привык охотиться с детства, имели такое значение, что никто не смел спорить с ним, и сам Микамбай беспрекословно подчинялся его мнению.

Несколько часов подвигались мы вперед, беззаботно вдыхая свежий горный воздух и любуясь прекрасными видами, беспрестанно менявшимися перед нашими глазами. Солнце поднялось уже довольно высоко на чистом, безоблачном небе, разливая повсюду знойные лучи. Мы были рады ехать в тени густого леса, весьма редко прерываемого небольшими полянами, покрытыми свежею травой, усыпанною множеством разнородных цветов и кустами спелой клубники. Чем выше поднимались мы в гору, тем тщательнее Хатхуа рассматривал дорогу, лес и траву. В одном месте, где наша дорога сошлась с другою тропинкой, он остановил нас, внимательно рассмотрел каждый куст, прошел несколько сот шагов по боковой дороге и, довольный осмотром, кивнул головой, что значило: ехать дальше. Около полудня он стал опять приглядываться к каменистой почве нашего пути, через который местами протекали небольшие ручьи. Около них земля была несколько размягчена. Возле одного из ручьев он остановился, прильнул к земле и, рассмотрев ее, сказал:

– Недавно лошади прошли!

Осторожный хаджи Соломон встревожился.

– Сколько их было? куда идет след? – вскрикнул он.

– Дальше узнаем, – ответил Хатхуа, и мы продолжали еще несколько времени нашу дорогу.

Вдруг он опять остановился, указал на дорогу палкой, окованною железом, и сказал несколько слов Микамбаю, который тотчас слез с своего катера. Мы последовали за ним и начали осматривать землю, на которой даже я, при всей моей непривычке, разобрал легкие следы конских копыт. Я видел, что этим следам придают какую-то особую важность, но не понимал еще, какую связь имеют они с нашим путешествием. Собрались в кружок советоваться. Муты, говоривший по-русски ломаным языком, служил переводчиком. Микамбай заговорил первый, объясняя, что открытые нами следы, обнаруживающие не более трех лошадей, принадлежат, вероятно, гостившим у него медовеевцам, – под этим общим названием были известны жители из Псхо, Ачипсоу и Айбоги, – которые кругом обманули нас насчет своих намерений и пробрались объездом на дорогу в Псхо, вместо того чтобы ехать в Абживу,

что даром не делают подобных вещей, что тут кроется какая-то измена и что он считает необходимым возвратиться в Анухву. Против этого решения я восстал всеми силами, доказывая, что медовеевцы не могли догадаться, кто я, и узнать о нашем намерении ехать через Псхо, если кто-нибудь из наших товарищей не сказал им об этом, чего я не позволяю себе и думать после клятвенного обещания, которым мы обязали себя. В это время Микамбай посматривал искоса на Багры, который, спокойно играя подаренным мною кинжалом, бросал пытливые взгляды на молодых слуг хаджи Соломона, хлопотавших около своих мешков и баранов. Трудно было разобрать, что скрывалось под немыми следами: случай ли, нисколько не касавшийся до нас, измена ли или, может быть, неумышленная болтливость, открывшая кому-нибудь наши намерения. Каждый призывал Бога в свидетели своей невинности. Наконец я обратился к Хатхуа, молчавшему, пока другие громко спорили и рассуждали.

– Здесь не большая дорога, по которой ездят каждый день, – отвечал он, указывая на след, – три лошади ночевали в Анухве; эти три лошади прошли обратно в Псхо; люди тебя видели: нехорошо!

– Что ж это доказывает? На лице моем не написано, что я русский: они должны были принять меня за кабардинца.

– Для человека из Псхо все равно, что русский, что кабардинец; спроси Багры, можно ли верить его вчерашним знакомым?

Багры покачал отрицательно головой.

Я заметил, что меня удивляет отсутствие по дороге тех следов, которые лошади оставляют обыкновенно за собою.

– Тем хуже! Значит, они заметали след за собою, как заметает его лисица хвостом. В горах дороги тесны, нас только семеро, а в Псхо разбойников много; я говорю: не следует идти в Псхо.

Все присоединились к мнению Хатхуа. Я сам находил его отчасти справедливым, но никак не хотел отказаться от мысли продолжать наше путешествие. Я опять обратился к Хатхуа и настоятельно требовал от него указать другую дорогу, между Псхо и Цебельдою, если нам нельзя идти по этой. Я прибавил, что над нами станут смеяться, когда узнают, как мы собрались в дорогу за горы, выехали и бежали назад, увидав, что не одни мы такие храбрецы, которые ходят в горы без няньки. Продолжая насмехаться над моими товарищами, я возбудил их самолюбие. Хатхуа, наморщившись, объявил, что он знает другую

дорогу и согласен вести нас по ней, но предупреждает, что она трудна, продолжительна, неудобопроходима для лошадей и пролегает по совершенно безлюдным местам. На замечание Микамбая, что у нас не достанет съестных припасов для такой дороги, Хатхуа возразил, что с ружьем нечего бояться умереть с голоду там, где есть козы, туры и адомбеи. Абхазцы зовут адомбеем зубра, который водится на северной покатости Кавказа, в глубоких ущельях, около источников Урупа и Большого и Малого Зеленчугов. Микамбай не смел более отговариваться; дело было решено, и все согласились идти по дороге, которую станет указывать Хатхуа. Мы свернули вправо от прежнего пути, перешли через глубокое ущелье и начали подыматься на высокий гребень, без видимой тропинки, по густому вековому лесу, нетронутому от сотворения мира.

Хатхуа и Багры шли опять впереди и помечали топорами некоторые деревья, для того чтобы найти по ним обратный путь, если бы мы потеряли в лесу дорогу. Солнечные лучи едва проникали в чащу леса, загроможденного деревьями, опрокинутыми бурей, которые на каждом шагу перегораживали путь нашим лошадям. Иногда мы бились по целым часам, отыскивая обход мимо этих натуральных завалов или прорубая себе топором дорогу чрез них. Весь первый день мы провели на безводном гребне, не имея капли воды, чтобы напиться в палящий жар. Два абхазца, которым была поручена провизия, отстали от нас в лесу; невзирая на крики и ружейные выстрелы, мы не могли их дозваться; по этой причине у нас не стало даже молока утолить жажду. Микамбай не понимал, каким образом они нас потеряли, и был уже готов думать, что они бежали. Во всяком случае их надо было отыскать, и это дело мы поручили Багры, который должен был идти потом по нашему следу и по знакам, оставленным Хатхуа на деревьях. На этом не кончились еще наши неудачи этого дня, сделавшие очень дурное впечатление на суеверных абхазцев, которые видели в них дурное предзнаменование. Лошадь Муты оборвалась на горе и покатилась с крутизны в несколько десятков сажен. Кусты, за которые она, падая, цеплялась, помешали ей убиться, и пострадало только одно седло.

Сначала Муты был в отчаянии, хотел вернуться домой, потом успокоился, но все-таки не переставал морщиться, вспоминая об этом происшествии. Микамбай бормотал все время невнятные слова, обвиняя, кажется, меня во всех несчастьях, и призывал на помощь Аллаха; молчали только и крепились

Хатхуа по привычке и я из самолюбия. Измученные трудным переходом и жаждою, мы остановились перед сумерками для ночлега – можно себе представить, в каком расположении духа. Часа через два голос Багры известил нас, что он близок, и скоро явились к нашему огню он, слуги Микамбая, бараны и молоко. Оказалось, что абхазцы потеряли нас из виду, гоняясь за баранами, упущенными на дороге в каком-то трудном месте. Теперь, казалось, все было хорошо; дело стояло только за водою. Никто не знал, где ее найти, и не решался идти за нею в темноте. Посоветовавшись с Хатхуа, помнившим источник около этих мест, Багры согласился за три червонца совершить головоломное ночное путешествие, спустившись под гору по скалам, доступным с виду для одних только зверей. Долго ждали мы, пока он воротился с козьим тулуком, наполненным счастливо отысканною водой. Тогда мы напились, сварили проса, баранины и, поужинав, легли спать, закутавшись в бурки, имея возле себя ружья в чехлах, чтобы сберечь их от сырости. Стреноженные лошади ели траву возле нас. Горцы употребляют весьма простой и удобный способ спутывать лошадей треногами, отнимающими у них возможность далеко уходить и делать скорые прыжки. Тренога состоит из двух широких сыромятных ремней, одного длинного и другого короткого, связанных между собою в виде латинского T; на концах этих ремней находятся петли из узких ремешков, застегиваемые на костяные чеки. Коротким ремнем спутываются обе передние ноги несколько выше копыта, а концом длинного ремня обвязывается одна из задних ног выше колена. Петли с чеками позволяют растреножить лошадь в одно мгновение, что имеет особую важность в быту горца, встречающего так часто надобность, в случае неожиданной тревоги, вскочить на лошадь, не теряя времени. Зато горец никогда не выезжает без треноги, привешенной за седлом. Перед сном Микамбай распределил очереди ночного караула, без которого можно было, пожалуй, обойтись, так как Хатхуа имел привычку спать только одним глазом. Во время наших ночных бивуаков я имел часто случай видеть, как при самом легком шорохе в кустах Хатхуа, не подымая головы, уже глядел в ту сторону, откуда слышался звук, и рука его машинально ложилась на приклад ружья.

На другой день наша дорога все еще шла по густому лиственному лесу, состоявшему преимущественно из дуба, карагача, клена, чинара и чиндара. Полоса, богатая каштановыми и ореховыми деревьями, лежала уже ниже нас. Подъемы становились

круче, ущелья суживались заметным образом. Этот переход обошелся совершенно без приключений; погода была прекрасная, и мы пользовались ею, чтоб уйти как можно дальше. В прямой линии можно было полагать от морского берега до перевала через главный снеговой хребет от шестидесяти до семидесяти верст; по дороге, которую мы принуждены были избрать для нашего путешествия, должно было считать не менее ста двадцати. Бедность наших съестных припасов, рассчитанных сначала только на три перехода, заставляла нас спешить.

На третий день мы поднялись на высоту, покрытую сосновым лесом такой величины, о которой я не имел до того времени никакого понятия. В нем нас застигла страшная буря. С первого порыва ветра оглушительный скрип и треск пронеслись по всему лесу, задрожавшему, как в лихорадке. Вековые сосны неимоверной вышины, в пять и более охватов, зашатались на корню; молодые деревья крутило и ломало вихрем, устилавшим землю огромными сучьями, летевшими в лесу по всем направлениям. Я не испытывал прежде опасности быть в подобном лесу во время бури, и потому не совсем и понимал ее. Мои абхазцы раскрыли мне глаза. С криком: Аллах! Аллах! они бросились к ближайшей скале и под ее навесом прождали все время, пока не перестала буря. Опустошение, произведенное ею в лесу, дало мне понятие об участи, которая нас ожидала, если бы мы не встретили так близко спасительной скалы. Везде лежали огромной величины деревья, переломленные, расщепленные сверху донизу или вырванные с корнем из земли; лес был буквально усеян сучьями и отломленными вершинами.

Четвертый и пятый день мы переходили по скалам из долины Гумисты к началу Чаголты, впадающей в Кодор. Узенькая тропинка, на которой лошади едва находили довольно места ставить копыто, испорченная во многих пунктах дождем, а в других заваленная большими скользкими камнями, тянулась карнизом над пропастями неизмеримой глубины. Мы шли все время пешком, а лошадей гнали перед собою: было опасно вести их в поводу; к тому же они шли гораздо охотнее на дурных местах за катером Микамбая, признавая его инстинктивно надежным указчиком дороги в горах.

Поворотив от начала Чаголты круто налево, к источнику Бзыба, мы только на седьмой день подошли к главному перевалу, покрытому вечным снегом. Еще накануне мы сделали более половины перехода по снегу, растворявшемуся, под лучами июньского солнца, в потоки студеной воды, протекавшей ветвистыми ручьями по всем лощинам и ниспадавшей потом, собравшись в одно более широкое русло, шумными водопадами в глубокую расселину, дававшую Бзыбу свое начало. Жаркое солнце палило наши головы, между тем как ноги не выходили из снега и из холодной воды. Надвинув на глаза мохнатые бараньи шапки и намазав веки пороховым раствором, для того чтобы не ослепнуть от солнечных лучей, ярко отражаемых блестящею снежною пеленой, покрывавшею все видимое пространство, босоногие, потому что наша размокшая обувь не держалась более на ногах, мы подвигались медленным шагом, проваливаясь беспрестанно в снегу. Неудивительно, если мы утомлялись более чем следует. Наши силы заметно упадали от недостатка пищи. Порции, на которые мы были принуждены разделить наши припасы, для того чтобы не остаться совершенно без продовольствия, едва служили для утоления голода и не могли возобновлять сил, растрачиваемых нами ежедневно в усиленной ходьбе.

Накануне мы съели последний кусок баранины; молока давно уже не было; оставалось в запасе несколько проса, которое Микамбай берег на крайний случай, выдавая скупою рукой каждый вечер не более одной горсти на человека. Багры и Хатхуа уходили от нас беспрестанно в сторону искать дичи, но, к несчастью, не находили ее. Туры показывались на скалах, как будто для того только, чтобы дразнить наш голод, всегда далее выстрела, и потом исчезали с быстротой молнии. Они так осторожны, что их нельзя иначе стрелять как из засады, устроенной на дороге, по которой они имеют обыкновение ходить к воде. Эти дороги бывают чрезвычайно опасны. Днем надо отыскивать след туров, садиться вечером за скалой и ждать до утра, пока они пойдут к водопою. Более одного выстрела охотник не успевает сделать в подобном случае, если б он имел с собою даже два ружья: прежде чем он успеет приложиться во второй раз, все стадо пропало уже у него из виду. Мы слишком дорожили временем, для того чтобы жертвовать им на эту трудную и не всегда удачную охоту, требующую иногда нескольких дней для отыскания только турьих следов. Хатхуа не взял с собою собаки, с которою он и в обыкновенное время не любил охотиться в горах, потому что она призывает своим лаем неприятеля и не позволяет скрыться от него. Последние два дня Хатхуа уходил в сторону с самого утра и присоединялся к нам только вечером, каждый раз с пустыми руками, утешая нас надеждой на адомбеев, которые, по его

обещанию, должны непременно нам встретиться на северной стороне гор.

Перед главным снеговым хребтом мы переночевали в котловине, окруженной со всех сторон высокими скалами, покрытой пушистою травой и загороженной от завалов густым сосновым лесом. На дне котловины протекал многоводный ручей. Место было самое скрытное, и доступ к нему сопряжен с трудностями, которых никто бы не решился испытать без настоятельной надобности. Хатхуа говорил, что кроме него разве только еще один или два абазинских охотника знают об этом уголке и в состоянии отыскать к нему дорогу. Несколько дней перед нашим приездом на горах выпал в большом количестве свежий снег, не позволявший вести лошадей через перевал. Ждать, пока он осядет от солнца, не зная, чем мы будем кормиться завтрашний день, казалось совершенно безрассудным, и мы решились поэтому продолжать наше путешествие без лошадей, покинув их на месте нашего последнего ночлега и там же зарыв седла. На возвратном пути Микамбай должен был отвести лошадей в Абхазию.

Выбравшись из нашей котловины до восхода солнца, мы стали подыматься на гору по снежной крутизне, перегораживавшей нам путь, подобно неизмеримо высокой стене, без следа дороги и без уступа для отдыха. Абхазцы, вооруженные своими длинными дорожными палками, окованными железом с обоих концов, шли впереди и испытывали снег, под которым нередко кроются расселины, куда можно провалиться безвозвратно. Следуя один за другим, мы пролагали узкую и глубокую борозду через рыхлый снег, погружаясь в него выше пояса. Таким образом мы поднимались не менее пяти часов, медленно ступая и не возвышая голоса, для того чтобы не вызвать снежного обвала, местами грозно висевшего над нашими головами, пока не достигли гладкой снеговой равнины, шириной около пятисот сажен, с которой открывался вид на обе стороны гор. Вправо и влево от нас возвышались зубчатые горные вершины ослепительной белизны. За нами чернелись абхазские горы и обозначалось море далекою синею полосой. Впереди нас виднелись скалы, лесистые гребни и зеленые травяные отроги главного хребта, между которыми мелькали, подобно серебристым лентам, Кубань и впадающие в нее реки. Погода была прекрасная, на небе ни облака, в воздухе ни ветерка, тишина повсюду, и близь и даль облиты ярким светом. Вид в одно время на Черное море и на степи кавказской линии, с высоты верных одиннадцати тысяч футов над поверхностью моря, был поразителен своим величием. Седловина главного хребта, через которую мы переходили, лежала между источниками Бзыба, текущего в Черное море, и большого Энджик-су, впадающего в Кубань. Русские переделали Энджик-су в похожее на него название Зеленчуга. Мы отправились в дорогу голодные и, после трудов подъема, почувствовали решительную необходимость подкрепить свои силы. Абхазцы принесли с собою несколько вязанок хвороста. Разложили огонь на бесснежном камне и сварили половину проса, оставшегося в мешке. На каждого из нас достались два или три глотка, которыми мы должны были довольствоваться на долгое время, потому что нам приходилось идти не менее четырех дней до ближайшего башилбаевского аула, в котором Микамбай смел показаться, имея в нем приятеля.

Солнце перешло уже за полдень, когда мы подошли к северному спуску. На краю его стояла непокрытая снегом гранитная скала, очень похожая по своему виду на высокий жертвенник. К ее вершине, составлявшей площадь около трех саженей в квадрате, вели ступени, высеченные в граните. Посреди площадки находилось круглое углубление в виде котла. Мои абхазцы поднялись на нее, и каждый из них положил в углубление какую-нибудь вещь: ножик, огниво или пулю. И меня заставили принести в жертву несколько мелких монет, для того чтоб умилостивить горного духа, – иначе, говорили мои проводники, он зароет нас под снегом, когда мы станем спускаться, или не пошлет нам дичи, или отдаст нас в руки наших врагов. Углубление было наполнено до половины древними монетами, железками от стрел, съеденными ржавчиной кинжалами, пистолетными стволами, пулями и женскими застежками и кольцами. Ни один горец не переходит в этом месте через перевал, не пожертвовав чем-нибудь горному духу, и можно быть уверенным, что ничья рука не осмелится коснуться того, что ему принадлежит.

Нам следовало спуститься в ущелье Зеленчуга, но я не видел дороги. Перед моими глазами открывалась одна бесконечная снежная крутизна, белая, ровная, гладкая, на которой, казалось, негде было удержаться ноге. Я остановился над нею и решительно не знал, как мне начать дело. Хатхуа, видя мое недоумение, схватил меня за руку и увлек за собою, крикнув только: «Делай, как я!» Откинув тело назад и смело пробивая пятками тонкую ледяную кору, покрывавшую мягкий снег, мы

помчались под гору так скоро, что снежные глыбы, оторванные нашим бегом, не поспевали катиться за нами. В несколько минут мы сбежали с высоты, на которую пришлось бы подыматься несколько часов. Спустившись с вершины главного перевала, мы пошли сначала по обширной снежной долине, потом еще раз сбежали под гору и стали приближаться к высокому сосновому лесу, около которого кончался снег. В это самое время послышались в горах дальние перекаты грома, между тем как небо не показывало ни одного облачка. При первом звуке мои проводники остановились, взглянули вверх и бросились бежать в сторону с обыкновенным криком: Аллах! Аллах! и с такою быстротой, что я за ними едва успевал. Я понял, что нам угрожает какая-то страшная опасность, но не успел еще привести в порядок моих мыслей, как дальний шум разразился возле нас оглушительным треском; нас как будто толкнуло и обдало серебристою пылью, закрывшею на несколько мгновений всю окрестность. Когда воздух очистился от этой пыли, мы увидали недалеко от нас груду снега, которой прежде там не было. Кажется, не надо объяснять, что это был снежный обвал.

Оправившись от испуга, мы вошли в лес, закрывавший от нас ущелье Зеленчуга. Обратившись лицом к горе, от которой мы удалялись, я мог наблюдать одну из самых прекрасных картин, какие я только видел в это путешествие. Снежная кора в несколько десятков саженей толщины, над которою господствовала вершина горы, кончалась перед ущельем как отрезанная, и из-под нее, промыв глубокую пещеру, с шумом вырывался широкий водопад высотой не менее тридцати саженей, дававший начало Зеленчугу. В ущелье мы успели сойти перед самым вечером, пробираясь медленно через обломки скал и груды камней, которыми было завалено его начало. Выбравшись на несколько ровное место, покрытое травой и мелким лесом, мы стали искать глазами, где бы лучше расположиться на ночь. Камни и опрокинутые деревья принуждали нас беспрестанно переходить через быструю, но мелкую реку, разливавшуюся местами на довольно широкое пространство. Вода была в ней не выше колен. Хатхуа ушел от нас, после первого спуска, искать адомбеев или туров. Его прежние бесполезные поиски не подавали нам, правду сказать, большой надежды на настоящую удачу, и мы находились в весьма дурном расположении духа. Усталые, голодные, без лошадей, имея перед собою еще несколько суток путешествия без пищи, мы не видели особенной причины радоваться нашей судьбе. Нужда и самолюбие еще придавали мне настолько бодрости, чтобы не уронить себя в мнении абхазцев и не предаться нравственному изнеможению, от которого мои непривычные физические силы упали бы совершенно. Крепясь духом, я старался, сколько мог, ободрять и обнадеживать моих спутников.

Мы переходили через реку, по колено в воде, как вдруг недалеко от нас в лесу раздался выстрел, и эхо повторило его в горах громкими перекатами. Все встрепенулись. «Это заговорило ружье Хатхуа, – крикнул хаджи Соломон, – он пороху даром не теряет! Один выстрел, значит, зверь; если будут еще, значит, он столкнулся с неприятелем». Наше недоумение длилось недолго. Через несколько минут мы услыхали в лесу быстро приближающийся топот, смешанный с треском дерев, ломаемых какою-то непреодолимою силой. Вслед затем выбежало перед нами, в расстоянии хорошего выстрела, встревоженное стадо адомбеев; впереди несся бык огромной величины. Ружья блеснули мгновенно из чехлов, выстрелы загремели, и бык, в которого мы все приложились, как по уговору, сделал высокий прыжок и поворотил в противную сторону. Все стадо, в котором находилось до двадцати коров и телят, ушло за быком. Заряжая ружья на бегу, мы бросились их догонять с такою скоростью, будто никто из нас не имел причины жаловаться на усталость. Но зубры бежали скорее нас, и мы скоро потеряли их совершенно из виду; кровь на траве, доказывавшая, что не все из нас промахнулись, служила для нас плохим утешением в новой неудаче и увеличивала только нашу досаду.

Угрюмые лица моих сотоварищей не имели в этот вечер ничего успокоительного. Молча расположились мы спать. Некоторые поглядывали было на мешочек с остатком проса, который хаджи Соломон привесил к своему собственному поясу; но он объявил решительно, что не позволит коснуться его прежде минуты действительного голода, а до тех пор станет его защищать против каждого, если бы понадобилось, даже с пистолетом в руках. Один Хатхуа сохранял свой обыкновенный вид и хладнокровно рассказывал, что он сам стрелял в этого адомбея, попал ему, кажется, в бок, а он ушел, будто пуля не коснулась его, но что он не теряет надежды допытаться, действительно ли зверь этот заколдован или нам просто изменили глаза и ружья. После того он помог устроить ночлег, развести огонь от зверей и, когда все улеглись, взял ружье и, не говоря ни слова, пошел вниз по Зеленчугу. Долго лежал я

без сна, не имея еще привычки переносить голод, как выучился впоследствии; наконец усталость взяла верх, и я стал забываться; но мне не было суждено отдохнуть в эту ночь. Микамбай тихонько всех разбудил и приказал залить огонь.

Перед нами стоял неутомимый Хатхуа, и повел нас с обыкновенным своим молчанием в ту сторону, куда прежде ходил один. После доброго часа ходьбы он перевел нас на другой берег реки и разместил за грудой камней. Каждому из нас было указано свое место и дано наставление, куда целить, в грудь или в голову зверя, который будет идти перед стадом. Хатхуа нашел, невзирая на темную ночь, след адомбеев, по которому они имели привычку ходить к водопою. С раннею зарей мы заметили на горе несколько темных подвижных точек, которые медленно спускались к воде и по мере приближения к нам принимали все яснее форму рогатых животных. Это были нетерпеливо ожидаемые адомбеи. Сняв шапки и закрывшись камнями, так как эти животные очень чутки и в разъяренном состоянии готовы броситься на человека, мы целили, сдерживая дыхание, чтобы не промахнуться и не потерять опять добычи, от которой зависело, быть ли нам еще несколько дней сытыми. Перед стадом двигался, понурив голову, бык огромной величины. Когда он подошел к реке и готовился уже пить, мы спустили курки почти в одно время, и семь пуль попало ему разом в грудь и в голову. Адомбей зашатался и с глухим ревом упал на землю. Все стадо разбежалось, прежде чем мы успели снова зарядить наши винтовки. Можно себе представить, с какою радостью бросились мы к убитому животному, в котором нетрудно было узнать нашего вчерашнего адомбея. Кроме семи пуль, попавших в него спереди, мы нашли в нем еще четыре раны навылет от вечерней стрельбы, не помешавших гигантскому зверю продержаться на ногах до утра, несмотря на весьма значительную потерю крови.

Мы устроили бивуак на самом месте охоты. Абхазцы поспешно развели огонь и принялись снимать шкуру и резать адомбея на части. В полчаса сварили остаток проса и зажарили на углях часть огромной печени. Насытившись, мои абхазцы совершенно переродились, повеселели и снова почувствовали себя способными на всякое дело, сколько бы оно ни было трудно и опасно. Мяса мы имели надолго, недостаток проса и соли нас не тревожил, потому что и без них можно было прожить, не опасаясь умереть с голоду; следовательно, необходимость спешить без оглядки к башилбаевским аулам исчезла.

Вспомнили о лошадях, брошенных за горой на произвол судьбы, и стали о них жалеть. Могло случиться, что они уцелеют до возвращения Микамбая; но их могли также украсть; кроме того, было гораздо приятнее четыре или пять дней еще ехать на лошади, чем идти пешком. Хаджи Соломон расстался особенно неохотно со своим катером, на котором он, при чалме, покрывавшей его голову, и седой длинной бороде, был разительно похож на почтенного эфенди, что имело также свою выгоду в горах. Поэтому он тотчас согласился со мною, когда я сделал предложение остановиться на Зеленчуге и попытаться перевести наших лошадей через снег. Обещав подарить по пяти червонцев на человека, мне, с помощью хаджи Соломона, было нетрудно уговорить Багры, Хатхуа и двух крестьян Микамбая перейти за лошадьми еще раз через гору.

Дорожка, протоптанная нами через рыхлый снег, на южном подъеме, много облегчала это дело; а вниз Хатхуа видел возможность провести лошадей обходною дорогой. Микамбай, Муты и я должны были остаться на Зеленчуге караулить убитого адомбея. На другое утро Хатхуа с товарищами отправился в путь еще до восхода солнца, взяв с собою добрый запас жареной говядины на путевое продовольствие. Двое суток ждали мы их, расположившись хозяйственно под навесом, сделанным абхазцами из шкуры адомбея, растянутой на палках. Весь день Микамбай и Шакрилов хлопотали около нашей добычи, вырезывали из нее куски говядины, жарили и варили ее, потчуя меня своим стряпаньем. Избавившись от голода, я почувствовал недостаток хлеба и особенно соли, без которой красное и жесткое мясо зубра показалось мне очень невкусным; но тут нечего было разбирать и думать о вкусе; надо было благодарить Бога и за эту пищу, без которой наше путешествие могло принять весьма бедственный оборот. На третьи сутки привели катера и наших двух лошадей, до того измученных, что они едва держались на ногах. И людям, и животным отдых был необходим. Поэтому мы пробыли на Зеленчуге еще один день и отправились потом в дорогу не без порядочного запаса вареной и жареной говядины. Я желал сберечь шкуру адомбея с его головой и копытами и привести их на линию, в доказательство того, что зубры существуют не в одной Литве, а водятся еще на Кавказе, чему не хотели верить, слыша об этом от горцев.

Между русскими я был первый, имевший случай видеть кавказского зубра и за ним охотиться. Его огромный рост,

темно-коричневый цвет, чисто бычачья голова, мохнатая, как и грудь, и гладкая задняя часть не допускали никакого сомнения, что он одной породы с животным, сберегаемым в лесах Беловежской пущи. На Кавказе зубр встречается, как я уже сказал, в сосновых лесах, примыкающих к вечному снегу, по ущельям двух Зеленчугов, Кяфира и Урупа. Несколько раз во время путешествия показывали мне логовища этих животных и дорожки, пролагаемые ими по самым крутым горам и служащие потом в пользу человека, так как они всегда ведут в какое-нибудь ущелье к ручью, из которого адомбеи пьют воду. Мои абхазцы не хотели и слышать о провозе на линию цельной шкуры, говоря, что ни одна из наших лошадей не имеет силы протащить ее даже один день и мы будем принуждены бросить на дороге со шкурой и лошадь. Поневоле я должен был покориться такому весьма практическому заключению моих проводников, и не без досады видел, как стали выкраивать ремни из прекрасной шкуры, под которою мы все семеро находили место во время нашей стоянки на берегу Зеленчуга. Еще на южной стороне гор собрал я в ущельях Гумисты и Бзыба большое число камней разных пород, между прочим и кварцы с следами золотой руды, и наполнил ими саквы, висевшие у меня за седлом. Саквы были спрятаны вместе с седлом там, где мы оставили наших лошадей. Когда их привели на Зеленчуг, дорожные мешки оказались пустыми, невзирая на мою просьбу ничего в них не трогать. «Где мои камни?» – спросил я абхазцев. – «Где? в снегу на горе, – ответил один из них. – Лошади стало тяжело, и я выбросил их; а если ты любишь так таскать с собою камни, так в Зеленчуге их очень много, пожалуй, я наберу!» После этого нечего было и говорить. Во время дороги я был принужден записывать и делать мои пометки скрытно от проводников, зная, сколько они ненавидят всякое письмо и как боятся его, считая его дьявольским искусством. Заметив, что я составляю записки, они, в случае какого-нибудь несчастья, не замедлили бы приписать его грешным знакам, чертимым мною на бумаге, и нельзя предсказать, до чего бы могла их довести в подобном случае суеверная злоба.

От Зеленчуга мы перешли на Кяфир через высокий скалистый гребень, на котором стояли развалины церкви, вероятно грузинской, постройки времен царицы Тамары. Этот переход был не только труден, но представлял даже новую опасность особенного рода. Скалы, которыми был увенчан гребень горы, упирались подножием в крутые покатости, покрытые сырою, скользкою травой. В лощинах, прорезывавших бока горы, по которым мы должны идти, обходя скалы, лежал еще снег. Днем его поверхность таяла, а ночью, замерзая, покрывалась довольно крепкою ледяною корой. Переправа через эти снежные полосы представляла немалую опасность, потому что с них можно было, поскользнувшись, скатиться в ужасную глубину. Дороги тут не было и следа. С целью проложить ее, Хатхуа и Багры пускались обыкновенно бегом через мерзлый снег, упираясь на свои железом окованные палки и прошибая ледяную кору сильными ударами ног. По протоптанному ими следу переходили остальные, становясь ногой только на места, пробитые в снегу. Лошадей, с катером впереди, переводили на длинной веревке. На одном из подобных мест даже катер, отличный ходок по горам, не хотел переходить, кусался, бил ногами и не тронулся с места, пока люди, пробежав несколько раз, не проделали более безопасной дорожки. Спустившись вниз по Кяфиру, мы вышли из тесного ущелья, по которому он протекает в своем верховье, и вступили на холмистую местность, покрытую небольшими перелесками и высокою, сочною травой, в которой конный человек скрывался до головы. Нам следовало с Кяфира поворотить на запад, обогнуть самые крутые контрфорсы главного хребта и потом подняться на юг, вверх по Урупу, на котором жили в то время башилбаевцы, недалеко от его верховья. Чем более удалялись мы от высоких гор, тем осторожнее становились мои абхазцы. Дело черкесских хаджиев, побитых на Бзыбе, не выходило у них из ума. Соседство кабардинцев, живших также на Урупе, только гораздо ниже башилбаевцев, сильно их тревожило.

На втором переходе от Зеленчуга мы не разводили ночью огня, для того чтобы не привлечь к себе незваных гостей; а потом шли только ночью и дневали в глубоких балках, не расседлывая лошадей и не выпуская из рук оружия. На пятый день, повернув опять к горам, мы сделали огромный переход вверх по Урупу, перед вечером вошли в дремучий лес и поздно ночью остановились на небольшой поляне, которую загораживала с одной стороны высокая отвесная скала. Далее этого места ни хаджи Соломон, ни его абхазцы не смели идти, жалея своих голов. Верстах в пяти отсюда лежало селение Мамат-Кирея Сид-ипы, из рода Маршаниев, приятеля Микамбая. Башилбаевцы принадлежали к числу девяти небольших абазинских обществ, занимавших северо-восточную покатость

гор, между реками Урупом и Сагуашею. Язык и господствующие у них фамилии доказывали их абазинское происхождение. Колыбель их племени находилась бесспорно в Абхазии, из которой они выселились, в давние времена, за Гагры и на северную сторону гор, по недостатку земли и по причине внутренних раздоров. Назывались эти общества: Башилбай, Там, Кызылбек, Шегирей, Баг, Баракай, Лов, Дударукуа и Бибердa. Все они находились в зависимости от черкесских князей племени адыге, обративших их в своих данников и отказывавших по этой причине Ловам, Бибердам, Дударукувым и Моршаниям в княжеском титуле. Беслинеевские князья Канукуа считали башилбаевцев своими вассалами, и только со времени покорения их русскими потеряли право получать с них подать. Приводя множество имен, имеющих одинаковое окончание, считаю не излишним пояснить, что жители Востока имеют обыкновение прибавлять к каждому имени: сын такого-то и что грузинское – дзе, черкесское – ику, абазинское – ипа, татарское – оглы, значат – сын: так, например, Херхеули-дзе, Беслан-ику, Сид-ипа, Пасван-оглы и т.д.

Микамбай послал Хатхуа в ту же ночь уведомить о своем прибытии Мамат-Кирея Сидова, как его называли русские, вместо Сид-ипа, и забрать у него съестных припасов. Хаджи Соломону и мне самому было желательно повидаться с Сидовым как можно скорее, для того чтоб узнать от него, каким способом могу я проехать далее к братьям Ловам. Хатхуа вернулся перед утром вместе с доверенным слугою Сидова, принесшим корзину, полную разных припасов, и пригнавшим двух баранов, от имени жены своего господина, который находился в отлучке. Несколько дней до нашего прихода не только он, но и все другие абазинские и кабардинские старшины, а между ними и братья Ловы, уехали для совещания на русскую сторону в Железноводск к начальнику кубанского кордона. Башилбаевцы покорились русским полгода перед тем, а Ловы, как мне рассказал башилбаевец, стали ездить на линию несколько недель тому назад; значит, они также были приняты в число русских подданных. Это известие меня нисколько не обрадовало. С той минуты, что они гласно передались русским, Ловы не могли более мне быть полезными для моего путешествия к морскому берегу. Кроме того, их отсутствие, равно как отлучка Сидова и других абазинских старшин, с которыми хаджи Соломон имел связи, ставили меня и моих абхазцев в весьма неприятное положение. Жена Мамат-Кирея не решалась принять нас в отсутствие своего мужа, опасаясь за жизнь абхазцев, по причине канлы, которую имели против них черкесы из-за побитых хаджиев. До Железноводска считали около двухсот верст. Нарочный, которого она предлагала послать за своим мужем, мог поспеть туда не раньше трех дней, и нам нельзя было ожидать возвращения Сидова, как бы он ни спешил, прежде семи или восьми дней. Охранное письмо князя Михаила на имя хаджи Джансеида нисколько не успокаивало старого Микамбая. «Эти кабардинцы отъявленные разбойники, – повторял он беспрестанно. – Только узнают, что мы находимся здесь, и явятся к нам, как снег на голову, не спрашивая, какой тут владетельский Шакрилов и какое письмо бережет он за пазухой. Им не нужны ни письма, ни рассказы; прежде всего они хотят абхазской крови». Сколько хаджи Соломон ни сердился, а делать было нечего, и приходилось спокойно оставаться в лесу до возвращения Сидова или до приезда Ловов, которым бы он мог меня передать целого и живого, как им было обещано; иначе ссора с владетелем делалась неизбежною; после всех трудов пропадали наградные деньги, да сверх того завязывалось с русскими самое неприятное дело.

Покоряясь злой необходимости, Микамбай просил только башилбаевца передать жене Сидова, чтоб она не медлила ни одного часа отправление гонца за своим мужем, которому я обещал сверх того, от себя хорошую награду, если он скоро доставит мое письмо генералу ***, никому об этом не говоря. В записке, писанной по-немецки, для того чтоб ее ни в каком случае не могли прочитать черкесы, между которыми находились люди знакомые с русскою грамотой, я объяснил в коротких словах мое положение и просил, как можно скорее, прислать ко мне одного из Ловов для устройства моего проезда с Урупа на линию. Покончив это дело, мы принялись устраивать для себя безопасную стоянку на довольно долгое время, причем оказалось, что хаджи Соломон был весьма предусмотрительный человек. Место, куда он нас привел, лежало в такой глуши, что один только несчастный случай или измена могли навести на него наших врагов. Оно находилось в дремучем лесу, в стороне от всех дорог, и пользовалось обороной, которую не легко было найти в другом месте. Я говорил уже о скале, загораживавшей поляну с одной стороны. Эта скала имела около пятидесяти сажень вышины; верхняя часть была отвесна, нижняя спускалась к земле покатостью, по которой мог вскарабкаться разве медведь, а не человек. На половине ее

высоты виднелось небольшое круглое отверстие и возле него длинная горизонтальная скважина, открывавшая вход в большую пещеру. Узенькая, едва приметная дорожка, проходимая только днем, – так она была крута и опасна, поднималась с поляны до отверстия. На ружейный выстрел от пещеры не было ни дерева, ни камня, за которыми мог бы скрыться неприятель. Лучше этой самою природой устроенной крепости нельзя было придумать для небольшого гарнизона. В пещеру втащили седла, провизию, двух живых баранов, кроме битой говядины, дров и воды в дорожных тулуках. Продолговатая скважина защищалась натуральным бруствером; отверстие можно было баррикадировать, в случае нужды, камнями, лежавшими во множестве на дне пещеры. Остатки обгоревших дров, сухая трава для постели и закопченный свод пещеры доказывали, что мы не первые искали в ней защиты от злых людей. Хатхуа распоряжался в ней как дома, зная все ее извилины. После того я узнал, что она нередко служила притоном для абхазцев и для медовеевцев, ходивших на северную сторону грабить черкесов. Башилбаевцы доставляли им в этом случае продовольствие и никогда их не выдавали, находя весьма выгодным иметь под рукою людей, через которых можно было переправлять на другую сторону гор краденую скотину и людей. У горцев воровство считается, по их понятиям, за весьма почетное ремесло; стыдно только быть пойманным на деле.

Устроившись в пещере совершенно по-домашнему, мы стали терпеливо ожидать конца наших похождений. Днем мы бродили по лесу с ружьями в руках за дикими козами и за клубникой, приводили в порядок оружие или курили, греясь на солнце, что составляло для моих абхазцев самое приятное развлечение. Лошади паслись на поляне под караулом одного человека, другой не оставлял никогда пещеры и наблюдал с высоты за окрестностью. Если спросят, что он мог видеть, имея пред глазами одни вершины дерев дремучего леса, то я отвечу, что горец по полету и по крику птиц заключает довольно верно о том, что происходит в непроницаемой глубине леса, и этих примет достаточно для того, чтобы знать, приближаются ли люди. На ночь мы сбирались в пещеру, слегка закладывали вход, тушили огонь и привязывали лошадей возле скалы, где они находились под защитой наших ружей. В съестных припасах у нас не было недостатка; их приносили нам до рассвета, для того чтобы в ауле не догадались, что в лесу скрываются гости другой стороны гор. Микамбай имел всегда

в пещере проса и молока на несколько дней вперед и не трогал запасных баранов. Наша позиция была так хороша, что с семью меткими ружьями, при достаточном количестве пороха и свинца, в которых мы не нуждались, нам нечего было бояться даже сотни врагов, и нас могли выморить разве только голодом. В этом положении мы прожили восемь дней без всяких приключений, кроме одной фальшивой тревоги по поводу мнимой покражи наших лошадей. Оказалось потом, что караульный, заснув, не заметил, как они сами ушли в лес. Тревога кончилась тем, что лошадей отыскали и привели назад. Багры и я ходили вместе на охоту и принесли однажды козу с козленком, которых он убил одною пулей, дав им поравняться на линии выстрела, для того чтобы не тратить лишнего заряда.

На девятый день башилбаевец, доставлявший нам пищу, принес весьма приятное известие, что его господин вернулся и с ним приехали Ловы и другие абазинские старшины, для того чтобы меня проводить на линию по приказанию генерала ***. Сидов просил хаджи Соломона выехать со мною на половину дороги к его аулу, для того чтобы не познакомить с нашим притоном посторонних людей, которые будут его сопровождать. Сначала я не мог понять причину, побуждавшую Сидова сделать мне гласную встречу, которой я совершенно не желал и которая могла только вредить моим планам. Письмо генерала ***, переданное мне, когда я прибыл на свидание, объяснило мне это дело. Не зная ни причины, ни цели моего путешествия из Абхазии на линию, генерал *** чрезвычайно удивился моему неожиданному появлению на Урупе. Понимая опасность, которой я подвергался в этом месте, как русский, находящийся притом в товариществе с абхазцами, он на первых порах думал было собрать летучий отряд и идти с ним выручать меня. Но потом он рассчитал, что на это было необходимо слишком много времени и что такой редкий случай, как мой приезд, мог быть с пользой употреблен, для того чтобы принудить вновь покоренных башилбаевцев и кабардинцев, переселенных им на Уруп, дать гласное доказательство своей покорности, а это могло бы поссорить их с неприязненными нам черкесами, с которыми они продолжали иметь тайные связи. Поэтому генерал*** приказал собранным около него в Железноводске Сидову, Ловам и кабардинскому князю Исмаилу Касаеву отправиться немедленно домой и обеспечить мой проезд с Урупа на Кубань, возложив на них полную ответственность за мою безопасность. Все распоряжения он делал гласно, не полагая,

чтоб я решился на новое путешествие в горах. Этот оборот дела налагал на Мамат-Кирея Сидова обязанность принять меня не как неизвестного путешественника, а как русского офицера, посещающего его дом, чего еще никогда не бывало.

Выехав из лесу с Микамбаем и с Шакриловым, который не должен был оставлять меня до Железноводска, мы были встречены в некотором расстоянии от аула Сидовым и Ловами, имевшими за собою около сотни узденей, отлично одетых и на прекрасных лошадях. В нескольких шагах мы остановились, слезли с лошадей и сошлись поздороваться по черкесскому обычаю, приложив руку к шапке. Микамбай представил мне Сидова, а Сидов своих гостей, трех братьев Ловов, Аслан-Гирея, Эдыга и Мамат-Кирея. После того он пригласил меня посетить его дом, извиняясь заранее, если его ограниченный достаток не позволит ему принять меня достойным образом.

Правила вежливости, соблюдаемые черкесом, когда он принимает гостя, так ярко обрисовывают его гостеприимный быт, что я не могу упустить случай рассказать о приеме, сделанном мне Сидовым. Надо начать с того, что в глазах горца нет такой услуги, которая могла бы унизить хозяина перед гостем, сколько бы ни было велико расстояние их общественного положения. Звание тут не принимается в расчет, и только самые малые оттенки означают разницу в приеме более редкого или почтенного гостя. Я принадлежал в этот раз к числу не только редких, но и совершенно небывалых гостей. Перед дверьми кунахской Сидов соскочил с лошади, для того чтобы держать мое стремя, потом снял ружье и провел меня на место, обложенное для меня коврами и подушками, в почетном углу комнаты. Усевшись, мне следовало промолчать несколько мгновений и потом осведомиться о здоровье хозяина и Ловов, которых со мною познакомили. У горцев считается неприличным для гостя расспрашивать о жене и детях. От моего приглашения садиться все, как водится, отказались на первый раз. Скоро подали умыть руки, и вслед за умыванием был принесен ряд низеньких круглых столов, наполненных кушаньем. Я пригласил вторично Сидова и Ловов сесть со мною за стол. Хозяин решительно отказался, в знак уважения ко мне, и все время простоял в кунахской, не принимая участия в обеде; Ловы, будучи сами гостями, сели около стола.

Черкесы употребляют для молока деревянные ложки, говяжий отвар пьют из ковшей, а все остальное едят пальцами из одной большой миски, поставленной посреди стола и обложенной вместо хлеба кусками густой просяной каши. Говядину режут ножом, который у каждого имеется в ножнах кинжала. Число подаваемых блюд увеличивается с значением гостя: их было так много, что я не успел пересчитать. Обед состоял из вареной баранины, говяжьего отвара, разных яичниц, молока десяти различных приготовлений, вареных кур с подливкою из красного перца, жареной баранины с медом, рассыпного проса со сметаною, буйвольего каймака и сладких пирожков. Черкесы пьют только воду, брагу или кумыс, так как вино им запрещено Кораном. По правилам черкесской вежливости, никто не касается до кушанья прежде старшего гостя, и когда он кончил, все сидящие с ним за одним столом также перестают есть, а стол передают второстепенным посетителям, от которых он переходит дальше, пока его не очистят совершенно, потому что горец не сберегает на другой раз что было однажды приготовлено и подано. Чего не съедят гости, выносится из кунахской и отдается на дворе детям или невольникам, сбегающимся на каждое угощение.

Место имеет большое значение в черкесском приеме. Для того чтобы дать мне первое место и в то же время не обидеть старика хаджи Соломона, гостя из дальней стороны, которому лета давали преимущество надо мною, его поместили в другой кунахской и угощали особенно. Лета ставятся у горцев в общежитии выше звания. Молодой человек самого высокого происхождения обязан встать перед каждым стариком, не спрашивая его имени, уступать ему место, не садиться без его позволения, молчать перед ним, кротко и почтительно отвечать на его вопросы. Каждая услуга, оказанная седине, ставится молодому человеку в честь. Даже старый невольник не совсем исключен из этого правила. Хотя дворянин и каждый вольный черкес не имеют привычки вставать перед рабом, однако же мне случалось не редко видеть, как они сажали с собою за стол пришедшего в кунахскую седобородого невольника. Горские обычаи немало способствовали мне сохранить свою неизвестность между горцами, которых языка я не знал. Мне было тогда не более двадцати пяти лет, следственно я везде встречал людей старше меня, при которых был обязан скромно молчать. Хаджи Соломон вернулся в тот же вечер в лес и ушел с своими людьми в Абхазию. Из старых проводников остался при мне один Шакрилов, от которого мне было мало пользы. Все смотрели на него как-то недоброжелательно и не обижали его только потому, что он имел поручение к хаджи

Джансеиду и находился под моим покровительством. Меня же самого оберегала хотя и дальняя, но весьма положительная сила русского штыка.

Между моими новыми знакомыми я мог совершенно надеяться на Сидова и на Ловов. Сидов властвовал над башилбаевским обществом в две тысячи душ мужского пола. В тридцать пятом году, когда я приехал на Уруп, он находился в числе покорных нам горских владельцев, принимал меня гласно в своем доме и, я уверен, не пощадил бы своей жизни для моей защиты. Несколько лет спустя он отложился, и в сорок пятом году заставил много говорить о себе, захватив с шайкою в двенадцать человек, на дороге между Пятигорском и Георгиевском, жену полковника Махина, которая прожила у него в плену более восьми месяцев, пока ее не выкупили за дорогие деньги. Подобные переходы от более или менее шаткой покорности к открытой вражде принадлежали в то время к самым обыкновенным явлениям на Кавказе. Братья Ловы были приняты в число покорных, с преданием забвению всех прежних преступлений, недели за две до моего приезда. Это обстоятельство отняло у меня всю надежду через них достигнуть моей цели, и я должен был думать о других способах. Слух о том, что они покорились, или, как горцы имели обыкновение выражаться, – познакомились с русскими, – и перешли жить в свой родовой аул на Куме, разнесся везде, и этого было достаточно, чтобы возбудить против них величайшее недоверие между неприязненными черкесами, у которых они после этого не смели показываться. Несмотря на их бесполезность для моих будущих планов, я не мог не обратить внимания на младшего брата, Мамат-Кирея. Двадцати лет, красавец в полном смысле слова, каких даже немного у черкесов, ловкий и смелый, он с первых минут нашего знакомства мне чрезвычайно понравился и внушил мне желание привязать его к себе. Свою первую молодость он провел между русскими и выучился в георгиевской гимназии правильно говорить, читать и писать по-русски, чем я воспользовался, для того чтобы просить его быть моим переводчиком до приезда на Кубань. Тогда мне не приходило на ум, что судьба свяжет нас когда-нибудь еще теснее, положив на одни весы его жизнь и мою судьбу, как это случилось годом позже в абхазских лесах, когда кабардинцы захватили меня в плен, а его спас от смерти только неожиданный случай.

Во время путешествия через горы я совсем износил мое платье; черкеска была в лохмотьях, обувь едва держалась на ногах. У горцев существует обычай размениваться подарками с новым знакомым. На основании этого обыкновения весьма кстати принесли мне на другое утро от имени моей хозяйки новую черкеску, ноговицы и красные сафьянные чувяки, обшитые серебряным галуном, который черкешенки умеют изготовлять с неподражаемым искусством. Все эти вещи отличались хорошим вкусом, особенно чувяки, обувь без подошвы, на которую знатные черкесы обращают главное внимание в своем наряде. Они шьются обыкновенно несколько меньше ноги, при надевании размачиваются в воде, натираются внутри мылом и натягиваются на ноги подобно перчаткам. После того надевший новые чувяки должен лежа выждать, пока они, высохнув, примут форму ноги. Под чувяками впоследствии подшивается самая легкая и мягкая подошва. Взамен полученных подарков я отправил к жене Сидова десять новых червонцев, которые черкешенки носят на шее по восточному обыкновению. У черкесов и абазин, живущих на северной стороне гор, женщин скрывают; поэтому я не видал хозяйки, а переговаривался с нею через невольника.

Прогостив три дня у Сидова, я отправился на линию. Человек сто абазин, Сидовых и Лововских узденей, под предводительством своих князей проводили меня до большого Теченя, на берегу которого кабардинский князь Исмаил Касаев начинал тогда строить для себя дома. Он принял меня в шалаше, убранном коврами, за неимением другой кунахской. Касаев принадлежал к одной из первых княжеских фамилий в Кабарде и был очень богат, невзирая на потери, сделанные им в двадцать первом году, когда он бежал за Кубань. В тридцать пятом году он передался опять на сторону русских и должен был поселиться около Урупа, потому что со времен Ермолова существовало правило не допускать в Кабарду бежавших князей, которые были для нас гораздо вреднее и опаснее простого народа, легко смирившегося, когда они перестали тяготеть над ним. Касаев меня угостил еще с большею пышностью, чем Сидов. У него в доме господствовала старинная турецкая роскошь, обнаруживавшаяся во множестве серебряной посуды, золоченых чаш для кумыса, ковров, парчовых тюфяков, бархатных одеял и тому подобных вещей. Сам Касаев, хромой, с лицом, выражавшим его монгольское происхождение, считался одним из первых молодцов и стрелком, привыкшим бить с седла коз и оленей. Открытое помещение и множество гостивших у него людей, между которыми, я полагаю, были и неприязненные

черкесы, заставили его принять для меня особые осторожности. Касаев лег спать с нами в шалаше и, когда все заснули, с помощью Мамат-Кирея Лова переместил мою постель на другой конец шалаша, сказав, что хотя опасности нет, а все-таки лучше быть осторожным и не верить никому, потому что мысль человека не написана у него на лице, а слова всегда лгут. По углам нашего помещения всю ночь караулили касаевские уздени, вооруженные двуствольными ружьями. Касаев проводил меня до Кубани, через которую я переправился против Баталпашинской казачьей станицы. Оттуда я приехал на кавказские минеральные воды, прогостив короткое время в Тохтамыше у генерала султан-Азамат-Гирея, потомка крымских ханов, и на Куме у моего приятеля Лова. Этим кончилось мое первое путешествие.

Имея в голове одну мысль и в сердце одно желание исполнить то, что обещал насчет осмотра морского берега, я не терял надежды сдержать свое слово, несмотря на новую неудачу с Ловами. При первом свидании я объяснился с генералом *** насчет этого дела, просил его помощи и объявил ему, что намерен в крайнем случае обратиться к хаджи Джансеиду, пользуясь письмом к нему абхазского владетеля, хотя знаю всю силу его вражды против русских. Генерал не советовал мне доверяться этому человеку и отговаривал меня пускаться в том году снова в горы по причине огласки, которой подверглось мое первое путешествие. Несмотря на все его доводы, что я сделался теперь известен многим черкесам, которые станут меня караулить, я не хотел отказаться от своего намерения и просил его указать мне другого человека, если он считает опасным иметь дело с Джансеидом. Уступая моей настойчивости, он стал перебирать в уме всех известных ему молодцов и остановился на имени князя Карамурзина, который, по его мнению, мог не менее хаджи Джансеида быть мне полезным. Сперва надо было только узнать косвенным образом, согласится ли он быть моим проводником; потом уж от меня зависело или не начинать дела, или вступить с ним в прямые переговоры. Генерал собирался ехать на Кубань и обещал мне при этом случае выведать что было нужно от Карамурзина, а я должен был пока оставаться на кавказских минеральных водах. Чтобы прекратить все разговоры обо мне и усыпить внимание, с каким горцы стали за мною следить, я просил генерала по прошествии нескольких недель распустить за Кубанью слух, что я заболел на водах и скоропостижно умер. Между

тем этот ложный слух, выдуманный мною самим, едва не обратился в истину. На одной из прогулок, около Пятигорска, моя лошадь упала на всем скаку под гору, и я ударился головой о каменистый грунт дороги с такою силой, что потерял память и некоторое время не узнавал ни места, ни людей. Мамат-Кирей Лов и несколько его абазин, бывших со мною, считали меня убитым и только тогда удостоверились в противном, когда я сам встал и поднял на ноги мою лошадь. Полсотни пиявок и кровопускание избавили меня от дурных последствий падения, которое имело для меня и свою хорошую сторону, доставив мне знакомство и дружбу замечательного по своему уму доктора Мейера, выведенного Лермонтовым в его «Герое нашего времени».

На водах я привел в порядок мои путевые записки. Если пройденная мною дорога не представляла особенного интереса, зато собранные мною этнографические сведения были новы и весьма положительны. Из Абхазии, до верховья Урупа, я шел по местам совершенно незаселенным, наполненным на нашей карте множеством несуществующих народов, которые мне пришлось стереть. Ошибки происходили оттого, что карты местностей, куда не проникали еще ни путешественники, ни войска, пополнялись через расспросы людей, дурно говоривших по-русски и которых языка мы совершенно не знали. Таким образом, верховья Зеленчугов считались заселенными довольно сильным племенем аланетов, которого я нигде не мог отыскать или, вернее сказать, находил повсюду, потому что аланет на мингрельском языке значит горец. Благодаря Эмину Шакрилову и Мамат-Кирею Лову, я познакомился с языками и наречиями, находящимися в употреблении за Кубанью, и получил этим способом возможность положить первое основание правильному систематическому разделению на племена горцев, живущих против правого фланга кавказской линии. Прежде у нас считалось за Кубанью столько же различных народов, сколько там существовало названий обществ или отдельных аулов. Древние греческие, византийские, арабские и генуэзские историки также мешали племена и народы, без разбора называя их синтами, керхетами, ахеянами, гениохами, зигами, джиками, джикетами и, наконец, абазгами. Я же нашел на берегу Черного моря и за Кубанью только три различных народа: абазин, черкесов и татар, говорящих на трех коренных, нисколько между собою несходных языках. Они не понимают друг друга; между тем как наречия, образовавшиеся

из одного коренного языка, всегда сходны с ним, и не мешают объясняться между собою горцам одинакового происхождения. Не знаю, позволено ли считать убыхов, имеющих свой собственный язык, четвертым племенем, или они составились из абазин, черкесов и европейцев, выброшенных, как говорит предание, на черкесский берег еще во время первого крестового похода.

В пример разнозвучия трех указанных мною языков привожу из каждого по несколько слов. Так, слова: приятель, женщина, девушка, ружье – значат на одном из этих языков: суазар, апхыс, ипха, ашкуаки; на другом – иблагас, фыз, пшаша, фоки; на третьем – кунах, арвад, кыз, мултук.

Привожу из моих заметок несколько статистических данных, относящихся к тогдашнему времени. С тех пор все изменилось, особенно после громадного выселения, положившего конец кавказской войне: где прежде жили черкесы, ныне русские казаки пашут землю и пасут свои стада.

А. *Абазинское племя*.

Не останавливаясь на бесполезном разборе темных сказаний древних историков и баснословных народных преданий, я берусь только означить первое место, занятое абазинами на Кавказе. Оно находилось бесспорно в нынешней Абхазии, между морем и горами, ограничиваясь на юге Ингуром и на севере Бзыбом. Внутренние раздоры, кровомщение и недостаток удобной земли, в особенности пастбищных мест, заставили небольшую часть абазин переселиться во внутренность гор, к источникам Кодора, Бзыба и Мдзимты, и образовать там вольные общества, после того как они столкнулись с черкесами на реке Соче, распространяясь по берегу моря на север. Не находя довольно средств для своего существования и в этих местах, некоторые семейства перешли через снеговой хребет, на северную сторону гор, и поселились там на недальнем между собою расстоянии. Старшие линии всех значительных абазинских родов Цебельды, Медовея и северной стороны гор можно было найти в Абхазии, чем совершенно оправдывается мое мнение. В языке абазин, перешедших за снеговой хребет, произошло слабое изменение сравнительно с чистым абхазским языком, заметное, впрочем, только для привычного уха, а именно – утрата буквы а, прибавляемой в начале каждого существительного. Вместо адомбей, ачгун, ашкуаки, апхюс, ахюс – на северном говоре: домбей, чгун, шкуаки, пхюс, хюс и т. д. К абазинскому племени принадлежали следующие владения и общества:

а) На южной стороне гор:

1. *Абхазия*, от устья *Ингура* до *Бзыба*, владение фамилии Шервашидзе – около 80.000 жителей.

2. *Цебельда*, *Херпыс-куадж* или *Цымпар*, около верховья *Кодора*, вольное общество, в котором первенствующая фамилия князей Маршаниев, – до 8.000 жителей.

3. *Псхо*, у источников Бзыба и Апсты.

4. *Ачипсоу, Айбога* и *Чужгуча*, на верховьях *Мдзимты*, *Псоу* и *Мцы*. Последние четыре селения известны были у черкесов под одним общим названием *Медовей*. В них господствовали также Маршании, разделившиеся на две отрасли Богоркан-ипов и Мас-ипов. Жителей в Медовее можно было считать не более 10.000.

5. *Садзы*, или джекеты, на морском берегу от *Гагр* до реки *Сочи*, – 11.000 душ. Они разделялись на множество вольных обществ.

6. *Саша*, на реке Соче, под властью княжеской фамилии Облагу. Жителей до 10.000; в том числе есть отчасти черкесы и убыхи.

б) На северной покатости главного хребта:

1. *Башилбай*, на верховье Урупа, под властью Маршаниев, – 1.800 душ.

2. Там, недалеко от источника *Большой Лабы*, – 550 жителей, повиновавшихся узденям Заурум-ипа.

3. *Кызылбек*, между *Большою* и *Малою Лабою*, на речке *Андрюк*, – 500 душ; господствующая фамилия – Маршании.

4. *Шегирей*, в начале *Малой Лабы*, – 600 душ, под властью узденей Шиокум.

5. *Баг*, на реке *Ходзе*, у подошвы горы *Ашишбог* (имя произошло от дворянской фамилии, владеющей этим аулом), – 600 душ.

6. *Баракай,* на реке *Губсе*, – 1.250 жителей, повиновавшихся двум дворянским фамилиям Лях и Анчок.

7. *Ловов аул,* на *Куме*, по правую сторону *Кубани*, – 1.800 жителей.

8. *Дударуков аул*, на левом берегу *Кубани*, против станицы *Баталпашинской*, – 1.700 душ.

9. *Бибердов аул* существовал на *Урупе* до 1829 года, когда он был совершенно разорен русскими войсками, под командой генерал-майора Фролова, и жители его отведены в плен.

Всего можно было полагать на Кавказе абазинского племени около 128.800 душ.

В. *Черкесское племя адыге*.

Черкесы сами называют себя адыге. Одна их отрасль признавала над собою власть своих родовых старшин или князей, другая пользуется совершенною независимостью. Равным образом в черкесском языке два наречия: кабардинское, наречие княжеских черкесов и абадзехское – вольных обществ.

Собственно за Кубанью были в мое время:

а) Черкесы, повинующиеся княжеским родам:

1. *Беслиней*, на *Большой Лабе* на *Тегенях*, – около 8.000 жителей, подвластных княжеским фамилиям Канукуа и Шалох.

2. *Кемюргой* и *Егерукой*, два владения, соединившиеся под управлением одного князя из фамилии Балатукуа, находились на низовье Лабы, – 9.000 душ.

3. *Мохошь* на левом берегу *Лабы*, выше Кемюргоя, – 2.500 душ, повиновавшихся князьям Богорсук.

4. *Гатюкой*, достояние князей Гатюк, на Лабе и частью на правом берегу Сагуаши, – 5.000 жителей.

5. *Бжедухи*, по низовьям рек *Пшекупс* и *Пшиша*, – 6.000 душ под властью двух княжеских родов Камышей и Черченей.

6. *Кабардинцы*, поселенные на *Урупе* и на *Тегенях*, – от 4 до 5.000 душ.

б) Вольные черкесы:

1. *Шапсуги* по берегу Черного моря, от *Анапы* до реки *Шахе*, и по низовой части Закубанья, делятся на больших и на малых. Большие, между Кубанью и горами, составляли одно общество; малые, приморские, делились на множество вольных обществ, соединившихся между собою только впоследствии, когда были атакованы нашими силами. *Натухайцы*, около *Анапы* и *Суджукской бухты*, те же шапсуги, составившие отдельный союз. Всего шапсугов с натухайцами можно было полагать до 300.000 душ.

2. *Абадзехи,* за *Сагуашею*, в глубоких лесах, покрывающих эту часть Кавказа. У них считалось до 160.000 жителей.

3. *Убыхи*, которых некоторые считают народом особого происхождения, на юго-западной покатости гор, между реками *Сочи* и *Шахе*. На берегу моря они составляли, перемешавшись с шапсугами, несколько отдельных обществ: Хизе, Уордане, Шмиткуадж и Зюеш, известных у черкесов под общим именем Ардона. Я не успел познакомиться с их народным языком, потому что убыхи, с которыми я встречался, всегда говорили по-черкесски. Убыхов полагали не более 6.000 душ.

Всего черкесского племени можно было приблизительно считать до 500.000 душ.

С. *Татарское племя*.

1. *Ногайские татары* были поселены русским правительством, в числе 12.000 душ, на левом берегу Кубани, от Баталпашинской станицы вниз до устья Лабы. Между ними нет дворянства, а существуют только вольные люди или так называемые второстепенные уздени, повинующиеся князьям пяти фамилий: Келембет, Мансур, Кипчак, Карамирза и Навруз.

2. *Карачаевцы*, на верховьях Кубани и Тиберды и у подошвы Эльбруса, более торговый, чем воинственный народ, состоит приблизительно из 8.000 душ.

Ногайцы и карачаевцы говорят на наречии употребляемого во всей Средней Азии татарского языка.

Время летело для меня на минеральных водах, наполненных посетителями со всех концов России. Незаметным образом подошел август, в начале которого генерал уведомил меня, что открывается случай, могущий послужить в пользу моему предприятию, и звал меня к себе в Прочный Окоп, для того чтобы лично переговорить обо всем с Карамурзиным. Обрадованный этим известием, я немедленно оставил Пятигорск и поскакал на почтовых, чтобы скорее кончить дело. Наконец открывался для меня надежный путь к давно желанной цели.

Воспоминания кавказского офицера

Часть вторая

I.

Прочный Окоп занимает слишком памятное место в моей кавказской жизни, для того чтобы промолчать о нем. Как крепость он не стоил никакого внимания; зато как центральный пункт линии и как местопребывание начальника кубанского кордона, он обращал на себя взоры не только горцев, на которых из него налетала гроза, но и русских, жаждавших отличия в экспедициях и набегах. Построенный против устья Урупа, на самом высоком пункте правого берега Кубани, Прочный Окоп господствовал над всею окрестностью, был виден издалека, и из него было видно далеко за реку.

Внутренность укрепления весьма мало соответствовала его официальному назначению, неприятно поражая бедным и некрасивым видом построек, загромождавших скудное пространство, огороженное бруствером в шесть футов вышины, расположенным в виде бастионированного пятиугольника. На исходящих углах стояли чугунные орудия малого калибра. Ров осыпался и во многих местах представлял весьма незатруднительные переходы. Дом кордонного начальника, с садом и самыми необходимыми службами, казарма для одной роты и для нескольких десятков казаков, провиантский магазин, артиллерийский цейхгауз и пороховой погреб, помещенные в Прочном Окопе, дослуживали свое время; внутри только квартира генерала *** наводила изумление на приезжавших горцев наполнявшими ее предметами азиатского богатства и

европейских жизненных удобств. В ста саженях на север от укрепления лежал форштадт, в котором жили семейства женатых солдат, помещаясь в двух рядах низких мазанок, крытых камышом и, для безопасности от неприятеля, кругом обгороженных колючим плетнем со рвом. В трех верстах, тоже по реке, находилась главная станица кубанского линейного казачьего полка, названная Прочноокопскою, по имени укрепления. Вся правая сторона Кубани представляла взору одну гладкую, пустую степь. На противоположном берегу расстилалась перед крепостью пространная зеленая равнина, ограниченная на горизонте темною полосой лесистых гор, над которыми белелся ряд зубчатых вершин снегового хребта. Уруп и несколько впадающих в него речек извивались серебристыми лентами по равнине, казавшейся совершенно гладкою, но в сущности перерезанной глубокими рытвинами или балками, как их называли на Кавказе, служившими обыкновенно для укрывательства черкесов, выжидавших случая прорваться в наши границы.

Эта равнина, пролегающая от Зеленчуга до Черного моря, на расстоянии четырехсот верст, простиралась в ширину до семидесяти верст. Она давала полный разгул конным черкесам и нашим линейным казакам, сталкивавшимся на ней беспрестанно, когда первые выходили на добычу, а последние гонялись за ними для обороны линии. В то время все Закубанье находилось еще в неприятельских руках; русского поселения на Лабе и на Сагуаше не существовало, и только два небольшие передовые укрепления, на Урупе и на Чанлыке, одиноко сторожили широкое пространство между Кубанью и горами, изредка уставленное небольшими группами черкесских аулов, признавших над собою русскую власть единственно для сбережения своих богатых пастбищ. Абазинские горные селения, Башилбай, Там, Кызылбек, Шегирей, Баг и Боракай занимали полукругом, против самого Прочного Окопа, тесные ущелья и высоты лесных отрогов главного хребта, между Урупом и Сагуашею. За этою последнею рекой начиналась земля абадзехов, покрытая сплошным лесом; далее, против низовья Кубани, жили шапсуги и натухайцы. Эти три одноплеменных народа вели с нами открытую войну. У абадзехов скрывалось множество выходцев из Кабарды, с Кубани и из других мест, покоренных русскими, которые, посвятив себя на постоянную, беспощадную войну с нами, носили черкесское название гаджерет, а у нас были известны под именем абреков. Смелые, предприимчивые и хорошо знакомые с местностью около Кубани,

они водили к нам дальних горцев для грабежа и, когда им удавалось прорываться за нашу границу, жгли русские дома, угоняли скот и лошадей, убивали каждого встречного, захватывали детей и женщин. Наши пограничные казаки, одетые и вооруженные совершенно сходно с горцами и не менее их привычные к войне, день и ночь караулили границу и, в свою очередь, столкнувшись с абреками, когда сила брала, истребляли их до последнего человека. Война велась со всем ожесточением кровной народной вражды. Ни казаки, ни черкесы никогда не просили и не давали пощады. Не было ни средства, ни хитрости, ни вероломного обмана, считавшихся недозволенными для черкеса, когда дело шло убить русского, и для казака, когда предвиделась возможность подкараулить черкеса.

Для обороны русской границы были построены вдоль Кубани, на ее правом берегу, казачьи станицы, в двадцати верстах одна от другой, огороженные земляным бруствером, с небольшими бастионами посреди фасов, составлявших правильный шестиугольник. Между станицами по два поста, состоявшие из колючей плетневой ограды с наблюдательною вышкой, вмещали команды казаков, всегда готовых встретить неприятеля. Главная обязанность их заключалась в том, чтобы никогда не упускать его из виду, и даже если он сильнее, следить за ним с перестрелкою, для указания дороги резервам, скакавшим со всех сторон в случае тревоги. Возле постов стояли высокие шесты, обернутые соломой, со смоляными бочками наверху, которые зажигались при появлении неприятеля для означения места прорыва. Днем берег реки охранялся цепью караульных казаков, выставленных на курганах и на более возвышенных пунктах. На ночь против всех известных переходов располагались пешие казаки в засаде, а за ними ставились во второй линии, на соединении дорог, так называемые заставы, из двадцати и более конных казаков, обязанных бросаться в темноте на неприятеля, наткнувшегося на береговой секрет. Поутру высылались сверх того из станиц и от промежуточных постов вдоль реки разъезды отыскивать на песке и на росистой траве следы черкесов, успевших ночью прокрасться в наши пределы.

Несмотря на все эти предосторожности, на ловкость и на сметливость линейных казаков, черкесские абреки весьма часто проходили небольшими партиями через кордонную линию или прорывались через нее в большом числе открытою силой, проникая в глубину края, к Ставрополю, к Георгиевску и в окрестности минеральных вод. Смелость их бывала в этих случаях изумительна и нередко удивляла даже самых привычных кавказских ветеранов. Для десяти или двадцати абреков ничего не значило в долгую осеннюю ночь переправиться тайком через Кубань, проскакать за Ставрополь, напасть там на деревню или на проезжающих и перед рассветом вернуться с добычей за реку. Однажды сорок абреков прорвались из-за Кубани в астраханскую степь, ограбили там рыбных промышленников и вернулись потом счастливо в горы, пробыв более месяца в наших границах. Очень часто черкесы платили жизнью за свою дерзость, но это их не пугало. Сегодня казакам удается перебить партию абреков до последнего человека, а завтра другая шайка пробирается в наши пределы почти по следам своих погибших товарищей.

Подобного рода война требовала особой осторожности и вечной готовности к отражению неприятеля на всем протяжении нашей кордонной линии, от Каспийского до Черного моря, истощавших до крайности силы пограничного военного населения. Оборонительная система, которой мы предались на некоторое время в виде опыта, оказалась совершенно неудовлетворительною для сохранения спокойствия. Набеги горцев на наши границы умножились и приняли столь дерзкий характер, что казаки не находили, наконец, безопасности посреди своих станиц. Единственное средство остановить, хотя несколько, хищнические попытки горцев заключалось, бесспорно, в наступательных действиях и в карательных набегах на их аулы. Только опасение за свои собственные семейства и стада, поддерживаемое беспрестанною тревогой с нашей стороны, могло отвлечь от наших границ их неутомимую жажду добычи и военной деятельности.

Пользуясь свободой действовать оборонительно и наступательно, как ему заблагорассудится, только бы он успел изменить тревожное положение, в котором находилась линия, генерал *** действительно успел, путем удачных набегов, уменьшить неприятельские нападения на наши границы и если не покорить окончательно, то принудить, по крайней мере, абазинские аулы и черкесские общества между Кубанью и Сагуашею смириться перед русскою силой. Абреков, более всего опасных для спокойствия края, он старался переманить на русскую сторону, и вообще истреблял их всеми способами. В этом случае он поступал с черкесами по-черкесски.

Абречничество распространилось за Кубанью в то время, когда бежавшие кабардинцы, озлобленные покорением их

земли, дали обет, пока живы, мстить русским. Скоро из разных мест молодые люди стали уходить к неприятелю, провозглашая себя абреками, без другого повода кроме удальства и страсти к похождениям. Гораздо меньшее число делались абреками, имея действительную причину жаловаться на русских. Нельзя не признаться, что и в таких не имелось недостатка. Братья Карамурзины и их неразлучный товарищ имам Хази, которых генерал *** прочил мне в проводники, бежали в горы, можно сказать поневоле, побуждаемые к тому постигшею их тяжкою несправедливостью. Их история так любопытна и являет такой разительный пример пристрастного суда, которым позволяли себе иногда расправляться в былое время, что я не хочу о ней умолчать. Тут же спешу прибавить, что кавказские правители моего времени, каковы были Розен, Нейдгарт, Вельяминов, Граббе, Гурко, всегда следовали правилам величайшей справедливости в отношении горцев. О том, как велись дела на Кавказе после меня, не быв очевидцем, не смею говорить; но, кажется, имена Воронцова и Барятинского служат достаточною порукой за их просвещенный и справедливый образ действий.

Для ясности моего рассказа я должен прежде всего указать на следующие обстоятельства. В тылу нашей линии, между Иегорлыком и Кумою, находились ногайские селения, жители которых мирно занимались хлебопашеством и, в обширных размерах, скотоводством. Отрезанные от горцев рядом казачьих станиц по Кубани и по Малке, ногайцы зависели совершенно от нашей воли и не расставались с оружием, сохраняя некоторый дух воинственности, только потому, что должны были нередко обороняться от черкесских разбойников, которые грабили их, не делая различия между ними и русскими. Самое главное и многочисленное ногайское поселение находилось на реке Калаузе. Кроме того, были поселены на левом берегу Кубани, по воле правительства, около двенадцати тысяч покорных нам ногайских татар, повиновавшихся пяти княжеским фамилиям: Келембет, Мансур, Кипчак, Карамирза и Навруз. Татарские аулы составляли передовую линию против непокорных горцев, так как жители их были обложены до некоторой степени кордонною службой, обязаны были содержать караулы и помогать казакам встречать и преследовать неприятеля. Последние представители некогда грозной Золотой орды, ногайские князья отличались храбростью и могли во всех отношениях соперничествовать с самыми лучшими черкесскими

наездниками. Преданность ногайцев не всегда была безукоризненна, по причине трудного положения их между русскими и своими единоверцами в горах; но можно положительно сказать, что многие из князей исполняли добросовестно свои обязанности, и так как в сложности они действовали в нашу пользу, то благоразумие требовало смотреть иногда сквозь пальцы на мелкие грехи, свойственные их азиатской натуре.

Семьдесят верст выше Прочного Окопа лежал на правом берегу Кубани аул, в котором жили четыре брата Карамурзины, принадлежавшие к числу самых богатых и знатных ногайских князей. Русские уважали их за отличную храбрость и за их благородное поведение, никогда не подававшее повода к подозрениям в шалостях, которые нередко производились скрытным образом другими ногайцами. Понимая свое достоинство и упираясь на безукоризненную жизнь, они держали себя довольно гордо и независимо в отношении ближайших кордонных властей, что очень не нравилось этим последним, привыкшим признавать истинно преданными и полезными только людей, подобострастно покорявшихся их произволу. Трудно было и требовать в то время другого образа мыслей от совершенно необразованных казачьих офицеров, воспитанных в войне с черкесами и потому не знавших иной добродетели, кроме отчаянной храбрости. Казачий майор, управлявший Невинномысскою станицей, давно питал негодование против Карамурзиных; побуждаемый своим враждебным чувством, он не пропустил первого удобного случая, для того чтобы поставить их в самое унизительное положение. Плавучую мельницу, принадлежавшую ему на Кубани, сорвало с цепи во время полноводия и понесло вниз по реке. Карамурзины остановили ее вблизи от своего аула и дали знать об этом хозяину. Вместо благодарности за спасение мельницы он стал требовать с них деньги за железо, будто бы находившееся на мельничном плоту, обвиняя Карамурзиных в его похищении. Они с негодованием оттолкнули его оскорбительное обвинение и отказались заплатить ему значительную сумму, которой он требовал от них без права и без доказательств. Тогда майор подал на них жалобу в суд, который воспользовался этим случаем для оскорбления и притеснения Карамурзиных, всеми способами выжимая из них подачи. В сознании своей невинности, Карамурзины не хотели подчиняться незаконным домогательствам суда, определившего наконец в довершение всего посадить четырех братьев в острог.

Предуведомленные об этом, Карамурзины предпочли острогу свободную жизнь в горах, бросили на Кубани все, что имели, и бежали в Шегирей с небольшим числом преданных татар. Однажды в горах они так же горячо предались жизни абреков, как прежде честно и откровенно служили нам. Лишившись всего своего состояния, они могли существовать только грабежом. Такова была судьба каждого черкеса, бежавшего в горы из русских пределов. Скоро имя Карамурзиных разнеслось по всей линии и сделалось известным у неприятельских горцев. Мало абреков могли равняться с ними в предприимчивости, смелости и счастии, сопровождавших их вторжения. Для казаков они были неуловимы и приводили в отчаяние всех кордонных начальников. В делах, которые русские войска имели с горцами за Кубанью, они дрались впереди всех, и не раз ставили наших в весьма затруднительное положение. Генерал *** преследовал их сперва открытою силой, в надежде, что пуля или картечь избавят его наконец от этих опасных врагов, но успел только вполовину. Осенью тридцать четвертого года старший Карамурзин был убит в деле под Шегиреем, предводительствуя черкесскою конницей, имевшею дерзость броситься в шашки на русскую пехоту. Смерть его увеличила только злобу остальных братьев, умноживших свои нападения на нашу границу, которую тревожил более всего младший из них, Мамакай, преследуемый поэтому генералом *** с особенною настойчивостью.

Несколько месяцев спустя Карамурзины ночевали со своими товарищами в лесу на Лабе, готовясь сделать набег на линию. Ружейный выстрел разбудил неожиданно спящих. Мамакая нашли плавающим в крови, и когда опомнились от первого испуга, то заметили, что недостает одного человека в партии. Нетрудно, казалось, угадать, кем была направлена эта пуля. Умирающий Мамакай клятвенно обязал своих братьев, вместо бесплодного мщения, покориться русским. «Бог отдал нас в их руки, сказал он братьям, – Карамирзу убили пулей свинцовою, меня золотою, кончится тем, что перебьют и вас; ступайте к ним просить мира, для того чтобы не пропал с лица земли наш древний род». Надо заметить, что Карамурзины вели свою родословную от внука Чингисхана. Шесть недель после этого происшествия Тембулат и Бий Карамурзины, покорные воле умершего брата, вступили в переговоры с генералом ***, который с удовольствием согласился бы на их предложение, если бы тут не замешалось одно обстоятельство, уничтожавшее все

его расчеты. В то время когда Карамурзины бежали к неприятелю, по распоряжению правительства, все принадлежащие им уздени и крестьяне были переселены с Кубани в Саратовскую губернию, для того чтобы не ушли в горы за своими князьями. Теперь Карамурзины просили о возвращении своих подвластных, доказывая весьма основательно, что они без этого условия не могут покориться, так как будут лишены способов жить на Кубани, когда бросят войну, которая их питала, пока они находились в горах. Генерал ***, сколько ни желал привлечь на нашу сторону людей, которые могли наделать нам еще очень много вреда, не надеялся, впрочем, выхлопотать для них отступления от общего правила – не возвращать на Кавказ никого из горцев, выселенных однажды в Россию, и потому, не давая им положительного ответа, уговорил их только приостановить неприятельские действия в ожидании воли главнокомандующего, на обсуждение которого он обещал представить их дело.

Между тем я явился к нему неожиданно, с просьбой содействовать мне в открытии способа проехать к морскому берегу, и с правом предлагать самые высокие награды горцам, которые будут помогать мне в моем предприятии. Генерал *** тотчас увидал двойную пользу, которую можно было извлечь из этого обстоятельства, решавшего вопрос Карамурзиных, если б они согласились быть моими проводниками. С одной стороны, я достигал своей цели, а с другой – они находили средство получить обратно своих крестьян и, следовательно, сделались бы безвредными для линии, чего генерал *** добивался так долго всеми возможными средствами. Приехав в Прочный Окоп, он не замедлил вызвать к себе секретно старшего Карамурзина, для того чтобы выведать, будет ли он согласен добыть право на возвращение своих крестьян предлагаемым мною способом. Имам Хази, неразлучный товарищ Карамурзиных, был также абрек, бежавший в горы вследствие несправедливости, которой я никогда бы не поверил, если бы не имел в своих руках судебного приговора, обратившего его из весьма миролюбивого человека в отъявленного разбойника. В двадцать пятом году он занимал должность выборного головы в татарских селениях, на реке Калаузе, недалеко от Ставрополя. С дозволения русского начальства он поехал за Кубань повидаться с родственниками, жившими на Урупе. Закубанье считалось еще в то время принадлежностью Турецкой империи. Когда он вернулся, какой-то татарин сделал на него

донос, будто бы он во время своей поездки завел изменнические сношения с турками. Несмотря на неопределенный смысл этого доноса, имама Хази посадили в тюрьму, и стали производить следствие. Из дела видно, что не было обнаружено никакой вины и сверх того, что доносчик имел причины лично его ненавидеть. Но и это не помешало суду приговорить имама Хази к ссылке на поселение, и он был отправлен пешком в Сибирь, с партией других преступников.

Это было осенью, в дождливое, холодное время. Легко понять, что ему не нравилось такое принужденное путешествие и что мысли его беспрестанно возвращались к теплому уголку и к семье, от которых его оторвали, неизвестно за что. Около Иегорлыка, на северной границе Ставропольской губернии, остановили однажды арестантов ночевать в каком-то русском селении. Поздно вечером имам Хази проходил через двор, имея в руках бутылку с водой для омовений; за ним шел караульный с ружьем и примкнутым штыком. Свежий воздух, темнота, степь за невысоким плетнем веяли на горца свободой и нашептывали ему какие-то странные надежды; воображение его распалилось, невольно поднялась рука, и бутылка с такою силой упала на голову солдата, что тот без памяти ринулся на землю. Когда сбежались люди на крик очнувшегося солдата, имама Хази уже не было на дворе. Бросились его искать в степи с фонарями, с горящими головнями, но не нашли. Никто не понимал, куда он мог деваться, потому что погоня, разосланная на другой день во все стороны, ничего не успела открыть. След его пропал, и ссыльных принуждены были отправить в Сибирь без него. Вскоре после этого происшествия черкесские партии начали чаще прежнего появляться за Ставрополем, около Георгиевска и минеральных вод, хозяйничали в этих местах как у себя дома и ускользали каждый раз от погони. Между ними всегда находился человек, чисто говоривший по-русски, в котором скоро узнали имама Хази, сделавшегося абреком. Он был человек грамотный, любивший покойную и привольную жизнь сельского головы; лишившись же дорогих для него житейских благ, сделался самым хитрым и опасным разбойником; и чем более надоедала ему беспокойная жизнь абрека, тем злее он становился и тем менее щадил наши пределы.

Такова была судьба людей, с которыми мне предстояло заключить связь, требовавшую полного взаимного доверия, а с их стороны, сверх того, безусловной покорности моим видам.

II.

Прочный Окоп, когда в нем находился кордонный начальник, наполнялся множеством народа и кипел шумною жизнью. Кроме русских офицеров, собиравшихся в крепости по службе, для участия в экспедициях или из простого любопытства, покорные и непокорные горцы съезжались туда толпами с разных сторон, по своим личным делам или для тайных переговоров. Последних принимали со всею осторожностью; но ни в каком случае не задерживали, свято сохраняя право неприкосновенности парламентеров. Это множество разнородных посетителей, толпившихся около генерала ***, заставило меня поместиться в небольшой комнате, сколько можно было дальше от занимаемого им дома, для того чтобы не попадаться на глаза так называемым мирным горцам, которых нескромного любопытства я должен был избегать более всего. Тут я прожил две недели совершенно один, ожидая свидания с моими будущими проводниками. Наконец мне дали знать, что они приехали. Ночью, когда в крепости все заснули, генерал *** привел в мою комнату обоих Карамурзиных с имамом Хази, их всегдашним переводчиком, познакомил нас и оставил потом меня кончить с ними начатое дело. Зная их интересы и всю предыдущую жизнь, мне было нетрудно согласовать с обстоятельствами мои слова и действия. С этими людьми надо было идти прямо к цели, говорить без обиняков, не хитря, с полною откровенностью; вызвать их доверенность и, завладев ею, после того верить им самим безусловно. Хорошо помню наше первое свидание. Как водится у черкесов, мы провели несколько минут в глубоком молчании, рассматривая друг друга с большим вниманием. Сбираясь поверить им свою голову, я старался прочитать на их лицах характер каждого из них. Старший Карамурзин, Тембулат, имел весьма благородный вид: его правильное, бледное лицо, окаймленное черною бородой, и в особенности замечательно приятный взгляд располагали невольным образом в его пользу. С первого взгляда виден был человек, заслуживающий полной веры. Бий Карамурзин составлял совершенную противоположность своего брата. Невысокого роста, широкоплечий, с большими светло-голубыми глазами, бросавшими безжизненные взгляды, и с рыжею бородой, доходившею до пояса, он возбуждал своею

наружностью какое-то неопределенное чувство опасения, объяснявшееся, для тех, кто его знал, его бешеным нравом и кровожадными поступками, заставившими даже горцев бояться его. Полное, красное, безбородое лицо толстого имама Хази, чисто монгольского типа, выражало глубокую хитрость с примесью сильных чувственных наклонностей. Я первый прекратил молчание, обратившись к Карамурзиным с вопросом: твердо ли они решились променять свободную жизнь в горах на подчиненность русскому закону, вопреки всем причинам, которые они имеют, чтоб не любить нас?

– Как было сказано генералу ***, я дал клятву покориться русским, если нам возвратят наш родовой аул, и не переменю своего намерения, – коротко отвечал Тембулат. – Позволь Бию молчать: он младший брат и не знает в этом случае другой воли кроме моей.

После того завязался разговор, в продолжение которого я доказывал Карамурзину, что нельзя отдать ему аул потому только, что он покорится, и советовал ему заслужить эту милость, оказав правительству услугу вроде той, какую я от него требовал. После долгих прений со мною и тайных совещаний между братьями и имамом Хази Тембулат принял мое предложение. Когда дело было окончательно улажено, я счел необходимым подвергнуть моих будущих путевых товарищей самому сильному испытанию, которому только можно подвергнуть горца; мне необходимо было убедиться, что они не скрывают какой-либо тайной мысли, угадать и раз навсегда успокоиться касательно канлы, которую они имели против русских. Я заговорил об убитых братьях и потребовал, чтоб они, несмотря на обстоятельства смерти, их же кровью и их могилами поклялись мне беречь и защищать меня как родного. Сначала имам Хази не хотел переводить моих слов, заметив мне, что опасно им напоминать о покойных братьях; но я настоял, и он передал им мое требование. Не могу забыть сцену, которую я вызвал, коснувшись самой чувствительной струны их вековых понятий; но так было нужно, для того чтоб одним сильным ударом парализовать лежавшее у них на душе чувство кровомщения и основать на нем, с помощью требуемой клятвы, мою собственную безопасность. Оба Карамурзина побледнели как полотно. Слеза показалась из-за опущенных ресниц у Тембулата. Бий, стиснув зубы, переводил свои мутные глаза от брата ко мне и от меня к брату. Имам Хази, закинув голову назад, смотрел вопрошающим взглядом на нас

троих. Догорающая свеча тускло озаряла комнату; в передней дремал сонный казак; на дворе все было тихо; крепость лежала в глубоком сне. Спокойный с виду, я ждал ответа. Несколько минут длилось томительное молчание. Потом Тембулат встал и с заметным усилием медленно проговорил: «Понимаю, что ты не можешь без этой клятвы поверить нам своей головы; такая клятва тягостна для нас, но я даю ее. Клянусь кровью моих двух убитых братьев беречь тебя пуще собственной жизни, забыть, что ты не нашей веры, что ты русский, и видеть в тебе, пока ты сам не изменишь своему слову, брата, посланного нам Богом взамен потерянных братьев. Да погубит Аллах мою душу, если я не сдержу этой клятвы».

– А Бий что скажет?

Бий повторил клятву брата слово в слово.

Я протянул им руки.

– Теперь дело кончено, – сказал я. – Я еду с вами, куда вы меня поведете, и в свою очередь клянусь, как христианин, и даю слово, как русский офицер, что обещания, которые я вам делаю теперь или стану делать позже, будут свято исполнены русскими властями, от которых я получил назначение ехать в горы.

После того мы принялись составлять план нашего путешествия. Карамурзин имел возможность провести меня по горам в числе своих товарищей, не опасаясь возбудить подозрение черкесов, знавших его неукротимым врагом русских, против которых он имел двойную канлу. Три дороги открывались нам с линии к морю: первая, через Гатюкой и шапсугов к реке Джубге, вторая, через абадзехов и убыхов, к устью Шахе, третья, через Ачипсоу к реке Сочи, или вниз по Мдзимте на мыс Адлер. У горцев они слыли большими дорогами, будучи несколько удобнее других, весьма трудных путей, пролегавших с Кубани к морскому берегу. Сам Карамурзин не мог ехать к морю без благовидного предлога и не имея проводников, принадлежавших к племенам, через которые нам следовало пробираться. Проводников он надеялся найти для себя на каждой из трех указанных дорог, а предлогом должно было служить его гласное намерение переселиться в Турцию и для этой цели – нанять судно, которое бы в будущем году перевезло его семейство в Истамбул. Чтобы еще вернее отвлечь внимание народа, он считал нужным повести с собою пленную абазинку для продажи туркам. На Черном море ему было нетрудно уверить прибрежных черкесов, что ему необходимо повидаться,

прежде переселения, с Гассан-беем абхазским и проехать для этого в Абхазию. Две прекрасные лошади, которые он вел с собою ему в подарок, оправдывали в глазах горцев цель его путешествия. Линию я должен был оставить в то время, когда генерал ***, собрав всех покорных князей, поедет с ними встречать корпусного командира, ожидаемого на кавказских минеральных водах, где находилось его семейство. Мы не решили только, по какой дороге нам следует ехать, потому что это зависело от совершенно случайных обстоятельств, которые никак нельзя было определить заранее. Перед светом, Карамурзины уехали из крепости, и, когда настал день, они были уже далеко за Кубанью. Кроме генерала *** и меня, никто не знал, что они провели всю ночь в Прочном Окопе, в котором военные обстоятельства научили соблюдать тайну как нигде.

В конце августа, кажется, двадцать первого числа, я выехал с генералом *** из Прочного Окопа, по дороге в Пятигорск. Всем было объявлено, что мы едем встречать корпусного командира. На третьем перегоне, в Барсуковской станице, он меня оставил, а сам поехал дальше, рассказывая всем по дороге и на водах, что я лежу больной в Прочном Окопе. Таким способом мы были уверены, что собьем на несколько дней с пути людей, которые, может быть, за мною следили, и выиграем время, необходимое для того, чтобы мне углубиться в горы незаметным образом. От этой предосторожности зависел весьма много успех моего путешествия. В Барсуках я прождал имама Хази только один день и переправился с ним через Кубань, пользуясь ненастным временем, удерживавшим в доме всякого, кто не имел особенной крайности подвергаться дурной погоде. Передневав в ногайском ауле, возле самой реки, у приятеля имама Хази, поместившего нас скрытно в отдаленной хате, мы на другое утро поехали дальше. Верст десять за Кубанью, в глубокой балке, нас ожидал Тембулат Карамурзин с двумя ногайскими узденями, на которых он мог совершенно полагаться. Мою шапку украсили чалмою хаджия, переменили лошадь, черкеску и оружие, для того чтобы уничтожить все признаки, по которым бы могли меня узнать издали черкесы, встречавшиеся со мною на линии.

Одна из трудных задач моего путешествия заключалась в переезде через равнину, отделявшую Кубань от подножия гор, где предстояла возможность столкнуться на каждом шагу с покорными черкесами или с абреками, наблюдавшими беспрестанно за тем, что делалось на русской стороне. По этой причине мы направились к верховью Урупа, в совершенно противоположную сторону от Шегирея, где находился дом Тембулата. Мы ехали, укутав лицо башлыками, по обычаю абреков; кроме того, густой туман способствовал нашему проезду; перед вечером пошел проливной дождь. Измокнув до костей, дрожа от холода, мы обрадовались немало, увидав перед собою густой лес, в котором можно было укрыться на ночь после четырнадцатичасовой езды без отдыха. Карамурзин стал искать вдоль опушки дороги, знакомой ему одному, которой, казалось, не было возможности найти в темную ночь под дождем, лившим как из ведра; но он не имел привычки ошибаться в подобном деле, память его была для этого слишком хороша. Проискав несколько времени, он крикнул нам ехать за собою, и мы вслед за ним начали пробираться через лес, извиваясь между деревьями и не видя перед собою ничего, кроме его белого башлыка, изредка мелькавшего в темноте. Выехав на весьма тесную поляну, мы слезли с лошадей, стреножили их и принялись разводить огонь, который долго не загорался под потоками дождя.

Каждый горец имеет при себе все, что необходимо для огня. Огниво, служащее также винтовою отверткой, кремень и трут в кожаной сумке висят у него на поясе. В одном из деревянных патронов, помещенных у него на груди, берегутся серные нити и куски смолистого соснового дерева, дозволяющие быстро разводить огонь. Рукоять плети и конец шашки всегда обмотаны бумажною материей, напитанною воском; скрутив ее фитилем, он имеет тотчас свечу. Поужинав сухим чуреком, которым запасся, к нашему счастью, имам Хази, мы укутались в бурки и легли спать как можно ближе к огню, заставив одного из ногайцев поддерживать его и караулить лошадей. Утро застало нас совершенно мокрыми и не менее того голодными; поэтому мы постарались выбраться как можно скорее из лесу, переправились через Уруп и, взяв направление на запад, поехали к беслинеевским аулам, лежавшим на берегу Большой Лабы, берущей свое начало у горы Оштек и впадающей в Кубань против границы, отделяющей черноморских от кавказских линейных казаков. Бесленеевцы, коренные черкесы-адыге, за год перед тем покорились русским, после нескольких удачных набегов генерала *** на их аулы. Положение их на Лабе было очень незавидно: с одной стороны, русские требовали от них повиновения и доказательств преданности, совершенно несогласных с их понятиями и с их выгодами; с

другой стороны, абадзехи, а всего более их кровные враги медовеевцы и убыхи, разоряли их беспощадно за то, что они передались гяурам. Число бесленеевцев не превышало восьми – девяти тысяч душ, занимавших пятнадцать аулов, построенных один возле другого, в виде небольших крепостей, над Лабою. Бесленеевские князья, Кануковы и Шалох, слыли хорошими наездниками и храбрыми людьми; но вся храбрость их не могла уничтожить обстоятельства, ставившие бесленеевцев в самое неприятное положение между русскими и неприятельскими черкесами.

Опасаясь неожиданной встречи с абреками, но, желая в то же время узнать, что делается и какие слухи носятся в горах, Тембулат сам поехал в аулы, а мне посоветовал оставаться в лесу с имамом Хази и одним ногайцем, по имени Ягыз. Трое суток переезжали мы из одного леса в другой, приближаясь мало-помалу к шегиреевскому аулу. Днем мы держались на открытых местах, в избежание засад, которые убыхи и медовеевцы учреждали против бесленеевцев в окрестностях их селений, а ночью располагались в лесу, без огня, не расседлывая лошадей и не выпуская оружия из рук, для того чтобы не быть застигнутыми врасплох теми же убыхами или медовеевцами. Имам Хази ездил поздно вечером или перед рассветом к бесленеевцам за съестными припасами и привозил нам чуреку, проса и баранины, в каких вещах ему никогда не отказывали, из уважения к Карамурзиным, с которыми его привыкли видеть во всех походах. Переправляясь однажды через Лабу, мы встретили человек пятьдесят черкесов, следовавших за молодым человеком на белой лошади лучшей кавказской породы. При виде его имам Хази заметно смутился, назвал мне его и советовал искать вместе с Ягызом брода в стороне, пока он сам поедет объясняться с горцем. Это был один из самых злых бичей кавказской линии, повсюду известный абрек, кабардинский князь Аслан-Гирей. Хотя сам имам Хази не имел никакого повода его опасаться, но он боялся, чтобы проницательный глаз Аслан-Гирея не заметил во мне незнакомого человека, о котором стоит узнать, кто он таков. При этой встрече он наверное не думал, что неизвестный молодой путник, на которого он не обратил никакого внимания, призовет на его голову неизбежную грозу и ускорит его смерть. Да и я не полагал, ровно через год, увидать себя в его руках, опутанным самым коварным обманом.

В этот день мы приехали, наконец, в Шегирей, где находился Тембулат Карамурзин. Несколько сот бедных мазанок,

составлявших аул, были разбросаны на довольно большом протяжении вдоль высокого и крутого берега Малой Лабы, прислоняясь тылом к дремучему лесу, доставлявшему жителям верное убежище в случае нападения русских войск, но дававшему в то же время горным разбойникам возможность подкрадываться скрытным образом. Деревянный дом Карамурзина, вмещавший ряд комнат, из коих двери открывались на длинную крытую галерею, возвышался подобно великану над окружавшими его низенькими хатами, в которых господствовали нищета и вечное беспокойство. Каменистые шегиреевские поля давали самую бедную жатву; скотом шегиреевцы не могли обзавестись, потому что на плоскости его отбивали русские или захватывали, в счет подати, бесленеевские князья Шолох, а в горах угоняли убыхи и медовеевцы. Жизнь в Шегирее была самая жалкая, пока не поселились там Карамурзины и не взяли аула под свое покровительство. Тогда только бедные жители успели свободно вздохнуть, и из благодарности к своим защитникам совершенно подчинились их воле. Карамурзины сделались настоящими владельцами Шегирея.

Тембулат ожидал нас в кунахской, построенной, как обыкновенно, в стороне от семейного дома, в котором жили его две жены, и он сам занимал посреди их особую комнату. День мы проводили в кунахской, окруженные шегиреевцами, прибегавшими подобострастно поклониться Карамурзину и поглазеть на меня, его гостя. Ночевать мы отправлялись в большой дом, в комнату Тембулата, представлявшую более удобства для обороны, в случае неожиданного нападения. Жизнь в Шегирее была так мало безопасна, что вечером никто не решался выйти за двери без пистолета в руках, а из дому в дом переходили имея ружья наготове.

Бия не было в Шегирее. Ко всеобщему удовольствию, он отделился от брата несколько времени перед моим приездом и перешел жить в Баракай. Этот человек, довольно рассудительный и даже добродушный в обыкновенные минуты, страдал припадками раздражительности, возбуждавшими в нем непреодолимую жажду крови. В подобном расположении духа он убил уже в горах семь человек и щадил только своих братьев. Бешенству его предшествовала всегда глубокая меланхолия. После каждого убийства он приходил в себя и вдавался в другую крайность: в искупление сделанного им преступления он отдавал бедным все, что имел, до последней лошади, и братья должны были потом кормить его и содержать его семейство,

пока ему удавалось снова поправить свои дела. В образованном обществе Бия заперли бы как больного; в кавказских горах не существует подобного рода спасительных заведений, и он мог свободно предаваться своему периодическому бешенству, отвечая за свои поступки как бы здоровый умом. Давно бы его убили, если б он не принадлежал к роду Карамурзиных, с которыми не легко было тягаться в делах кровомщения; теперь же ему приходилось только уплачивать пеню родственникам убитых, на чем и прекращалось дело.

В Шегирее я прожил только четыре дня. Карамурзин считал гораздо благоразумнее провести остальное время до нашего отъезда в лесу, между Большою и Малою Лабами, распустив слух о том, что он собирает партию для нападения на линию. В день нашего выезда из аула прибыл туда аталык Карамурзина, медовеевский старшина Мафадук Маршаний с своим сыном, Сефер-беем. Они были приглашены Карамурзиным для совещания касательно моего путешествия, на успех которого нельзя было рассчитывать без их согласия. Они оба любили Карамурзина как родного, и поэтому, не отговариваясь, обещали ему помогать во всем и беречь меня как его самого. Перед ними нельзя было скрыть, кто я таков и зачем путешествую. Их уверенность в неприступности гор, отделявших линию от берега, была так велика, что они считали даже очень выгодным познакомить меня с оборонительною силой местности, полагая этим способом отнять у русских навсегда охоту идти к ним в горы. Кажется, сам Карамурзин имел такое же убеждение. Он выразил его довольно ясно, когда во время нашего путешествия, недалеко от Ачипсоу, я стал вырезывать свое имя на большом дереве. Века пройдут, заметил Карамурзин, прежде чем русские успеют прочитать его на этом месте. Мафадуку было под девяносто лет, Сефер-бею около семидесяти; но оба они сидели еще твердо на лошадях и не плошали в драке. Имея с собою около десятка медовеевцев, спрятанных в лесу, они не хотели терять даром время и, пока Карамурзин готовился в дорогу, поспешили с своими людьми на Уруп рассчитаться с кабардинцами за какую-то старую обиду, то есть убить кого-нибудь у них или что-нибудь отбить. Мы поехали своим путем к Лабе. Спустившись с шегиреевской горы, мы имели удовольствие встретить Бия, который немедленно к нам примкнул, объявив брату решительным тоном, что он не намерен покинуть его одного в опасном предприятии, выгодами которого, если оно удастся, и он будет вправе пользоваться с

ним наравне. Противоречить ему было опасно; поэтому Тембулат принял его предложение скрепя сердце, и только изредка всматривался неприметным образом в его лицо. Имам Хази также стал за ним подмечать; потом подъехал ко мне и вполголоса спросил:

– Знаешь ли ты, какой человек Бий?

– Знаю.

– Не бойся его; теперь у него хороший час.

– А долго ли будет продолжаться этот час? – спросил я в свою очередь.

Имам Хази пожал плечами, прибавив:

– Не надо его сердить!

Собственно для умножения наших сил нельзя было пренебрегать Бием, потому что он был отлично храбрый наездник, а вся наша партия состояла только из Тембулата, имама Хази, Ягыза, молодого питомца Карамурзиных – Ханафа и меня.

Этот день был богат неприятными впечатлениями. Я испытал минуту, которая заставила было меня пожалеть о беспечности, с какою я отдался Карамурзиным, если бы позднее сожаление могло исправить дело. К счастью, все обратилось к лучшему. Следуя по правому берегу Лабы, мы наехали на могильный холм, над которым развевались два высоких значка, доказывавшие, что здесь лежали мусульмане, убитые в бою с русскими. Возле могилы оба Карамурзины слезли с лошадей и, став на колени, принялись молиться от всей глубины души. Молитва их продолжалась весьма долго. В это время прочие оставались на лошадях, не трогаясь с места. Имам Хази стоял возле меня.

– Знаешь ты, кто тут лежит под землей? – спросил он у меня.

– Знаю.

– Откуда ты это знаешь?

– Нетрудно угадать; они молятся у могилы своих братьев.

– То-то, брат, – сказал имам Хази значительным тоном, – не забывай, что их убили русские, и вдобавок не обмани ты Тембулата да Бия; может выйти худое дело.

Когда Карамурзины, окончив молиться, сели на лошадей, их лица были пасмурны. Весь день не разменялись мы ни одним словом; они избегали меня заметным образом. Перед вечером мы переплыли на лошадях широкую и быструю Лабу, углубились в лес и, выбрав посреди его поляну, покрытую густой травой, принялись строить из сучьев крепкий балаган,

в котором бы можно было обороняться. На другой день мы окружили его засекой, для загона в нее на ночь наших лошадей. Недалеко от нас находился бесленеевский аул приятеля Карамурзиных, Лагайдука Канукова, снабжавшего нас ежедневно молоком, просом и баранами. Люди, приносившие от него съестные припасы, даже близко не подходили к нашему шалашу, для того чтобы не видать, кто был с Карамурзиными. Этот порядок соблюдается у черкесов каждый раз, когда какой-нибудь значительный князь поселяется на время в лесу для какой-либо скрытной цели. Если потом из этого выходила какая-нибудь неприятность для русских или для ближайших соседей аула, то жители его, не видав в лицо приезжих, с чистою совестью давали присягу, что не знали их и только слышали, что такой-то князь охотится в их лесу за оленями, волками или другою дичью. Касательно Карамурзиных все соседние черкесы думали, что они готовятся сделать набег на Кубань, и в этом предположении, улыбавшемся черкесскому сердцу, снабжали их с избытком всеми жизненными потребностями и сохраняли в глубокой тайне их пребывание в лабинском лесу, довольно опасном и без русских казаков.

Между ближними черкесами нельзя было предполагать охотников напасть на Карамурзиных; но тут бродили люди из дальних мест, из Псхо, из Медовея, из шамсугского разбойничьего гнезда Тагапсы и от убыхов, которые, не зная и не разбирая, кто мы таковы, могли польститься на наших лошадей и оружие. По этой причине была необходима постоянная осторожность. Днем мы позволяли себе иногда снимать верхнее платье и развешивать оружие в шалаше, пока лошади паслись в нашем виду на поляне. Зато на ночь мы всегда одевались, подвязывали шашки, винтовки клали возле себя и засыпали с пистолетом в руках, для того чтобы иметь наготове выстрел против разбойников, обыкновенно подкрадывающихся ползком. Лошадей мы загоняли на ночь в засеку, крепко загораживали вход, тушили огонь и сажали караульного, не выпускавшего из рук ружья. Вскоре к нам примкнул еще домашний мулла Карамурзиных, также знакомый с тайною нашего предприятия. Несколько суток лил проливной дождь, от которого беспрестанно потухал огонь, разводимый перед шалашом в продолжение дня, так что мы были лишены возможности обсушиться и в полном смысле плавали в воде. Такого положения я не мог долго перенести и почувствовал простудные припадки, развивавшиеся все более и более под влиянием сырости и холода. День и ночь мы не выходили из-под бурок, лежа один возле другого на мокрой траве без всякого дела. Имам Хази был разговорчивее других и занимал меня иногда рассказами из его прежней жизни. Я спал, обыкновенно, между двумя Карамурзиными, которые заметным образом стали ко мне привязываться, не знаю именно за что, но, кажется, им очень нравилась во мне безотчетная уверенность в честности их характера. Однажды Бий покусился испытать меня, спросив: не боюсь ли я спать возле него?

– А это почему? – возразил я с видом величайшего удивления.

– Как почему? Русские убили двух наших братьев, ты русский, и мне стоит только поднять руку, для того чтобы напиться твоей крови. Твоя жизнь в моей власти.

– В этом ты ошибаешься. Моя жизнь не зависит от тебя; ею располагает Аллах. Если волею его суждено умереть мне здесь, в лабинском лесу, так я умру и без тебя; если нет, так кинжал, направленный мне в сердце, скользнет мимо и попадет, пожалуй, в твою собственную грудь. Что написано у кого на роду, должно сбыться; спроси муллу, справедливы ли мои слова. Впрочем, тут нечего говорить – твоя воля, рука и кинжал связаны клятвою и честным словом. Я ничего не боюсь, спокойной ночи! – и я от него отвернулся.

– Спи без опасения, – сказал Бий, – человеку, имеющему такую сильную веру в наше слово, нечего нас бояться.

Признаться, я в эту ночь заснул не так скоро, как обыкновенно. Обдуманной измены я не ожидал от Карамурзиных, но не раз мне приходила в голову мысль о бессознательном состоянии бешенства, в которое могла повергнуть Бия продолжительная дума о смерти своих братьев. Что тогда? К тому же сильная головная боль мешала мне спать; мое нездоровье увеличивалось с каждым часом. В первых числах сентября я решился послать имама Хази к генералу *** с просьбой прислать мне лекарство от простуды и денег, в которых я столько же нуждался. Между тем временем погода прояснилась, и дни сделались снова теплыми. Не чувствуя облегчения с переменой погоды, я стал бояться горячки, которая могла отнять у меня возможность совершить давно желанное и с большим трудом подготовленное путешествие. На другой день, после отправления имама Хази, я принял намерение избавиться от простуды решительным средством и для этого, не говоря Карамурзиным ни слова, разделся и бросился в Лабу. Мое купанье возымело желанный успех. Потрясение было так сильно, что я

упал на берегу, выкарабкавшись из воды. На крик мой прибежали люди, принесли меня в шалаш и накрыли чем было можно; через несколько часов мое тело покрылось горячею испариной, головная боль уменьшилась, и я на другой день имел довольно силы, чтобы сесть на лошадь и отправиться в Вознесенское укрепление для отдыха. Один Бий меня проводил туда; Тембулат поехал с остальными людьми в Шегирей, навстречу каким-то неожиданным гостям.

Вознесенское укрепление стояло в открытом поле, на берегу речки Чанлык, или Салпык, как ее называли черкесы, в пятнадцати верстах от соединения Малой и Большой Лабы. Имея в гарнизоне одну роту и полсотни донских казаков, оно очень мало мешало неприятелю, оставлявшему его поэтому в покое и, разве случайно только, угонявшему лошадей и убивавшему сторожевых казаков или солдат, беспечно удалявшихся от укрепления. Позже, когда возле него расположили целый донской полк, оно получило значение: казаки могли из этого пункта отрезывать черкесов от гор, при отступлении их с Кубани после набега на линию. С комендантом Вознесенского укрепления, капитаном Левашовым, я был давно знаком, и ожидал от него самого доброго приема. Все знали его за хорошего и опытного офицера, но более всего он был известен своею оригинальною наружностью, бакенбардами непомерной величины и живыми карикатурными жестами, которыми он сопровождал каждый рассказ. Местность около Чанлыка была ровная и открытая, следственно издалека могли видеть, что нас было только двое, и поэтому не помешали подъехать к самым воротам крепости.

– Что надо? – закричал часовой.

– Повидаться с комендантом.

– Караул вон!

Десять человек выступили из укрепления и построились перед воротами. С черкесами осторожность была всегда хороша, но это мне показалось уже совершенно лишним против двух человек. Я хотел подъехать ближе к солдатам; унтер-офицер меня остановил, повторив вопрос: что надо? Разумеется, ему не приходило в голову, что он видит перед собою русского офицера; а я не хотел это сказать.

– Я имею надобность переговорить с комендантом; попроси его выйти.

– Нельзя, князь! Скажи прежде, что тебе надо.

– Если ему нельзя выйти, так я поеду в крепость.

– Тогда бросай оружие! – закричал унтер-офицер.

Сбросить оружие перед русскими солдатами мне, офицеру, показалось делом таким несбыточным, таким постыдным, что я вместо ответа ударил лошадь плетью, понуждая ее сделать прыжок к воротам.

– Шеренга кладз! – скомандовал унтер-офицер, и десять ружей с взведенными курками приложились в меня и Бия. Схватив мою лошадь за повод, он закричал диким голосом:

– Что ты делаешь, брат! Смотри! Нас тотчас убьют!

В эту минуту показались над бруствером огромные бакенбарды, в которых нельзя было ошибиться.

– Капитан! – крикнул я, – что делается у вас, двух человек боятся и меня хотят обезоружить; возможно ли это?

– Отставь! – скомандовал капитан. Ружья поднялись вертикально, и из ворот выбежал Левашов, узнавший меня по голосу.

– Въезжайте, добро пожаловать, – кричал он, размахивая руками; – потом я расскажу вам, что случилось со мною на днях; надеюсь, вы не осудите меня за осторожность, с которою вас встретили; да кому же придет и в голову, что вы разъезжаете за Кубанью, да еще с кем? – прибавил он, искоса посмотрев на Бия. – Чай нашим солдатикам знакома эта бешеная рыжая борода.

Едва мы успели усесться в комнате, как Левашов принялся рассказывать бывшее с ним происшествие, представляя его в лицах, по своему обыкновению. Оно могло действительно кончиться для него весьма трагически и совершенно извиняло предосторожности, которыми себя окружил после него наш хозяин.

Два дня перед нашим приездом ему дали знать, что к укреплению подъехал на богато оседланной, прекрасной лошади старик-черкес, вооруженный одним кинжалом, и желает с ним переговорить о каком-то важном деле. В крепость пускали черкесов весьма неохотно, для того чтобы не давать им возможности высмотреть ее слабые стороны; поэтому Левашов предпочел выйти за ворота и не взял с собою оружия, считая приехавшего горца лазутчиком, присланным к нему с линии с каким-нибудь известием. По заведенному порядку караул стал в это время за бруствером в ружье. Увидав перед собою седого старика, далеко за семьдесят лет, Левашов подошел к нему, ничего не опасаясь, и заговорил с ним по-татарски. После первых слов старик бросился на него с обнаженным кинжалом, отрезав ему обратный путь в укрепление. Увертываясь от удара,

Левашов сделал прыжок в сторону, потом в другую; черкес следил за каждым его движением, хватая его за руку и приноравливаясь ударить его прямо в грудь. Видя, что от старика не так легко можно увернуться и в укрепление нет дороги, Левашов бросился бежать в поле. Черкес погнался за ним, за черкесом бежала его послушная лошадь, а за ними тремя гнались солдаты, не решавшиеся стрелять, опасаясь убить своего капитана. Наконец Левашов, у которого ноги были помоложе, далеко опередил своего врага. Тогда солдаты открыли огонь и убили черкеса, к несчастью, вместе с чудною лошадью. Левашов решительно не понимал, за что хотел убить его, видимо, жертвуя самим собою, человек, которого он никогда не встречал прежде того и поэтому не мог иметь его своим врагом. Тело не было еще похоронено. Нам его показали, и Бий скоро узнал в убитом черкесе хаджи княжеской фамилии Хамурзиных, но также не мог себе дать отчета, почему именно он намеревался убить коменданта Вознесенского укрепления. Позже мы узнали загадку этого происшествия.

Старик хаджи был в своей молодости отличный и храбрый наездник, провел всю свою жизнь в драке с русскими; но уже несколько лет перестал ездить на воровство и принимать участие в военных делах. В черкесском собрании его кто-то упрекнул в том, что он более ни к чему не годен и способен только лежать на постели да беречь свои старые кости. Эти слова до того оскорбили старика, что он немедленно оседлал лошадь и стремглав поскакал к Вознесенскому укреплению, в котором ближе всего находились русские, с целью убить начальника их и, пожертвовав самим собою, пристыдить своих насмешников. В продолжение шести дней, проведенных мною в крепости, Левашов несколько раз повторил мне рассказ о своем похождении, и каждый раз показывал на деле, как старик замахивался кинжалом и как он увертывался от него. В таком глухом месте, каково было Вознесенское укрепление, нельзя было и ожидать другого рода удовольствий, кроме подобных рассказов, охоты за кабанами да тревог, производимых черкесами. Впрочем, благодаря теплой и сухой комнате да добродушному уходу, которые я нашел в крепости, мои силы поправились очень скоро, и я оставил ее около десятого сентября, получив перед тем лекарство, которое было мне уже не нужно, и деньги, без которых мне нельзя было обойтись.

Вернувшись в наш прежний шалаш, мы прожили в нем еще трое суток и потом перешли на Малую Лабу, поближе к Шегирею. Пока я поправлял здоровье в Вознесенском укреплении, дела наши приняли довольно невыгодный оборот. Я намеревался проехать к устью Джубги или к Шахе, и Карамурзин не находил препятствия переправиться по одной из этих дорог через горы к морскому берегу. Между тем хаджи Берзек, главный убыхский старшина, перешедший с партией в несколько сот человек на северную сторону гор, имея в виду напасть на башилбаевцев и, если представится возможность, участвовать в набеге на русскую границу, предложил Карамурзину присоединиться к нему для этого дела и потом ехать вместе к морю. Считая слишком рискованным совершить со мною это путешествие в таком многочисленном неприятельском обществе, Тембулат отказался от предложения Берзека, под предлогом крайней необходимости съездить к Гассан-бею абхазскому еще до зимы. Через этот отказ он отнял у себя возможность ехать к убыхам и должен был поневоле выбрать для своей поездки в Абхазию кратчайший путь через Ачипсоу; иначе он возбудил бы подозрение хаджи Берзека, которого надо было очень остерегаться по причине важного значения, какое он имел между приморскими черкесами. Это обстоятельство разрушало первоначальный план моего путешествия, отнимая у меня возможность осмотреть довольно значительное пространство морского берега; но делать было нечего, и я сам видел всю безрассудность добиваться невозможного.

Карамурзин извлек из свидания с хаджи Берзеком одну пользу для нашего дела: выменял у него за двух лошадей молодую башилбаевскую пленницу, которую мы должны были вести к морю на продажу туркам. По восточным понятиям подобная продажа не заключает в себе дурного дела. В продажу поступали обыкновенно невольницы. Раба у себя дома, черкешенка переходила только из одних рук в другие, и очень часто находила в этой перемене счастье и богатство вместо прежней нищеты.

Странствуя по лесам между Большою и Малою Лабами, пока Карамурзин собирался в дорогу, я скучал страшным образом. Даже охота нам была запрещена, для того чтобы выстрелами не привлечь к себе посторонних людей. Раз только имаму Хази и мне удалось убить огромного кабана, на которого мы наткнулись неожиданно в камыше. Раненный выстрелом из ружья имама Хази, он с быстротой молнии бросился на нас; но, к счастью, я успел выхватить из чехла винтовку и попасть ему прямо в сердце; сделав огромный прыжок, он упал мертвый

к нашим ногам. В свободное время, которого мы имели слишком много, лежа возле огня, имам Хази рассказывал мне свою жизнь и судьбу Карамурзиных, состоявшие из беспрерывного ряда боевых похождений, ежедневно подвергавших опасности их существование.

Невозможно составить себе ясное понятие о жизни черкеса, не познакомившись со всеми подробностями его быта и окружающих его обстоятельств. С незапамятных времен в войне между собою, с монголами, потом с крымскими татарами и, наконец, с русскими кавказские племена не имели ни времени, ни способа улучшить свое благосостояние и не сделали никакого успеха в гражданском устройстве. Только в военном деле и в вооружении они подвигались вперед; а во всем другом остановились на той степени, на которой они находились при Страбоне, подробно описавшем их быт. Подобно всем горцам они сильно привязаны к месту, на котором родились, и любят свободу более жизни. С первого приближения русских к кавказским пределам началась война, потому что для черкесов было немыслимо иметь возле себя иноплеменных соседей и не воевать с ними. Когда русские перешагнули через Терек и за Кубань, война приняла широкие размеры; горцы дрались за свою независимость; религиозный фанатизм усиливал вражду их к русским; их ненависть стала доходить почти до безумия. За Тереком, в Дагестане, возникла секта мюридов; за Кубанью появились абреки, обрекшие себя на беспощадное истребление русских. С нашей стороны правительство старалось усмирить горцев, отнимая у них способы вредить нам, но ни в каком случае не имело желания истребить их. Но схватки наших линейных казаков с горцами были беспощадны: обе стороны дрались под влиянием чувства личной ненависти и мщения за убитых братьев, за разграбленное имущество, за похищенных жен и детей.

Кабардинцы, шапсуги и все вообще небольшие закубанские общества, принадлежащие к черкесскому племени, составляют лучшую конницу, какую мне встречалось видеть. С ними могут равняться только ногайцы, живущие на левом берегу Кубани, да наши коренные линейные казаки. Абадзехи, живущие в стране, покрытой лесами, подобно чеченцам, привычнее дерутся пешком, чем на лошади, несмотря на свое черкесское происхождение. Одежда черкеса, начиная от мохнатой бараньей шапки до ноговиц, равно как и вооружение, приспособлены, как нельзя лучше, к конной драке. Седло легко, покойно и имеет важное достоинство не портить лошади, хотя б оно по целым неделям оставалось на ее спине. Винтовку черкес возит за спиной в бурочном чехле, из которого он ее выхватывает в одно мгновение. Ремень у винтовки пригнан так удобно, что легко зарядить ее на всем скаку, выстрелить и потом перекинуть через левое плечо, чтоб обнажить шашку. Это последнее, любимое и самое страшное черкесское оружие состоит из сабельной полосы, в деревянных, сафьяном обтянутых ножнах, с рукояткой без защиты для руки. Оно называется «сажеишхуа», большой нож, из чего мы сделали название шашки. Шашка черкеса остра, как бритва, и употребляется им только для удара, а не для защиты; удары шашки большею частью бывают смертельны. Кроме того, черкес вооружен одним или двумя пистолетами за поясом и широким кинжалом, его неразлучным спутником. Ружейные патроны помещаются в деревянных гильзах, заткнутых на груди в кожаные гнезда; на поясе висят: жирница, отвертка и небольшая сафьянная сумка со снадобьем, позволяющим, не слезая с лошади, вычистить и привести в порядок ружье и пистолеты. Всегда готовый спешиться для встречи неприятеля метким ружейным огнем, черкес возит на чехле присошки, сделанные из крепкого и гибкого кордового дерева. Свою лошадь он бережет пуще глаза. Она выезжена на уздечке, которой совершенно повинуется; она спокойна, смирна, привыкает к ездоку, как собака, идет на его зов и переносит неимоверные труды. Добрая черкесская лошадь не боится ни огня, ни воды. Шпор черкесы не знают и погоняют лошадь тоненькою плетью, имеющею на конце кусок кожи в виде лопаточки, для того чтобы не делать боли лошади, а пугать ее хлопаньем, так как, по мнению черкесов, боль, причиняемая лошади шпорами или тяжелою нагайкой, употребляемою калмыками и донскими казаками, утомляет ее совершенно без нужды.

В деле черкес наскакивает на своего противника с плетью в руке; шагах в двадцати выхватывает из чехла ружье, делает выстрел, перекидывает ружье через плечо, обнажает шашку и рубит; или, быстро поворотив лошадь, уходит назад и на скаку заряжает ружье для вторичного выстрела. Движения его в этом случае быстры и вместе с тем плавны. Несмотря на то, что черкес обвешан оружием и носит на себе кинжал, два пистолета, шашку и винтовку, одно оружие не мешает на нем другому, ничто не бренчит, благодаря хорошей пригонке, и это очень необходимо в ночной войне набегов и засад, какую

обыкновенно ведут горцы. В больших массах черкесская конница любит действовать холодным оружием, и наши линейные казаки отвечают ей тем же. Пешком черкесы дерутся только у себя в лесах и горах, защищаясь от русских войск, и в этом случае стреляют метко из-за дерев и камней или с присошек, для того чтобы вернее целить своими длинными винтовками. В оборонительной войне они отлично умеют пользоваться местностью; при малейшей ошибке со стороны наступающего они вырастают как из земли, чтобы нанести неожиданный удар; беспрестанно тревожат неприятеля, но редко с упорством защищают позицию, разве только она положительно неприступна. Зато при отступлении надо быть осторожным с черкесами; они преследуют с истинным бешенством. Свое главное достоинство горцы поставляли в набегах, которыми они так долго и так удачно тревожили кавказскую область. В сборе нескольких тысяч человек они были для нас менее опасны, чем в малых партиях. О больших скопищах мы всегда узнавали заранее, имели время собрать войска и очень редко не пользовались удачею при столкновении; но малые партии, тайком или силой неожиданно прорывавшиеся чрез нашу границу и уходившие от многочисленной погони благодаря быстроте и силе своих лошадей, наносили нам немало вреда.

По большей части они ночью подходили к Кубани на довольно близкое расстояние, день отдыхали в балке, перед вечером переправлялись неожиданно через реку, нападали на станицу, если были в силах, или бросались на казаков, возвращавшихся с полевой работы, на табуны и на стада и уходили с добычей за Кубань, прежде чем казачьи резервы успевали собраться для погони. Ночь прикрывала их отступление по открытой равнине, между Кубанью и горами. Иногда они производили ложную тревогу на каком-нибудь пункте и, когда казаки собирались туда, переходили через границу верст двадцать выше или ниже; или случалось, что подобные партии, переправившись через Кубань, уходили по первой попавшейся дороге как можно дальше во внутренность края и делали нападение перед закатом солнца, чтобы скрыться под защитой ночи, ловко ускользая от погони. Для набегов горцы подготовляли своих лошадей, как для призовой скачки, переставали их кормить сеном, гоняли под попонами, купали по несколько раз в день. На приготовленных таким образом лошадях они пробегали потом неимоверные расстояния. Однажды братья Карамурзины с десятью товарищами переправились через Кубань

около Прочного Окопа, в длинную осеннюю ночь проскакали за Ставрополь к селению Донскому, на Тагиле, и к рассвету очутились за Кубанью близ Невинномысской станицы, сделав в продолжение четырнадцати часов более ста шестидесяти верст. Абреки, решившиеся на подобные дела, были люди известные своею храбростью и ловким наездничеством; казаки знали их и сильно опасались. По кавказскому обыкновению, при появлении неприятеля в каких бы то ни было силах, казаки с ближайшего поста должны были завязать с ним перестрелку, следить за ним неотступно и своим огнем обозначать направление партии. Казаки из ближайших станиц и со всех окрестных постов скакали во весь опор на тревогу и немедленно вступали в дело. Таким образом, в продолжение десяти или двенадцати часов на каждом пункте кордона могли собраться от шести до восьми сот казаков. Бывало, сотня или две линейных казаков смело бросались в шашки и врезывались в двое сильнейшую неприятельскую толпу; но случалось, что те же сотни не решались атаковать холодным оружием несколько десятков абреков и стреляли в них издали, зная, что в рукопашном бою их жизнь можно купить лишь дорогою ценой. Окружив абреков, казаки истребляли их до последнего человека; да и сами абреки не просили пощады. Видя отрезанными все пути к спасению, они убивали своих лошадей, за телами их залегали с винтовкою на присошке и отстреливались, пока было возможно; выпустив последний заряд, ломали ружья и шашки и встречали смерть с кинжалом в руках, зная, что с этим оружием их нельзя схватить живыми.

III.

Наконец все было готово к нашему отъезду; Сефер-бей приехал, и мы тронулись в дорогу восемнадцатого сентября. Первый переход был весьма невелик и замечателен только тем, что мы расстались во время его с Бием, оставшимся в Шегирее оберегать семейство своего брата. Прощаясь со мною, он крепко пожал мне руку и поклялся, что я единственный русский, которого он в силах видеть возле себя, не чувствуя непреодолимого желания всадить в него кинжал по рукоятку, что для меня было более успокоительно, чем лестно. Сефер-бей сообщил нам новость об отбитом нападении приморских абазин и убыхов на Гагринское укрепление. Несколько недель

сряду они тревожили каждую ночь гагринский гарнизон, заставляя его по-пустому выбегать на бруствер. В ночь нападения они снова произвели тревогу: солдаты, утомленные предыдущими бессонными ночами, все-таки выскочили на бруствер, как водилось, в одних рубашках с сумкою через плечо и с ружьем в руках, прождали около получаса и вернулись в казармы с досадой, уверенные, что это опять была пустая черкесская шалость, сделанная с целью отнимать у них сон. Но едва они заснули, как вторичные выстрелы и крик часового: неприятель во рву! их опять подняли на ноги. Пока они выбежали, черкесы успели ворваться в блокгауз, фланкировавший ров, и завладеть двумя орудиями. Солдаты выбросили из него неприятеля штыками, освободили орудия и картечными выстрелами из них очистили ров. Нападение было отбито с большим уроном со стороны неприятеля, не успевшего даже подобрать своих убитых, что у черкесов считается большим стыдом. После этого они обратились к бзыбскому отряду генерала N. и угнали из него всех казачьих лошадей, неосторожно пасшихся в одном общем табуне. Кроме того, Сефер-бей нам рассказал, что около тысячи горцев собрались близ гагринского дефиле, для защиты его, если русские войска двинутся вперед. Эта новость была для меня очень неприятна, представляя для моего путешествия весьма важное и совершенно неожиданное затруднение. По причине этого обстоятельства я не хотел отложить своей поездки, надеясь, что черкесы скоро разойдутся, как действительно и случилось.

На другой день мы прошли около тридцати пяти верст по дремучему лесу, беспрестанно поднимаясь в гору, и остановились ночевать в одной из пещер, которыми усеяны каменистые отроги горы Ашишбог, возвышавшейся в виде огромных ворот над абазинским аулом Баг. Дорога позволяла нам ехать верхом. Во время этого перехода мы прошли мимо горы Диц, опоясанной тремя рядами скал, в которых виднелись несколько глубоких пещер. Вид этой горы чрезвычайно пасмурен и оправдывает сказание о ней, напоминающее в одинаковой мере Прометея и Антихриста. Имам Хази, с неподдельным страхом, указал мне на черное отверстие, находившееся на самом верху горы, прибавив: худое тут место для каждого живого человека. Это выход из огромной пещеры, спускающейся под самое основание горы. В глубине ее лежит Дашкал, прикованный к горе семью цепями, – Дашкал, который перед разрушением мира явится между людьми для смущения их и восставит брата против брата, сына против отца. Возле него лежит большой меч, который он напрасно усиливается достать рукой, потому что его время еще не пришло. Когда он с досады начинает потрясать цепи, тогда горы дрожат и земля колеблется от одного моря до другого. Время его не совершилось еще, но когда оно настанет, тогда он схватит меч, разрубит оковы и явится на свет губить человеческий род. Я спросил: «Кто же видал Дашкала?» – «Как! да на это не решится ни один человек! Избави Аллах! Говорят, один абазинский пастух по глупости спустился в пещеру и, увидав Дашкала, от испуга сошел с ума». Горцы действительно боятся горы Диц и даже близко не подходят к ней.

В третий переход мы шли сначала по глубокому ущелью Малой Лабы, потом поднялись на гору, на которой находилась широкая равнина, огороженная со всех сторон остроконечными скалами. Эта равнина, неприметно склоняясь с одной стороны на северо-восток, с другой на юго-запад, образовывала перелом местности. Посреди ее находилось несколько бездонных озер, имевших от пятидесяти до ста саженей поперечника, из коих вытекали: на север Лаба, на юг Мдзимта. С южной стороны эта равнина, имевшая две версты протяжения, прерывалась пропастью неизмеримой глубины, в которую ниспадал поток, образующий начало Мдзимты, разлетаясь на половине своего падения в облако водяной пыли. Едва приметная серебристая лента обозначала на дне пропасти, что эта пыль снова сливалась в один поток. Приняв направление на север, наша дорога обходила эту пропасть по тесной тропинке, лепившейся карнизом вдоль отвесной скалы. Огромные камни, через которые мы пересаживали лошадей на руках, загораживали нам путь, и без того чрезвычайно трудный по множеству извилин. После неимоверных усилий мы добрались с лошадьми до лесистого гребня, с которого нам следовало спуститься в селение Ачипсоу, лежавшее в ущельях Мдзимты и впадающей в нее реки Зикуой. Эта тесная и опасная дорога служит для медовеевцев лучшею защитой с северной стороны. Сотня хороших ружей может здесь остановить целую армию, которой пришлось бы наступать поодиночке, человек за человеком, не имея никакого способа обойти неприятеля.

В два последние перехода мы сделали до восьмидесяти верст, крайне утомили себя и лошадей, но не встретили никакого приключения. Все бывшие с нами люди принадлежали к числу преданных интересам Карамурзина и знали, кто я таков. В местах удобных для засады Сефер-бей Маршаний, чтобы

избавить нас от неожиданной встречи ружьями, выезжал вперед и громко возвещал о том, что едет Тембулат Карамурзин, а он, Сефер-бей, ему сопутствует. Спуск к Ачипсоу очень крут и во многих местах топок. Мы потеряли на нем очень много времени, сводя скользивших и падавших на каждом шагу лошадей, между которыми находились два коня лучших кавказских пород Трам и Лоов, назначенные Карамурзиным в подарок Гассан-бею абхазскому. Совершенно уже смерклось, когда мы подошли к первым домам, в которых Карамурзин решился переночевать, так как до дома Маршаниев было неблизко и трудно было вести в темноте лошадей по тесной каменистой тропинке. Приезд Карамурзина в Ачипсоу, где он провел свое детство, было довольно редкое происшествие и должен был произвести движение между его старыми знакомыми. Чтобы избавить меня на первый раз от их нескромного любопытства, Карамурзин остановился в одном доме, а я, имам Хази и Сефер-бей поместились от него подальше, у другого хозяина. С удовольствием вспоминаю о первом впечатлении, какое сделал на меня Ачипсоу. Сдав лошадей, мы вошли в кунахскую, в которой слуги суетились, расстилая для нас ковры, подушки, и разводили на очаге огонь. В этом отдаленном уголке гор существовал еще патриархальный обычай, по которому дочь хозяина обязана умывать ноги странников; но и тут, впрочем, обычай этот удержался в виде одной наружной формальности. Когда мы уселись на приготовленных для нас местах и сняли обувь, в кунахскую вошла молодая девушка с полотенцем в руках, за которою служанка несла таз и кувшин с водой. В то мгновение, когда она остановилась передо мною, кто-то бросил в огонь сухого хворосту, и яркий свет, разлившийся по кунахской, озарил девушку с ног до головы. Никогда я не встречал подобной изумительной красоты, никогда не видал подобных глаз, лица, стана; я смешался, забыл, что мне надо делать, и только глядел на нее. Она покраснела, улыбнулась и, молча наклонившись к моим ногам, налила на них воды, покрыла полотенцем и пошла к другому исполнять свою гостеприимную обязанность. Между тем свет становился слабее, и она скрылась в дверях тихо, плавно, подобно видению; более я ее не видел.

Имам Хази долгое время сидел в каком-то оцепенении, вперив глаза в пустое место, на котором она стояла перед ним за несколько мгновений, и наконец сказал мне по-татарски: «Брат Гассан, видал ли ты в жизни подобную красоту? А я не

видал, и увижу разве только в раю, если грехи позволят в него войти». Гассаном звали меня в нашем походном обществе, выдавая за чеченского абрека, в том соображении, что от самой Кубани до Черного моря мы не могли опасаться встретить человека, говорящего по-чеченски, который мог бы поэтому узнать, что я не чеченец. Понимая по-татарски, при людях я говорил с имамом Хази на этом языке, а наедине объяснялся с ним по-русски. Долго еще после того имам Хази не мог забыть ачипсоуской абазинки, по временам задумывался и делал неожиданно вопрос: «Брат Гассан, видал ли ты в жизни подобную красоту?» Тогда я знал, о ком идет речь. Я сам ее помнил, да предпочитал молчать об этом.

Поужинав, мы заснули крепким сном до другого утра; с рассветом оседлали лошадей, поблагодарили нашего хозяина за гостеприимство и отправились к Сефер-бею. Вечером приехал к нему Тембулат, освободившись от первых приветствий ачипсоусцев, провожавших его толпой по всему селению. Радость их при виде Карамурзина объяснялась обыкновением, по которому у горцев жители целого селения, общества и даже страны считают себя аталыками воспитывавшегося между ними ребенка знатной фамилии. Таким образом, медовеевцы называли себя аталыками Карамурзина, а все абадзехи аталыками кемюргоевского владетеля Джембулата Айтеки.

Кавказ богат красотами природы, но я помню мало мест, которые бы могли равняться по живописному виду с долиною Мдзимты. Пролегая на расстоянии тридцати пяти верст от главного хребта до гребня Черных гор, идущего параллельно морскому берегу, она ограничивается с двух сторон рядами высоких неприступных скал, защищающих Ачипсоу с севера и юга. В этой глубокой котловине течет быстрая Мдзимта, образующая бесчисленное множество водопадов. По обе стороны реки раскиданы купы домов и хижин, окруженных темною зеленью садов, виноградниками, посевами кукурузы, проса, пшеницы и свежими бархатными лугами. По мере удаления от берегов постройки и обработанные участки земли заменяются вековым лесом, который окаймляет бока гор, упирающихся в красноватые зубчатые скалы. Через отрог Черных гор, перегораживающих реке путь к морю, она прорывается в тесные скалистые ворота, образующие неприступный проход со стороны юго-запада. Недалеко от Ачипсоу находятся еще два селения, Айбога на реке Псоу и Чужгуча на реке Чужипсы, составляющие все вместе одно общество, известное под именем Медовей.

Жителей в нем не более десяти тысяч. Они не богаты скотом, мало имеют пахотной земли; но зато пользуются изобилием фруктов: персиков, абрикосов, груш и яблок, превосходящих величиной и сочностью все подобные плоды, какие можно встречать в других местах по берегу Черного моря. Горы покрыты каштановыми деревьями, дающими пропитание большей части бедного населения, у которого очень часто недостает пшена и кукурузы. Жители сушат каштаны на зиму и, разварив потом в воде, едят их с маслом или с молоком. В Ачипсоу имеется отличный мед, добываемый от горных пчел, гнездящихся в расселинах скал. Этот мед очень душист, бел, тверд почти как песочный сахар и весьма дорого ценится турками, от которых медовеевцы выменивают необходимые им ткани исключительно на мед, воск и на девушек.

У Сефер-бея мы прожили четыре дня, как водится в подобном случае, лежа на подушках и принимаясь несколько раз в день за баранину, кур, просо, молоко и фрукты, которыми нас угощали с избытком, соответственно высокому значению редких гостей. С утра до вечера нас окружали знакомые Тембулата. Я с ними прохаживался по окрестностям, обедал, разговаривал знаками с примесью нескольких татарских слов и так хорошо вел свои дела, что никому из них и в голову не приходило, что между ними русский под черкескою Гассана-абрека. В Медовее только все Маршании и некоторые второстепенные дворянские фамилии исповедуют магометанскую веру; простой народ склоняется к язычеству и, не имея определенных верований, в случае беды обращает свои молитвы к некоторым скалам и к святым деревьям, и к шайтану питает непреодолимый детский страх. Женщин медовеевцы не имеют обыкновения скрывать. Дочь Сефер-бея, прехорошенькая двенадцатилетняя девочка, проводила с нами весь день, и я не мог довольно налюбоваться ловкости и грациозности, с которою она, подобно белке, взбиралась на самые высокие деревья, рвала фрукты или, резвясь, прыгала с одного дерева на другое, не нарушая нисколько женской стыдливости, защищенной неизбежною принадлежностью ее восточного костюма. Погода была прекрасная, и все в Ачипсоу дышало миром и спокойствием. Медовеевцы действительно пользовались этими благами, мало известными в других частях Кавказа, благодаря неприступному месту, которое они занимали; но зато они сами нередко отнимали у других покой, спускаясь к морю в Абхазию и на северную сторону гор грабить каждого встречного. Пользуясь между горцами репутацией отъявленных разбойников, они за пределами своих крепких гор находились во всегдашней опасности быть перебитыми без всякой жалости. За день до нашего приезда привезли в Ачипсоу тела четырех убитых медовеевцев, которым мой знакомый кабардинский князь Исмаил Касаев, с Тегеня, приказал отрубить головы за то, что они, без спроса, хозяйничали в его табуне.

От Сефер-бея Карамурзин намеревался переехать в дом к Дударукве Богоркан-ипе Маршанию, приготовившему в его честь особенно роскошное угощение, заколов по этому случаю молодого буйвола и нескольких баранов. Слух о празднестве, ожидавшем нас у Дударуквы, разнесся по всему Ачипсоу, и я должен был готовиться провести несколько дней в еще более многолюдном обществе абазин, чем у Сефер-бея. Это меня нисколько не тревожило, и, я уверен, мое пребывание в Ачипсоу прошло бы без приключения, если бы с другой стороны не явилась опасность, от которой меня избавила только находчивость моих проводников. Готовясь к выезду, мы хлопотали около лошадей, когда Сефер-бею дали знать, что к его дому подходят гости из Абхазии, некий князь Дагу Ангабадзе с пятью товарищами. Эти люди не раз встречались со мною у своего владетеля, непременно узнали бы меня и, промолчав об этом с привычною им хитростью в доме у Сефер-бея, потом не преминули бы всем рассказать обо мне. Сефер-бей мог всегда отговориться неведением, но Карамурзин не имел этой отговорки и рисковал жизнью наравне со мною. Но как избегнуть встречи с ними, не обратив на себя внимания окружающего нас народа, подмечавшего за всем, что мы делали? Я переглянулся с Тембулатом, который тотчас меня понял. Он шепнул что-то Сефербею, а тот подошел ко мне, будто бы помочь подтянуть подпругу, и не знаю, что сделал с моею лошадью, потому что она взвилась на дыбы и, вырвавшись из рук, побежала в противную сторону от приближавшихся абхазцев. «Гассан, лови свою лошадь!» – закричал Карамурзин, и я бросился за нею, поняв хитрость, ловко придуманную для того, чтобы избавить меня от нескромности абхазцев. Пока я ловил лошадь с помощью имама Хази, гостей усадили в кунахской; Карамурзин занял их рассказами, потом им подали закуску, и я успел переехать к Дударукве Маршанию, не видав их. Сефер-бей сдал их между тем на руки своему отцу, который должен был удержать их несколько дней у себя в доме и после того вести на северную сторону гор или в Абхазию, куда они захотят, только таким путем, на котором мы не могли более опасаться их встречи.

У Дударуквы собралось до тридцати человек одних Маршаниев и кроме них большая толпа простого народа, женщин и детей, горевших нетерпением видеть знаменитого абрека Карамурзина и воспользоваться остатками приготовленного для него угощения. Обед, состоявший из бесчисленного количества обыкновенных черкесских блюд, длился без конца. Когда столы были очищены, толпа начала расходиться. Тогда пришла в кунахскую дочь Маршания повидаться с Тембулатом; ее сопровождали несколько хорошеньких девушек в праздничных нарядах. Она слыла красавицей и вполне оправдывала свою репутацию. Принадлежа к числу тех соблазнительных горских красот, о которых предание носится по всему востоку, и наивно кокетливая, рисуясь, выказывала она свою тонкую талию и пышный стан, обтянутые синим бешметом, белизну маленьких рук и белизну ног, выглядывавших из-под красных шелковых шаровар, вышитых золотом. Длинные черные волосы густою волной падали по плечам; глаза горели тусклым огнем под белою кисейною чалмой; она поражала своею красотой, а все-таки не могла равняться с девушкой, которая нам умывала ноги. Считая Тембулата братом, по своему дяде, аталыку его, она просидела с ним до самого вечера. Имам Хази, глубокий поклонник прекрасного пола, смотрел на нее с большим удовольствием, приговаривая, впрочем: «Славная, пышная княжеская дева; а все не то, что та красота, которую мы видели в первый вечер». Женщины и девушки, виденные мною в Ачипсоу, сравнительно гораздо красивее мужчин, не имеющих ни ловкости, ни гордой осанки, которыми отличаются черкесы.

На другой день мы отправились в Чужгучу, переехав через Мдзимту по висячему мосту, устроенному с большим искусством из жердей, досок и виноградной лозы, связанных веревками. Подобных мостов я насчитал через реку около пяти для пешеходов и два для лошадей. В Чужгуче мы опять остановились у Маршания, родственника Сефер-бея. Самого хозяина не было дома; жена послала за ним нарочно, и это обстоятельство принудило Карамурзина пробыть против воли лишний день в этом селении. Здесь неумышленное и весьма незначительное нарушение с моей стороны правил уважения к старшим привлекло на меня внимание горцев и наделало мне и Карамурзину много беспокойства. Мы приехали поздно вечером; кунахская была уже занята разными гостями, прибывшими прежде нас. Когда Карамурзин вошел, все встали и, дав ему

занять первое место, стали усаживаться по старшинству на подушках, разложенных около стены. По правилам черкесской вежливости эта церемония не могла обойтись без приглашения со стороны Карамурзина и без многих просьб и уступок места между гостями. Считая себе не более двадцати пяти лет, я, как молодой человек, между товарищами Карамурзина всегда занимал место после имама Хази, около которого и садился, тем более что он один хорошо понимал русский язык. Дурно освещенная кунахская была наполнена разными людьми, которых я не успел хорошо рассмотреть. Я уселся, по обыкновению, возле имама Хази и спокойно стал набивать свою маленькую трубочку, не замечая того, что сделался предметом всеобщего внимания.

Нечаянно подняв глаза, я крайне удивился, заметив, что все на меня смотрят; взглянул на Тембулата и пришел в совершенное недоумение, увидав, что этот, обыкновенно хладнокровный человек, с видом величайшего беспокойства глядит мне прямо в глаза. Приученный опасностью моего положения обращать внимание на каждый знак его, я оглянулся назад и понял, в чем дело. Ниже меня сидел, с обиженным видом, старый турок, высокий, худощавый, с белою бородой до пояса, с четками в руках – один из тех фанатиков, которые, питаясь подаянием, ходили по горам проповедовать мусульманам беспощадную войну против гяуров-свиноедов, как они честят всех христиан. Я уже говорил об уважении и почете, которые молодые люди обязаны оказывать у горцев старикам. Моя невольная ошибка могла навлечь на меня подозрение, что я не родился и не воспитывался в горах; оставалось только исправить ее скоро и решительно. Вспомнив все, что я знал по-татарски, я поднялся и громко попросил турка пересесть на мое место, прося меня извинить, если шайтан на мгновение ослепил мои глаза, закрыв от них его седую бороду, перед которою я благоговею как перед бородой моего отца. Говор одобрения пробежал по всему собранию. Имам Хази уступил ему свое собственное место, а Карамурзин объяснил всем, что я плохо говорю и понимаю по-татарски, а по-черкесски совершенно не знаю, бежав несколько месяцев тому назад из Чечни за Кубань, для того чтобы сделаться абреком. Турок, бросавший на меня сперва весьма злобные взгляды, несколько смягчил свою досаду, но все-таки не переставал за мною следить. Что я ни делал, глаза турка меня не оставляли, будто его дикий инстинкт угадывал во мне врага; и, право, мне было нелегко

выдерживать эту пытку, сохраняя вид невозмутимого равнодушия, чтобы не быть узнанным. Его постоянное наблюдение за мною принудило меня делать умовения и творить намаз, без которых я обходился до того времени.

Опасность стала умножаться для нас по мере приближения к морю. На другой день, пока мы ожидали прибытия хозяина, число гостей увеличилось более, чем мы могли желать. Между ними оказался старик высокого роста, в котором я тотчас узнал абхазца, хотя и видел его в первый раз. Стоя, опершись на свою длинную железом окованную палку, он завел с Карамурзиным речь на чистом абхазском наречии. Слова Уруссим, Микамбай, Сид-ипа, повторявшиеся довольно часто в их разговоре, заставили меня прислушаться; ясно было, что дело шло обо мне и о моем первом путешествии через горы. Между тем проницательные глаза абхазца перебегали от одного к другому из гостей, занимавших кунахскую. В это время подали обед, на обычных круглых столиках, и Карамурзин, как почетный гость, пригласил кого ему угодно было за свой стол. В числе избранных находились: турок, абхазец, имам Хази и я. Перед концом обеда Тембулат сказал абхазцу несколько слов, назвав его при этом Софыджем; абхазец одобрительно потрепал меня по плечу. Я взглянул на Карамурзина: ироническая улыбка и легкий знак глазами подтвердили мою мысль. Передо мною находился Софыдж, преследовавший меня еще в Абхазии и отнюдь не чаявший, что я нахожусь от него так близко. Вечером, когда мы остались наедине на несколько мгновений, Карамурзин передал мне со смехом через имама Хази свое объяснение с Софыджем, пришедшим к нему из ближайшего селения с единственною целью разведать о том, куда я девался после моего путешествия из Абхазии на линию.

Карамурзин рассказал ему все, что знал, прибавив, что на линии разнесся слух, будто я умер, чему он, впрочем, не верит, полагая, напротив того, что я предпринял новое путешествие. Софыдж не хотел этому верить и, в свою очередь, обещал караулить меня на дорогах, ведущих в Абхазию, и на замечание Тембулата, что нелегко меня узнать, отвечал с самоуверенностью: «Только не для меня; русского я узнаю чутьем, зажмуря глаза». После этого хвастовства Карамурзин не хотел отказать себе в удовольствии посмеяться над ним и смелым поступком отвлечь от меня всякое подозрение. Он посадил нас за один с ним стол и перед концом обеда спросил Софыджа, так хорошо отличавшего русских, может ли он сказать, к

какому народу я принадлежу. Разумеется, Софыдж пришел в недоумение и не знал, что отвечать. Тогда Карамурзин объявил ему, что я чеченец с Терека, абрек, и сгораю ненавистью к русским. Это очень обрадовало Софыджа, пожалевшего только, что мы не можем друг с другом объясниться. Шутка была не безопасна, но лучше Карамурзин не мог ничего придумать для уничтожения дурного впечатления, сделанного мною на турка. Впрочем, этот фанатик не переставал за мною наблюдать, следовал за нами еще несколько переходов, всегда шагал возле моей лошади, беспрестанно заговаривал со мною и, получая ответ, что я его не понимаю, что-то бормотал про себя... Мы были очень рады, когда, наконец, утомившись от скорых переездов, он в каком-то селении отстал от нас.

Из Чужгучи мы переехали в селение Чужи, лежавшее на реке Худапсы. Число наших проводников увеличилось до двадцати человек, принадлежавших к разным абазинским обществам, княжествам и республикам, существовавшим поблизости моря. Все они враждовали между собою и соединялись только против своего общего врага, русских. Дорога в Чужи вела через высокую каменистую гору. Крутой подъем принуждал нас идти пешком и тащить за собою наших усталых лошадей. День был чрезвычайно жаркий, мы сами порядком измучились и к усталости присоединилось еще одно обстоятельство, отнимавшее у меня последние силы поспевать за другими. От ходьбы в горах моя обувь пришла в такой дурной вид, что, ступив на острый камень, я прорезал себе как ножом подошву правой ноги. Кровь текла из раны не переставая, пыль и песок забивались в нее, нестерпимая боль не позволяла мне ступать на ногу, а лошадь, нехотя карабкаясь по скользкому камню, тянула меня назад. Терпение в страданиях считается у горцев одним из первых достоинств для молодого человека, и равнодушие, с которым они переносят боль, доходит до такой степени, что в этом случае весьма легко узнать между ними европейца, который, может быть, столько же, как и они, бесстрашен, но никогда не сравняется с ними в терпеливости. В то время я был в состоянии многое вынести и шел, невзирая на мою рану, но поневоле должен был отставать. С нами было множество чужих людей, которые отнюдь не должны были знать, кто я таков, да и место, где мы находились, смежное с абазинами, убыхами и шапсугами, нередко ссорившимися между собою, было не совсем безопасно для самих горцев, спешивших поэтому дойти до ночлега прежде вечера, а я задерживал их.

Имам Хази как-то невежливо заметил мне, что, оставаясь назади, я подвергаю их всех опасности, и даже во мне могут узнать русского, потому что не умею перенести боли. Это меня взорвало. В пылу досады я схватился за пистолет, крикнув ему, что я на замечания, сделанные мне дерзким тоном, имею привычку отвечать вот чем. Кровь бросилась в голову имаму Хази, и он в первую минуту не нашел слов для ответа, а только сам положил руку на пистолет, закричав: «Ну, брат, пистолет так пистолет!»

Сцена происходила далеко сзади опередивших нас проводников и, право, не знаю, чем бы она кончилась, если б в это мгновение не явился между нами Тембулат, который, не видя меня возле себя, отстал от других под каким-то предлогом. Первым делом его было унять имама Хази; потом он спросил меня: отчего я отстаю. В ответ я показал ему мою окровавленную ногу. Все посторонние люди ушли далеко вперед, и около нас не было никого чужого; пользуясь этим обстоятельством, Тембулат поднял меня с земли, одною рукой перекинул через свое плечо, другою схватил повод моей лошади и, почти бегом, взнес меня на гору, таща за собою двух усталых лошадей. Подобное дело было возможно для одного Карамурзина, про которого в горах говорили, что одни мертвые знают, остра ли его шашка. Черкесы не любят обнажать шашки иначе как для удара, а при его силе действительно каждый удар был смертелен. На горе он меня ссадил на землю и просил, ради нашей безопасности, не отставать. Только в Чужи, поздно вечером, мне удалось перевязать ногу. От князя Ислам-Бага, принявшего нас в Чужи, мы переехали в селение Чуа, на реке Мце, по совершенно удобной дороге, не препятствовавшей нам пользоваться лошадьми. По мере приближения к морю, горы, понижаясь, представляли богатую растительность, посевы умножались и народонаселение становилось гуще. Вправо и влево от дороги тянулись, с небольшими промежутками, отдельные группы домов, окруженных посевами гомми, кукурузы, пшеницы и табаку. Стали показываться также фруктовые деревья, обвитые виноградными лозами.

В Чуа присоединился к нам отец Сефер-бея, ловко избавивший нас от абхазского князя Ангабадзе, которого он уговорил сходить на северную сторону гор, попытать счастья в лабинских лесах. Ему нашли в Ачипсоу проводников и товарищей для этой экспедиции, из которой он мог никогда не вернуться, и во всяком случае должен был проходить так долго,

что ему нельзя было нас встретить в другой раз. Старик Маршаний привез с собою и женщину, которую Карамурзин вез продавать туркам. Она была весела, всему радовалась и казалась весьма довольною своим путешествием. За нею присматривал во время дороги Безрукова, которому лета дозволяли исполнять эту обязанность, не нарушая весьма щекотливой черкесской стыдливости.

Из Чуа мы спустились к морскому берегу по широкому ущелью, покрытому густым лесом, в котором были приготовлены против русских несколько огромных завалов. У выхода из ущелья находился длинный завал из деревьев и камня, с фланкирующею его деревянною башней. Тут остановили нас для спроса десятка два конных людей, принадлежавших к обществу Саша. Находя ответы Карамурзина удовлетворительными и узнав, кто он, караульные попросили его заехать в дом Сашинского владельца, князя Али-Ахмета Облагу. В это время мне пришлось быть свидетелем одной из тех сцен торговли женщинами, которые ежедневно повторялись по черкесскому берегу, несмотря на все старания наших крейсеров прекратить ее вместе с подвозом военных припасов к горцам. Не оправдывая черкесов в этом деле, я не буду и строго судить их. У мусульман девушка, выдаваемая замуж, равномерно продается; отец, брат или ближайший родственник, у которого она жила в доме будучи сиротою, берут за нее калым. Черкесы притом не продавали своих дочерей, а продавали туркам только рабынь или пленниц, отдавая их в руки своих одноверцев. Тот же самый черкес скорее решился бы убить женщину, чем продать ее гяурам на осквернение. К тому же обыкновенно они не делали своим пленникам обоего пола через продажу ни малейшего зла. Проданные мальчики нередко делались в Турции знатными людьми, а черкешенки почти всегда первенствовали в гаремах богатых турок. А когда на проданных выпадала несчастная доля, так был виноват не продавец: так было написано в книге судеб! Торговля женщинами была для черкесов почти необходима, а для турецких купцов составляла источник самого скорого обогащения. Поэтому они занимались этою торговлей, пренебрегая опасностью, угрожавшею им со стороны русских крейсеров. В три или четыре рейса турок, при некотором счастии, делался богатым человеком и мог покойно доживать свой век; зато надо было видеть их жадность на этот живой, красивый товар.

Около берегового завала, под защитою карауливших его горцев, человек пять турок ожидали продавцов. Они бросились

к нам навстречу и, узнав, что есть женщина, попросили позволение осмотреть ее. После того они по жребию определили, кому из них торговать ее, и начали переговариваться с нами, причем мы со всею восточною важностью уселись в киоске, стоявшем возле кладбища. У черкесов никакое дело не обходится без совета, потому и в этом случае каждый из нас был призван подать свое мнение. Между тем турок-посредник беспрестанно ходил от нашего общества к купцам и от купцов к нам, уговаривая ту и другую сторону согласиться на предлагаемые условия. В это время предмет торговли сидел на камне с видом величайшего равнодушия, не замечая, кажется, того, что происходило от него в самом малом расстоянии и от чего зависела его будущая судьба. Наконец, порешили торг, уступив женщину за две лошади и за два вьюка бумажных материй. За нее дали бы вчетверо больше, если б она была девушка. Когда ей объявили, что она принадлежит новому хозяину, тогда я увидел в ней перемену, которой, право, не ожидал, судя по ее прежнему настроению духа. Она пришла почти в бешенство, рыдала, рвала на себе волосы, осыпала всех упреками, так что мне не в шутку стало жаль ее. Но имам Хази успокоил меня, заметив: отчего я ее жалею, когда она сама нисколько не тоскует.

– Да она плачет и выходит из себя.

– А! – сказал имам Хази, махнув рукою, – это ничего не значит, это такой закон у марушек (женщин); смотри, не пройдет минуты, и она будет смеяться.

Имам Хази был прав. Едва турок успел посадить пленницу на лошадь, накинув на нее новое покрывало, как она уже приняла довольный вид и начала прихорашиваться, драпируясь им, сколько умела. Лошади были нужны нам самим, а товар Карамурзин роздал на месте нашим абазинским проводникам, пришедшим в неописанный восторг от его щедрости. Направив наш путь на север по берегу моря, мы через полчаса приехали благополучно в Сочипсы к князю Облагу. Его самого не было дома, и нам не могли сказать, когда он вернется. Облагу был от Бзыба до Шахе самый значительный владелец и, подобно Гассан-бею абхазскому, ревностный мусульманин и покровитель турок, имевших в Сочипсах постоянный склад товара. Дом его, окруженный частоколом, стоял на краю селения, расположенного вдоль реки Сочи и закрытого со стороны моря густым лесом. Влияние турок у него в доме и на жителей селения было весьма заметно: намаз творился правильно, в урочные часы, и

к молитве призывал мулла, которого голос весьма редко раздается у абазин, а в Медовее никогда не слышен. Переночевав в Сочипсах, мы направили наш путь на юг, к пределам Абхазии. Верстах в десяти от места нашего ночлега мы съехались с князем Али-Ахметом, возвращавшимся из-под Гагр с дружиною в несколько сот человек. Несколько человек черкесов выскакали, по обыкновению, вперед узнать, кто едет им навстречу. Имя Карамурзина было известно по берегу моря. Облагу тотчас остановился, слез с лошади, что сделал также Тембулат, и оба князя сошлись приветствовать друг друга.

Пока они разговаривали, конные черкесы окружили нас со всех сторон и с видимым любопытством рассматривали лошадей, оружие и нас самих. Закубанские черкесы нечасто приезжают к морю. Несколько человек подъезжали ко мне с вопросами; я смотрел им вопросительно в глаза и прекращал разговор одним словом: «бильмем» – не понимаю. Имам Хази и Ягыз, не говорившие ни по-абазински, ни по-черкесски, находились, к моему счастью, в том же положении. Между турецким и ногайским языками существует также довольно большая разница, что им мешало вполне понимать даже людей, разговаривавших с ними по-турецки. Из вежливости князь Облагу назначил из своей свиты четырех убыхских дворян проводить Карамурзина до первого ночлега, в Арт-куадже. Тут жил приятель Сефер-бея Маршания, дворянин Арто, которого, к нашему крайнему сожалению, мы не застали дома. Несколько дней перед нами он отправился в Батум на турецком судне. Наши новые провожатые, не знаю почему, пристали ко мне самым неотвязчивым образом, заводили со мною разговор на разных наречиях, не отставали от моей лошади и пристально рассматривали на мне каждую нитку. Напрасно я говорил им ломано по-татарски, что я чеченец, не понимаю ничего кроме собственного языка и только между моими недавними товарищами выучился сказать несколько татарских слов. Чтоб избавиться от них, я предложил Ханафу, питомцу Карамурзина, попробовать его новую лошадь, которую мы накануне выменяли у турецких купцов. Скачка не обходится у черкесов без джигитовки. Ханаф выхватил ружье. Убыхи не выдержали, понеслись за нами, и раздался выстрел за выстрелом; выстрелы были направлены в шапку, которую один из них поместил на конец своего ружья. Это их развлекло и доставило мне случай дать им очевидное доказательство моего хорошего черкесского воспитания, когда я в десяти шагах от

скакавшего с шапкою выхватил ружье из чехла, пронизал шапку пулею и, на всем скаку зарядив ружье, повторил через несколько мгновений тот же маневр. Арт-куадж отделялся от моря лесистою горой. На повороте в гору убыхи нас оставили и простились со мною по-дружески, объявив, что они очень любят чеченцев, которые ловко стреляют.

Перед выездом из Арт-куаджа мы встревожились не на шутку, имея полную причину думать, что нас атакуют. Гостей не отпускают в дорогу у горцев без сытной закуски. В этот раз мы дожидались ее долее обыкновенного; наши лошади уже давно стояли оседланные перед дверьми кунахской, находившейся на покатости горы, возле которой протекала широкая и быстрая река. Едва успели убрать столы с кушаньем, и мы были заняты разбором оружия, висевшего на стене, как раздались около нас оглушающие вопли, невольно заставившие всех броситься к дверям. Тембулат первый выглянул из них, побледнел, сказал несколько слов имаму Хази и твердыми шагами пошел навстречу людям, с ружьями в руках бежавшим со всех концов селения к нашей кунахской. Не зная настоящей причины этой неожиданной тревоги, Тембулат хотел сперва удостовериться, касается ли дело действительно нас, и для этого вышел к народу без ружья, отдав его имаму Хази. На первый случай ему было довольно шашки и пистолетов; кроме того, он знал, что, видя его без ружья, абазины не бросятся на него, не сказав за что и не объяснив, чего они от нас хотят. Мы должны были между тем приготовиться, при первом знаке его вскочить на лошадей и, соединившись с ним, пробиться через толпу, взяв направление к горам, где лес давал нам возможность спастись. Можно себе представить, как у нас билось сердце и с каким напряжением следили мы за каждым движением Карамурзина, перед которым сотня или более абазин продолжали кричать и махать ружьями. Несколько мгновений мы находились в самом тягостном ожидании и тогда только вздохнули свободно, когда Карамурзин поворотился к нам и медленными шагами стал подходить к кунахской, сопровождаемый народом, шумевшим по-прежнему. Тревога, нас напугавшая, произошла по следующей причине: хозяин наш, как я уже сказал, отправился морем в Батум. В самую минуту нашего отъезда пришло известие о том, что турецкое судно, на котором он находился, захвачено русскими. Поэтому разъяренный народ бросился к его семейству изъявить горе и досаду, с которыми он принял известие о постигшем его несчастии. Успокоенные на свой счет, мы остались еще около получаса в Арт-куадже и потом медленно поехали на мыс Адлер к Аред-бею. На дороге имам Хази сказал мне шепотом: «Да, брат Гассан, если б они в это время знали, что у них русский, не вынесли бы мы наших костей; эти абазины ровно дикие звери!»

У Аред-бея собралось такое множество гостей в честь Карамурзина, что с моей стороны было бы неблагоразумно оставаться целый день у них на глазах. Мы находились в двадцати пяти верстах от Гагр, около которых разбойники из гор и с морского берега подкарауливали русских. Между ними легко мог случиться абхазец, знавший меня в лицо. По этой причине Тембулат поехал к Аред-бею с одним стариком Маршанием, а сын его Сефер-бей, имам Хази и я отправились искать гостеприимства в соседнем ауле. Все внимание жителей было обращено на Карамурзина, и я мог поэтому осмотреть на свободе долину Лиеш, известную у нас под именем мыса Адлер или Ардиллер. Со стороны моря она закрывалась густым, но весьма неглубоким лесом, перед которым находился длинный завал, прочно сложенный из огромных дерев, камней и глины. Правый фланг завала упирался в вековой лес, тянувшийся верст на десять до подножия гор, ограничивавших долину с востока. Примыкая тылом к лесу, ряд небольших аулов: Кирека, Абази, Баншерипш, Учуга, Хышхорипш, Кота и Джанхота, составляли полукруг, перед которым лежала совершенно ровная и открытая местность. Мыс Адлер принадлежал к числу тех пунктов, которые предположено было занять непременно. Увидев местность и основываясь на том, что горцы дерутся упорно только там, где их отступление совершенно обеспечено, я советовал сделать высадку прямо против завала, несмотря на его крепкий вид, и держаться сколько можно дальше от леса, лежавшего на его правом фланге. В 1837 году, когда мыс Адлер был занят нашими войсками, я находился тогда в плену, – считали иначе и понесли без нужды довольно значительную потерю, которой легко можно было избегнуть. Вместо того чтобы прямо атаковать завал, против него открыли с моря канонаду, а десантные войска направили в лес, предполагая отвлечь этим способом внимание горцев от настоящего пункта высадки или разделить по крайней мере его силы. Между тем вышло совершенно противное. Горцы от огня нашей артиллерии скрылись в лес, и направленные против него войска встретили в нем всю массу их в самых невыгодных для себя условиях. Завязалась драка в непроходимом лесу, в котором

войска не видели друг друга, не знали, куда им идти и, подаваясь вперед без связи, были встречены превосходящим неприятелем, отрезавшим часть стрелковой цепи. При этом был убит один из наших известнейших писателей того времени, Марлинский (Александр Бестужев), служивший офицером, не помню именно в каком полку.

От Аред-бея оставалось нам сделать последний переезд по неприятельской земле. Этот долгий, трудный и во всех отношениях опасный переезд изобиловал весьма памятными для меня похождениями. Погода, благоприятствовавшая нам с самого начала путешествия, переменилась; с моря дул холодный ветер; вода заливала часть береговой дороги, а в двух пунктах, как говорили абазины, верст десять не доезжая до Гагр и перед самым укреплением, где скалы вдались в море, прибой совершенно отнимал возможность около них проехать. Долго мы советовались с Карамурзиным, что для нас менее опасно, пережидать ли погоду в Лиеше или без промедления искать проезда в Абхазию. Каждый лишний час, проведенный в этих местах, мог накликать на нас непредвиденную беду; безрассудно было полагаться безотчетно на счастье только потому, что оно не изменило нам до сего времени. Мы решились ехать во что бы то ни стало. Сефер-бей не без труда нашел между своими знакомыми двух человек, согласных проводить нас в Гагры; все отговаривались дурною погодой, близостью русских войск и боязнью наткнуться на бродящие вокруг разбойничьи шайки, неведомо какого племени, готовые при удобном случае напасть и на своих. Аред-бей, удерживал Карамурзина, предсказывая ему, что в такую погоду он не проедет в Абхазию, и на всякий случай поручил проводникам, если море залило дорогу, остановиться на ночь в Гечь-куадже или в Цондрыпше.

До первых скал мы проехали без труда. Тут представилось первое затруднение: морская волна ударяла с силою в их подошву, объехать было невозможно, и мы перешли через них по головоломной тропинке, рискуя упасть сами или уронить в море наших лошадей. В виду Гагр проводники остановились, объявив решительно, что далее вести нас не могут. Отвесные скалы перегораживали дорогу; прибой ударял в них с оглушающим шумом. В гору вела едва приметная дорожка, про которую проводники уверяли, что она в недальнем расстоянии делается невозможною для лошадей, а потом поворачивает в сторону и, сделав огромный крюк, спускается к укреплению с южной стороны. Проводники уверяли также, что русские имеют обыкновение стрелять из орудий в людей, показывающихся возле скал, и хотя не отказывают в проезде черкесам, имеющим надобность до них или до абхазского владетеля, но что для этого необходимо послать в укрепление объясниться одного или двух человек: иначе нас примут выстрелами. Пока мы еще советовались, что нам следует делать, над укреплением, находившимся от нас в расстоянии восьмисот сажен, взвился дымок и вслед за ним восемнадцатифунтовое ядро пролетело со свистом над нашими головами. Это очень не понравилось провожавшим нас абазинам, которые, посоветовав нам закрыться скалами, требовали от Карамурзина, чтобы он решился или ехать ночевать в один из соседних аулов, или немедленно послал кого-нибудь в Гагры просить у коменданта пропуска; но сами они не хотели сделать вперед ни одного шага. Тембулат поручил идти в укрепление имаму Хази и мне, что мы немедленно исполнили. Имам Хази не соглашался оставить своей лошади, а поэтому и я не расстался с своею. Сначала мы проехали несколько сот шагов верхом, потом были принуждены спешиться, версты полторы прошли по тесной и крутой тропинке, которая, удаляясь от моря, завела нас в высокий лес. Тут не было и следа дороги. Напрасно старались мы пробраться на гребень, за которым лежали Гагры; везде представлялись нам одни отвесные скалы или скользкая крутизна, по которой не только наши лошади, но и мы сами не могли вскарабкаться на гору. Солнце погрузилось в море, в лесу настала совершенная темнота, и мы поневоле должны были вернуться назад к тому месту, где остался Карамурзин. На другой день мы надеялись быть счастливее и отыскать дорогу; к тому же ветер мог перемениться ночью и доставить нам возможность проехать в укрепление мимо скал.

К нашему крайнему удивлению, мы не нашли Карамурзина там, где расстались с ним, и, полагая, что он отправился ночевать в Цондрыпш, находившийся верст десять позади, поскакали его догонять. Около получаса неслись мы во всю прыть, в надежде увидать, по крайней мере издали, наших товарищей: береговая дорога, сжатая между морем и горами, покрытыми густым лесом, при ярком лунном свете далеко открывалась нашим глазам. Все было пусто на ней. Наше положение становилось критическим. Без проводников, не зная ни слова по-абазински, мы не могли ехать ни в какой аул; на дороге мы не могли также оставаться. Каждый встречный был для нас враг. Даже от одиночного человека мы не смели обороняться, потому

что выстрелы около русского укрепления могли быть приняты за тревогу и созвать к нам невесть сколько неприятелей. А потом как с ними объясниться? О ногайцах приморские абазины не имели никакого понятия; и если абхазцы не задумались перебить незнакомых им черкесских хаджиев, то по какой причине стали бы абазины жалеть нас? К довершению беды обе наши лошади были светло-серые и при луне видны издалека. Нам непременно надо было спрятаться на ночь, поутру скакать к Гаграм, возле скал бросить лошадей, пешком спастись в укрепление и там ждать известия от Карамурзина.

Но и скрыться было нелегко; горы, примыкавшие к морю, в редком месте позволяли втащить на них лошадей. Не думая долго, мы поехали опять назад отыскивать удобное место для ночлега и нашли его около небольшого ущелья. Взобравшись не без труда на покатость горы, шагах в пятидесяти от береговой дороги, мы залегли в лесу, который, к несчастью, оказался довольно редким и не скрывал достаточно наших светлых лошадей. Это заставило нас привязать их к дереву в одном месте, а самим, вынув ружья из чехлов и накрывшись бурками, лечь поодаль. Таким образом, мы могли бы увидеть приближающегося неприятеля и встретить его из засады. Несколько времени мы пролежали в таком положении, не видя никого и не слыша ничего, кроме шума морской волны, мерно ударявшей в берег; потом стали долетать до нас и другие звуки: треск сучьев, удары топора и человеческие голоса. Нельзя было сомневаться, что недалеко от нас, в ущелье, находятся люди; но кто они: Тембулат с товарищами или чужие, – это надо было сперва разведать с величайшею осторожностью. Имам Хази остался караулить лошадей, а я, с ружьем в руке, отправился рекогносцировать ущелье. Колючие кусты, беспрестанно цеплявшиеся за мою черкеску, не позволяли мне скоро пробираться через лес; кроме того, необходимость идти без шума заставляла меня также ступать потихоньку, прислушиваясь и вглядываясь вдаль на каждом шагу. За первым поворотом скал я увидел, в расстоянии ружейного выстрела, небольшой огонь, около которого мелькали людские тени. Можно было подумать, что это наши товарищи, заехавшие сюда ночевать; но в этом надо было сперва удостовериться, чтобы не накликать на себя напрасно беды.

Я лег на землю и начал подбираться к ним ползком. Колючки рвали на мне черкеску, царапали грудь и руки; несмотря на боль, я продолжал подаваться вперед, избегая малейшего

шороха, пока мне не удалось распознать, что тут не было лошадей, следственно это не мог быть Карамурзин. Около огня находились пять человек абазин, которые, готовя ужин, и не воображали, что так близко около них поселились чужие гости, представлявшие хотя и не совершенно безопасную, но все-таки очень соблазнительную поживу лошадьми и оружием. Так же тихо и осторожно, как подобрался к ним, вернулся я обратно к имаму Хази. Неприятное соседство открытых мною абазин заставляло нас быть вдвое осторожнее. Усталость смыкала наши глаза; трудно было преодолеть сон, и, чтобы совершенно не измучиться, мы согласились караулить поочередно, сперва я, а потом имам Хази. «Смотри же, брат, не спи; помни, что от хорошего караула зависит наша жизнь; пожалуй, зарежут спящих, как баранов; эти абазины ровно дикие звери», – сказал мне имам Хази, укутываясь в бурку. Отбыв свою очередь, не смыкая глаз, я разбудил имама Хази, повторил ему его собственное наставление и тотчас заснул. Перед рассветом свежий ветер пахнул мне в лицо, я проснулся и тотчас посмотрел, что делает имам Хази, не понимая, почему он не разбудил меня раньше, как было условлено. Причина была самая основательная. Он лежал на спине, стиснув ружье в откинутой руке, и храпел так громко, что разве один шум морского прибоя не позволял слышать на берегу его легкого сна. Я разбудил его хорошим толчком. Мы поспешно стерли с ружей росу, переменили порох на полке, вскочили на лошадей и понеслись к Гаграм без оглядки. Зоркий глаз имама Хази узнал еще издали Карамурзина, товарищей его и проводников, стоявших на вчерашнем месте, возле скал. Увидав нас, Карамурзин вскрикнул от удивления; он был уверен, что мы еще накануне пробрались в укрепление, и поэтому отправился ночевать в лесу недалеко от того места, на котором он с нами расстался; мы же проехали назад гораздо дальше. Абазины-проводники, узнав через Тембулата подробности нашего ночного положения, покачали только головой, прибавив, не каждому дается такое счастье уцелеть на берегу при подобных обстоятельствах: «Видно, Аллах вас особенно хранит».

Ветер сделался потише, но море все еще шумело и прибой не позволял ехать мимо скал. Между тем сам Карамурзин видел необходимость пробраться в укрепление не теряя времени. Проводники во всем находили непреоборимые трудности, морщились, подозрительно всматривались в нас и никак не хотели нам указать дороги через гору. Сефер-бей Маршаний,

хорошо знакомый с привычками приморских абазин, тихомолком шепнул Карамурзину не доверяться указаниям проводников и спешить в Абхазию. Наконец проводники, уступая убеждениям Сефер-бея, сказали Тембулату, что если он никак не хочет или не может выждать хорошей погоды, так есть еще путь в Гагры, разумеется, только для пешего человека, родившегося в горах, который не боится, что у него закружится голова и что ему изменит нога, и при этом указали на крутую, гладкую скалу, отделявшую нас от Гагр. Тут не было и следа дорожки. На протяжении шести или семисот саженей скала, подобно отвесной стене, кое-где испещренной расселинами и небольшими уступами, вдавалась в море, с шумом разбивавшееся об ее подошву. «Дайте клятву, что здесь ходили люди», – сказал им Тембулат. «Готовы присягнуть, – отвечали проводники, – только повторяем, что для этого надо родиться в горах».

Вместо ответа Тембулат подозвал к себе Сефер-бея, поговорил с ним наедине, приказал Ягызу и Ханафу принять всех лошадей, а мне и имаму Хази посоветовал снять чувяки и засучить ноговицы, что сделал и сам. Проводники следили с злобною улыбкой за нашими приготовлениями. Когда они кончились, он подозвал к себе абазин, одному подарил пистолет, другому кинжал, оправленные серебром. «Это вам на память за хорошее указание; а теперь смотрите, как ходят по горам люди, которые в них родились. Пойдем!». Босые, имея в руках ружья не вынутые из чехлов, потому что за плечом они только бы мешали, мы стали лепиться по скале, пользуясь расселинами и уступами, на которых едва помещалась нога. Помогая друг другу то подачей руки, то ружьями, мы подавались вперед шаг за шагом, как позволяли трещины и уступы, которые, как я говорил, поднимались высоко в гору, спускались к самому морю, обдававшему нас брызгами волн, дробившихся о скалу, и, наконец, после трехчасового лазанья, добрались до Гагр.

Можно вообразить, с какою радостью мы вступили на ровное место перед укреплением. Комендант и весь гарнизон высыпали за бруствер смотреть на наше путешествие по гладкой скале, между небом и морем. В первый раз они видели людей, идущих этим путем, и многие не хотели верить, чтобы мы дошли, спорили и держали пари о том, что конец нам будет в море. Перед укреплением встретила нас новая опасность, которою также нельзя было пренебрегать. Несколько десятков огромных гагринских собак бросились к нам навстречу, готовые нас разорвать за наш черкесский костюм. Я крикнул солдатам, чтобы остановили собак: это всех чрезвычайно озадачило. Когда их уняли, комендант подошел к нам с караулом и требовал, чтобы мы сложили оружие. Мой отказ исполнить его приказание привел его в такое недоумение, что он не знал, что и сказать, повторяя только: «Да ты кто такой? да как ты не хочешь слушать моего приказания?» Между тем я вынимал зашитое в бешмет открытое предписание главнокомандующего на Кавказе, перед которым должны были умолкнуть все его притязания. Прочитав его несколько раз, будто он не верил своим глазам, подполковник Малашевский переменил тон и попросил меня очень вежливо войти с моими товарищами в укрепление, в котором я остановился у майора Марачевского, защищавшего в двадцать четвертом году так храбро владетельский дом в Лехне.

Марачевский мог меня угостить только чаем, которым я не пользовался в течение шести с половиною недель, проведенных мною в горах. В других припасах он нуждался гораздо более черкесов. Вообще участь гагринского гарнизона была в то время очень незавидна. Горы командовали укреплением с трех сторон, с четвертой стороны оно примыкало к морю. Черкесы били солдат из ружей внутри Гагр, дрова и фураж доставались гарнизону не иначе как с бою. По целым месяцам он кормился одною солониной и хлебом, крупою и картофелем. Овощи, свежее мясо и живность считались за величайшую редкость. Женщин не существовало в Гаграх; о них знали только по преданию. Сухим путем Гагры не имели сообщения с Абхазией и получали провиант морем в известные сроки. В мой приезд имелись в укреплении из домашней птицы только один петух и две курицы, из коих одна лишилась по этому случаю жизни. Участь солдат была бы еще тягостнее, если бы не существовали огромные собаки, приученные открывать неприятеля, следить за ним и караулить укрепление по ночам. Собаки получали казенный провиант и находились в большой чести у солдат, которые никогда не покидали их в деле; раненую собаку приносили нередко в укрепление на шинели и лечили в лазарете наравне с людьми. Собаки были до того приучены к своему делу, что при первом звуке барабана, призывавшего к сбору, собирались перед командой, долженствовавшею выйти из укрепления, потом рассыпались впереди стрелков и открывали неприятеля, засевшего в лесу. Во время

дела некоторые собаки, известные в гарнизоне, храбро нападали на черкесов. После вечерней зари собак выпускали за укрепление, около которого они с удивительным инстинктом составляли передовую цепь, облегая его со всех сторон. Вечером, в день нашего прибытия, Сефер-бей Маршаний привел благополучно в Гагры Ягыза и Ханафа с лошадьми. Ветер, дувший с берега, позволил ему воспользоваться для этого путем мимо скал. На другой день мы поехали в Абхазию, переправились через Бзыб около устья, против укрепления, построенного генералом Л. в виде бастионированного треугольника. Место, на котором ходил весной баркас и потонул бедный Шакрилов, совершенно обмелело, вода не доходила выше колена нашим лошадям. Подивившись форме укрепления и пожалев о скучавшем тут гарнизоне, я утешил солдат надеждою на скорую смену, не сказав им только, что они будут обязаны ею Бзыбу, а не воле начальства. Мое предсказание сбылось: осенью река вышла из берегов и смыла редут; а гарнизон благополучно отступил в Пицунду.

В Бамборах встретили меня с непритворною радостью два мои приятеля, князь Михаил и генерал Пацовский; им одним я поверил, где я был и что делал в продолжение моей четырехмесячной отлучки. Тембулат, имам Хази, Ягыз и Ханаф поехали в Келассури к Гассан-бею, у которого они должны были прогостить до моего отъезда в Тифлис. Слишком две недели я прожил в Бамборах, занятый составлением моих путевых записок, а потом отправился в Грузию. Проезжая через Сухум, я счел нужным побывать у командира эскадры, контр-адмирала Папа Христо, для того чтобы узнать, не имеет ли он чего передать главнокомандующему. Свежий ветер и сильное волнение не позволяли нам долгое время пристать к фрегату, на котором находился адмирал. Офицер, правивший баркасом, упрямился и не хотел причалить с надветреной стороны к правому борту, на котором висел парадный трап. Наш баркас то опускался, то подымался; приходилось ловить это мгновенье, вскакивать на трап и вбегать как можно скорее на палубу.

Когда пришла моя очередь выходить, кто-то загородил мне дорогу, баркас подняло волною и так сильно ударило о трап, что его нижняя часть отломилась, а я едва успел ухватиться за веревку. Моя нога попала при этом между ступенью трапа и бортом баркаса. Я успел сделать прыжок, поставивший меня на уцелевшие ступени, и на одной ноге взобрался на палубу; но там я упал от невыносимой боли. Все полагали, что моя нога раздроблена, но, к счастью, у меня обнажило только кость, оставшуюся в целости. Пролежав трое суток на фрегате, я отправился в дорогу, не желая из-за ноги отложить моего возвращения в Тифлис, куда я прибыл после четырнадцатидневного путешествия под проливным дождем, промокнув до костей и сильно хромая. Внимание ко мне моих тогдашних начальников: барона Розена, Вольховского, доброго Ховена, и дружба товарищей заставили меня скоро забыть труды и лишения, которым я подвергался. Жаль только, что мало было обращено внимания на доказательства, которые я приводил против учреждения на берегу Черного моря линии небольших укреплений, мало способных блокировать берег, но как нельзя более удобных для неприятеля держать их самих в постоянной блокаде. Происшествия сорокового года и восточная война оправдали мое мнение касательно черноморской береговой линии. Покойный государь, Николай Павлович, обратив особенное внимание на мои труды, приказал, чтоб и на будущее время разъяснение вопросов, относящихся до правого фланга кавказской линии, было поручено мне, а не другому. Мое желание воспользоваться этим повелением, в соединении с обстоятельствами, возникшими по вопросу о возвращении Карамурзину его владений, сделалось завязкой моего плена, окончившегося в тридцать шестом году, через два года, неожиданным освобождением.

Как я сказал в самом начале, Карамурзин согласился провести меня в горах, если забудут все прошедшее и возвратят ему родовой аул, переселенный с Кубани в Саратовскую губернию. Основываясь на данном мне праве, я согласился на это условие и поручился ему в точном исполнении его именем правительства и собственною честью. Барон Розен принял моих проводников ласково, объявил им полное прощение, осыпал их подарками; но когда дело коснулось до возвращения аула, то стал колебаться. Подобного примера не бывало еще на Кавказе. Гражданская канцелярия, в которую дело поступило на рассмотрение, в своем бюрократическом воззрении нашла непреодолимые препятствия к исполнению моего обещания. Карамурзину стали предлагать другие награды. Он отказывался от всего, объявив, что он взялся за мое дело только для того, чтобы своим детям возвратить потерянное им через бегство родовое достояние. Между тем я сам требовал буквального исполнения всего обещанного мною Карамурзину, доказывая, что я говорил именем правительства, в глазах горцев нераздельного с лицом государя, которого слово должно оставаться

неизменным; просил суда и взыскания с меня, если я превысил данное мне право, или позволения ехать в Петербург и повергнуть все дело на личный суд Его Величества. Доброжелательный и в высшей степени рассудительный барон Розен оценил, наконец, настоящим образом причины, побуждавшие меня, молодого офицера, к такой настойчивости, и выпросил у государя разрешение возвратить Карамурзину его аул. Из хода дела Тембулат понял, сколько он в этом случае был мне обязан, и дал слово никогда не забывать того, что я для него сделал.

Два года спустя он доказал, что умеет помнить добро и быть благодарным.

IV.

Прохожу молчанием все мелочные, неприятные обстоятельства, предшествовавшие моему плену. Два года жизни потерянной, не по моей, а по чужой вине, дают мне, кажется, право говорить; но к чему подымать старое? Допускаю, что я испытал на себе только обыкновенный порядок вещей. Когда я в первый раз брался проехать в горы около Черного моря, нашлись люди, усердно доказывавшие положительную невозможность подобного дела и заочно обвинявшие меня в самохвальстве и в безрассудной самонадеянности. Когда я исполнил дело, тогда те же самые люди стали находить, что оно не заключало в себе ни труда, ни опасности и что я сделал бы гораздо более, проехал бы гораздо дальше, если бы послушал их совета, а не упрямился делать все по-своему. Поручение осмотреть в 1836 году остальную часть морского берега от реки Сочи на север, до Геленджика возлагалось на меня уже не местным начальством, а по воле государя, обратившего на меня свое монаршее внимание. Это обстоятельство задело за живую струну самолюбие некоторых кавказских деятелей. Нельзя же было предоставить мне одному всю честь предприятия, дававшего удобный случай выслужиться и, перед глазами государя, выказать свою опытность и умение. Барона Розена опутали неосновательным изложением обстоятельств и происками, против которых, сознавая дельность моих предположений, напрасно восставали генерал Вольховский и обер-квартирмейстер барон Ховен. Вместе с Карамурзиным, когда он еще гостил в Тифлисе, я составил план нового путешествия, в котором он хотя и не мог быть моим проводником, но должен был

принять косвенное участие, склонив своего приятеля Джембулата Айтеки, кемюргоевского владетеля, способствовать моему намерению. Удача, которую я имел в моих предыдущих путешествиях, давала мне право считать мои соображения не совершенно ошибочными и надеяться, что они не будут отвергнуты.

Вышло иначе. В ответ на мои соображения мне было поручено в самых лестных выражениях, для исполнения воли государя, предпринять путешествие к черкесскому берегу, если я сохранил прежнее чувство самоотвержения, и вообще считаю его возможным, с проводниками по непосредственному выбору генерала ***, которого опытность, знание обстоятельств, характера горцев и огромное на них влияние совершенно ручаются за мою безопасность и за успех предприятия. При этом мне было предложено также, во всем касающемся до моего путешествия, следовать советам и наставлениям этого генерала. Громкая слава, которою он пользовался в то время на Кавказе, не допускала с моей стороны никакого возражения против приписываемых ему способов, долженствовавших доставить мне ту материальную и нравственную помощь, без которой удача в моем предприятии делалась весьма ненадежною. Положение, в которое меня поставили, не позволяло мне отказаться от путешествия, хотя я ясно понимал, что оно не может иметь полной удачи. В случае отказа я давал повод думать, что предпринимал мои первые путешествия, не понимая всей опасности их, но познакомившись с нею, испугался или что я жертвую пользой, которую в состоянии принести чувству оскорбленного самолюбия, потому что меня поставили в зависимость от другого. Мое молодое честолюбие не позволяло мне оставить на себе и тени подобного подозрения. Барон Ховен, если он жив, наверное, помнит, с каким предчувствием я решился тогда ехать. О том, что я попадусь в плен, мне не приходило в голову; скорее всего я мог ожидать, что черкесы меня убьют.

В мае я выехал из Тифлиса на кавказские минеральные воды и, по указанию генерала ***, провел на них все лето. Мне надо было прежде всего отрастить бороду, без которой я не смел показаться в горах. В конце августа я переехал, по его требованию, в Прочный Окоп и занял в крепости ту же комнату, в которой жил год тому назад. Вскоре после того генерал *** представил мне будущих проводников, кабардинских абреков, князя Аслан-Гирея Хамурзина, хаджи Джансеида и Аслан-бека

Тамбиева. Тембулата Карамурзина генерал *** отстранил от этого дела и не советовал мне даже с ним видеться. Чтобы не подать повода обвинить меня в несоблюдении его советов, если дело не удастся, я должен был подчинить себя в этом случае его воле. Условия, на которых кабардинцы принимали на себя обязанность провести меня в горах, до меня не касались; они были заключены генералом ***, ручавшимся за верность проводников, а мне следовало только объяснить им, куда я желал ехать. Первое свидание с ними произвело на меня, сколько помню, не весьма благоприятное впечатление. Аслан-Гирей меня тотчас оттолкнул. Сквозь его тихий и медленный разговор, сквозь полузакрытые глаза и сдержанные движения проглядывала кошачья натура тигра, прячущего когти. Тамбиев, человек исполинского роста, с незлобным, но глупым лицом, молчал упорно; я заметил в нем бессознательную покорность воле Аслан-Гирея. Один хаджи Джансеид, действительно замечательный человек по своему уму и по храбрости, имел в себе нечто располагающее в его пользу. Одетый в кольчугу, с луком и со стрелами, которые в то время употреблялись еще некоторыми черкесами, имевшими привычку драться с неприятелем вблизи, он мог служить типом азиатского воина средних веков, каких удавалось встречать крестоносцам. Хаджи Джансеид говорил за своих товарищей смело и ловко и ни разу не проговорился, сколько мои вопросы ни были сбивчивы. Казалось, они были откровенны в своих намерениях, и мне оставалось только довериться им, как я доверился Карамурзину; но к этому я не мог себя приневолить.

В самом хаджи Джансеиде были вещи, которые мне не нравились: в разговоре он избегал смотреть мне прямо в глаза, что вовсе не соответствовало его смелой натуре. Все трое жили у абадзехов и, подобно Карамурзину, объявили готовность покориться и перейти на Уруп, если им возвратят их крестьян, захваченных русскими, когда они сделались абреками. Генерал *** сперва безусловно согласился на их предложение, и они стали уже заготовлять на Урупе сено для своих стад; потом он объявил им, что они должны заслужить милость, которой домогаются, проводив меня прежде к берегу Черного моря. Об этом я ничего не знал, но по некоторым признакам не хотел им вполне доверяться. Генерал ***, которому я высказал мои сомнения, стал меня уверять в противном, клялся, что он готов сам с ними ехать куда угодно, и хотя не успел успокоить меня положительно, но своею уверенностью принудил меня

отправиться с ними в дорогу. Во второе свидание с ними были определены подробности нашего путешествия. Хаджи Джансеид не находил препятствия ехать со мною через землю абадзехов к устью реки Шахе и подняться потом по берегу моря до самого Геленджика, будто бы отыскивая турецкое судно для путешествия в Мекку. Из Прочного Окопа я должен был переехать в знакомое мне с прошедшего года Чанлыкское укрепление, куда хаджи Джансеид обещал за мною заехать. Мамат-Кирей Лов согласился сопутствовать мне в должности переводчика; имея между абадзехами много неприятелей, он должен был скрываться от них в равной мере со мною.

Тридцатого августа Мамат-Кирей и я переехали без конвоя с Кубани на Чанлык, несмотря на опасность подобного путешествия. Нам было дороже всего оставить незаметным образом русскую границу. В Вознесенском укреплении мы прождали двое суток и потом, вместе с заехавшими за нами Тамбиевым и хаджи Джансеидом, отправились к абадзехам. Сев на лошадей в десять часов утра, мы проехали, не оставляя седла, весь день и всю ночь, для того чтобы до рассвета поспеть в дом Джансеида, лежавший за Сагуашею, на речке Вентухве. Для того чтобы не встретить абадзехов, карауливших свою границу со стороны Лабы, мы поехали не прямою дорогой, а описали огромную дугу, поднявшись сначала к Мохошевским аулам. В четвертом часу утра мы были на месте, сделав в восемнадцать часов не менее ста шестидесяти верст; последние два или три часа мы скакали во весь опор, причем были принуждены силой удерживать лошадей, рвавшихся одна перед другою, несмотря на целый день езды без корма. Подобную силу и неутомимость можно найти только у добрых черкесских лошадей. На месте их выводили как следует, выдержали несколько часов без корму, и через пятеро суток они шли под нами так же бодро, как будто никогда не делали подобного перехода.

Дом хаджи Джансеида стоял в лесу, недалеко от маленького абадзехского аула, отличаясь от всех соседних построек своею прочностью и красивым видом. Семейные помещения, амбары, конюшни и одна кунахская для близких друзей были обнесены высоким частоколом, вмещавшим еще несколько красивых, раскидистых деревьев, покрывавших весь двор густою тенью. Все, что я видел в доме у Джансеида, доказывало, что он далеко опередил своих соотечественников в уменьи пользоваться удобствами жизни. Собрание богатого оружия, множество отличных лошадей, значительные стада баранов и рогатого скота,

да около тридцати крепостных семейств, ставили его у абадзехов на ряду самых зажиточных людей. Хаджи Джансеид ушел из Кабарды с одною лошадью и ружьем за плечами и добыл все, что имел, собственными трудами, разумеется, не плугом и не топором, а с шашкою в руках. Он был незнатного происхождения и не принадлежал, как Тамбиев, к числу первостепенных кабардинских узденей; но в совете и в бою он брал нередко верх над лучшими князьями, и горцы поручали ему обыкновенно начальство над своими военными сборищами в самых затруднительных случаях. Не было набега на линию, не было схватки с русскими войсками, в которых бы он не участвовал. Семидесяти лет, весь покрытый ранами, он не знал усталости, скакал на выстрелы, где бы они ни послышались, и в деле, всегда впереди, увлекал своим примером самых робких. В это время на линии каждому ребенку были известны имена братьев Карамурзиных, Аслан-Гирея и Джансеида, отнимавших сон и покой у взрослых казаков. Два раза он ходил в Мекку и каждый раз на пути говорил с Мегмет-Алием и с Ибрагим-пашою, о которых любил вспоминать, отдавая полную справедливость их уму и делам, но нисколько не преувеличивая их силы, от которой не ожидал никакого прока для горцев. Джансеид нисколько не сомневался в том, что русские со временем возьмут верх над горцами, но считал это время достаточно отдаленным для того, чтобы самому умереть, не подчиняясь их воле; дрался он против нас, потому что был мусульманин, потому что ставил выше всего независимость и потому что война сделалась для него непреодолимою привычкой. Он говорил мне в то время, что готов покориться русским из одной дружбы к Аслан-Гирею, которому генерал *** отказывал в возврате крестьян его, если он, передаваясь на нашу сторону, не увлечет за собою своего неразлучного товарища Джансеида. При этом случае он мне рассказал происшествие, заставившее Аслан-Гирея бежать к абадзехам. Характеризуя быт кавказских горцев и находясь в тесной связи с моим пленом и освобождением, этот рассказ должен получить место в моем повествовании.

В 1821 году, когда Алексей Петрович Ермолов одним решительным делом сломил сопротивление Кабарды, и большинство князей и дворян бежали за Кубань, уклоняясь от русского владычества, Аслан-Гирею было от роду только двенадцать лет. Он уже дрался с русскими возле своего отца и обращал на себя внимание кабардинцев своею редкою смелостью. Беслан Хамурзин, его отец, также покинул Кабарду, три года скитался

в горах, а потом стал просить пощады. Ермолов, зная, что главный корень буйной непокорности существует не в народе, а в дворянском сословии, взял за правило не допускать обратно в Кабарду беглых князей, а селить их на Урупе, когда они покорялись. Тут был водворен и Беслан Хамурзин, с возвратом ему, в виде особой милости, всего имущества и крестьян, захваченных у него в Кабарде русскими войсками. Весьма верный политический расчет побудил Ермолова сделать это исключение для Беслана, которого вес между беглыми кабардинцами был так велик, что с примирением его, можно было надеяться, все они явятся с повинною головой. В течение года собралось около него на Урупе не менее пяти тысяч кабардинцев, готовых повиноваться русской власти. Им было позволено учредить у себя народное управление, в голове которого они сами поставили князя Беслана, выбрав его валием. На Урупе поселился также родной брат Беслана, имевший сына по имени Адел-Гирей. Между ним и его двоюродным братом Аслан-Гиреем существовало с детства соперничество, нередко доводившее их до ссоры.

Аслан-Гирей был умен, пользовался отличною военною славой, но в то же время слыл в народе злым и мстительным хитрецом. Адел-Гирей, имея менее ума, но лучший нрав, затемнял совершенно своего родственника действительно редкою красотой. Первого из них все боялись, второй пользовался общею любовью. Около того времени появилась на Лабе знаменитая красавица Гуаша-фуджа (белая княгиня), сестра беслинеевского князя Айтеки Канукова. У черкесов не скрывают девушек; они не носят покрывала, бывают в мужском обществе, пляшут с молодыми людьми и ходят свободно по гостям; поэтому каждый мог ее видеть и, увидавши, расславить ее красоту. Многочисленная толпа поклонников окружала Гуашу-фуджу, и самые знатные князья домогались ее руки; но Кануков медлил выдавать ее замуж, во-первых, потому, что у черкесов, несмотря на калым, платимый за жену по мусульманскому обычаю, редко выдают девушку против воли, она же выбора еще не сделала, а во-вторых, не являлся еще человек равный ей по древности рода. Надо заметить, что адыге в этом случае чрезвычайно разборчивы и так далеко заходят в своих понятиях о чистоте происхождения, что княжеское звание сохраняет только сын от брака князя на княжне, а сын, происшедший от князя и дворянки, получает название «незаконного – тума». Оба Хамурзина, Адел-Гирей и Аслан-Гирей, начали домогаться

расположения Гуаши-фуджи, и отцы их, почти в одно время, стали сватать ее за своих сыновей. Гуаше-фудже нравился Адел-Гирей, бывший в то же время другом ее брата; но так как Беслан был богат, пользовался значением у русских и сильным влиянием на черкесов, да и сын его никогда не прощал обиды, что всем было известно, то казалось опасным навлечь на себя их вражду явным отказом. Не зная, как лучше решить это дело, не доводя до несчастья сестру и не оскорбляя самолюбия Аслан-Гирея, Кануков обещал ему сестру условно: «если она будет согласна»; а Адел-Гирею допустил увести ее будто бы силой, в чем приняли участие все кабардинцы, не любившие Аслан-Гирея. У черкесов обычай увозить невесту силой или обманом, когда родители не соглашаются выдать ее добровольно, чрезвычайно распространен. Сутки, проведенные девушкой в доме похитителя, делают ее законною его женой; тогда никто не в праве отнять ее у него, и дело кончается в этом случае третейским судом, назначающим калым, который следует заплатить семейству. Можно себе вообразить бешенство Аслан-Гирея, когда он узнал о похищении Гуаши-фуджи, которая уже была для него потеряна; но зато он поклялся, что Адел-Гирей не долго будет пользоваться своим счастьем. Преследуя везде Адел-Гирея, скрывавшегося с молодою женой, пока друзья обоих братьев старались, по черкесскому обыкновению, примирить их посредством шариата, он отыскал его, напал и ранил выстрелом из ружья. Адел-Гирей, обороняясь, ранил в свою очередь Аслан-Гирея. Кабардинцы, случившиеся при этом, разняли их, прежде чем дело дошло до убийства.

Аслан-Гирей не хотел слышать о примирении и принялся после того мстить всем приверженцам Адел-Гирея, помогавшим ему похитить Гуашу-фуджу. От этого образовались на Урупе две неприятельские партии, между которыми грабежи и убийства сделались вседневными происшествиями, непомерно умножившимися после смерти валия Беслана Хамурзина, который при жизни своей служил еще некоторою преградой мстительности Аслан-Гирея. Чтобы избавиться от вечной тревоги, в которой он находился, будучи в соседстве своего двоюродного брата, Адел-Гирей бежал с женою из-за Кубани к чеченцам, за Терек. У черкесов поединок неизвестен. По их понятиям глупо и смешно, получив оскорбление, дать еще обидчику возможность убить себя по установленным правилам. Обиженный явно или тайно убивает своего противника, как позволят случай и обстоятельства. При этом соблюдаются

следующие правила, которыми никто не смеет пренебрегать под опасением неотразимого стыда. Если обидчик случайно встретит обиженного, то он не должен первый нападать, а вправе только обороняться. В поле он обязан уступать ему дорогу, в доме у постороннего должен тотчас уходить, когда вошел обиженный. Нет обмана, нет вероломства, которых бы стал гнушаться черкес, когда дело идет об отплате за кровь отца, брата, сына или за честь жены; в этих случаях нет ни суда, ни платы, могущих унять в нем жажду крови; одна смерть врага дает покой его душе. Озлобленный бегством Адел-Гирея в Чечню, Аслан-Гирей убил его отца, своего родного дядю, и, опасаясь взыскания за этот поступок со стороны русского начальства, бежал со своими приверженцами к абадзехам. Остальные кабардинские поселенцы, выжидавшие только удобного случая освободиться от русского надзора, последовали его примеру и разбежались во все стороны. Благодаря Гуаше-фудже Уруп опустел, и за Кубанью появилось несколько тысяч самых неугомонных абреков, тревоживших день и ночь наши пределы. В 1834 г. генерал *** был назначен начальником кубанской кордонной линии. Смелыми и удачными набегами на неприятельские аулы он успел навести такой страх на их жителей, что они почти перестали тревожить линию, находясь в вечном опасении за свои семейства и за свое собственное имущество. Лучшие абреки-вожаки были перебиты в стычках с нашими войсками, многие из них покорились, некоторые, и это были самые опасные, с упорством продолжали свое кровавое ремесло. Между последними отличались ловкостью и необыкновенным счастьем хаджи Джансеид и два князя, Аслан-Гирей и Магомет Атажукин. За каждый набег они платили генералу*** равно удачным нападением на нашу границу. Наконец, казалось, счастье хотело увенчать полным успехом старания генерала *** водворить полное спокойствие на линии: Магомет Атажукин, тяжело раненный в правую руку, лишился возможности владеть оружием и поехал в Турцию лечить рану, а Джансеид и Аслан-Гирей объявили готовность положить оружие на условиях, о которых я уже говорил. Таким образом, Аслан-Гирей, потерявший крестьян и все имущество, захваченные русскими, когда он бежал в горы по поводу происшествий, возбужденных похищением Гуаши-фуджи, должен был через меня получить их обратно.

Пять дней прожил я с Мамат-Киреем у хаджи Джансеида, ожидая Аслан-Гирея, разъезжавшего по каким-то неизвестным

мне делам. Ловкий и внимательный хозяин мой в продолжение этого времени успел дать моим мыслям совершенно другое направление, внушив мне полное доверие к себе и своим товарищам. Я стал положительно думать, что жизнь в земле абадзехов, от которых они, как чужие, находились иногда в довольно неприятной зависимости, им надоела, и они поэтому предпочитают покориться русским и на первых порах оказать правительству услугу, могущую поставить их в хорошее положение. Весьма естественно, что предполагаемое путешествие было главным предметом наших разговоров. В один из этих разговоров Джансеид спросил меня, что я думаю делать, если, по несчастью, черкесы меня узнают и захотят схватить. Находя его вопрос весьма естественным в нашем положении, я отвечал ему, ничего не подозревая, что я не намерен сдаваться и стану защищаться, пока не убьют, что, я убежден, и они поступят таким же образом и перед отъездом дадут мне в том присягу, как сделали в прошлом году Карамурзин и его товарищи. Хаджи отвечал, что он оправдывает мое намерение и полагает, что все согласятся дать мне желаемую присягу.

Восьмого сентября Аслан-Гирей приехал на Вентухву, извинился в том, что заставил меня так долго ждать, уверяя, что все время хлопотал по нашему делу, весьма правдоподобно объяснил мне причины, не позволяющие ему самому ехать с нами к шапсугам, и просил отправиться к нему на Курджипс, для того чтобы доставить ему удовольствие отпустить меня из своего дома в дальний путь. Путешествие Аслан-Гирея могло действительно наделать слишком много шуму в горах и собрать около него толпу провожатых, с которыми мне неловко было бы жить по целым неделям, не расставаясь ни днем, ни ночью. Тамбиев имел у шапсугов родственников, Джансеид часто бывал на морском берегу, их привыкли там видеть, и они поэтому пользовались возможностью проехать со мною более незаметным образом, чем Аслан-Гирей. Он присоединил к ним, кроме того, еще двух кабардинских абреков, Шаугена и Маргусева, желавших покориться русскому правительству. Все расчеты Аслан-Гирея были так верны, все его распоряжения так хорошо обдуманы, что я не находил повода сомневаться в его откровенности и мог только жалеть о том, что генерал *** упустил из виду эти обстоятельства, принимая путешествие к шапсугам за слишком обыкновенное дело, в котором следовало только сесть на лошадь да ехать с Аслан-Гиреем или каким бы то ни было другим нетрусливым абреком. Ночью мы оставили

дом хаджи Джансеида и через несколько часов приехали в аул Аслан-Гирея, исключительно населенный беглыми кабардинцами. В доме у него все спали, и нелегко было добудиться слуг, долженствовавших принять лошадей. От них Аслан-Гирей узнал о приезде к нему множества гостей, большей частью абадзехских старшин, наполнивших все его кунахские. Это обстоятельство казалось ему весьма неприятным. Мамат-Кирею Лоову надо было их столько же избегать, как мне самому; поэтому для нас очистили особую избу возле семейных помещений, от которых, при обыкновенных обстоятельствах, стараются удалять гостей. Тут мы должны были просидеть весь день, почти взаперти, не показываясь на дворе, для того чтобы нечаянно не столкнуться с абадзехами. Меня они, правда, не знали, но зато Мамат-Кирей был им всем известен, и многие из них имели против него кровную вражду. Время тянулось без конца; мы решительно не знали, что делать. Несколько раз старый черкес, доверенный слуга Аслан-Гирея, приносил нам кушанье. Мамат-Кирей пытался завести с ним разговор, для того чтобы узнать подробно о том, что происходит за стенами нашей избы, но мало в этом успевал. Черкес отвечал на его вопросы очень коротко и сообщил ему только, что абадзехи, ссылаясь на разнесшийся слух, упрашивают Аслан-Гирея не покоряться русским и что Аслан-Гирей опровергает этот слух всеми силами. Это было в порядке вещей; до моего возвращения из гор никто не должен был знать ни о его сношениях с генералом ***, ни о намерении его переселиться на Уруп. С каждым приходом старика Мамат-Кирей удваивал вопросы и, казалось, не всем, что узнавал от него, оставался доволен. Им овладело заметное беспокойство, увеличившееся к вечеру до того, что я принужден был просить его откровенно высказать мне, чего он опасается и чем так встревожен.

– Не верю кабардинцам, они злы и вероломны; вы их не знаете еще, а я знаю их насквозь. – Вот все, чего мог я от него добиться.

Оружие было при нас; лошади наши кормились возле нас за плетневою стеной. Когда смерклось, Мамат-Кирей, сделав видимое усилие, предложил мне без всяких обиняков прорубить кинжалами плетень, отделявший нас от лошадей, оседлать их и бежать.

Это меня крайне удивило. Я спросил, зачем и куда бежать?

–Зачем? Чтобы спастись. Куда? Конечно, на Кубань.

Я потребовал от Мамат-Кирея положительного объяснения и обещал согласиться на его предложение, если он укажет мне

факты, заставляющие его предполагать, что нас ожидает измена. Я, со своей стороны, ничего не знал; мое слово было дано; путь мой лежал к берегу Черного моря, а не на Кубань. Что сказали бы обо мне, если б я бежал от мнимой опасности и через это бегство не только лишил бы себя возможности исполнить мое поручение, но и самого Аслан-Гирея побудил бы отказаться от задуманной им покорности, дав ему предлог сказать, что он перестает доверять тем, которые не хотят ему верить. Мне бы не простили моего испуга, не основанного ни на каких ясных и положительных доказательствах измены, и каждый удачный набег Аслан-Гирея и его товарищей на нашу границу, каждого убитого ими русского стали бы относить к моей необдуманной боязливости. Мамат-Кирей не мог или не хотел сказать мне ничего положительного; доказательств в измене, замышляемой кабардинцами, он не имел, а повторял только, что не верит им и не рад всему делу. Я сам был ему не очень рад, да нечего было делать: раз взявшись за дело, надо было его исполнить без стыда, и неопределенные опасения Мамат-Кирея не должны были меня заставить отказаться от него. Не задумываясь, я объявил, что остаюсь и сделаю попытку спастись только тогда, когда буду иметь опасность перед глазами. «Делай, что хочешь, а, право, не хочется пропадать, я еще так молод», – сказал Лоов.

Ночью, часу в одиннадцатом, к нам пришел Аслан-Гирей с четырьмя проводниками: Джансеидом, Тамбиевым, Шаугеном и Маргусевым. Время было ехать, для того чтобы до света быть у Шаугена, откуда мы должны были продолжать путешествие уже днем, не подвергаясь опасности между дальними абадзехами встретить знающего меня человека или когонибудь из Лоовых неприятелей. Аслан-Гирей проговорил со мною еще полчаса о нашем путешествии, представил мне двух новых проводников, поручая их моему заступничеству перед русским начальством, когда дело удастся, и убеждал меня заботиться столько же о точном исполнении сделанных мною обещаний, сколько он заботится обо всем, касающемся до моей безопасности. Аслан-Гирей говорил со мною в этот вечер с такою откровенностью о своих делах вообще и в особенности о затеянном мною путешествии, показывал столько дружеской заботливости обо мне, что и каждый другой, находясь в моем положении, поверил бы совершенно его искренности, даже если б он прежде имел причины в нем сомневаться. Подавая мне сам оружие, он спросил, позаботился ли я переменить порох на полках у ружья и пистолета, и советовал никогда не забывать этой предосторожности. Когда я садился на лошадь, Аслай-Гирей держал стремя, крепко пожал мне руку и сказал: «До скорого счастливого свидания». Признаюсь, беспокойство, от которого я не мог освободиться после сцены с Лоовом и его настойчивого предложения бежать на Кубань, теперь совершенно исчезло, рассеянное спокойным видом и добродушными словами Аслан-Гирея.

Нисколько не думая об опасности, я ехал беззаботно посреди моих проводников. Мамат-Кирей, как переводчик и единственный человек, с которым я мог свободно говорить на русском языке, находился постоянно возле меня. Прекрасная лунная ночь бросала яркий свет на дорогу, извивавшуюся над крутым берегом Курджипса. Часа полтора мы проехали, не встречая ни души. При выезде на одну из небольших полян, перерезывавших лес, через который вела наша дорога, перед нами появились два конные черкеса; по обыкновению они посторонились и стали ожидать, пока мы проедем. Поравнявшись с ними, Мамат-Кирей несколько раз взмахнул плетью без всякой нужды, стараясь широким рукавом черкески закрыть себе лицо, ярко освещаемое луной. Я тотчас заметил это движение, наклонился к нему и тихонько спросил, для чего он себя закрывает. В то же самое мгновение один из встречных черкесов громко назвал его по имени. «Это Тума Тембот, – сказал он, – брат Адел-Гирея, он меня узнал и зовет к себе; не бойтесь ничего, мы приятели, я ему что-нибудь налгу и догоню вас в скором времени». Хаджи Джансеид также отстал. Тамбиев, Шауген и Маргусев поехали со мною вперед. Скоро мы углубились в лес, в котором дорога стала расходиться. Тамбиев попросил меня ломаным русским языком остановиться в этом месте и выждать Лоова, который иначе мог с нами разъехаться. Черкесы, пользуясь остановкой, сошли с лошадей и стали поправлять седло. Между тем, не слезая с лошади, я стал набивать мою трубочку, набив, взял чубук в рот и принялся высекать огонь. Тамбиев подошел в это время, попробовал подпругу у моего седла и объявил, что ее надо подтянуть, потому что дорога пойдет в гору. Не оставляя седла, я приподнял для этого ногу и продолжал свое дело. Вдруг послышался за мною шум скачущей лошади, и кто-то крикнул по-черкесски: «Убыд!» (держи). Невольным образом я оглянулся. В то же мгновение две сильные руки схватили меня сзади за локти и стащили с лошади. Кинжал, единственное оружие, за которое я мог еще

взяться, был вырван из ножен. Пораженный, как громовым ударом, я опомнился в ту же минуту, даже не вскрикнул и только с досады перекусил чубук. Я не хотел доставить черкесам удовольствия видеть русского в испуге.

В несколько мгновений с меня сорвали оружие и связали руки назад.

– Давай деньги и часы, – закричали черкесы.

– Ничего не отдам, берите силой, что хотите, – был мой ответ.

Меня обшарили, взяли часы и вытащили из-за пазухи сотню полуимпериалов; потом вывели из лесу на небольшую поляну.

– Садись! – скомандовали кабардинцы.

Сопротивляться было бы смешно; я сел.

Они стали позади меня, вынув ружья из чехлов. Я слышал, как курки щелкнули на взводе.

Весьма понятно, если в моей голове мелькнула мысль о смерти. Я полагал, что они меня завели к абадзехам с целью, напугав сперва, убить за мои прежние путешествия и этим способом приобрести новое значение между горцами. В двадцать шесть лет нелегко расставаться с жизнью; но раз пришел конец, я хотел расстаться с нею, как следует русскому солдату. Сохраняя глубокое молчание, я смотрел на луну. Признаюсь, никогда в жизни она не казалась мне так прекрасна, так светла, как в эту минуту. Все воспоминания прошедшего, все будущие надежды будто слились для меня в одном ее луче, последнем, который я полагал видеть.

За мною свистнули, такой же свист ответил из лесу, и скоро затем послышались шаги нескольких лошадей. Через пять минут передо мною остановился Мамат-Кирей, бледный как полотно; губы его дрожали, левая рука судорожно сжимала чехол над прикладом ружья. Тума Тембот с своим товарищем стояли возле него.

– Что прикажешь делать? Пропадать с тобою? – проговорил Лоов едва внятным голосом. – Оглянись, и ты поймешь.

Я оглянулся: четыре ружья метили ему в грудь.

– Что прикажешь делать? – снова заговорил Мамат-Кирей. – Одно слово, одно движение в твою пользу, и меня здесь убьют. На русскую сторону не смею идти: генерал *** не поверит, что я не знал об измене, и прикажет меня повесить. Право, я не виноват! Вчера у кабардинцев был совет, на котором решили тебя захватить, а меня убить, чтобы я не помешал делу. Тума Тембот за меня вступился; тогда потребовали от него поруки в том, что я не стану поперечить их замыслу. Он ожидал нас на

дороге, и ты сам видел, как меня с тобою разлучили. Теперь я должен оставаться десять дней у Тембота, пока кабардинцы успеют угнать свои стада подальше от русских и переселить семейства в глубину абадзехских лесов.

– Помощи ты не можешь мне оказать, а погибать незачем! Напротив того, живи и помни, что кабардинцы вас абазин ставят ни во что. Насчет твоей судьбы, когда ты явишься к генералу ***, будь покоен. Я уверен, что ты не знал об измене их, и если они не станут противиться, дам тебе письмо в доказательство твоей невинности.

Мамат-Кирей переговорил с кабардинцами об этом деле; Тума Тембот принял с горячностью его сторону. Они согласились на письмо, но не прежде десяти дней.

Потом спросили через Мамат-Кирея, какой за меня будет выкуп.

– Выкуп? Никакого!

Мамат-Кирей отказался переводить, упрашивая меня не сердить кабардинцев. Я настоял.

– Посмотрим! – отвечали они. – Теперь нечего рассуждать, пора ехать.

Тума Тембот увез Лоова в одну сторону. Меня посадили на лошадь, связали ноги ремнем и повезли в противоположном направлении вниз по Курджипсу. Около часу ехали мы не говоря ни слова, потом остановились перед низенькою плетневою избушкой; меня сняли с лошади и ввели в нее. Это была кунахская Аслан-бека Тамбиева, у которого я и прожил все время моего плена. Захватили меня кабардинцы в ночь с девятого на десятое сентября.

V.

Кунахская Тамбиева представляла вид крайней бедности. Высокорослый черкес с черною всклокоченною бородой, одетый в грязное лохмотье, раб Тамбиева, напрасно раздувал огонь из сырых дров, не хотевших разгораться. По временам он оставлял свою неблагодарную работу, для того чтобы с диким любопытством осматривать меня с ног до головы. Толстая служанка принесла плохой тюфяк, подушку и стеганное одеяло из синей бумажной материи, положила все это в углу кунахской, а Тамбиев очень вежливо попросил меня воспользоваться необходимым мне покоем. К чести черкесов могу сказать, что они

избегали делать мне грубости и соблюдали в отношении меня правила вежливости, какие у них хозяева соблюдают в отношении к гостю. Меня схватили не в открытом бою, а заманив к себе обманом; поэтому я считался у них не обыкновенным пленным, а гостем поневоле. Прибавлю, что они завладели мною в лесу, а не под кровлею кунахской, во время сна, – хотя последнее было гораздо легче, – для того чтобы не нарушить правил гостеприимства, предписывающих беречь гостя, переступившего через порог, пуще своего глаза.

Можно себе представить, в каком состоянии я провел первую ночь моего плена, не смыкая глаз. Мысли толпились в голове, я искал выхода из моего положения и не находил его: на выкуп я не надеялся, зная неограниченную алчность горцев; бегство было невозможно на первых порах; его надо было подготовить в течение долгого времени. Я чувствовал себя в силах перенести все физические страдания, недостаток и лишения, но никак не мог помириться с мыслью, что должен буду повиноваться людям, которыми привык всегда повелевать, когда не имел их перед собою в открытом бою. Тамбиев ночевал вместе со мною; платье он у меня отобрал и спрятал к себе под изголовье. Бечир, так назывался чернобородый раб Тамбиева, всю ночь не спал, возился около огня и глядел на меня бессмысленными глазами.

На другой день мне подавали кушанье как бы гостю; Асланбек церемонился, долго отказывался садиться за стол вместе со мною и беспрестанно извинялся в том, что не может угостить меня лучше, сделавшись бедняком благодаря русским, отнявшим у него в Кабарде его крестьян, стада, табуны и все прочее имущество. При этом случае он повторил вопрос, сколько, я полагаю, за меня дадут выкупа, и я опять ответил: «Ни одного целкового». Это ему крайне не понравилось.

– Тем хуже для тебя; ты здесь пропадешь!

– И для тебя не лучше!

Я замолчал, и после того каждый раз, когда Тамбиев заводил речь о выкупе, старался переменить разговор. Видя, что из меня нельзя ничего выпытать, он лег на солнце перед кунахской и весь день пел песни, наигрывая на черкесской двухструнной балалайке, называемой: пшиннер. Он был страстный музыкант и долго не выпускал из рук этого инструмента. Таким образом прошло трое суток. Оба мы думали: он – как бы добиться самого богатого выкупа за меня, а я – каким способом освободиться, не дав кабардинцам воспользоваться плодами

их измены. Тамбиев, кабардинский уорк (дворянин), гордившийся своим древним родом, спросил меня, кажется, на другой же день, пользуюсь ли я только правами дворянина по званию офицера или я родился дворянином. Узнав, что с незапамятных времен мои предки считались дворянами, он нашел неприличным принуждать меня к работе.

На четвертый день мне было суждено подвергнуться самому тяжкому испытанию, неизбежному для каждого пленника у черкесов. Меня ожидали цепи. Тамбиев собирался уехать из дому на несколько дней и по этой причине отдал меня караулить отцу Бечира, восьмидесятилетнему старику Мурзахаю, к которому в жилье перенесли мою постель. Когда я уселся на своем месте, он подошел ко мне с длинною и тяжелою цепью, кончавшеюся железным кольцом. Я этого не ожидал. Бешенство овладело мною. Устремив глаза на кинжал и пистолет, я сделал движение, чтоб схватить их. Тамбиев, пристально глядевший мне в глаза, вовремя заметил мое намерение, отступил шаг назад, отстегнул пояс с оружием, выбросил его за двери и кликнул людей. Изба наполнилась тотчас народом. Тогда он опять подошел ко мне с цепью, уговаривая меня ломаным русским языком не сопротивляться без проку. Речь его имела следующий смысл: «Зачем ты хочешь напрасно сопротивляться: ты один, а черкесов здесь много. Не огорчайся тем, что я хочу тебя приковать. Если бы ты был девка, так мы отдали бы тебя караулить женщинам; но ты мужчина, у тебя есть усы и борода, мы тебя обманули и ты сам будешь стараться обмануть нас; мужчину, который родился не рабом, можно удержать в неволе одним железом».

Против числа и силы нечего было бороться; меня приковали за шею.

Около двух недель я пролежал в этом положении, не помня, что происходило вокруг меня. Мурзахай, в молодости своей ходивший в Астрахань, был седельный мастер и беспрестанно занимался своею работой. Помню только, раз он обратился ко мне с вопросом: «Все ли царствует в России старая матушка Екатерина?» Все бывшие после нее перемены не доходили до его слуха. Жена Мурзахая, старушка одних лет с ним, ухаживала за мною с величайшим добродушием и не переставала потчевать меня просом и квашеным молоком, за неимением других припасов. Бечир был ее сын; под его дикою, косматою наружностью скрывались доброе сердце и весьма кроткий нрав; зато второй брат его, Магомет, лет восемнадцати от роду,

готовившийся быть муллою, имел скрытный и злобный характер. Я вспоминаю об этих людях потому, что прожил с ними более двух лет, встречаясь ежедневно; причем Магомет сильно испытывал мое терпение.

Тамбиев вернулся домой в самом дурном расположении духа. Кабардинцы успели переселиться и угнать в горы свои стада, пасшиеся на плоскости, прежде чем генерал *** мог узнать об измене их; но насчет моего выкупа дошли до них самые неблагоприятные слухи. Тембулат Карамурзин первый уведомил его об измене кабардинцев, захвативших меня в ожидании огромного выкупа. «А! – сказал ему генерал ***, – они хотят за него серебра да золота; ни одного золотника не дам; зато стану их потчевать свинцом да ядрами более чем они ожидают».

Генерал ***, усмирив черкесов, живших между Кубанью, Сагуашею и горами, стал ходить с войсками и за Сагуашу, сколько позволяли неимоверно густые леса и частое абадзехское население. Набеги к абадзехам могли иметь удачу только осенью и зимой, когда в Сагуаше открывались броды на всем ее протяжении и покрытый листьями лес не скрывал более неприятеля от атакующих войск. По этой причине пограничные абадзехи на зиму уходили с берегов Курджипса и Сагуаши в глубину лесов и строили себе временные аулы по неприступным оврагам, лежавшим далеко в стороне от дорог, удобных для движения артиллерии, без которой нельзя было к ним ходить. Летом недостаток воды принуждал их снова переселяться на берега больших рек; но тогда они жили около них, не беспокоясь, под защитою полноводья и непроницаемой зелени своих вековых лесов. Переселение с рек начиналось обыкновенно после жатвы, прямо перевозимой в лес.

Спустя несколько дней после возвращения Тамбиева в ауле поднялся непривычный шум: со всех сторон раздавались крики, удары топора и мычание скотины. Лежа в самом отдаленном углу Мурзахаевой избушки, я не мог видеть, что происходит на дворе, и сначала не понимал, что это значит. Перед вечером Мурзахаево семейство принялось укладывать свои бедные пожитки и выламывать двери, окно и столбы, подпиравшие крышу избушки. Когда наступила глубокая темнота, весь аул пришел в движение. Меня посадили на арбу, запряженную парою волов, вместе с детьми Тамбиева, мальчиком и девочкой, лет пяти и одиннадцати. На другой арбе находились жена его с двумя служанками. Возле нас, сколько позволяла рассмотреть темнота, можно было видеть множество арб, на которых

мелькали белые женские покрывала и откуда слышались свежие детские голоса. Со скрипом, свойственным азиатским повозкам, у которых не смазывают колес, мы потянулись длинною вереницей по самой дурной кочковатой дороге, какую только можно себе представить. Поезд провожали по обе стороны пешие и конные черкесы. Октябрьская ночь, сырая и холодная, скрывала наше путешествие, предпринятое ночью, для того чтобы кто-нибудь не подсмотрел арбяного пути, ведущего к месту переселения. Она осталась мне очень памятна, потому что я давно не страдал так от холода, не имея решительно чем прикрыть себя. Кабардинцы, захватив меня в лесу, обобрали все мои вещи, кроме платья; но после того Тамбиев, самый бедный из них, стал понемногу и его отнимать у меня, и в ночь переселения я имел на себе лишь бешмет да холщовое исподнее платье.

Перед утром арбы остановились в глухом лесу, на дне глубокого оврага, по которому протекал небольшой ручей. Меня положили возле толстого дерева, обмотали около него цепь и закрепили ее большим висячим замком. Около этого дерева я провел более десяти дней под открытым небом, прикрытый от ветра и дождя какою-то старою буркой. Первый день разбирали привезенное имущество и делали навесы для женщин и для детей кое из чего: из сучьев, соломы, ковров, бурок. На другой день с раннего утра застучали топоры по деревьям; черкесы принялись вырубать лес и строить дома. Сооружение это не требовало большого труда. Установили ряд столбов, образующих параллелограмм, от десяти до пятнадцати шагов в длину и восемь или десять шагов в ширину, промежутки между этими столбами забрали плетнем, обмазанным глиной, перемешанною с рубленою соломой, на столбы положили балки для утверждения на них стропил, крышу покрыли камышом или соломой, и дом готов. Потолка и деревянных полов не было. Вместо пола служила земля, убитая глиной с песком. Лицевая сторона дома обозначалась дверьми и небольшим окном, помещаемыми по обоим концам стены; между ними устраивалось полукруглое углубление в земле, которое заменяло собою очаг, с привешенною над ним высокою плетневою трубой. Возле окна, вдоль короткой стены, пол имел небольшое возвышение; это было почетное место, предназначенное для гостей. Тамбиев, не считая этот род постройки достаточно прочным, для того чтобы уберечь меня от попыток к моему освобождению, срубил кунахскую для меня из толстых бревен и прислонил к ней

свою собственную избу. Когда меня переместили из-под дерева в новую постройку, стены были совершенно сырые, дымились и наполняли чадом избу, когда в ней разводили огонь. Я этого не выдержал и сильно заболел желчною горячкой. Не помню, право, сколько времени я пролежал без памяти; помню только, что цепь меня давила, не позволяя шевельнуться на постели; черкесы не верили тому, что я болен, считали болезнь мою притворною и крепче притягивали цепь, для того чтоб я не ушел. Долго я ничего не ел; тогда Мурзахаева старушка поила меня горячим молоком с медом; не знаю, полезное ли это средство против горячки, но в одно утро я пришел в себя и потом начал мало-помалу поправляться. В это время Тамбиев прибавил к лохмотьям, которыми я прикрывался, какую-то старую черкеску; рубашки у меня не было уже давно.

Едва я оправился от болезни, как для меня наступила новая беда. В течение ноября и декабря генерал *** принялся тревожить абадзехов беспрестанными набегами. Редкая ночь проходила без тревоги; раздавался крик: «Русские идут!», и весь аул поднимался на ноги; женщин, детей, скотину и что могли из вещей спасали в лес; вооруженные черкесы стремглав бросались в ту сторону, откуда, полагали, подходят войска. Босой, в цепях, я был принужден вместе с семейством Тамбиева уходить в лес и проводить в нем на снегу по целым часам, изнемогая от холода и от усталости, пока не давали знать, что нет опасности. Сцены, происходившие около меня, были также не утешительны; полуодетые, испуганные женщины, терявшие в суматохе детей, метались во все стороны, отыскивая их с громким криком; другие рыдали над детьми, которых не знали, как обогреть и чем прикрыть. Рабы и служанки, проклиная судьбу, сгоняли скотину и таскали огромные ноши вещей. Не было проклятья, которого бы не доставалось на долю гяуров. Тамбиев, уезжавший с черкесами в ту сторону, откуда угрожала опасность, заставлял трех человек караулить меня. Они спали в моей избе. Цепь была протянута сквозь стену в примыкающее к ней помещение, занимаемое Тамбиевым, его женой и детьми. Ночные тревоги, сопровождаемые необходимостью скрываться в лесу, были для меня очень мучительны; но я скрывал страдания и, не говоря ни слова, покорялся требованиям караульных, зная, что только полным пренебрежением физической боли и равнодушием к опасности можно было заслужить уважение черкесов. По характеру и по расчету я поставил себе за правило не переносить от них также ни малейшего нравственного оскорбления и в этом отношении совершенно достиг своей цели. Караульные мои, двое слуг Тамбиева и один наемный абадзех, вздумали для свой забавы будить меня ночью, без нужды, криком: «Русские идут, в лес пошел!», заставляли выходить на холод и потом возвращали в избу, объявляя со смехом, что они только пошутили. Когда они попытались еще раз повторить эту проделку, мой решительный отказ исполнить их требование озадачил их до того, что они не осмелились дальше настаивать. На другой день я грелся возле огня на предоставленном мне, несмотря на оковы, почетном месте в кунахской; Тамбиев сидел недалеко с неразлучным пшиннером в руках. Один из караульных рассказывал ему ночное происшествие, жалуясь на мое упрямство. Приняв грозный вид, Тамбиев обратился ко мне:

– Когда караул ночью твоя скажи: о дрова пошел! твоя сейчас не работай, я скажи Бечир, Магомет, твоя уруби. (Когда караульные прикажут тебе ночью в лес идти, и ты тотчас этого не исполнишь, так я прикажу Бечиру и Магомету бить тебя.)

Тамбиев не успел еще договорить, как в моей руке очутилось горящее полено.

– Еще одно слово, – закричал я Аслан-беку, – и я ударю тебя этим поленом по глазам. Меня убьют после того, а ты останешься на всю жизнь слепым. Знай, что я могу все перенести – цепи, голод, стужу, но не вытерплю обиды. Если кто бы то ни был осмелиться поднять на меня руку, и я не успею его задушить на месте, так я ночью зажгу крышу и сгорю вместе с тобою и со всем твоим семейством.

Тамбиев побледнел, но не тронулся с места и смотрел мне только пристально в глаза. Кажется, выражение их убедило его, что я думаю так, как говорю.

– Брось полено! – сказал он, переменив сердитое выражение лица. – Тебя никто не тронет; я так только, в сердцах, сказал тебе это; ты дворянин, я знаю. У черкесов дворянина можно убить, но не позволено бить. Очень рад, что и у русских тот же закон.

С тех пор я не слыхал ни одного оскорбительного слова от Аслан-бека и ни от кого-либо из его домашних. Своим рабам и караульным он запретил шутки со мною, приказав им обращаться ко мне с своими требованиями вежливо и почтительно, а меня просил покоряться необходимости, не возбуждая их злобы. Абадзехи, которым он рассказал, каким образом я встретил его угрозу, стали смотреть на меня совершенно иными

глазами и даже, хотя с трудом, воздерживались называть меня гяуром, так как я говорил им, что гяурами можно считать только неверующих в единого Бога, а я, как христианин, Ему верю и, кроме того, не ем свинины. Это последнее, действительно справедливое обстоятельство очень их обрадовало, позволяя им смотреть на меня как на существо, с которым мусульманин может водиться, не опасаясь осквернения. Тамбиев, как я узнал впоследствии, осведомлялся об этом даже у Карамурзина и очень был доволен, узнав, что он никогда не видал у меня на столе мяса от этого нечистого животного.

В конце декабря Тамбиев объявил мне с озабоченным видом, что Аслан-Гирей и хаджи Джансеид приехали в аул и желают со мною переговорить о каком-то важном деле. В первый раз после несчастной ночи девятого сентября мне приходилось встретиться с ними. Свидание было приготовлено в кунахской у постороннего кабардинца. Тамбиев, надо заметить, очень их боялся и содержал меня гораздо хуже, чем они желали. Он нарядил меня на этот раз в хорошую черкеску, дал новую шапку, чувяки, советовал подстричь бороду и просил не говорить, что он отнял у меня все платье. Аслан-Гирей встретил меня не как пленного, а как гостя. Когда я вошел в кунахскую, все поднялись и сели не прежде, чем я занял место на приготовленной для меня подушке. Аслан-Гирей и хаджи Джансеид были видимо смущены и, потупив глаза, не знали, с чего начать разговор. Я первый обратился к ним с просьбой объявить мне дело, побудившее их приехать ко мне, прибавив, что они могут быть уверены, я не стану их осыпать бесполезными упреками или бессильною бранью за поступок со мною, считая для себя недостойным наносить оскорбления, за которые мне, безоружному, вероятно, не станут мстить. Что же касается до сделанного мне зла, то расчет за него поведут русские не словами, а делом. Беглый казак Брагунов исполнял обязанность переводчика. Они получили через Карамурзина для передачи мне, от имени генерала ***, табаку, чаю, сахару и шубу, в которой я очень нуждался. Более всего возбуждала их любопытство приложенная к эти вещам записка, писанная на немецком языке, которой никто не мог поэтому прочитать. Брагунов читал по-русски, в горах находились два черкеса, знавшие по-французски, быв воспитаны в Париже по воле Али Паши египетского, их господина, от которого они освободились через русское посольство, и потом, вернувшись на Кавказ, бежали к своим, но по-немецки никто не понимал у горцев.

Долго они возили эту записку ко всем эфендиям, показывали ее Брагунову, черкесам, знавшим по-французски, и, наконец решились выведать ее содержание от меня самого. Она мне была передана с замечанием, что для меня может выйти очень худое дело, если я не скажу всей правды. Генерал *** ободрял меня иметь терпение, обещая употребить все средства к моему освобождению, и советовал мне не отнимать у них надежды на хороший выкуп из опасения озлобить их до такой степени, что они решатся убить меня. Я рассказал им поэтому, что генерал *** подает мне надежду на выкуп, если они не станут требовать невозможного. Посоветовавшись, как водится, с Тамбиевым и хаджи Джансеидом, Аслан-Гирей предложил мне ответить генералу ***, что они готовы меня освободить, если им возвратят принадлежавших им прежде крестьян, или дадут за меня пять четвериков серебряной монеты. Это было слишком много, и я объявил им не задумываясь, что они никогда не получат за меня подобного выкупа, просил передать их требование генералу *** через кого угодно, только не через меня, ибо надо мной станут смеяться, если я об этом напишу. Все старания Аслан-Гирея и Тамбиева переломить мое упрямство остались безуспешны, что их очень раздосадовало. Один Джансеид молчал и бросал на меня по временам взгляды, выражавшие непритворное участие. Тамбиев вызвал Аслан-Гирея из кунахской, чтобы поговорить с ним наедине. Пользуясь этою свободною минутой, Джансеид сказал мне через Брагунова:

– Я вижу, ты стоишь лучшей доли. Прошедшего нельзя переменить; поэтому не буду перед тобою ни извиняться, ни оправдываться. Настанет время, когда, надеюсь, ты станешь лучше думать обо мне. Поверь, я сто раз охотнее готов бы был схватить тебя в открытой драке, или даже убить, чем видеть тебя пленником, после того как ты поверил нашему слову; но не всегда человек волен в своих поступках. К тому же я искренний приятель Тембулата, знаю, как ты с ним поступил, да и он этого не забывает, надейся на него.

Аслан-Гирей и Тамбиев, возвратившись в кунахскую, не дали мне возможности спросить у Джансеида, что Карамурзин в силах для меня сделать. Новые убеждения и угрозы, которыми они старались принудить меня писать к генералу *** и просить за себя назначенного ими выкупа, имели не более удачи как в первый раз; под конец я высказал им свою уверенность, что меня не оставят без размена, может быть, дадут даже несколько человек черкесских пленных, но, полагаю, не

согласятся выкупить меня за деньги. Аслан-Гирей заметно был мною недоволен; более же других хмурился Тамбиев, потерявший в Кабарде все, что имел, до последнего барана. Без брани, без оскорблений, соблюдая даже в отношении меня все формы черкесской вежливости, он умел сделать мое положение совершенно нестерпимым. Цель его в этом случае была переломить мой характер, заставить меня умолять русское начальство о скорейшем выкупе и в то же время возбудить в нем сожаление к моей участи, о которой до него доходили, нередко с намерением, преувеличенные слухи. В одно утро вместо новой бараньей шубы, присланной мне генералом ***, я нашел на моей постели старый кошачий тулуп без рукавов. Чай и сахар он у меня отнял под предлогом отравы, скрытой в них будто бы с целью лишить его ожидаемых за меня денег. Мою пищу ограничили просом и квашеною сывороткой, кислою, как уксус; да и этого давали мне так мало, что у меня по временам от голоду делалось головокружение. Ни днем, ни ночью не оставляли меня без оков и притягивали цепи так близко к стене, что я не мог поворотиться на постели. Декабрь и январь я провел в этом положении, не доставив Тамбиеву удовольствия услышать от меня ни одной просьбы или жалобы. Абадзехи, несмотря на дикий нрав и на бессознательную их ненависть к русским, приняли, наконец, участие в моем положении и несколько раз, глядя на меня, замечали Тамбиеву, что убить гяура, русского, есть благое дело, но что Коран запрещает истязать человека, какой бы веры он ни был. На это Тамбиев возражал, ухмыляясь: «Русские меня также истязают: отняли у меня крестьян, стада, табуны, заставляют меня жить в бедности; пускай возвратят мою собственность, и я отдам им брата их, по воле Аллаха попавшего в наши руки».

В конце января генерал *** уехал с Кубани в отпуск. Карамурзин тотчас воспользовался этим обстоятельством, для того чтобы завести с Аслан-Гиреем переговоры насчет моего освобождения. Он принялся убеждать его в выгоде примириться с русскими, выдав меня добровольно, и говорил, что за это он может получить, в виде награды, своих крестьян и все чего теперь напрасно требует как выкупа. Пока генерал *** находился на Кубани, Аслан-Гирей не хотел и слышать о подобных вещах, опасаясь, что ему воздадут обманом за обман; но после отъезда его, надеясь вести дело прямо с главным кавказским начальником, бароном Розеном, через меня и Карамурзина, склонился на предложение, сделанное ему сим последним. Прежде всего, Карамурзину надо было переговорить со мною и, если я сочту дело возможным, взять от меня письмо к главнокомандующему. Для этого он приехал в наш аул с хаджи Джансеидом и имамом Хази. Тамбиев, боявшийся всех и всего, когда дело шло обо мне, скрепя сердце, после многих уверений, ручательств и присяги в том, что меня не увезут, согласился разлучиться со мною на сутки, которые я должен был провести с Карамурзиным.

Свидание с ним доставило мне первую радостную минуту в моем заточении. Душевная благодарность и непритворная дружба его тронули меня до глубины души. Мы обнялись как два брата и долго, ни он, ни я, не могли выговорить ни слова. Расставаясь в Тифлисе, он не воображал встретить меня в подобном положении; да и я никогда не полагал быть в нем. Впрочем, черкесы не любят оглядываться назад и жалеть о невозвратном прошедшем, в чем я с ними совершенно согласен. Не теряя времени и слов на пустое, бесполезное сожаление о том что со мною случилось, мы пообедали и потом принялись за дело. Хаджи Джансеид начал с объяснения обстоятельств завязки в моей драме. Зачинщиком всего дела был Тамбиев: он завлек в него Аслан-Гирея, а хаджи должен был идти за ними обоими. Генерал *** сделал в этом случае большую неосторожность: сначала он обещал возвратить кабардинцам задержанных крестьян, если они примирятся; потом объявил, что для этого надо сперва провести меня по берегу Черного моря. Недоверчивый Аслан-Гирей увидел в этой необдуманной случайности подготовленный обман, который должен был опутать его и отдать вполне в руки генералу ***. Теперь еще он был свободен оставаться у абадзехов или, покорившись русским, выселиться на Уруп, если исполнят его требование; проехав же со мною в горах, он не мог более жить между враждебными нам черкесами и должен был во всяком случае перейти на сторону русских, отдадут ли ему крестьян или нет.

Первое движение Аслан-Гирея было отказаться от предложения генерала ***, но всегда покорный воле его, Тамбиев неожиданно восстал против его мнения и требовал настоятельно заманить меня в горы, схватить и поставить условием моего освобождения возвращение им всего имущества и крестьян, задержанных русскими. Недальновидный и столько же упрямый, Тамбиев не хотел отступиться от своей мысли и угрожал, если товарищи его не согласятся, разгласить у абадзехов их тайные сношения с русскими. Аслан-Гирей, имевший и без того слиш-

ком много врагов, видя себя поставленным между двух огней, должен был согласиться на план, составленный Тамбиевым, а однажды согласившись, принялся за исполнение его со всею свойственною ему хитростью. Теперь Тамбиев, видя, что его расчет не удался, казалось, был готов испытать способ, предложенный Карамурзиным к достижению его постоянной цели: добиться своих крестьян, задержанных в Кабарде. Я надеялся на справедливость и на доброжелательный характер барона Розена, имел, кроме того, сильных заступников в генерале Вольховском и бароне Ховене. Государь также требовал, чтобы для моего освобождения не жалели денег; поэтому для меня были готовы сделать многое, но без ущерба для значения русской силы и прав в глазах горцев. Те выгоды, которые могли быть им предоставлены, в виде награды, за мое добровольное освобождение с изъявлением их безусловной покорности русскому правительству, не должны были достаться кабардинцам как плод преступления, требовавшего строгого наказания. Понимая это слишком хорошо, я не роптал на бездействие наших властей и никогда не просил уступок в мою пользу, которые могли бы обратиться впоследствии ко вреду каждого русского, попавшегося, по несчастью, в плен к черкесам. Вельяминов был вообще недоволен всем ходом дела, говорил, что он меня никогда не отдал бы черкесам; но ничего не предпринимал для моего освобождения на первых порах, опасаясь довести требования горцев до невозможных размеров и продлить мой плен до бесконечности. Не упуская из вида цели, для которой я ехал в горы и из-за которой попался в плен, я предложил Джансеиду переселиться со мною на время к шапсугам и потом, как это случалось очень часто, проехать для размена на линию, избрав дорогу по берегу Черного моря. Эта мысль показалась ему весьма удобоисполнимою, и я упомянул о ней в письме к главнокомандующему, которое Тембулат должен был везти в Тифлис. Уезжая, он оставил мне табаку, полное черкесское платье и пару чувяк, за которые я ему был очень благодарен, не чувствуя себя в силах привыкнуть к отсутствию белья и зарождавшейся от этого нечистоте.

Тамбиев, не опасаясь более попыток со стороны генерала *** освободить меня силою или хитростью и зная, что я сам не убегу до получения ответа из Тифлиса, совершенно изменил мое положение, освободил меня от оков и почти ежедневно ходил со мною гулять в окрестностях аула или в гости к знакомым. В ауле не было абадзехов, а жили только около ста

кабардинских семейств, которых домашний быт я имел время вполне изучить. Черкесский дворянин проводит жизнь на лошади, в воровских набегах, в делах с неприятелем или в разъездах по гостям. Дома у себя он проводит весь день лежа в кунахской, открытой для каждого прохожего, чистит оружие, поправляет конскую сбрую, а чаще всего ничего не делает. В эти минуты совершенного безделья он напевает песни, аккомпанируя их на пшиннере, или стругает палочку ножом, без всякой цели. Днем он видится очень редко с своим семейством и идет к жене только вечером. На ней лежит обязанность смотреть за хозяйством; она ткет с помощью женской прислуги сукно, холст и одевает детей и мужа с ног до головы. Рабы обрабатывают поле; их жены и дочери прислуживают в доме и ходят за скотиной. Если черкес имеет несколько жен, то каждая из них, занимая отдельное помещение, пользуется особым хозяйством и поочередно обязана готовить для мужа пищу, относимую к нему в кунахскую. Черкешенки отличаются замечательным искусством в женских работах; скорее изорвется материя, чем шов, сделанный их рукой; серебряный галун их работы неподражаем. Во всем, что они приготовляют, обнаруживается хороший вкус и отличное практическое приспособление.

Черкесы высших классов пренебрегают учением; зато черкешенки учатся нередко читать и писать по-турецки, в состоянии разбирать Коран и часто ведут переписку за своих отцов и мужей. Замужних женщин никто не видит; они сидят дома, занимаются детьми и хозяйством и не выходят за двери без длинного белого покрывала, похожего на грузинскую чадру. Девушки, напротив того, показываются в мужском обществе с открытым лицом, и им позволено даже, в присутствии другой старой женщины, принимать в своей комнате чужого. Умение хорошо работать считается, после красоты, первым достоинством для девушки и лучшею приманкой для женихов. Черкесы чрезвычайно щекотливы насчет женской добродетели и мстят за оскорбление ее беспощадно. Девушки отвечают за свое поведение перед родителями, женщина перед мужем, а вдова не отвечает ни перед кем и обязана только не нарушать общественной стыдливости. Для девушки потеря невинности считается не преступлением, а несчастьем, поправляемым женитьбою или смертью соблазнителя, если он не может или не хочет жениться. Утрата чести вменяется замужней женщине в преступление, влекущее за собою смерть или рабство. Участника в подобном

преступлении убивают. Вдова может жить как ей угодно, и никто не в праве мешаться в ее дела, когда приличие не было нарушено; она может даже надеяться выйти снова замуж, если она знатна, хороша или богата. Еще до моего плена я имел случай видеть на линии, чем кончаются у черкесов похождения с замужними женщинами.

Между множеством черкесов, ежедневно приезжавших в Прочный Окоп, мы все, русские, не могли довольно налюбоваться молодым Алчигиром, бесленеевским узденем, соединявшим с редкою красотою всегда веселый и беззаботный нрав. Нежные, женообразные черты его лица, на котором едва начинал пробиваться пушок над губою, и крайняя молодость – ему было не более восемнадцати лет – нисколько не мешали ему слыть у черкесов молодцом, славным наездником и отчасти повесою. Генерал *** очень полюбил его и часто возил с собою на минеральные воды, где наш ловкий и красивый горец привлекал внимание приезжих дам, глядевших не без удовольствия на его чудные черты, прекрасный рост и стройную, маленькую ножку, составляющую одно из отличительных качеств красоты черкеса. На Кубани жил в то время против Невинномысской станицы молодой ногайский князь Н*..., про жену которого носился слух, будто она не уступала в красоте знаменитой Гуаше-фудже, жене Адел-Гирея; но никто не мог похвалиться тем, что ее видел, хотя бы мельком: с такою ревностью муж скрывал ее от посторонних взоров. Рассказы о ней воспламенили воображение Алчигира, и он объявил нам однажды, что решился удостовериться в ее красоте собственными глазами, как бы ее ни сторожили. Дело это у черкесов нелегкое, и мы советовали ему не навлекать на себя опасности без нужды и прока; но Алчигир не послушал доброго совета. Несколько времени спустя он приехал в Прочный Окоп совершенно изменившись: прежняя веселость его исчезла, он сидел задумавшись по целым часам, рассеянно отвечал на наши вопросы и никак не хотел высказать, что его заботило. Потом он пропадал несколько месяцев, не подавая о себе слуха, так что стали опасаться, не бежал ли он в горы с целью сделаться абреком. В одно утро Алчигир неожиданно прискакал в крепость, соскочил с измученной лошади и, не дожидаясь, пока о нем доложат, ворвался прямо к генералу ***. Бледное лицо его выражало глубокое отчаяние. Первые минуты он мог только выговорить: «Спаси ее, спаси меня!» Генерал *** успокоил его и приказал рассказать всю правду. Как можно было

догадаться, дело шло о княгине Н...; Алчигир совершил проделку, какая может родиться только в голове восемнадцатилетнего черкеса, совершенно отуманенного страстью.

Разными уловками он добился случая увидать тайком жену князя Н* и с первого раза страстно в нее влюбился. Он стал бродить около аула, успел обратить на себя ее внимание и через подкупленную служанку начал домогаться свидания. На это не предвиделось никакой возможности, и красавица, которой сердце также было затронуто, просила его отказаться от своего желания. Муж не выпускал ее из виду; когда он уезжал по делам из дому, его мать проводила с нею весь день и ночевала в ее комнате. Для того чтобы ее видеть, следовало удалить мужа, не дав ему времени отдать ее под надзор матери. Дело нелегкое, но Алчигир нашелся. Для того чтобы свидеться с женою, он заставил мужа в буквальном смысле прогуляться. У редкого мирного черкеса, ногайца или иного горца не лежало на совести против русского закона какого-нибудь тайного грешка, заставлявшего его иногда с беспокойством следить за тем, что делалось и говорилось на нашей стороне. Алчигир узнал, по-видимому, что-то в этом роде насчет князя Н*, и решился обратить это в свою пользу. Подобрав в товарищи подобного себе смельчака, он поехал с ним ночью к аулу своей возлюбленной, сам спрятался за плетнем, а его послал разбудить мужа и увести его в поле под тем предлогом, что Алчигир имеет будто бы сообщить ему, под покровом ночи, очень важную тайну, касающуюся до него. Вся хитрость состояла в том, чтобы водить его по оврагам и балкам, отыскивая Алчигира, пока тот будет у его жены, и потом привести на назначенное место, где они должны были действительно встретиться. Сначала дело ладилось как нельзя лучше. Молодой черкес, товарищ Алчигира, постучал в ставню к князю и, когда тот выглянул, передал ему поручение с просьбою никого не будить, для того чтобы скрыть от всех ночную поездку, ибо малейшая нескромность, особенно со стороны женщин, могла повредить не только ему, но и у Алчигира отнять возможность узнавать, что делается у русских. Н* имел, видно, сильную причину бояться генерала ***, у которого Алчигир бывал так часто; потому тотчас принял приглашение, сам тихонько оседлал лошадь, находящуюся у черкеса всегда под рукою, и поехал узнавать новости с русской стороны. Что Алчигир приехал не сам, а ожидал его ночью в стороне от аула, в этом не было ничего необыкновенного, так как в то время русские и черкесы прибегали

ко всякого рода предосторожностям, чтобы скрывать друг от друга свои действия.

Князь не успел отъехать от своего дома десяти шагов, как Алчигир прокрался в спальню и занял его место.

Ночь была очень темна. Молодой черкес, провожавший князя Н*, скоро сбился с дороги и никак не мог найти места, на котором оставил Алчигира. Это так редко случается с черкесами, что ненаходчивость провожатого могла действительно показаться весьма подозрительною; ревнивая мысль мелькнула в уме мужа, в первый раз покинувшего жену без надзора; он, не говоря ни слова, бросил своего проводника и опрометью поскакал домой.

Скок лошади коснулся до слуха любовников, когда Алчигиру уже поздно было бежать. Верная смерть ожидала обоих. В эту страшную минуту черкешенка не потерялась: громким голосом она стала звать мужа на помощь. Услыхав отчаянный крик жены, князь потерял совершенно голову. Вместо того чтобы стать перед дверьми и созвать людей для поимки вора, который бы в этом случае никуда не мог уйти, он соскочил с лошади и бросился в неосвещенную комнату с пистолетом в руке. Тут он был опрокинут сильным толчком, пистолет разрядился в потолок, а незнакомый человек между тем выскочил из дверей и скрылся в темноте. В руках князя остался кинжал, который он нечаянно успел сорвать у беглеца. На выстрел сбежались люди со всех концов аула, дело нельзя было скрыть; поднялась невыразимая суматоха. Зажгли свечи. Взбешенный муж грозил тут же убить жену, если она не скажет всей правды и не назовет ему, кто у нее был. Она клялась, что человек, к ней ворвавшийся, был ей совершенно незнаком, в лицо она его не видала, потому что было темно, а голос его слышала в первый раз в жизни. Самое происшествие она рассказывала следующим образом, умоляя притом мужа и народ позволить ей перед шариатом доказать свою невиновность. Она говорила, что муж покинул ее, не сказав, куда и надолго ли он отлучается, даже не разбудил ее вполне, и не приказал запереть двери изнутри. Это была правда. Потом она заснула, не помнит, долго ли спала, и не знает, как отворились двери. Почувствовав возле себя кого-то, она была уверена, что это муж, но скоро заметила, что имеет дело с чужим, стала с ним бороться и звать мужа на помощь, не зная, куда он девался. К счастью, он поспел вовремя, и она, чистая и невинная, предает свою судьбу на волю правосудного Аллаха. Муж отказывался верить и продолжал грозить смертью. Тогда народ, между которым женщины кричали громче всего, принял сторону княгини, доказывая, что сам муж виноват, покинув ее без защиты, что какой-нибудь вор, карауливший украсть лошадь или другую скотину, видя, как он уехал, легко мог на нее польститься, что для обвинения ее в неверности не имеется ясных доказательств, что их надо разлучить и дело предать на суд шариата. Перед этим требованием князь Н* должен был смягчить свой гнев. Тут же его обязали присягой не покушаться на жизнь жены, отвели ее в дом к матери и положили созвать эфендиев для решения дела.

Между тем Алчигир скакал в Прочный Окоп, где единственно мог надеяться на помощь, если она была возможна.

Прежде чем муллы собрались для суда, генерал *** успел через верных людей склонить их ни в каком случае не признавать княгиню виновною и не находить достаточных улик против ночного посетителя. Судьи на Востоке понимают свою обязанность не хуже европейских и знают, что никакого дела нельзя рассматривать с точки зрения абсолютной правды, для которой люди даже не созданы, а надо принимать в соображение господствующие обстоятельства, которыми в то время управлял генерал ***; они торжественно признали невинность подсудимой княгини и сложили всю вину на неизвестного человека, покусившегося силой на ее честь, которого и следовало наказать, если он будет отыскан. Одного высокостепенные эфендии не могли устранить: кинжал, оставшийся в руках князя, дагестанской работы и весьма замечательной оправы, был признан принадлежащим Алчигиру; некоторые свидетели указывали даже, от кого из русских он его получил в подарок. Алчигира потребовали к ответу, и обвинители его стали в тупик, а эфендии очень обрадовались, когда он явился, имея на поясе своем весьма многим знакомый кинжал. Сравнили оба кинжала и нашли их неимоверно сходными. Таким образом, и эта улика совершенно утратила свое значение: видно, кто-то другой имел такой же кинжал. Кроме того, Алчигир объявил, что он в ночь происшествия, ожидая князя Н* в овраге, заметил свежую сакму (след), из любопытства поехал по ней и неожиданно наткнулся на четырех молодых абреков, выжидавших удобного случая переправиться через Кубань, что эти абреки продержали его несколько часов и отпустили только перед утром, когда трое товарищей их приехали сказать, что теперь переправа невозможна, и что после этого он поскакал к генералу *** дать известие о их намерении. Он назвал абреков по

имени. Действительно, два дня спустя названные им абреки были встречены казаками в наших пределах, четверо из них убиты, а трое спаслись бегством. Один из эфендиев поехал к абадзехам допросить абреков под присягою и привез полное подтверждение Алчигировых показаний. Алчигир имел везде добрых друзей, готовых выручить его из беды. Обиженный муж понял, откуда дует ветер, и что ему не по силам бороться с покровителями его соперника. Затаив чувство мщения в глубине сердца, он, казалось, с удовольствием принял решение шариата, и до того убедился в невинности жены и в непричастности к делу Алчигира, что жену оставил при себе, оказывал ей прежнее расположение, а с Алчигиром свел тесную дружбу. Но Алчигиру, знавшему за собою вину, было с ним как-то неловко; он избегал оставаться с ним наедине, и при каждом свидании, при каждой поездке их непременно случался кто-нибудь из Алчигировых приятелей. Таким образом протекло около года, и дело стали забывать; муж казался совершенно беззаботным; недоверчивость Алчигира почти исчезла.

Однажды оба они возвращались из Прочного Окопа за Кубань; с ними было человек двадцать знакомых им черкесов. Светлый, прекрасный день и бесконечная, гладкая равнина так и манили джигитовать. Черкесы, находясь в веселом расположении духа, не могут ехать спокойным шагом, без джигитовки. Провожавшие их молодые люди начали выказывать один перед другим свое удальство в скачке и в стрельбе из ружей. Князь Н* предложил Алчигиру испытать, кто из них ловче попадет на всем скаку в шапку, брошенную на землю. В этом не предвиделось никакой опасности, потому что пули были уже выпущены, и князь зарядил при всех свое ружье холостым зарядом, как это делается, когда стреляют в шапку. Алчигир выскакал первый, бросил свою шапку на землю и стал возле нее, чтобы судить о выстреле. Дав промах, принятый с громким смехом, князь Н* сделал то же самое для Алчигира, который так ловко попал в шапку, что она на несколько шагов отлетела в сторону. Тогда он попросил Алчигира бросить опять свою шапку, надеясь в этот раз иметь более удачи. Поравнявшись с ним, он сначала опустил дуло ружья к земле, будто намерен стрелять в шапку, потом поднял его и спустил курок, крикнув: «В шапку даю иногда промах, а в грудь врага никогда!» Алчигир, не вздохнув, упал мертвый с лошади: две пули пробили ему сердце. Прежде чем черкесы успели опомниться, убийца, имевший под собою отличную лошадь, умчался от них

далеко. Они погнались за ним, скакали без отдыха верст тридцать, настигнув, убили лошадь ружейным выстрелом и схватили его живого, когда он с нею покатился на землю. Это случилось на русской стороне, на правом берегу Кубани; поэтому они не посмели его убить, а привезли связанного в Прочный Окоп. Оттуда его отправили в ставропольскую тюрьму. На дороге, говорят, он сделал попытку бежать, причем один из конвойных казаков убил его из ружья. Так кончился характеристический эпизод черкесской семейной жизни.

Наступил рамазан, магометанский пост, в продолжение которого правоверные ничего не едят от утренней зари до вечерней звезды, беспрестанно творят намаз, спят, слушают Коран и всю ночь пируют. Для рамазана и для байрама, которым кончается пост, черкес приберегает что у него есть лучшего из съестных припасов, считая совершенным несчастьем не иметь на это время мяса для себя и для гостей, делающих ему честь посещением его кунахской. Аслан-бек Тамбиев жил в крайней бедности и очень часто нуждался в хлебе для своего семейства. Все его богатство состояло тогда из двадцати полуимпериалов, доставшихся на его долю, когда меня ограбили. Каждый день он их пересматривал, считал и перетирал, не решаясь с ними расстаться. Наконец он объявил мне со вздохом, что на деньги хотя и хорошо смотреть, да нет в этом проку, и что бараны все-таки лучше; к тому же неприлично кабардинскому дворянину не иметь для рамазана куска мяса на своем столе. Дня три он пропадал после этого вместе с Бечиром и вернулся в аул со связкой холщового товара, в котором его дом очень нуждался. Жену его, Кочениссу, я видал только издали, всегда укутанную самым приличным образом; зато его сынок и дочь, хорошенькая Коченагу, являлись ко мне в одних дырявых рубашках греться около огня. Бечир торжественно гнал перед собою двух буйволиц и штук двадцать баранов. В течение всего рамазана мы кормились мясом, которого я не видал в продолжение четырех месяцев, кроме случаев, когда приезжали Аслан-Гирей и Карамурзин.

У более зажиточных кабардинцев почти каждый вечер народ собирался слушать Коран, читаемый муллою по-арабски и переводимый потом, с пояснениями, на черкесский язык. Сидя около стены, вокруг кунахской, черкесы с благоговением слушали чтение; некоторые из них позволяли себе иногда делать мулле вопросы насчет непонятных для них изречений. Тамбиеву доставляло, как я заметил, особенное удовольствие,

когда я соглашался с ним посещать эти сходбища. Обыкновенно, когда я появлялся, мне уступали место возле самого почетного человека, князя Магомета Атажукина, временно гостившего в ауле. Это был абрек, о котором я уже упомянул, вернувшийся из Константинополя, куда он ездил лечить раненую руку, в чем успел до такой степени, что мог стрелять из ружья и колоть шашкой, только не рубить. Его называли поэтому Магомет-аша, то есть сухорукий. Мы были одних лет, он чисто говорил по-русски, очень меня полюбил и поэтому с охотою переводил для меня все, что сказывал мулла, позволявший себе иногда пояснения не совсем сходные со смыслом текста. Вот один из подобных случаев, в который я сам дерзнул вмешаться.

В главе о бегстве Магомета сказано, что гяуры принудили его спасаться из Мекки в Медину. Кто-то из присутствующих спросил: «Кто же были эти гяуры?» – «Кто? – отвечал мулла не запинаясь, – известно русские!» Все мусульмане обратили на меня взгляды, полные негодования. «А! – прошептали некоторые. – Видишь, русский, даже пророку вы были враги!» Тогда я попросил муллу просветить и меня и наставить на путь истины в деле, которое нехорошо понимаю. Я попросил Атажукина вынуть буссоль, которую богатые черкесы всегда имеют при себе, для того чтобы знать направление, куда обращаться лицом во время молитвы. По кабалару, как называют здесь магнитную стрелку, я просил мне указать, где находится гроб Магомета. Показали на юг. А где живут русские? Разумеется, указали в противоположную сторону. И всегда там жили? Черкесы переглянулись между собою в недоумении. «Кажется, всегда», – отвечали некоторые из них. Тогда я попросил муллу наставить меня, какими непонятными путями русские, проживая на севере, успели выгнать Магомета из Мекки. Мулла нашелся. «Не поддавайтесь хитрым внушениям гяура! – сказал он черкесам с рассерженным видом. – Если бы даже не русские преследовали пророка, так это были их братья и сродники: все гяуры принадлежат к одной семье и одинаково ненавистны Аллаху, который терпит их на земле только в наказание за наши грехи».

В конце марта наступил байрам. С раннего утра начали собираться в наш аул соседние кабардинцы и абадзехи для общей молитвы, после которой должен был сказать проповедь некий Дагестан-эфенди, имевший между горцами большую славу. Тамбиев очень хлопотал о том, чтобы я принарядился

почище, что было не совсем легко, потому что он постоянно захватывал мое хорошее платье в пользу своих детей, которым из него выкраивали праздничные наряды, – на его исполинский рост и широкие плечи оно не приходилось, – и пригласил меня сопутствовать ему на молитву. Собрание происходило на большой поляне, лежавшей в лесу, недалеко от аула. Более трех тысяч черкесов, образуя обширный полукруг, стояли там на снегу на коленях, с поникшими головами, и следили за молитвой, произносимою громким голосом тремя эфендиями в белых чалмах и такого же цвета длинных мантиях, накинутых на черкески. Водруженные перед ними палки с рукоятками в виде полумесяца означали ту сторону, в которой лежала Мекка. По окончании молитвы необыкновенно толстый Дагестан-эфенди звучным голосом прочитал главу из Корана и потом сказал проповедь, побуждавшую народ не дружиться и не сближаться с гяурами, а в особенности драться с русскими до последней капли крови. Понимая уже несколько по-черкесски, я мог заметить, что эфенди хорошо владел языком, хотя он, как видно из прозвища, родился у лезгин. Картины, изображавшие райские утехи правоверных, павших в бою с русскими, и адские муки, ожидавшие тех из них, которые им покорились, были столько приспособлены к понятиям и к характеру черкесов, что должны были сильно поразить их воображение.

За впечатлением, которое проповедник производил на слушателей, можно было следить по их выразительным лицам, быстро изменявшимся при каждом его слове. Исчисляя все грехи, принимаемые на душу черкесскими племенами, признавшими над собою силу русского закона, он заметил, что, по дошедшим до него слухам, они, – от чего да избавит Аллах каждого правоверного, чаящего вечной жизни, – даже едят свинину, без чего гяуры не стали бы им покровительствовать. Этого не вынесли черкесы. Они затрепетали от досады. Неистовые проклятия и крики омерзения: «Харам! Харам!» покрыли последние слова проповедника. Вполне довольный эффектом своей речи и необузданною ревностию слушателей, он благословил собрание, после чего все начали расходиться по домам.

Мой приятель, Магомет-аша, как его звали черкесы, пригласил нас к себе закусить. Чинно, по летам и по званию, на первом месте Дагестан-эфенди, расселись званые гости, а за ними вошли в кунахскую знакомые и незнакомые, кому было угодно, и остановились недалеко от дверей в ожидании уго-

щения. Кунахская всегда открыта для каждого и тем более в байрам, когда черкес считает священным долгом разделить с бедняком свой последний кусок. Магомет был не беден. Мяса жареного и вареного, проса, молока, даже хлеба, приготовляемого в самых редких случаях, достало на всех. Запивали кушанье водой с распущенным медом и брагой из просяной муки, подаваемыми гостям в деревянных ковшах. Дагестан эфенди полюбопытствовал со мною познакомиться и долго разговаривал с приличною важностью. Потом он подозвал Тамбиева и, поглядывая на меня, завел с ним тихую речь. Аталукин рассказал мне позже содержание их разговора. Эфенди убеждал Аслан-бека не льститься на выкуп, а для спасения души стараться обратить меня в мусульманина, могущего сделаться впоследствии твердым оплотом веры и полезным руководителем горцев в войне с русскими. В нашем ауле был и другой мулла, не помню его имени, много хлопотавший переманить меня в исламизм, с тем чтоб я остался жить в горах и своим знанием помог черкесам защищаться от русских. Он просиживал со мною по целым часам, объясняя Коран и уговаривая меня на языке, составленном из черкесских, татарских и русских слов, который только разве я да он могли понимать. Из некоторых его намеков я имел повод думать, что в этом деле принимал тайное участие хаджи Джансеид, знавший обо мне много подробностей от Карамурзина. Обыкновенно в подобных случаях я заводил с муллой прения и, не оскорбляя его самолюбия и религиозных понятий, отводил разговор на посторонний предмет, так что он уходил от меня с чем пришел.

Между тем время уходило, а от Карамурзина я не получал никакого известия. Нечего было сомневаться в том, что дело не пошло на лад; но по какой именно причине, – я не мог добиться никаким образом. Тамбиев, в глупости своей, рассказывал мне разные басни с целью поддержать во мне надежду на скорое освобождение, потому что он крайне боялся довести меня до отчаяния, зная мою вспыльчивость. Не имея иногда чем кормить жену и детей, он в моем выкупе видел последнее средство поправить свое бедственное положение. Моя смерть или бегство угрожали ему окончательным разорением. Поэтому он ухаживал за мною, как мать за своим ребенком, когда надежды его на выкуп начинали возрастать, и подвергал меня самым нестерпимым мучениям, когда они исчезали, стараясь только не оскорблять моей гордости. И в этот раз Тамбиев не изменил своему обыкновенному правилу. После одной поездки

он вернулся с нахмуренным лицом; меня сковали, и я пролежал опять около трех недель, не имея возможности тронуться с постели. Число моих караульных удвоили; сам Тамбиев вставал ночью по нескольку раз и с ружьем в руках осматривал окрестности дома. Он молчал, и я с ним не заговаривал. Раз только он проговорил, что я должен винить в том, что со мною делается, не его, а моих друзей, которые думают его обмануть, да что он не так глуп и не хочет верить ни Тембулату, ни Аслан-Гирею, ни Джансеиду.

VI.

В одно ясное майское утро, когда аул шевелился подобно муравейнику, подымаясь из лесу на Курджипс, меня посадили на арбу, за которою следовала другая арба с Кочениссою и детьми, и мы потянулись не за другими кабардинцами на восток, а на запад, в глубину абадзехских лесов. Тамбиев поссорился из-за моего дела с Аслан-Гиреем и хаджи Джансеидом, и переселялся теперь в аул абадзехского старшины Даур-Алим-Гирея, которому он отдал себя под покровительство, присягнув делить с ним кровомщение, для того чтоб отнять у них все способы действовать без его согласия. Дело состояло в том, что барон Розен обещал отдать крестьян захватившим меня кабардинцам, если они меня выдадут, безусловно покорятся России и перейдут жить на Уруп, на что Аслан-Гирей и Джансеид были совершенно согласны. Тамбиев же, опасаясь жить вблизи русских и подозревая во всем обман, решил в своей мудрости, что если за меня готовы отдать его крестьян на Уруп, так отдадут и к абадзехам, заупрямился и решительно объявил, что не отступится от меня, пока принадлежавшие ему крестьяне, или равная их ценности сумма денег, не будут находиться в его руках здесь у абадзехов, между которыми он намерен жить и умереть. Кабардинские абреки находились в чужой стороне, занимая земли, уступленные им абадзехами, посреди которых они составляли отдельные общества, управляемые по их собственным обычаям. Между ними княжеское звание сохраняло свое значение; вольные же абадзехи, имевшие народное правление, не признавали никакой власти кроме определения большинства и мнения своих старшин, уважаемых по силе предания. Поэтому Тамбиев, проживая в ауле Алим-Гирея, своего кровомстителя, мог безнаказанно противиться

Аслан-Гирею, терявшему все свое значение перед простым дворянином из рода Дауров, потому что этот последний был абадзех и к тому же имел сильную партию в народе.

Аул Даур-Алим-Гирея лежал среди лесов, между реками Курджипсом и Пшахой. Мы подъехали к нему перед закатом солнца, когда еще можно было хорошо рассмотреть окрестности. Они имели свою живописную сторону. На обширном лугу, отличавшемся свежею зеленью, сгруппировались под тенью высоких ореховых деревьев около двадцати домов, впереди которых красовалась кунахская самого большого размера, обгороженная невысоким колючим плетнем. К северу луг упирался в крутой и глубокий овраг, по которому журчал прозрачный горный ручей. За оврагом находились высоты, покрытые густым лесом; над ними господствовал холм, усеянный могильными камнями, осененными тремя дубами огромной величины. С трех остальных сторон к поляне прилегал высокий лес, над которым синели дальние горы. Скотина возвращалась с пастбища, кое-где показывались женщины, выходившие ей навстречу, перед кунахской сидел кружок абадзехов с трубочками во рту; все вместе представляло вид ненарушимого спокойствия. Алим-Гирей принял нас приветливо, жену и детей Тамбиева отправил к своему семейству, а меня пригласил в кунахскую. Он принадлежал к числу самых добродушных людей, встречаемых мною во время плена, и, кажется, не был в состоянии кого-либо ненавидеть. С русскими он дрался только потому, что с детства привык видеть в этом религиозную обязанность, но дрался без злобы. У себя в доме он не хотел знать во мне ни врага, ни пленного, а только гостя из дальней стороны. В его опрятной кунахской я пользовался первым местом, чистою, мягкою постелью и весьма порядочным столом, пока Тамбиев, прибывший несколько дней спустя, строил дома и приводил в порядок свое хозяйство. И после, когда я уже жил у Тамбиева, Алим-Гирей встречал меня у себя в кунахской всегда с приятною улыбкой, усаживал и непременно угощал чем только мог. Пример Алим-Гирея подействовал на прочих жителей аула, от которых я, кроме одного случая, который расскажу в своем месте, не видал ничего похожего на обиду. К чести горцев могу сказать, что, кроме Тамбиева, подвергавшего меня, из жадности к деньгам, действительно трудно переносимым мучениям, надеясь добиться этим способом своей цели, – все они, не исключая убыхов и шапсугов, нарочно приезжавших, чтоб видеть меня, обращались со мною не только вежливо, но даже старались оказывать услуги, доставлявшие мне некоторое удовольствие в моем тягостном положении. Случалось, они передавали без всякой платы от меня письма на русскую сторону, скрывая их от Тамбиева; привозили мне небольшие посылки с бельем, табаком или другими мелкими вещами. Чаще всего я нуждался в табаке и был тогда вынужден курить противный мне абадзехский табак, делая из него пахитосы с помощью кукурузной соломы. Шапсуг Шмитрипш Ислам, заехав познакомиться со мною, застал меня в одну из подобных минут, не говоря ни слова, съездил на море и привез чрез неделю око хорошего турецкого табаку. Подобных случаев я могу насчитать очень много.

Тамбиев, вечно озабоченный одною мыслью, что я уйду или что меня выкрадут, построил род деревянной башни между своим домом и домами семейства Алим-Гирея, имевшего двух молодых жен. Эта башня имела шесть шагов в квадрате и одну дверь, или окно, – можно назвать как угодно, – поднятую на три фута от земли, через которую человеку едва можно было пролезть. Против дверей было насыпано возвышение для моей постели, а возле него устроен очаг с дымовою трубой. После жизни, не лишенной удобств, в чистой и светлой кунахской Алим-Гирея это темное и сырое помещение, с оковами и при самой скудной пище, показалось мне очень тягостным. Опять я по целым неделям должен был лежать на постели, не имея средств пользоваться прекрасным летним воздухом; иногда отпускали цепь, так что я мог сидеть на высоком пороге дверей, свесив ноги наружу, и смотреть на дальний лес. Солнечные лучи не доходили до меня, потому что дверь была защищена широким навесом. Для того чтобы чужой не подкрался ночью к моей тюрьме, Тамбиев приучил лежать возле дверей принадлежавшую ему очень злую, большую, черную собаку, наводившую страх на весь околоток. Сначала она при моем появлении скалила зубы, ворчала и даже собиралась уцепиться за ноги; но скоро я завел с нею самую тесную дружбу, разумеется, тайным образом, для того чтобы не возбудить подозрительности Тамбиева. Я был не очень сыт, но бедная собака была еще голоднее: тайком я уделял ей что только мог от моего проса, и Хакраз, как ее звали, завидев меня, более не злилась, а только махала хвостом, глядя на меня самыми нежными глазами.

Совершенное бездействие, в котором я проводил весь день, не видя перед собою другого живого существа кроме оборванного караульного, приходившего на ночь, было способно

довести меня до помешательства. Передумав обо всех обстоятельствах и случайностях, могущих послужить к моему освобождению, я стал вспоминать прошедшее, думать о будущем и углубляться, наконец, в философские вопросы, заводившие меня иногда так далеко, что я начинал чувствовать необходимость обращаться от вечной думы к какому-нибудь материальному развлечению. Добыв кусочек карандаша, я рисовал на ставне и на строганых столбах все, что приходило на ум; о бумаге нечего было и думать. Животных, цветы и виды черкесы переносили, но не хотели терпеть человеческих фигур, запрещаемых Кораном, и всегда их соскабливали. Суреты, как они их называли, наводили на них суеверный страх... «Откуда берешь ты смелость, – сказал мне однажды Тамбиев, – так сходно изображать человека, созданного по подобию Аллаха? Души ты не можешь ведь дать твоему изображению. Смотри, когда ты умрешь, на том свете твои суреты отнимут у тебя покой, требуя для себя бессмертной души; а откуда ты ее возьмешь?» Потом я занялся резьбой из кизилового дерева палок, употребляемых черкесами для ходьбы в горах. Это им очень нравилось, и многие просили меня украшать их палки, что мне всегда удавалось, к их удовольствию.

Мое помещение находилось недалеко от домов, занимаемых семейством Алим-Гирея. Женские и детские голоса долетали до меня беспрестанно, но я видел их на первых порах только издали, когда они мелькали мимо моей хижины, сколько можно избегая подходить близко. Строгий закон стыдливости удалял от меня женщин; дети просто боялись гяура, знакомого им только по чудовищным рассказам отцов и матерей. Но это продолжалось недолго; детское любопытство взяло верх над страхом. Смотря на детей Тамбиева, давно привыкших ко мне, абадзехские дети начали подходить поближе, потом одна из девочек решилась влезть в мою башню, и кончилось тем, что мы очень подружились. Женщины, узнав от детей, что во мне нет ничего злого и неприличного, перестали делать большой крюк, обходя мое жилье, и когда не было вблизи черкесов, останавливались разговаривать со мною. В их словах и приемах я всегда замечал много скромности и доброты. Чаще всего меня навещали две молодые девочки: Кучухуж, дочь Алим-Гирея, и ее служанка Хан. Пользуясь каждою свободною минутой, они прибегали ко мне с какими-нибудь детскими рассказами или расспросами, приносили мне яиц, ягод, табаку, приводили за собой других девочек, пели хором абадзехские песни или, видя

меня нерасположенным и задумчивым, сидели молча в ожидании от меня ласкового слова. Голубоглазая, белокурая Кучухуж, двенадцати лет, была совершенный ребенок, а Хан, имевшую пятнадцать лет, можно было считать взрослою девушкой. Она была прехорошенькая, живая, стройная девушка, с нежными чертами лица, блестящими черными глазами, столько же смуглая, сколько Кучухуж была бела; ее одевали, воспитывали и холили не как других служанок, ибо готовили ее на продажу туркам, так как она обещала быть красавицей. Хан выказывала всегдашнюю готовность прислуживать мне в чем могла и делала это с такою скромностью, что весьма понятно, если я находил более удовольствия видеть ее перед собою, чем абадзехского мальчика, Накыжа, грязного, дурного и злого, как обезьяна, приставленного ко мне Тамбиевым для услуги и для денного караула. Служил он мне очень плохо, и, если бы не Хан и Кучухуж, я бы оставался по целым дням без глотка воды и без огня, – но караулил хорошо. Издали он не упускал меня из глаз, и я избавлялся от его докучливого присутствия только на то время, когда он уходил в соседние аулы красть съестное, плоды и кур.

Недолго я пользовался удовольствием любоваться хорошенькою Хан. Через три месяца ее увезли продавать. Она зашла проститься со мною перед отъездом. Смех и слезы сменялись на ее лице. Я спросил, чему она рада и о чем плачет.

– Как не радоваться, – отвечала Хан, – я здесь рабыня, не то что Кучухуж, а там, говорят, буду непременно госпожой; мне дадут хорошие платья, дадут денег, я стану пересылать их отцу и матери, а если будет много денег, так выкуплю их на волю и перевезу к себе за море.

Почти каждая черкешенка оставляет горы с подобными надеждами, и, случается, эти надежды оправдываются самым блестящим образом...

– А слезы о чем?

– Жаль расставаться с родными, да еще... еще одного боюсь.

– Чего же?

– Не знаю, к кому я попадусь, будет ли он добр и весело ли мне будет его любить: мать говорит, что меня купит богатый турок, может быть, паша, именно для того, чтоб я его любила.

Бывало время, когда меня освобождали от оков; тогда я мог свободно прогуливаться по лужайке между домами, не выходя за черту аула, огороженного плетнем. Накыж непременно находился где-нибудь вблизи, если я даже не замечал его, готовый

поднять тревогу в случае появления возле меня незнакомого человека или попытки с моей стороны перейти за границу указанной мне прогулки. Перед дверьми моего жилья, несколько правее, стоял домик, в котором жил с женой больной брат Алим-Гирея, не встававший с постели. В одну из моих прогулок я увидал возле их дома незнакомую мне девушку, около которой прыгала ручная горная коза. Это было на таком расстоянии, что я не мог ее порядочно разглядеть; но, зная всех в ауле, полюбопытствовал узнать, кто она. Кучухуж, встреченная мною несколько спустя, с детскою болтливостью рассказала мне, что девушка с козой – ее сестра, старшая дочь Алим-Гирея, от умершей жены, вернулась от родителей покойной матери, у которых гостила четыре месяца, теперь живет с теткой, очень хороша, очень добра, умеет читать и писать (по-турецки, потому что письмена не существуют для черкесского языка), пользуется особенным расположением отца и сама любит ее, Кучухуж, более других сестер. И вот я узнал о ней гораздо более, чем мне было нужно; познакомились мы несколько позже, столкнувшись будто бы случайно на лугу, разменялись сперва поклоном, потом она заговорила, и после нескольких встреч пригласила меня войти к тетке, доброй старухе, всегда занятой тканьем галуна. Потом я заходил к ним каждый раз, когда был на свободе, и просиживал довольно долго. Аслан-Коз (Львиная груша) принялась учить меня по-черкесски. Алим-Гирей знал, что я вижусь с его дочерью, и нисколько этому не противился, повинуясь черкесскому обычаю, дозволяющему девушке бывать в обществе мужчин. Вспоминаю об этих, кажется, очень неважных обстоятельствах, потому что они в то время имели для меня весьма глубокое значение, оживляя хотя несколько тягостное однообразие моего безнадежного существования.

В конце лета Тамбиев сделался необыкновенно весел и стал ухаживать за мною с особенною нежностью. Несмотря на его таинственное молчание, я догадывался, что какое-нибудь неожиданное обстоятельство подает ему опять надежду получить в скором времени выкуп, которого он за меня домогался. Я узнал от посторонних черкесов, что Государя ждут на Кавказе. Теперь я понял, в чем дело: Тамбиев думал, что при этом случае станут заботиться о моем освобождении и непременно согласятся на все его требования.

Однажды, когда Алим-Гирея не было дома, Тамбиев лежал в его кунахской, забавляясь на пшиннере. По приятному выражению лица можно было заключить, что он мечтал о выгодах и удовольствиях, которыми будет пользоваться, когда получит за меня мешки золота и серебра. В его мечтах находила, кажется, место и Аслан-Коз, о которой он не раз заговаривал при мне с отцом, прекращавшим обыкновенно разговор, потому что у мусульман допускается иметь не более жен, чем сколько муж в состоянии прокормить, а у Тамбиева и одна жена нередко голодала... В эту минуту я сидел недалеко от Тамбиева возле окна кунахской, курил из маленькой трубочки и вслед за дымом уносился мыслями далеко от места, к которому меня приковывала судьба. Около нас вертелся Эдыг, четырнадцатилетний сын Алим-Гирея. Он меня очень любил. Заметив мое раздумье, он спросил меня: зачем я не иду лучше к Аслан-Коз, у которой я всегда весел, вместо того чтобы сидеть здесь и горевать без проку.

– А! – подхватил Аслан-бек, – ему весело у Аслан-Коз; знает он, что хорошо, да не для гяура Аллах ей дал ум и красоту. Сходи-ка, Эдыг, к сестре да спроси, не хочет ли она быть моею женой: это получше, я мусульманин и кабардинский уарк чистой крови.

Эдыг побежал исполнить поручение Тамбиева, и через несколько минут вернулся с ответом: сестра не желает быть твоею женой, разве отец прикажет; говорит, довольно Аслан-беку и Кочениссы.

Тамбиев погладил только свою длинную рыжую бороду.

– Жалею, Эдыг, что не заслужил расположения твоей сестры! А станет жалеть, когда я разбогатею, и мой дом будет как полная чаша.

Принимая все дело за шутку, я, в свою очередь, шутя, попросил Эдыга спросить сестру, согласилась ли бы она выйти за меня, отказав Тамбиеву.

Эдыг опять убежал и пропадал в этот раз очень долго; я почти забыл о моей шутке, когда он вернулся и с весьма серьезным видом сказал мне:

– Сестра приказала передать, что она согласна быть твоею женой, если ты сделаешься мусульманином.

Тамбиев расхохотался.

– Умна твоя сестра: хочет гяура обратить, для того чтобы открыть себе в рай широкую дорогу.

Его самолюбие было оскорблено заметным образом; он с досадою встал и пошел навстречу лошадям, возвращавшимся с поля.

Не переменяя шуточного тона, я сказал Эдыгу:

– Как же я могу переменить веру, и какой от этого будет прок? Я – пленник, не имею своей воли, бедняк, у которого нет ничего своего, кроме головы, да и то пока ее хотят оставить на плечах.

– Аслан-Коз и об этом подумала, – возразил Эдыг. – Когда ты захочешь переменить веру и жить с нами навсегда, абадзехи принудят кабардинцев дать тебе свободу, может быть, даже заплатят им выкуп. Шариат решит дело. Алим-Гирей любит свою душу, и для спасения ее отдаст тебе сестру без калыма. Мусульмане помогут вам: дадут землю, лошадей, скотину, оружие; вы оба молоды – ты станешь воевать с русскими, а она будет работать дома, – и Аллах благословит ваши труды. Выбирай!

– Аслан-Коз так добра! Все готов для нее сделать, кроме одного: не могу ни менять веры, ни драться против моих братьев, русских.

На другой день я встретился с Аслан-Коз. Вместо улыбки, которую я привык видеть, меня встретил сухой поклон, и она отошла в другую сторону. Мне не приходила в голову мысль, чтобы я мог возбудить в ней другое чувство кроме простого сострадания к пленному, оборванному бедняку, пожираемому тоской и скукой; я объяснил ее сухость простою вспышкой женского самолюбия, оскорбленного уже тем что, даже шутя, я позволил себе отказаться от счастья быть ее мужем. Следуя за нею глазами, я заметил только в первый раз, что она действительно очень хороша, стройна и особенно грациозна. Заслужив невольным образом ее негодование, чтобы не подвергнуться неприятному приему, я перестал заходить к тетке, у которой она жила; сама же Аслан-Коз, видимо, избегала встречи со мною.

Скоро после того Тамбиев объявил мне, что мое дело принимает решительный оборот, и, кажется, от меня самого будет зависеть или получить свободу, или пропадать в неволе. Для того чтобы подготовить меня к ожидаемому решению и сколько можно переломить мое упрямство, он употребил в дело опять оковы. Около недели я лежал в своей башне, не имея средств тронуться с постели, когда в одно утро Тамбиев привел ко мне двух богато одетых черкесов, за которыми следовал и хаджи Джансеид. Это были офицеры из покорных черкесов, Шан-Гирей Абат и Тлекес Тамбиев, племянник Аслан-бека, присланные Вельяминовым в моем присутствии начать с кабардинцами переговоры о моем освобождении. Сцена была подготовлена: им показали меня с намерением в оковах, полуодетого и изнуренного продолжительным страданием. В одном только ошиблись кабардинцы: посланные не нашли меня упавшим духом. В моем тесном помещении составили совет, на который, по требованию Аслан-бека, был также призван Даур-Алим-Гирей, без которого он не хотел принимать никакого решения. Парламентеры говорили именем Вельяминова, носившего в горах название «генерал-плижер» – красного генерала, по причине его рыжеватых волос. Черкесы его боялись и уважали; следственно, дело было нешуточное. В те времена Вельяминов был в глазах горцев первый русский воин после Ермолова. Про него пели песни, разносившие предание о нем в самые отдаленные места гор. Привожу самую популярную из них, характеризующую понятие, которое горцы составили себе о нем:

«Дети, не играйте шашкою, не обнажайте блестящей полосы, не накликайте беды на головы ваших отцов и матерей: генерал-плижер близок!

Близко или далеко, генерал-плижер знает все, видит все: глаз у него орлиный, полет его соколиный.

Было счастливое время: русские сидели в крепостях за толстыми стенами, а в широком поле гуляли черкесы; что было в поле, принадлежало им. Тяжко было русским, весело черкесам.

Откуда ни взялся генерал-плижер, и высыпали русские из крепостей; уши лошади вместо присошек, седельная лука вместо стены; захватили они поле, да и в горах не стало черкесам житья.

Дети, не играйте шашкою, не обнажайте блестящей полосы, не накликайте беды на головы ваших отцов и матерей: генерал-плижер близок.

Он все видит, все знает. Увидит шашку наголо, и будет беда. Как ворон на кровь, так он летит на блеск железа. Генерал-плижер налетит, как сокол, заклюет, как орел, как ворон напьется нашей крови».

Сперва Шан-Гирей Абат предложил кабардинцам от имени Вельяминова выдать меня добровольно, явиться с повинною головой к Государю, который должен был приехать на Кавказ, и от Его милости ожидать прощения за измену. В таком только случае Вельяминов обещал забвение прошедшего и свое личное предстательство в пользу их домогательств касательно захваченного у них имущества; но прежде всего он требовал от них безусловной покорности. Если же они станут упорствовать, продолжая требовать безумного выкупа, тогда он приказал им передать, что одна смерть может искупить их преступ-

ление и он, Вельяминов, не станет спать, пока не исполнит над ними приговора. Черкесы по опыту знали генерала-плижера за человека, не имевшего привычки грозить понапрасну; свое слово он держал всегда. Дело требовало настоятельного размышления. Оба кабардинца и Алим-Гирей вышли переговорить между собою, оставив у нас беглеца Брагунова, призванного ими, для того, чтобы слышать, что посланные черкесы станут говорить со мною по-русски. Совет продолжался более получаса. Наконец вернулись, и Тамбиев объявил, что они не принимают предложение генерала Вельяминова, решившись умереть у абадзехов, как следует добрым мусульманам, выкуп за меня остается тот самый, который они требовали сначала, то есть пять четвериков серебряной монеты. Насупив брови, он прибавил: что если в этот раз, через шесть недель, не будут присланы деньги, то мне срежут голову и отошлют ее к русским, убедившись, что я им живой не нужен.

– В таком случае не забудьте посолить голову: время жаркое, может испортиться, – сказал я кабардинцам, насмехаясь над их угрозою.

Они побледнели со злости, пробормотав: «Гяур бзаге!» (злой гяур). Чтоб объяснить, почему их так раздосадовало мое замечание, необходимо упомянуть об одном обстоятельстве. Одну из главных черкесских нужд составляет соль, без которой они совершенно бедствуют, не имея способа сохранять на зиму мясо скотины, убиваемой осенью, как делают все кочевые народы. Несмотря на военные обстоятельства, собственно для сближения с нами черкесов путем торговли, были учреждены на Кубани меновые дворы, на которых им отпускали соль за разный горский товар. В наказание за обман, жертвою которого я сделался, наложили запрещение на соль, проникавшую к ним только через армян, путем контрабанды, в самом малом количестве, так что она продавалась на вес серебра. Всю зиму абадзехи оставались без мясной пищи, сделавшейся доступною для одних богачей. Поэтому не удивительно, если они рассердились, когда я им напомнил насчет соли.

Получив от кабардинцев отрицательный ответ на предложение, сделанное им от имени генерала Вельяминова, Шан-Гирей объявил, что имеет ко мне личное поручение, которое просит позволения передать мне наедине, соглашаясь дать присягу, что оно клонится столько же в мою пользу, сколько в выгоду самих кабардинцев. Снова посоветовавшись между собою, они согласились оставить меня несколько минут без свидетелей с Шан-Гиреем и Тлекесом.

Тогда Абат отдал мне записку от Вельяминова следующего содержания: «Не имея возможности освободить вас другим способом, разрешаю вам самим назначить за себя выкуп и переговорить об этом деле с захватившими вас людьми через посланных мною, которым вы можете совершенно верить. Это может служить вам лучшим доказательством нашей готовности сделать все, что возможно, для вашего освобождения».

У Шан-Гирея находился наготове карандаш для ответа. На обороте той же записки я написал: «Выкуп считаю невозможным. Чем более будут предлагать, тем более станут требовать. Человек в цепях не может назначить, чего он стоит; поэтому отказываюсь от предоставленного мне права. Не хочу показаться малодушным в глазах вашего превосходительства. При совершенно потерянном здоровье я ничего не стою, потому что ни к чему более не годен. Не прошу выкупа, а прошу только наказания обманщикам, в пример другим».

Не знаю, право, каким путем содержание моего ответа сделалось гласным, и было напечатано в Times, пока я находился еще в плену.

Отдав Шан-Гирею записку, я сказал ему мое мнение касательно выкупа, и он не мог его опровергнуть ничем. На этом кончились переговоры. Тамбиев был зол, не снимал с меня оков, кормил как нельзя хуже, позволял себе, чего прежде не случалось, честить меня словом: «гяур бзаге», а мне оставалось только покоряться силе обстоятельств.

Не думаю, чтобы кабардинцы действительно решились срезать мне голову, но могли кончить чем-нибудь недобрым, если бы беспрестанно не оживлялась у них надежда добиться таки за меня хорошего выкупа. Покойный император из Геленджика отправил еще раз флигель-адъютанта, Хан-Гирея, сказать кабардинцам, что он повелел, наконец, меня выкупить за деньги, если они умерят свое требование. В ответ разбойники изъявили свое согласие «сделать уступку» и вместо пяти четвериков серебра взять столько золота, сколько во мне окажется весу. Подобная уступка отняла охоту далее вести с ними переговоры; попытки Хан-Гирея, как и все предыдущие старания возвратить мне свободу, остались без результата.

VII.

В сентябре кончился год моего плена, и я не видел ему конца; все обстоятельства, на которые я рассчитывал, прохо-

дили без пользы, уничтожая одну надежду за другою. Чем более обо мне хлопотали, тем более кабардинцы настаивали на своих требованиях, и даже увеличивали их, когда с нашей стороны показывали готовность согласиться. Между тем мое положение с каждым днем становилось нестерпимее; оковы, недостаток платья и белья, нечистота и голод изнуряли мое тело, а безнадежность убивала дух. С равнодушием к жизни мною овладела болезненная раздражительность, которую иногда я не мог победить. Мысль спастись бегством приходила мне на ум, но я видел в то же время совершенную невозможность исполнить ее при существующих обстоятельствах. Для бегства надо было выбрать удобное время и, чтобы иметь удачу, подготовить его хитростью и продолжительным притворством, а я этого еще не делал. Не желая изнурить меня окончательно, мне давали иногда днем свободу прогуливаться в ауле; тогда я ходил взад и вперед по лугу перед моим жильем, сворачивая, когда показывались люди. В одну из таких прогулок со мною случилось происшествие, от которого я действительно мог потерять голову, если бы судьба не определила иначе.

Это случилось в позднюю осень, не помню наверное, кажется, в конце октября. С раннего утра послышались пушечные выстрелы со стороны Сагуаши; они, казалось, с каждым часом становились чаще и ближе. Знакомый гул заставил вздрогнуть мое сердце, но не возбудил в нем ни малейшей надежды. Я знал, что русские войска не могут дойти до нашего аула, и если дойдут, то меня в нем не застанут. Абадзехи рассчитывали таким же образом, и, нисколько не заботясь обо мне, все ускакали на тревогу. Из окрестных селений весь народ также бежал к Сагуаше. На другой день абадзехи стали возвращаться с места сражения, и многие из них проходили мимо меня, не скрывая своей злобы... Генерал *** переправился на левую сторону Сагуаши, успел отбить немалое количество скота, но на обратном пути в лесу Джемтлокую наткнулся на сильное сборище абадзехов, пытавшихся отрезать ему дорогу. Русский отряд, разумеется, пробился; дело было жаркое, и абадзехи потеряли много убитых и раненых. Завидев меня, некоторые из возвращавшихся, между которыми были также раненые, бормотали бранные слова или грозили мне кулаками и шашками. Это начало меня раздражать, и я не мог отказать себе в удовольствии погрозить им в ответ моим кизиловым посохом. В это время прибежал кормившийся у Алим-Гирея бездомный абадзех, Хуцы, также расстрелявший

свои заряды в наших казаков; начал с жаром рассказывать о деле, пересчитывать побитых абадзехов и, разумеется, проклинать гяуров. Увидав меня, он не удержал своей злости, подбежал, задыхаясь, с поднятыми кулаками и начал осыпать меня бранью, называя между прочим, «ко-бзаге» (злая свинья). Этого было слишком много для моего терпения. Не имея привычки слышать от горцев ругательства, я с досадою поднял палку, угрожая разбить ему голову, если он еще раз повторит свою брань. Озадаченный Хуцы отошел в сторону; но дело этим не должно было кончиться. Полчаса спустя я заметил черкеса, который подъезжал к кунахской Алим-Гирея и в котором нетрудно было узнать, по одежде и по оружию, человека, живущего недалеко от Кубани. Подстрекаемый любопытством, я пошел в кунахскую и очень обрадовался, услыхав от него русское: «Здорово, брат!» Мгновенно вспыхнула во мне надежда, не привез ли он для меня какое-нибудь известие с линии. Позже я узнал, что он действительно был подослан приставом горских народов, майором Венеровским, осведомиться о том, как я живу. Приезжий черкес снимал оружие, пока я делал ему вопросы. Тамбиев и Алим-Гирей еще не возвратились, поэтому никто мне не мешал с ним говорить, а несколько посторонних абадзехов, бывших в кунахской, мало заботились о нас. В это мгновение Хуцы опять появился. Услыхав русский разговор, он уже не по-черкесски, а по-русски крикнул мне: «Ты чушка, и все русские чушка!»

Не помня себя от бешенства, я схватил лежавший на скамье пистолет черкеса и бросился на Хуцы. Хозяин пистолета уцепился за конец его и закрыл собою Хуцы. Усиливаясь вырвать пистолет из моих рук, он кричал, чтоб я опомнился, и клялся, что скорее даст себя убить, чем позволит мне застрелить глупого абадзеха, за которого народ разорвет меня на части. Прочие люди, находившиеся в кунахской, стояли как остолбенелые. Видя, что я не могу пересилить моего противника и рискую действительно, продолжая борьбу, убить его, хотя он ни в чем не виноват, я выпустил из рук пистолет со взведенным уже курком и вышел из кунахской. Брань и проклятия абадзехов посыпались вслед за мною. После того я сел в своей избе, нисколько не задумываясь о том, что случилось. Потеряв всякую надежду увидать себя на свободе, я сделался весьма равнодушным к своей судьбе. Хуже быть не могло. Вечером приехал Тамбиев. Грозно нахмурив брови, объявил он мне, что отныне я буду прикован день и ночь, да сверх того мне

скуют руки за дерзость, с какою я осмелился покуситься на жизнь мусульманина.

Дня три спустя поднялся в ауле небывалый шум. Беспрестанно незнакомые мне абадзехи подходили к дверям моей тюрьмы, пристально меня разглядывали и уходили не говоря ни слова. Я не понимал этой церемонии. Тамбиев не показывался. Мои караульные молча ложились спать и, проснувшись поутру, уходили, не говоря ни слова. Толстая служанка Хораз, приносившая мне кушанье, бросала на меня значительные взгляды, покачивала головою и отказывалась отвечать, когда я ее спрашивал, отчего в ауле собралось так много чужого народу. Наконец я узнал, в чем дело. У Алим-Гирея жила служанкою русская пленница, Мария, схваченная на линии лет восемь тому назад. Она хорошо говорила по-черкесски, совершенно обжилась в доме своего господина и не думала возвращаться на русскую сторону, где она все потеряла со смертью мужа, убитого в ее глазах во время неприятельского нападения. У нее был сын, абадзехский мальчик, составлявший ее единственную привязанность и последнюю надежду в жизни. Она не забыла, впрочем, родной стороны и заходила ко мне довольно часто поболтать по-русски. В этот раз она пришла ко мне с опечаленным видом, всхлипывая и вздыхая, и рассказала за тайну, что мое дело очень плохо. В народе разнеслось, что я поднял оружие на абадзеха в кунахской Алим-Гирея, служившей также мечетью для правоверных, потому что муэдзин каждодневно возглашал у дверей ее час намаза; какой-то мулла-фанатик нашел, что я осквернил этим поступком святое место и, кроме того, совершил неслыханное преступление, покусившись на жизнь мусульманина на земле мусульманской и в мусульманском доме, за что должен быть казнен без всякой пощады. Абадзехи, настроенные этим муллою, ловко воспользовавшимся злобою их против русских за последнее вторжение, толпами сбежались к Алим-Гирею требовать моей головы так настоятельно, что Тамбиев, жаждавший денег, а не крови моей, совершенно смутился. Признаюсь, и я узнал эту новость не с тем равнодушием, которое, из гордости, старался наружно сохранять. Найти неожиданную смерть на поле сражения, среди своих товарищей и друзей, не то, что ожидать быть зарезанным в оковах, в лесу, видя около себя одних разъяренных врагов.

Вслед за Марией пришла Аслан-Коз, которой я не видал несколько месяцев. Из ее первых слов я заметил, что она приняла мою шутку насчет сватовства с весьма серьезной стороны.

«Ты меня обидел, ты пренебрег мною, – сказала она, – но я не хочу помнить прошедшего и готова тебе помочь. Абадзехи очень рассержены: какой- то глупый мулла наговорил им Бог знает что; но я упрошу отца вступиться за тебя: он меня любит и сделает все, что можно для твоей защиты». В доме Алим-Гирея составился народный суд. Тамбиев защищал, разумеется, свои права, доказывал, что с моею потерею он утрачивает всякую надежду вознаградить себя за ущерб, понесенный им от русских, что абадзехи, требуя моей головы, хотят отнять у него, мусульманина, жизнь, лишая его всех способов прокормить себя на будущее время. Спорный вопрос состоял в том, кто имеет более права на мою голову: захватившие меня кабардинцы или абадзехи, у которых я посмел покуситься на жизнь мусульманина, хотя и не совершил преступления. Не соглашаясь между собою насчет этого вопроса, кабардинцы и абадзехи решились отдать все дело на суд Дагестан-эфендия. Алим-Гирей подал первый эту мысль и успел склонить абадзехов ей подчиниться, надеясь, что знакомый ему умный эфенди кончит дело, не доводя его до крайности. Так и случилось.

Эфенди, приглашенный в собрание, не стал противиться народному мнению, против которого трудно было спорить в этом случае. В чрезвычайно длинной речи он рассказал абадзехам, насколько мусульманин стоит выше гяура, что волос из бороды первого гораздо дороже головы последнего перед светлым ликом Аллаха, что каждая враждебная мысль против мусульманина, возникшая в сердце гяура, удваивает его мучения в вечности, а покушение на жизнь мусульманина полагает кару и в сем мире, что я поэтому заслужил наказания, требуемого абадзехами, и кабардинцы обязаны меня выдать им. Потом он перешел к правам кабардинцев, и с Кораном в руках доказал абадзехам, что собственность мусульманина есть дело святое, и что кабардинцы потеряли ее благодаря гяурам, но надеются выручить через меня; лишаясь же этого, Аллахом им дарованного способа, если я кончу жизнь, они утрачивают, так сказать, свое достояние, почему справедливость требует, чтобы абадзехи вознаградили их за потерю, собрав между собою и заплатив по крайней мере половину выкупной суммы, на которую русские уже соглашались, что составляет шесть тысяч рублей серебром. Справедливость этого решения была признана большинством собрания, обработанного Алим-Гиреем и его родственниками, так что абадзехам, желавшим моей головы, оставался один способ добыть ее, заплатив шесть тысяч цел-

ковых кабардинцам, что не лежало в их расчете. Поэтому все дело кончилось ничем. Совет обошелся не без шума; крик рассерженных, горячо споривших абадзехов долетал до меня. Мария прибегала, когда можно было, извещать меня о ходе совещаний; Аслан-Коз прокралась в мою избу и с радостным лицом сообщила решение, предложенное народу Дагестан-эфендием. Из оборота, данного им делу, можно было предсказать его исход: где было бедным абадзехам, несмотря на все их усилия, взять шесть тысяч целковых для удовлетворения чувства мщения, минутно раздраженного недавними потерями и речами фанатического муллы? В это время, положительно можно сказать, я прошел через все ощущения человека, ожидающего произнесения смертного приговора.

Слишком два месяца я оставался прикованным, не переступая за высокий порог моего жилья. В ноябре выпал глубокий снег и наступила зима, какой не могли припомнить самые старые люди. Мне она осталась памятною навсегда. Бревна, из которых была срублена моя изба, ссохлись, глиняная смазка между ними обвалилась, везде открылись широкие щели; камышовую крышу размыло дождем, и никто не думал ее починить; мой тюфяк сбился в одну плотную массу, тверже доски; одеяло, когда-то стеганое, обратилось в тонкое прозрачное лохмотье, сквозь которое, закрыв голову, я мог считать звезды на небе, чему, с своей стороны, способствовали скважины в крыше. Платье мое состояло из холщовых шаровар и кошачьей шубы, у которой недоставало рукавов, без рубашки и без обуви. Раз в сутки мне приносили в небольшой деревянной тарелке кукурузной похлебки, проса с кислою сывороткой или кусок вареного ржаного теста с маслом. Дурной урожай, угрожавший всеобщим голодом, принуждал абадзехов обходиться очень бережливо с съестными припасами; ранняя зима и неслыханный холод довершали бедствие. Алим-Гирей имел едва чем прокормить своих домашних, а Тамбиев просто голодал. Хораз, подавая мне еду, беспрестанно жаловалась, что Кочениссе, ее госпоже, нечего есть; дети Тамбиева прибегали следом за нею, садились возле меня, пока я ел, и с самым жалобным видом глядели в глаза, ожидая подачи; сам он уезжал и по целым неделям, благодаря черкесскому гостеприимству, кормился Бог весть у кого. Ночи я проводил, дрожа от холода, не смыкая глаз, занятый одним неблагодарным делом, раздуванием огня из сырых дров, не дававших огня, а только ослеплявших меня густым дымом, наполнявшим всю избу. Даже

когда мне удавалось, после неимоверных усилий, развести огонь, помощь была невелика; пока грудь моя жарилась, спина мерзла, а когда я садился к огню спиною, начинала мерзнуть грудь. Между тем трое караульных, ночевавших в избе, плотно прижавшись один к другому и закрывшись шубами и бурками, спали крепким сном, зная, что я прикован и поэтому не могу уйти. Цепь была для меня двойным мучением: она висела на мне как ледяная гиря или накаливалась от огня до того, что я не мог ее коснуться. Но сильнее всех этих невзгод я страдал от нечистоты и от насекомых, от которых нельзя было избавиться ни огнем, ни водою.

Дома без деревянных полов, недостаток белья, отсутствие теплых бань, существующих в изобилии у других восточных народов, и скудная, нездоровая пища порождают между простыми черкесами неслыханную нечистоту и самые отвратительные накожные болезни, наводившие на меня непреодолимый страх. Не зная, каким способом уберечь себя от заразы, я обмывал руки и тело, когда только мог, отваром из простого, самого едкого табаку. Кроме чесотки и всякого рода злокачественных нарывов, я не раз встречал настоящую проказу, видел детей, у которых шея и плечи были покрыты наростом, похожим на рыбью чешую, и однажды сделался принужденным свидетелем случая, оставившего в моей памяти самое неприятное впечатление. В одно утро я сидел в кунахской Алим-Гирея, очень довольный тем, что все разошлись; я мог по крайней мере думать на свободе. Легкий шорох у входа заставил меня поднять голову. В дверях показался незнакомый абадзех, тащивший за собою на длинной палке другого человека. Я взглянул на него и не поверил глазам, дрожь пробежала по всему телу: у этого человека на живых плечах качалась мертвая голова, один череп, без глаз, без носу, без ушей, ни следа кожи – все было съедено острою болезнью; и он в подобном состоянии еще двигался и кормился. Я вскочил и хотел уйти, но абадзехи, сбежавшиеся смотреть на него, остановили меня, говоря, что нечего его гнушаться, потому что он мусульманин. Несмотря на отвращение мое, я должен был выдержать его вид около часа, опасаясь, чтоб абадзехи, заметив, сколько я страдал, из злости не заставили бы его тронуть меня.

Черкесы высшего класса держат себя гораздо опрятнее, и я не замечал у них подобного ряда болезней. Женщины более мужчин заботятся о чистоте; за неимением бань они беспрестанно полощатся, сидя в больших, совершенно плоских, медных

тазах. К несчастью, у них очень часто недостает самых необходимых вещей для туалета. Осенью тридцать седьмого года обе жены Алим-Гирея, его дочери и маленькие сыновья совершенно обносились; даже у моей приятельницы Аслан-Коз число рубашек и шаровар быстро уменьшалось. Богатый стадами, лошадьми и оружием, Алим-Гирей все-таки не имел средств купить им холста и самых простых материй для ежедневного употребления. Турки, доставлявшие горцам разный товар, не меняли его иначе как на девушек и на мальчиков. Хан, моя знакомая, было продана еще весною; вырученный за нее товар израсходован или, по черкесскому обыкновению, роздан многочисленным Даурам и даже посторонним людям. Женам абадзехского дворянина, из рода Дауров, и его взрослым дочерям неприлично было оставаться без чистой одежды, столько же необходимой для защиты от холода, как и для сбережения их стыдливости; по этому случаю собрали семейный совет, много ели, долго рассуждали и дело решили, наконец, самым простым образом. Несколько молодых Дауров, вспомнив, что против какого-то абадзехского семейства имелась старинная канла, сделали поиск, захватили принадлежавшую к нему хорошенькую девочку, продали ее туркам и вырученным товаром одели своих собственных сестер и матерей. Помню, как Аслан-Коз сшила себе тогда тиковую рубашку розового цвета, и с самодовольствием прогуливалась в ней перед домом, а девушки из окрестных аулов прибегали любоваться ее нарядом и от удивления вскрикивали: «Бо дах! Бо дах!» (очень хорошо).

Этот легкий способ добывать домашние потребности не обошелся дешево Даурам. Абадзехская семья, у которой украли девочку, как ни была бессильна, принялась, однако, мстить всеми средствами. У Дауров начали пропадать скот и лошади, сено их поджигали, что всего разорительнее для народа, у которого главное, можно сказать, единственное богатство составляют стада. Не проходило ночи без тревоги. В нашем ауле, когда собаки начинали только лаять, все абадзехи выскакивали из домов, поднимали крик и наудачу стреляли в ту сторону, откуда слышался шорох. Наконец один из Дауров был найден убитым, кем именно не знали, но догадывались, что он сделался жертвою этой вражды. Посторонние дворянские фамилии вмешались, требуя суда для прекращения вражды, нарушавшей народное согласие. Долго спорили, судить ли дело по шариату, выгодному для народа, или по адату, благоприятному

для дворянства, пользующегося преимуществами перед простым народом. Эфендии, начинавшие уже тогда приобретать вес у абадзехов, которого они прежде не имели, настояли на шариате, но решили спор таким образом, что дворянам нечего было желать адата. Сосчитав потери и убытки, понесенные с обеих сторон, положив похищение девушки равняющимся убийству Даура, они нашли, что тяжущиеся друг другу ничего не должны, и им только остается помириться на вечные времена, внеся эфендиям обычную плату за суд и правду.

В продолжение этой несчастной зимы Тамбиев в двух только случаях дал мне возможность выйти за стены моего тоскливого жилья, соблюдая при этом общепринятые правила черкесской вежливости и не делая мне принуждения. Первый раз повел он меня на поминки по умершему брату Алим-Гирея, мужу Аслан-Козовой тетки; второй раз в соседний аул к раненому кабардинцу. Я давно понял Тамбиева и приучил его быть со мною вежливым даже в самые трудные и неприятные минуты. Его слабая струна была высокое значение, придаваемое им дворянскому достоинству вообще и в особенности своему собственному происхождению, которое он, по причине его древности, ставил выше княжеского звания, называя Тамбиевых первыми дворянами Кабарды, некогда действительно господствовавшей над всеми другими горскими народами. Он часто расспрашивал меня о моих предках, о правах и почестях, которыми у нас пользуются дворяне, и не хотел иметь никакого уважения к жалованным дворянам, говоря, что дворянина может создать один Бог. Еще когда мы жили в лесу около Курджипса, он пошел со мною однажды в табун ловить лошадей, поймал лошадь арканом и бросил мне небрежно конец, крикнув довольно грубо: «На, держи!» Не хватая конца, я ударил лошадь ногою, отчего она ускакала. Тамбиев взбесился. «Это что значит?» – крикнул он, покраснев от досады. «Такой обычай у русского дворянина, когда ему грубо приказывают делать то, к чему он не привык». Тамбиев на мгновение остановился, посмотрел на меня искоса, снова поймал лошадь и, подавая конец, сказал: «Прошу, подержи, пока я захвачу еще другую лошадь». Тогда я стал держать, не говоря ни слова. После того, когда Тамбиев начинал быть грубым, я его только спрашивал: «Ты дворянин или холоп?», что его тотчас заставляло переменять тон.

Поминки у абадзехов, совершаемые, противоположно абхазскому обычаю, без тризны, имеют чисто религиозный характер.

К ним собирают сколько можно более мулл и эфендиев, творят продолжительный намаз, угощают званых гостей, между которыми непременно должны находиться все соседние бедняки, и раздают милостыню, составляющую главный акт поминовения. Дагестан-эфенди, с которым мне было суждено беспрестанно сталкиваться, находился между гостями. По окончании пиршества, состоявшего из несметного количества мяса и баранины, орошаемых ковшами максимы, он снова принялся меня убеждать обратить мой ум к светлым истинам Корана. Уклончивость, которую он встретил опять в моих ответах, понудила его, покачав головою, пробормотать: «Шайтаном ослепленный гяур; неисправимый гяур!»

Приключение с Хуцы, из-за которого я так сильно пострадал на первых порах, было не только забыто, но, скажу лучше, доставило мне уважение абадзехов, смотревших на меня после этого совершенно другими глазами. Бедный, бездомный, оборванный, Хуцы доказал мне в этом случае, что в его полудикой груди, под лохмотьями, скрывались чувства, которыми может похвалиться не каждый образованный и даже высокорожденный человек. Когда первый гнев прошел, он понял, как дурно было с его стороны выводить из терпения нахальным ругательством безоружного пленника. Не зная, как и чем загладить свою вину, он придумал уйти на работу, заработать барана и предложить мне его в искупление сделанной обиды. Недели три после происшествия он явился ко мне со своим трудовым бараном, бросил его к моим ногам и с таким смиренным видом стал у меня просить прощения, краснея от стыда, что я охотно ему протянул руку и согласился принять его дар, только с тем условием, что мы его съедим вместе. Надо было видеть непритворную радость, с которою Хуцы встретил мою готовность забыть прошедшее.

У раненого кабардинца я имел случай на деле познакомиться с обыкновением, о котором прежде знал только по одним рассказам. Черкесы, полагая удалить смерть от тяжело раненного, не дают ему засыпать первое время. Для этого убирают его комнату всем, что имеют лучшего, а возле входа кладут железо от сохи, в которое каждый приходящий должен сделать несколько ударов. Знакомые собираются к нему толпою и шумно разговаривают, между тем как девушки, в праздничных нарядах, пляшут и поют в его избе. Этот невыносимый шум, действительно способный разбудить мертвого, продолжается несколько суток, днем и ночью, пока лекарь не

объявит, что больной находится вне опасности. Надо отдать справедливость искусству, с которым горские лекари вылечивают самые опасные раны. Ампутации у них не в употреблении, и мне не раз случалось видеть кости сращенные, после того как они были раздроблены картечью. Зато они совершенно не умеют пользовать внутренних болезней. От нечего делать я начал указывать абадзехам разные домашние средства против простуды, испорченного желудка, ревматизма и других вседневных болезней, научил их употреблять чай из ромашки, малины, земляники, разного рода припарки и наконец решился привить оспу детям Алим-Гирея. Эта последняя операция, к моему счастью, удалась и составила мне репутацию настоящего гакима, к которому стали приезжать за советом из дальних мест.

Между тем стужа увеличилась, а съестные припасы уменьшались. Голод был у дверей, и Тамбиев решился наконец искать спасения от него в грабеже. Он не славился особенным молодечеством, и со времени моего плена совершенно бросил ездить на воровство, принимая только участие в больших собраниях, от которых стыдно было отказаться. Все свои надежды он полагал на мой выкуп. Но тут нечего было делать; пустые желудки всех его домашних, не исключая меня, отказывались кормиться надеждами. Тамбиев присоединился к абрекам, нападавшим на линию, под предводительством Аслан-Гирея, и увлек даже за собою обыкновенно миролюбивого Алим-Гирея, имевшего привычку драться с русскими только в тех случаях, когда они нападали на абадзехов. Алим-Гирей был не трус, но человек добродушный и рассудительный в сравнении с другими горцами, избегавший, сколько можно, раздражать русских против себя и своего народа. При его миролюбивом взгляде, наши военные действия против горцев ему казались непонятными, и он часто со мною говорил об этом. Набеги черкесов на линию и русских за Кубань он находил в порядке вещей, но никак не хотел признавать нашего права строить укрепления и утверждаться на черкесской земле. Подобно ему рассуждали почти все горцы.

Однажды он просил меня, при большом числе абадзехских гостей, объяснить ему, на чем русские основывают право отнимать землю у черкесов, когда она им принадлежит с незапамятных времен, и Бог дал всем людям одинаковое право жить на свете и пользоваться воздухом, водою и землей. В ответ я рассказал ему сказку про баранов и волков, да спросил, почему они все не только защищают баранов, а даже гоняются

за волком в лес, составляющий Богом дарованное ему убежище. «Потому что от баранов мы имеем прок, а волк только вреден», – закричали все в один голос. «Вы произнесли ваш приговор, – сказал я тогда. – На линии и в Грузии наши бараны, вы волки: оставить вас в покое, так вы их всех поедите». – «А! в таком случае мы будем драться!» – «Вы совершенно правы: на то у волка зубы, чтоб он оборонялся; человеку же Бог дал рассудок, для того чтоб он не равнялся дикому зверю». Абадзехи не нашли возражения против моего доказательства. При этом случае один из них расспрашивал меня с большим любопытством о Сибири, куда ссылались горцы, схваченные на грабеже, и хотел непременно знать, очень ли там холодно, есть ли лес и как велико число тамошних генералов. Узнав, что Сибирь богата лесами, а генералов в ней не очень много, он заметил весьма серьезно: «Как мы ошибались насчет Сибири; да это прекрасная страна: лесу много, генералов мало!»

После одной из своих воровских поездок Тамбиев вернулся триумфально с добытою им где-то арбой кукурузы и проса, двумя коровами и пленным тохтамышским ногайцем. Последнего он поместил в моей избе, хуже чего не мог сделать, потому что соседство ногайца обратилось для меня в совершенное несчастье. Надеясь, что Абдул-Гани, как звали нового пленного, не откажется заплатить за себя несколько голов скотины и две или три арбы хлеба, в чем Тамбиев нуждался более всего, он его не сковывал, кормил и ласкал, называя своим братом мусульманином, не пленным, а гостем, и каждый день приходил торговаться с ним по целым часам насчет выкупа. Абдул-Гани не поддавался на своекорыстные ласкательства Тамбиева и отказывался положительно от выкупа, призывая Аллаха в свидетели своей бедности. По вечерам этот плечистый, бородатый, широколицый монголец выл и плакал навзрыд, как маленький ребенок, о том, что его держат в неволе. Другого дела он не знал. Караул усилили: каждую ночь ложились в нашей избе три человека, вооруженные кинжалами и пистолетами. Присутствие ногайца лишило меня, кроме того, моей единственной радости. Аслан-Коз, приходившая прежде в сопровождении маленькой сестры почти каждый день развлекать меня своею наивною болтовней, прекратила свои посещения.

Не прошло двух недель, и мой ногаец скрылся в один темный вечер, прежде чем пришли караульные. Тамбиев бросился его отыскивать и на другое же утро связанного привел назад. Абдул-Гани не рассчитал, что нельзя скрыть следа в глубоком

снегу. Заставив его присягнуть на Коране, что он более не убежит, Тамбиев поместил его опять возле меня. Каждый день он приходил его убеждать не губить своей мусульманской души, заплатить выкуп и идти после того безобидно в родной Тохтамыш. Все было напрасно. Абдул-Гани не жалел клятв, обещал, чего хотели, а через четырнадцать дней бежал вторично. В этот раз он пропадал трое суток, был пойман каким-то бедным абадзехом, которому он, обороняясь, переломил палкою руку, и приведен обратно весь избитый, с платьем разодранным в клочки. За переломленную руку Тамбиеву пришлось заплатить корову, что его не очень расположило в пользу Абдул-Гани. Видя, что его нельзя удержать присягою, и опасаясь, что я, пожалуй, последую его примеру, Тамбиев счел нужным нас разделить. Ногаец, в цепях, занял мое место, а меня перевели в соседний аул к старому абадзеху, взявшемуся караулить меня, пока Тамбиев будет находиться в отлучке. В это время Аслан-Гирей составлял из кабардинских абреков и из абадзехов большое сборище для продолжительного похода против русских. Не помню имени моего нового караульщика, знаю только, что он был очень добрый, ласковый старик, не показывавший мне ни малейшей злобы за то, что я гяур, да еще русский. Домик его стоял посреди непроходимого леса, был очень тепел и чист, так что я решительно стал у него поправляться от болезненного положения, овладевшего мною вследствие холода, нечистоты, голода и, могу сказать, противного соседства пленного ногайца.

За несколько дней до моего перемещения я получил в подарок от черноморского казачьего офицера табаку, немного чаю, сахару да две ситцевые рубашки. Не знаю, каким способом успел он заставить черкесов передать мне эти вещи, не завладев ими в свою пользу. На мне была рубашка, я курил хороший табак, пил чай и поил им моего хозяина, кормившего меня за то вдоволь отличным молоком, просом и копченою бараниной. Тут я имел также удовольствие не видеть никого чужого. Старик мой жил с одним двенадцатилетним мальчиком, взятым на пропитание где-то далеко от аула; кроме их, двух коров, большой собаки, нескольких кур да волков, регулярно осаждавших нас каждый вечер, не было вблизи живого существа. Днем абадзех ходил в лес за дровами и за сеном, куда я его охотно провожал. После ужина он садился с своим питомцем к пылающему огню и затягивал бесконечную песнь о славных делах предков. В этом заключалось его единственное

удовольствие. Жалею, что не собрал в то время всех слышанных мною преданий; я не имел средства их записывать и терял из памяти, будучи слишком озабочен другими делами. У черкесов часто встречаются странствующие барды, передающие песни, предания старины и импровизирующие стихи на новые происшествия. Усевшись в кунахской, посреди круга слушателей, они начинают свой рифмованный рассказ довольно медленно, мерно ударяя черенком ножа в какую-нибудь звонкую вещь; потом такт ускоряется, голос усиливается, и тихий речитатив переходит в громкую песнь, увлекающую черкесов до безумного восторга. Черкесы чрезвычайно впечатлительны и, подобно бедуинам, легко воспламеняются песнью и рассказом. Иногда эти барды носят с собою небольшую семиструнную арфу. Кроме нее я видел у черкесов еще три музыкальных инструмента, двухструнную балалайку, двухструнную скрипку да свирель. Люди, подобно Аслан-Гирею и Джансеиду, искавшие завладеть народным мнением и занять степень военных начальников в борьбе противу русских, имели обыкновение, задумав какое-нибудь важное предприятие, посылать по краю сперва этого рода импровизаторов, которые, прославляя их ум и дела, увлекали за ними народ. Певцам принадлежало, кажется, исключительное право рассказывать подвиги черкесских героев: сами они никогда не говорили о них. Черкесы, храбрые по природе, с детства привыкшие бороться с опасностью, в высшей степени пренебрегают самохвальством. Самые смелые джигиты (молодцы) отличаются у них необыкновенною скромностью: говорят тихо, никогда не хвалятся своими подвигами, готовы каждому уступить место и замолчать в споре; зато в деле они совершенно перерождаются и на действительное оскорбление отвечают оружием с быстротою мысли, без угрозы, без крику и брани. В плену я имел случай видеть, как легко черкесы хватаются за оружие. Перед кунахскою Алим-Гирея сидели на траве несколько абадзехов и о чем-то рассуждали. Один из них обвинял другого в краже коровы. Проходя мимо, я не заметил даже, что они спорят, сделав же несколько шагов, услышал за собою выстрел, обернулся и увидал, что один из них лежит в крови на земле, а другой, выхватив ружье из чехла, отступает к лесу, обороняясь от преследующих его товарищей раненого.

В конце февраля человек сто черкесов, между которыми был и Тамбиев, напали на двадцать донских казаков, ехавших с Чанлыка на Кубань, тринадцать из них убили, а семерых захватили в плен. Когда стали делить добычу, на долю Аслан-Бека достался молодой казак, которого он, по приезде в аул, поместил в одном доме с прикованным ногайцем. Русских пленных простого звания черкесы держат обыкновенно для работы, продают их далее в горы или, женив, обращают в потомственное рабство. Тамбиев, желавший сделать для себя работника из пленного казака, дозволял ему ходить свободно, очень ласкал его и хлопотал приискать для него невесту. Меня также вернули из лесу и поселили у одного абадзеха, занимавшегося пчеловодством. Дом его, окруженный ульями, стоял над оврагом, за которым лежало кладбище. Мой новый хозяин, страдая бессонницею, благодаря этому недугу стоил десяти караульных. Бессемейный, он проводил весь день возле пчел, а ночью редко засыпал и мне не давал спать. Только что-нибудь зашевелится на дворе, мой абадзех вскочит, растворит ставню и начинает натравливать своих злых собак на невидимого хищника. Крик его: «авлю! авлю!» беспрестанно ночью будил меня.

Это обстоятельство имело для меня особенную важность, так как я решился в течение ожидаемого лета непременно спастись бегством и принял на себя личину совершенной покорности судьбе, даже некоторой робости, с целью усыпить надзор черкесов. Я успел в этом до некоторой степени, и Тамбиев совершенно уверился, что я никак не решусь подвергнуться случайностям одиночного путешествия по горам и лесам, без оружия, без знания местности и переправ через реки, между которыми быстрая и глубокая Сагуаша составляла для меня непреодолимое препятствие, потому что я не умел плавать, о чем Тамбиев знал очень хорошо. По этой причине он считал мой побег весною, в полноводье, совершенно несбыточным, и в это время предоставлял мне полную свободу. А именно в это время, для меня, не умеющего плавать, переправа через реки была не только возможна, но даже довольно удобна. Он не думал, что я, русский, знаком со всеми подробностями горной природы и сумею воспользоваться ими наравне с черкесом, а я всеми силами поддерживал в нем это заблуждение. В полноводье все значительные горные реки уносят с собою пни и даже целые деревья, носящие на Кавказе название карчей; весьма нетрудно было дождаться на берегу подобной карчи и на ней переплыть через реку, не подвергаясь опасности потонуть. Имея в голове одну только мысль уйти, я обрадовался как ребенок, увидав нашего пленного казака. В нем я находил товарища для бегства, который должен был помочь мне в переправах через реки, так

как все донцы плавают отлично, а я бы заплатил ему за услугу, указывая дорогу, которой он не мог знать. В том, что я его уговорю бежать, не было никакого сомнения. Поэтому, не обнаруживая нисколько моих тайных мыслей, я продолжал вести самую беззаботную жизнь, заходил очень часто к Аслан-Коз, занимавшей один дом с своею овдовевшею теткой, а с казаком встречался редко и никогда не говорил без свидетелей, чтобы не подать подозрения.

Пишу не исповедь моих чувств и мыслей, а вспоминаю только действительные происшествия, факты, постепенно развивавшиеся в течение моего продолжительного плена; потому не касаюсь никаких обстоятельств, естественно порождающихся из ежедневной встречи нестарого мужчины с молодою, хорошенькою женщиной, где бы ни было: в щегольской гостиной или в черкесской хижине, – не касаюсь, не имея желания придавать нашим отношениям поэтическое значение. Припоминаю только доказательства чистого, безрасчетного участия, данные мне молодою черкесскою девушкой, так как они имели некоторое влияние на мое тогдашнее существование и выказывают с выгодной стороны характер и нравственные понятия лучшей половины народа, среди которого мне суждено было жить более двух лет. Про черкешенок можно сказать, что они вообще хороши, имеют замечательные способности, чрезвычайно страстны, но в то же время обладают необыкновенною силою воли. Аслан-Коз могла считаться между ними во всех отношениях счастливо одаренным существом. Чрезвычайно стройная, тонкая в талии, как бывают одни черкешенки, с нежными чертами лица, черными, несколько томными глазами и черными волосами, достававшими до колен, она везде была бы признана очень красивою женщиной. Притом она была добродушна и чрезвычайно понятлива. Никогда я не слыхал от нее бессмысленного вопроса или неуместного замечания на то, о чем я ей рассказывал. Неутолимое любопытство ее было исполнено наивности, но сквозь эту наивность всегда проглядывало много ума.

Говоря о женщине, нельзя миновать нескольких слов об ее наряде. Черкесский женский костюм я нахожу чрезвычайно живописным. Поверх широких, к низу суженных шаровар, без которых не найдешь женщины на Востоке, носится длинная белая рубашка, разрезанная на груди, с широкими рукавами и небольшим стоячим воротником. Талия стягивается широким поясом с серебряною пряжкой. Сверх рубашки надевается

яркого цвета шелковый бешмет, короче колена, с рукавами выше локтя, полуоткрытый на груди и украшенный продолговатыми серебряными застежками. Маленькие ножки затянуты в красные сафьянные чувяки, обшитые галуном. На голове круглая шапочка, обложенная серебряным галуном, повитая белою кисейною чалмой, с длинными концами, падающими за спину. Волосы распущены по плечам. Под рубашкою девушка носит так называемый пша-кафтан (девичий кафтан), который есть не что иное, как кожаный, холщовый или матерчатый корсет с шнуровкою спереди и двумя гибкими деревянными пластинками, сжимающими обе груди, так как у черкесов тонкая талия и неполная грудь составляют первые условия девичьей красоты. Этот пша-кафтан подал повод к басне о кожаном поясе, в который черкешенка зашивается будто бы с детства и который будто бы распарывается кинжалом, когда она выходит замуж. Черкесская девушка растет свободно, как я сам видел на Кучухуже и на других ее подругах, до двенадцати или четырнадцати лет, потом ей надевают пша-кафтан, переменяемый по мере того, как она растет и развивается. Помощью этого корсета ей дают неимоверно тонкую талию. При выходе замуж пша-кафтан, составляющий непременную принадлежность девушки, просто снимается, потому что женщины от него совершенно избавлены. Грузины, абазины и южные дагестанцы выдавали прежде двенадцатилетних девушек; черкесы, напротив того, если возможно, уберегают их от замужества лет до двадцати, отчего женщины у них сохраняются очень долго.

Аслан-Коз имела в то время девятнадцать лет; как каждая другая черкешенка этого возраста, она не могла не знать своего назначения, но сердцем была невинна, как ребенок. Я встречался с нею часто, потому что она доставляла мне развлечение, которого я нигде и ни в чем не находил, и потому что любил ее душевно за искреннюю преданность ко мне. Воспользоваться посредством обмана ее красотою и молодостью мне и в голову не приходило; да и сама она не допустила бы до этого. Черкешенки очень целомудренны и, несмотря на предоставленную им свободу, редко впадают в ошибку. С ранней молодости все их мечты и желания направлены к одной цели: выйти замуж за бесстрашного воина и чистыми попасть в его объятия. Аслан-Коз была в этом отношении так щекотлива, что малейшее увлечение с моей стороны ее тотчас приводило в робость, и она меня отталкивала, говоря: «Харам! Станешь моим мужем, все будет твое, а теперь ничего не позволю!...» Надо заметить, что слова: «харам» (не чисто, запрещено) и «халил» (благо, душе-

спасительно) играют важную роль в черкесском быту и приводятся при каждом случае.

Между тем она дозволяла себе кокетничать со мною самым наивным, иногда даже опасным образом, с видимою целью совершенно запутать меня в свои сети. По целым часам я сидел возле нее, пока она работала, и рассказывал ей, сколько умел по-черкесски, все, что у нас делается, как наши женщины воспитываются, живут и одеваются. Несмотря на мой ломаный язык, она все понимала легко и доказывала это своими умными вопросами. Очень ей нравилось, что мы, христиане, имеем только одну жену, ей верим и ее не запираем. Признавая это истинно правоверным правилом, она заметила, что в таком случае нашим женам нетрудно любить мужей и хранить им верность. Она принялась нешуточно учить меня черкесскому языку и магометанским молитвам; она умела, что у черкесов встречается не часто, читать и даже переводить Коран, а по-турецки писала не хуже другого эфенди. Случалось, сидя около меня, она принималась изгонять злого духа, затемнявшего мой разум, читая молитву и дуя мне на голову. Она не переставала объяснять мне согласно толкованию Корана, почему одна магометанская вера дает спасение, и в этом случае истощала все свое красноречие. Все религии от Бога, говорила она, все пророки от него и передавали людям только его заповеди. Сперва был послан Мусса (Моисей) просветить умы еврейского народа и подготовить своим законом приход Иссы (Иисуса), которого чистое, возвышенное учение, по причине его строгих правил, оказалось неудобоисполнимым для слабого человеческого рода, продолжавшего грешить через беспрестанное нарушение их. Тогда Аллах, в благости своей, послал Магомета смягчить закон Иссы, определив, что тот, кто не станет следовать этому последнему учению, не превышающему человеческих сил, будет осужден на веки веков. По этому поводу она уговаривала меня пожалеть свою душу, отказаться от житейских благ, ожидающих меня на русской стороне, и удостоиться вечных радостей, посвятив себя Корану и бедной жизни в горах. На мои шуточные возражения она чаще всего сердилась; а иногда выражала горькое удивление, каким образом я, кажется, во всех других отношениях разумный человек, мог быть ослеплен шайтаном до такой степени, что не понимал истины, ясной как день.

В начале мая время мне показалось удобным для исполнения давно задуманного предприятия. Казак согласился с первых слов идти куда прикажу. Дом, в котором он ночевал, находился

посреди аула, а я жил на краю его; шагов двести нас разделяло. Это обстоятельство не позволяло нам сойтись в ауле; надо было соединиться где-нибудь в лесу, поджидая один другого на месте свидания, что представляло первое немалое затруднение, так как ночью нетрудно было сбиться с дороги. Кладбище находилось на таком видном месте, что его, казалось, нельзя было миновать в самую темную ночь, а в то время светила полная луна; поэтому я назначил казаку пробраться к кладбищу около полуночи в условленную ночь и ждать меня до рассвета. Успев уйти прежде, я должен был в свою очередь его дожидаться. Но главное затруднение заключалось для нас в недостатке съестных припасов, без которых нельзя было надеяться дойти до линии, имея перед собою не менее шести или восьми суток пути; да, кроме того, я не имел обуви, а идти босому по лесу и по горам – на такой подвиг не решился бы ни один черкес. Где добыть припасов, где достать обувь? Вот вопросы, над которыми я напрасно ломал голову. От стола нельзя было спрятать ни крошки; у моего хозяина висело несколько сыров в трубе, и я не посовестился бы ими воспользоваться, да он имел дурную привычку считать их каждый вечер. Недосчитавшись сыров, он легко мог смекнуть, в чем дело, и помешать мне уйти. В моей беде я решился довериться Аслан-Коз и просить ее помочь мне, зная наверное, что она меня не выдаст, даже если мое бегство будет противно ее желанию. Признаюсь, я не знал сначала, как приступить к делу, несколько раз заговаривал о моем безнадежном положении, прекращал потом разговор и, наконец, видя, что должен объясниться или совершенно отказаться от моей мысли, собрался с духом сказать ей, что, потеряв надежду на выкуп, готов искать всеми путями своего освобождения и скорее погибнуть, чем оставаться еще в неволе. Аслан-Коз поняла меня с первых слов. На мгновение ее прекрасное лицо приняло выражение, какого я прежде никогда не видал; но она скоро оправилась и, взяв за руку, спросила, почему я прежде не пытался уйти, когда меня держала только сила, которой мужчина не должен бояться, а сердце всегда влекло на русскую сторону.

Я объяснил ей, что не сердце, а рассудок, привычка всей жизни внушают мне желание вернуться к своим, просил ее рассудить, могу ли я всегда оставаться бедным пленником, обязанным повиноваться каждому абадзеху, и указал на мою одежду, в которой мне даже совестно бывало показываться в ее глазах. Босой, в одних черкесских ноговицах, без исподнего

платья, сверху прикрытый ситцевою клетчатою рубашкой и шубою без рукавов, я даже у черкесов не мог считать себя довольно прилично одетым для женского общества.

– Я тебе указала средство выйти из этого положения, – возразила она, – ты его отвергнул; не моя вина. Ты сам мне говорил, что у вас для счастья необходимы деньги, хорошее платье, большой дом. Здесь любят тебя без этого, как ты есть; здесь лучше, оставайся у нас!

– Нельзя, Аслан-Коз.

– Нельзя? Так иди, куда зовет сердце. Я тебя не выдам и даже готова помочь, если только могу.

Она сняла со стены небольшое зеркало, взглянула в него и сказала, улыбнувшись:

– Когда вижу себя в этом стекле, мне кажется, что я не хуже других; абадзехи говорят даже, будто я очень хороша; многие из них готовы дорого заплатить за счастье иметь меня женою; а ты ничего не хочешь ни знать, ни видеть, будто дочь Даура так мало стоит. Настанет и для тебя минута напрасного сожаления; тогда ты горько вспомнишь обо мне. В день светопреставления, когда Азраил станет звать на суд Аллаха живых и мертвых, когда для мусульман откроются двери рая, а гяуры будут низвергнуты в ад, тогда, увидав меня издали, ты напрасно станешь взывать с отчаянием Аслан-Коз: помоги! помоги! и как бы я ни желала тебе помочь, будет уже поздно. Опомнись, я предлагаю теперь все счастье, которое способно дать в этом мире, и вечное блаженство для будущей жизни.

Аслан-Коз взяла с меня обещание не уходить, не сказав ей.

Через несколько дней я сообщил ей беду, в какой нахожусь насчет съестных припасов и обуви; она обещала переговорить об этом с Марьей, имевшею в своем ведении кладовую, одной из Алим-Гиреевых жен, и помочь чем можно. Марья испугалась сначала моего предприятия, сама пришла меня отговаривать, боялась дурных последствий для себя, если узнают, что она помогала, но благодаря настойчивым убеждениям со стороны Аслан-Коз обещала молчать и снабдить меня сыром и несколькими связками сушеных груш. Аслан-Коз дала мне пару своих собственных дорожных чувяк и два тайком испеченных хлеба. Эти съестные припасы, равно как и обувь, я был принужден отдать на сбережение казаку, потому что в моей избе я не мог ничего спрятать. Мой чуткий и недоверчивый абадзех беспрестанно перерывал мою постель и пересматривал в избе каждый уголок. Тамбиев и Алим-Гирей собирались уехать куда-то на несколько дней; лучше нельзя было найти времени для побега, потому что в их отсутствие некому было устроить деятельной погони за мною. В следующую ночь я назначил казаку, по условию, быть на кладбище.

Труднее всего было для меня выйти из избы, не разбудив абадзеха и не подняв собак. Долго перед тем я приучал их не тревожиться, когда выходил на мгновение за двери. В ожидании решительной минуты я лежал на постели одетый, прислушиваясь, заснул ли абадзех и что делается в ауле. Лай собак известил бы меня непременно о побеге казака, но все было тихо. Предпочитая спастись прежде него и дожидать его на кладбище, чтоб он, пожалуй, соскучившись ожидать или с испуга, если сделается тревога, не ушел без меня, я до полуночи еще вышел тихонько из избы, медленно подошел к плетню, обгораживавшему аул, перелез через него и спустился в овраг. В это время собаки очнулись и с громким лаем бросились за мною; хозяин принялся их травить, нисколько не думая, что они подняли тревогу из-за меня. Несмотря на скорость, с которою я бежал в гору, собаки догнали меня около опушки леса и, наверное, искусали бы самым страшным образом, если бы мне не пришло в голову бросить им мою кошачью шубу. Пока они над нею тешились, я успел продраться через непроницаемую чащу и чрез полчаса был на кладбище. Здесь только я почувствовал глубокие царапины по всему телу, вынесенные мною из лесной чащи; рубашка висела на плечах длинными лентами, нисколько их не закрывая. О шубе нечего было жалеть, потому что ее белая холщовая покрышка в лунную ночь была видна издалека, и я, может быть, позже решился бы ее бросить; а все-таки в майскую ночь не совсем ловко идти в горах, имея только шапку на голове да ноговицы от ноги до колена, а на теле ничего кроме тонкой изодранной тряпицы.

На кладбище я вздохнул свободно; самый трудный шаг был сделан; теперь все зависело от казака. Хотя мне известно было, что абадзехи очень не жалуют посещать кладбища в ночное время, но для пущей безопасности я влез на один из дубов, стоявших на холме, и с высоты его стал наблюдать за приближением моего товарища. Время казалось мне бесконечным. Я слышал все и почти мог различать, что делается в ауле. Вдруг собаки подняли страшный лай по прямому направлению к кладбищу, потом все стихло: значит, казаку удалось уйти. Я спустился на землю и с лихорадочным нетерпением стал ожидать его прихода; казалось, ему никак нельзя было миновать

видного места свидания, лежавшего прямо против его жилья, до которого мне надо было пробираться, напротив того, через густой лес, дальнею обходною дорогой. Долго ожидал я понапрасну: казак не являлся. Показалась заря, и с нею поднялась тревога в ауле; первого хватились казака, потом заметили, что и мое место пусто. Я различал голоса тамбиевых людей и знакомых абадзехов, отыскивавших наши следы. Казак, не понимаю, каким образом, не попал на кладбище; без него я мог еще обойтись, но потеря припасов и обуви меня крайне огорчала: мог ли я надеяться спастись без них? Тут не было, впрочем, времени жалеть и рассуждать. Не в аул же возвращаться или дать себя схватить на первом шагу, не испытав даже своих сил и счастья. Не задумываясь долго, я решился отдать себя на произвол судьбы, идти, пока не откажутся ноги, а после того – что Богу угодно. С кладбища я пошел через кукурузное поле, на котором нелегко было найти мои следы, и залег недалеко от аула в низком, но чистом кустарнике, зная, что меня станут скорее всего искать в большом лесу, по прямой дороге к Кубани. Целый день я пролежал в раздумье, как продолжать мое путешествие без обуви, без еды и без оружия, кроме палки, и в страхе, что меня найдут; целый день долетали до меня клики отыскивавшего меня народа; перед вечером все утихло, и я заснул как убитый. Ночной холод разбудил меня; луна поднялась уже высоко; не теряя времени, я пошел скорым шагом на северо-запад, отклоняясь от прямого пути на Кубань, где меня должны были ожидать черкесы.

В эту ночь я, наверное, прошел около двадцати верст, пользуясь в лесу битыми дорогами, оставляя их в открытых местах, где я предпочитал идти полем, и огибая попадавшиеся мне аулы. Второй день, как и все прочие дни, я пролежал в густом лесу, позволяя себе идти только ночью. Двое суток я подавался быстро вперед, не чувствуя усталости; на третьи – желудок начал напоминать, что он пуст; я стал его наполнять водою из ручья, из лужи, где попало. Скоро этот способ обманывать голод оказался недостаточным: листья, травы, коренья, которые я пытался есть, были горьки и производили только тошноту. Силы начали уменьшаться; несколько раз в ночь усталость принуждала меня отдыхать. Движение меня согревало, но в одной легкой и к тому же изодранной рубашке ночной холод и ветер заставляли меня дрожать, когда я останавливался. Тогда я садился спиною к дереву, прижав колени к подбородку, и в этом положении начинал дремать, пока мысль, что одно

спасение идти вперед, не поднимала меня снова на ноги. Однажды какой-то шум разбудил меня; я раскрыл полусонные глаза и увидал перед собою две светлые точки. В нескольких шагах стоял волк, разглядывавший меня с любопытством, а может быть, и с каким-нибудь другим сокровенным желанием. Чтоб избавиться от его неприятного соседства, я тихонько протянул руку к близко лежавшей палке и так неожиданно взмахнул ею и крикнул на волка, что он убежал от меня без оглядки.

Пятые сутки моего странствования были исполнены самых неприятных похождений и решили под конец мою участь. Голод стал меня мучить не на шутку; с самого выхода из аула я ничего не ел; перед глазами становилось иногда темно; голова кружилась. Ноги, истерзанные колючими травами и кустами, сильно болели и начинали уже пухнуть. В этом положении я набрел нечаянно на бараньи коши, что было гораздо хуже, чем иметь дело с волком. Стая огромных собак налетела на меня с неукротимым бешенством и непременно бы заела, если б это случилось не возле леса. Палка не могла меня оборонить, я ушел в лес и спасся на дерево. Собаки окружили его с громким лаем и держали меня в осаде, пока пастухи их не отозвали, сделав из предосторожности несколько выстрелов по лесу. Когда угомонились собаки и пастухи, я слез с дерева, обошел коши и выбрался на большую битую дорогу, проходившую через лес. На первой версте я встретил огромный завал, потом другой, третий. Радость вспыхнула во мне: я был на хорошей дороге и близко к Сагуаше; завалы были построены против русских войск. Откуда взялись силы, голод пропал, боль в ногах исчезла, я не шел, а бежал, едва чувствуя землю под ногами. Засеки продолжались так далеко в лес, что я не мог терять времени, отыскивая их обход, а перелезал, несмотря на высоту и количество взгроможденных дерев, раздиравших мне тело сухими сучьями. Между прочим, маленький сучок вонзился мне в пятку так глубоко, что я не имел способа от него избавиться; хромая, я пошел дальше. В эту ночь я крайне утомился.

Перед утром я вышел на поляну, испещренную, к моей несказанной радости, алыми ягодами спелой клубники, лег в траву и с жадностью начал утолять голод, разгоревшийся со всею силой при виде сочных ягод. Звуки свирели пастуха, гнавшего стадо прямо ко мне, принудили меня оторваться от спасительной клубники и уйти в лес, где я скоро заснул непробудным сном. Когда я проснулся, солнце стояло высоко

над моею головой и пекло меня знойным лучом; я сделал усилие подняться и с испугом заметил, что не могу от боли держаться на ногах, красных, опухших и горевших как в огне. Отчаяние овладело мною, но только на мгновение; я вспомнил, что в тридцать втором году гребенской казак, раненый в несчастном деле Волжинского, с перебитою ногой, прополз более тридцати верст и на четвертые сутки, еще живой, добрался до Терека; почему же я не мог сделать то же самое? Около меня темнел густой лес, повсюду царствовала глубокая тишина, нарушаемая только легким журчанием ручья. Кое-как я направился в его сторону, увидал, что он протекает в глубокой лощине, спустился в нее на коленах и сел на берегу с опущенными в воду ногами, надеясь унять воспаление с помощью холодной струи. Пока я сидел над ручьем, взвешивая средства и обстоятельства, от которых зависело мое спасение в настоящую минуту, и машинально следил за течением воды, два абадзеха подъехали ко мне совершенно незаметно. Шум ручья покрывал шаги лошадей на мягкой траве; только когда они меня окликнули, я узнал о соседстве их. Тут не было спасения: они стояли за мною в двух шагах, и один держал на всякий случай ружье наготове. Я не переменял моего положения; между нами завязался следующий разговор.

– Кто ты и что здесь делаешь?

– Кто я, ты видишь, и больше сказать я не намерен; что делаю, не трудно отгадать, – отдыхаю!

Абадзехи пытливо осматривали меня с ног до головы: недостаток обычной одежды, отсутствие всякого оружия, между тем ответы по-черкесски и спокойный вид, с которым я продолжал болтать ногами в воде, ставили их в явное недоумение. Они отъехали в сторону, поговорили и потом опять приблизились.

– Иди с нами! – сказал старший из них повелительным тоном.

– Этого-то я не сделаю, – был мой ответ.

– Как не сделаешь? – крикнул абадзех, показав на ружье.

– А вот почему не сделаю, – и я показал ноги.

Один взгляд на них убедил абадзеха в справедливой причине моего отказа.

– Ну, так поедешь, – сказал он, приказав своему товарищу слезть с лошади.

Когда я сел на нее, спешенный абадзех взял в руки повод, и мы углубились в лес. Я попался в руки совершенно чужим людям; они меня не знали, значит, не имели знакомства ни с Тамбиевым, ни с Алим-Гиреем, а может быть, находились с ними даже в неприязни; проявилась слабая надежда на возможность употребить встречу с ними в мою пользу, и я ухватился за нее. Заехав в лес, я остановил абадзехов, сказав, что имею сделать им важное открытие, если они знакомы с кемюргоевским князем, Шерлетуком. Айтека Кануков был уже тогда убит. На их утвердительный ответ я спросил, имеют ли они желание через него получить значительную сумму денег, например, три тысячи целковых.

Лица моих абадзехов прояснились.

– Как же это возможно?

– Очень легко, если вы не трусы. Никто не видал, как вы меня нашли в лесу (я назвал себя), провезите меня к себе тайком, спрячьте и отвезите два слова к Шерлетуку, который не замедлит кончить дело к нашему общему удовольствию. Он никогда вас не выдаст, кабардинцы ничего не узнают, а вы получите деньги, которых они напрасно добиваются другой год. Не теряйте случая, который Бог вам послал, сделаться богатыми людьми.

Моя мысль очень понравилась абадзехам: три тысячи целковых была для них такая сумма, о которой они никогда не смели помышлять; кабардинцев они в своей земле не очень боялись; чего же задумываться? Пеший абадзех надел мне свою шапку с башлыком, перекинул через плечо винтовку, накрыл буркою, а сам пошел в другую сторону, когда мы окольными дорогами поехали в аул, принадлежавший его господину. Все было отлично рассчитано, для того чтобы меня не узнали. Не встретив никого чужого, мы приехали в дом, где меня поместили в чистой комнатке, на мягкой постели, не допуская ко мне никого, кроме дочери хозяина, ухаживавшей за мною, как за своим братом. Узнав, что я пятеро суток ничего не ел, сварили курицу и похлебкою от нее кормили сначала по ложке, каждые четверть часа, и только на другой день дали попробовать мяса. Моя рубашка требовала радикальной починки; но прежде всего надо было промыть царапины на теле и полечить ноги, для чего их обложили холодными компрессами. После этого я написал Шерлетуку разведенным порохом на листке, вырванном из Корана, в каком положении я нахожусь, и просил его немедленно принять все меры к моему освобождению, поручившись подателю письма в трех тысячах целковых, если он меня проводит в Кемюргой. На Шерлетука, находившегося в нашей полной зависимости, можно было со-

вершенно надеяться, и я не имел сомнения в том, что он не упустит случая оказать правительству услугу, которой я от него требовал. В тот же вечер, когда пришел слуга, отдавший мне лошадь, хозяин поскакал в Кемюргой, обещая вернуться с ответом не позже суток. Можно себе вообразить, как крепко я спал обе ночи и в каких приятных мечтах провел целый день, ожидая ежеминутно увидать перед собою если не самого Шерлетука, то, по крайней мере, десяток кемюргоевских узденей, присланных проводить меня на Кубань. Дело было сбыточное, потому что от аула, в котором я находился, до Сагуаши не могло быть более пятнадцати верст, а за Сагуашею начиналась Кемюргоевская земля. На другое утро, перед самым рассветом, послышались шаги лошадей и людской говор. Сгорая нетерпением, я бросился навстречу предполагаемым освободителям; двери растворились, и я увидал перед собою слишком знакомые лица: абадзеха пчельника, Бечира и Магомета, Тамбиевых слуг. Полусонный, несколько мгновений я не хотел верить своим глазам, так неожиданно мне пришелся этот бессовестный обман. Совершенно я освоился с истиною только тогда, когда посланные в один голос объявили, что пора домой.

Позже мне объяснили ход этого происшествия. Абадзех, встретивший меня в лесу, действительно был готов ехать к Шерлетуку и воспользоваться за мое освобождение обещанными деньгами, да поехал сперва к родственникам посоветоваться о столь важном деле, а те напугали его мщением Аслан-Гирея, Джансеида и в особенности Алим-Гирея, покровителя Тамбиева, так что он вместо Кемюргоя отправился к Дауру дать знать, что я не пропал и нахожусь у него в доме.

Не стану говорить о чувствах, с которыми я возвращался на старое место моего плена; горечь их унималась одною твердою решимостью посредством того или другого способа добиться свободы, не ожидая чужой помощи и не жалея потерять жизнь. Отдыхая на берегу какого-то ручья, я заметил твердый шероховатый камень и на всякий случай спрятал его за пазуху. Люди Тамбиева привезли мне черкеску и толстые суконные шаровары; иначе я не нашел бы даже куда спрятать мою находку.

Тамбиев встретил меня без брани и оскорблений, когда я молча вошел в кунахскую Алим-Гирея и сел на приготовленную для меня подушку.

– Здорово, брат, – сказал он, язвительно улыбаясь, – давно твоя не видал, что пошел о дрова; ружье нет, сешхуа нет, там догуш (волк) али миша (медведь) твоя кушай. Здесь лучше, я любить твоя ровно брат!

– Спасибо за твою братскую любовь. Охотнее отдам свое тело волкам, чем стану здесь сидеть. Ужели ты думаешь, Аслан-бек, что обманутый вами, я в свою очередь не буду стараться обмануть вас? Теперь дело открытое: раз ушел, уйду и второй раз; стану уходить, пока не дойду, пропаду в дороге или вы же убьете меня! Соглашайся скорее на выкуп, который вам предлагали, иначе останешься без всего. Не надейся меня удержать; скоро я опять распрощусь с тобой.

Тамбиев рассмеялся.

– Хорошо, хорошо! Твоя не хочет садись, хочет пропал; моя твоя любить, будет твоя крепко держи железом.

Вечером того же дня я опять сидел прикованный в своей прежней избе; возле меня выл и рыдал по-прежнему Абдул-Гани, с цепью и огромным замком на шее.

Казак спасся. Миновав кладбище, не знаю почему, он бежал прямо в лес и, пользуясь моими припасами, в шесть дней дошел до Сагуаши. Поймав карчу, он разделся, привязал на нее платье, сам сел верхом и стал переправляться. Посредине реки из-под него унесло дерево с платьем. Он выплыл на другой берег и совершенно нагой путешествовал трое суток по Закубанской равнине. Кемюргоевские пастухи, встретившие его в этом виде, бежали сперва, но потом, убедившись, что они имеют перед собою человека, а не шайтана, прикрыли его кое-чем, накормили и привели на Кубань.

Аслан-Коз не замедлила навестить меня и, несмотря на присутствие ногайца, принялась лечить мои больные ноги, прикладывая к ним сметану, как одно из лучших противувоспалительных средств. В первую минуту она не знала, более ли ей радоваться моему возвращению или жалеть о постигшей меня горькой неудаче. Незнакомая с притворством, она умела меня утешать только взглядами, полными участия, да приговаривая: «Так было написано, покорись воле Аллаха!»

VIII.

Около двух недель я не мог порядочно стоять на ногах; чтобы совершенно поправиться, мне пришлось самому вырезать себе из пятки занозу. Эта операция, сделанная обыкновенным ножом, обошлась не без боли; да и рана долго потом

не заживала. Мои ноги еще не поправились, как я уже стал придумывать способы снова уйти. Оковы меня затрудняли менее всего; против них я берег два никому неведомые средства, камень да деревянный ключ к винтовому замку, которым их запирали, обмотав около бревна. Ключ я приготовил и зарыл в земле около моей постели еще зимой. Татарин не знал об этих вещах и не должен был знать о моем намерении, прежде чем я успею завладеть его безотчетным послушанием, поставив его в совершенную зависимость от себя. Опыт научил меня быть осторожным; если бы провиант и чувяки оставались в моих руках, казак не миновал бы места свидания, и я был бы на свободе. Без Абдул-Гани я не мог уйти, потому что он выдал бы меня; следственно, имея товарища по неволе, я должен был только стараться извлечь возможную пользу из его силы и зверской храбрости, не принесших ему никакого прока когда он уходил один, по причине его ненаходчивости и глупого упрямства. Не убеждениями, а только фактами мог я подчинить его своей воле. Для дальнего путешествия нужны были силы, которых не могла дать скудная пища, доставляемая нам от Тамбиева. Аслан-Коз, сестра ее Кучухуж и Мария, русская пленница, не упускали случая, когда за нами не наблюдали, приносить мне что-нибудь съестное. Я все делил с Абдул-Гани и этим способом проложил себе путь к его сердцу; он стал смотреть на меня нежными глазами и сделался преданным поклонником Аслан-Коз.

Тамбиев каждый день приходил на короткое время, большею частью перед сумерками, осмотреть, все ли исправно, поторговаться с Абдул-Гани о выкупе, спросить меня, все ли я имею намерение снова уйти, и получить постоянный ответ, что непременно уйду. Чем более я об этом говорил, тем менее он верил; что и понуждало меня каждый раз повторять ему одно и то же. После того мой товарищ начинал молиться, выть, плакать и весь вечер проводил в возгласах: «Я Аллах! я раби Аллах!», в чем я ему нисколько не мешал; наконец приходили трое караульных, спавшие каждую ночь в нашей избе перед самыми дверьми. Днем мы оставались не только одни в своем затворе, но даже из аула все черкесы уходили в поле на работу, уверенные в прочности наших оков; да, кроме того, в ауле было много женщин, готовых поднять тревогу, если бы мы вздумали освободиться. Прекрасная летняя погода, свежая зелень полей и лесов да свобода движения, которых мы были лишены в нашем затворе, казались нам благами выше всякой

цены, когда сквозь щель стен удавалось нам захватить глазом окраину леса или гор. Дверь нашей избы была так закрыта навесом, что солнце в нее не проникало, а тем менее можно было видеть, что делается на дворе. Абдул-Гани приходил в бешенство. Я дал его отчаянию дойти до высшей степени, и, когда он заговорил, что пора зарезаться, я заметил только, что, по моему мнению, умнее уйти домой, чем резаться. Абдул-Гани не хотел верить своим ушам, услыхав, что я думаю об уходе, несмотря на тяжелые оковы; упрекал меня даже, что я издеваюсь над его отчаянием, забывая свое собственное несчастье. Тогда я объявил ему, что знаю средство против оков и ручаюсь освободить его, если он даст святое обещание повиноваться мне как раб своему господину, пока мы не перейдем за Кубань. Там я обещал подарить ему еще сто целковых, если он будет умен и послушен. Абдул-Гани, не ожидавший подобного счастья, присягнул в чем я хотел. Тогда я вынул камень и начал свою работу.

Восемнадцать дней я тер звено цепи, пока успел его распилить. Работа производилась только днем, когда все уходили из аула и нас караулила одна черная собака, на которую Тамбиев полагал свои главные надежды, не зная, что между нами существует тайная дружба. Она служила уже не ему, а мне, давая знать ворчанием, когда кто-нибудь подходил. Кроме того, татарин смотрел в щели, пока я трудился над цепью, и по моему приказанию привычным воем и восклицаниями заглушал журчание камня о железо. Каждый вечер Тамбиев или один из караульных осматривали оковы, пропуская при огне каждое звено сквозь пальцы. Блеск стертого железа мог мне изменить: я нашел способ устранить это неудобство. Выпросив у Аслан-Коз немного воску, будто бы для больного зуба, я залепливал им, перемешав с железными опилками, так искусно стертое звено, что никто не успел открыть обмана. Когда кольцо, имевшее прежде толщину пальца, в одном месте сделалось тоньше листа бумаги, я принялся за замок. Абдул-Гани спилил тем же камнем заклепки, ножницами, добытыми мною для стрижки бороды, проткнул шпеньки, заменил их деревянными засовками и залепил потом воском с опилками.

Все шло так удачно, что я в этот раз нисколько не сомневался спастись. Вдвоем, помогая один другому, нам не трудно было дойти до Кубани. Татарин пользовался силою, которой я не имел, а я мог служить ему соображением, без которого два побега его были неудачны; одно обстоятельство только заста-

вляло меня иногда задумываться: подобно мне, он не умел плавать, между нами и Кубанью протекала глубокая Сагуаша. Между тем Аслан-бек, тайком от меня, строил на краю аула какой-то дом, долго я не мог узнать, для какой цели. Аслан-Коз и Марья, единственные существа в ауле, от которых я мог получать кое-какие известия, сообщили мне, что дом строится собственно для меня, с такими предосторожностями, что из него никак нельзя будет уйти. В чем состоит дело, они не могли объяснить, потому что Тамбиев, возымевший подозрение против этих двух женщин в тайном потворстве моим видам, не допускал их до постройки, и они знали о его новых затеях только по слухам, которых сами хорошо не понимали. Одно я видел ясно, что меня разлучат с татарином, и решился бежать как можно скорее, не ожидая даже пока Тамбиев куда-нибудь уедет. Когда все было подготовлено, я снова поверил свою тайну Аслан-Коз и просил мне помочь, чем можно. В этот раз она без противоречия одобрила мое намерение и помогла, чем была в силах, отдав мне пару своих собственных чувяк да небольшой бараний сыр, тайком захваченный ею у тетки. Более припасов она не могла добыть; по наущению Тамбиева, очень ее не любившего, нашлось в ауле много глаз, присматривавших за всем, что она делала и куда ходила. Ножа я не мог допроситься.

В ночь, назначенную для бегства, караульные, осмотрев оковы и не заметив никакой порчи, легли на своем обыкновенном месте; к нашему счастью, они спали крепко, весь день проработав в поле. Дверь, находившаяся два фута над землею, запиралась деревянным заклинованным запором. В избе царствовала непроницаемая темнота, потому что летом разводили огонь на очаге только для света, пока караульные убирались и оглядывали, все ли в порядке. Для того чтобы выбраться на свободу, мне приходилось действовать ощупью, беспрестанно опасаясь разбудить черкесов, допилить цепь, снять замок с татарина, через трех спящих пробраться к двери, вынуть клин и запор, растворить ее без скрипу, выпроводить сперва моего товарища и потом самому вылезть. Сказать нетрудно, да нелегко было сделать, тем более что я ничего не мог предоставить на волю неуклюжего и тупоумного Абдул-Гани. Едва ум его постиг действительную возможность избавиться от оков и выйти на свободу, как мстительная и кровожадная натура уже стала в нем разыгрываться. Первая мысль его была – украсть кинжал у одного из спящих рабов Тамбиева и убить всех троих, для того чтобы свободнее выйти, да сверх того сделать убыток нашему мучителю. Получив от меня решительный отказ, он долго не мог успокоиться, приговаривая: «А как бы хорошо это было: мы ушли, выкуп пропал, да и все холопы пропали, оставили бы мы Аслан-Беку хорошую память».

Одевшись, я сидел в темноте и прислушивался, сдерживая дыхание, спят ли караульщики как следует. Ногаец, толкая, давал мне знать, что пора, а я теми же знаками унимал его нетерпение; говорить было невозможно. Выждав, сколько было нужно, я принялся с осторожностью за дело, допилил цепь, снял замок и избавил себя и Абдул-Гани от оков без малейшего звука. Усадив его добрым толчком на своем месте, я приблизился к караульщикам; ощупав, как они лежат, поставил ноги между ними, уперся одною рукой в стену, а другою стал тихонько вынимать запор. В самом неловком положении, согнувшись дугою над спящими черкесами, я трудился не менее четверти часа, пока успел вынуть клин, вытащить длинный запор и растворить двери с размаху, для того чтоб они не скрипнули. Потом я вернулся за ногайцем, подвел его к спящим, уставил его ноги между ними своими собственными руками и высадил его за двери. Прежде еще я ему дал наставление идти между домами тихим шагом, для того чтобы не поднять собак; но едва Абдул-Гани вдохнул свободного воздуха, как все мои наставления были забыты. Он бросился очертя голову в совершенно другую сторону, чем следовало, а за ним увязалась, с лаем и визгом, целая стая собак. После этого одна скорость могла спасти нас от караульных. Не имея времени долго разбирать, я выскочил за двери, кажется, задел одного из них, выбранившего за то своего товарища, полагая, что тот его толкнул, и догнал Абдул-Гани у плетня, обгораживавшего аул, через который ему не давали перелезть собаки, кусавшие его за ноги. Моя приятельница, черная собака, не отставала от меня, прыгая и мотая хвостом; видя, что нас атакуют прочие собаки, она бросилась на них с оскаленными зубами и отогнала в одно мгновение. За плетнем я остановил татарина, заставив его обыкновенным шагом спуститься в овраг, пройти версты две по ложу ручья, для того чтобы скрыть наши следы, и потом повернуть не на север, а на запад, что нас совершенно удаляло от направления, по которому черкесы должны были гнаться за нами. Черная собака не уходила, сколько я ни гнал ее домой. Татарин уже поднял камень, чтоб убить ее: это была его господствующая мысль; но я остановил его руку и сам

решился палкою заставить ее уйти в аул, потому что через нее нас легко могли открыть. Пролежав в лесу часть ночи и весь день, я рассчитывал пропустить погоню вперед и идти потом на северо-запад к низовью Сагуаши, где, думал, нас не станут искать. Весь день мы опять слышали голоса отыскивавших нас черкесов, но очень далеко, и в той стороне, где я предполагал.

Вооружившись кольями из первого плетня, две ночи мы шли, не останавливаясь, по предположенному направлению, соблюдая только обыкновенные предосторожности, не идти все по одной дороге, обходить аулы и, где можно, для уничтожения следа пробираться по воде. В этот раз я был одет лучше прежнего, имел на себе суконные шаровары, черкеску и, по милости Аслан-Коз, совершенно новые чувяки. С таким дюжим товарищем, каков был Абдул-Гани, мне нечего было бояться лесу, оврагов или бродов чрез самые быстрые речки; где я один должен был бы искать дальнего обхода, там, благодаря его силе, мы пробивались напрямик. Наше странствование имело также свои трудные, неприятные и опасные минуты. Не раз Абдул-Гани, забыв свои обещания, отказывался слушать меня насчет выбора дороги или места для дневки, начинал спорить, упрямиться и приходил в повиновение только после угрозы, что я с ним расстанусь, и он потеряет обещанные сто целковых. На третьи сутки не стало сыру. В то же время подошва у моих чувяк обтерлась до того, что я сильно стал бояться за целость ног; в этом случае Абдул-Гани помог мне: каждый вечер он срывал зубами кору с молодого липняка и обвертывал мне ноги лыкою, что их совершенно предохраняло от камней и от колючки.

На четвертые сутки какой-то абадзех расположился пасти свою одинокую корову в двадцати шагах от чащи, в которую мы залегли дневать. С утра до позднего вечера он не покидал своего места; мы хорошо видели, как он плел корзину, отдыхал и с наслаждением ел имевшиеся у него в запасе куски просяной каши и отличной баранины. Для нас, голодных, соблазн был велик, но не только мы не смели надеяться заставить его поделиться с нами, а даже опасались шевельнуться, для того чтоб он нас не заметил. У него были ружье, пистолет и прочее оружие, а у нас только палки. Когда он растянулся отдыхать, Абдул-Гани не выдержал и опять стал меня упрашивать не упускать такого удобного случая завладеть оружием и запасами абадзеха, а его самого убить, чтобы не поднимал тревоги. Мне стоило много труда удержать его от этого дела,

потому что мысль убить и ограбить спящего человека, хотя бы он был абадзех, наш враг, наводила на меня омерзение; я имел намерение только в открытой обороне, если понадобится, не пожалеть жизни противника. В подобном случае ничего нельзя было сделать палкою против ружья, надо было подпустить неприятеля как можно ближе и стараться нечаянно, силою или ловкостью, завладеть его собственным оружием; напрасно я внушал Абдул-Гани это правило; последствия доказали, что он не мог расстаться с своими прежними бессмысленными привычками. После одного ночного перехода, отправившись в лес для дневки, мы набрели нечаянно на логовище медведя; встревоженный зверь заревел, а мы ответили ему таким страшным криком, что он со всех ног бросился от нас бежать. Докончив сыр, мы питались уже вторые сутки ржаными колосьями.

В шестую ночь мы вышли из сплошных лесов, покрывавших Абадзехскую землю; при лунном свете открылись нам широкие холмистые поля, ограниченные вдалеке темною полосой леса, обозначавшего течение Сагуаши. Сколько мы ни спешили пройти открытое пространство, а утренняя заря застигла нас еще на этом берегу. Река протекала двумя широкими рукавами с свойственною ей кипучею быстротой. Оба мы не умели плавать, что нас понудило условиться, пока можно касаться грунта, идти вместе, а в случае глубины спасаться отдельно, для того чтобы напрасно не топить один другого. Не зная местности, нам приходилось отыскивать брода по следам, которых напрасно искали наши глаза; нигде ни малейшей приметы человеческой жизни, будто никогда, никто не проникал в это пустынное место. Между тем нельзя было медлить ни мгновения, день занимался, и нас могли увидать издалека. Не мешкая, мы разделись, привязали платье за спину и, взявшись крепко под руку, вошли в воду. Первый рукав Сагуаши был не очень глубок; вода доходила только до груди, но зато неслась с такою быстротой, что неимоверных усилий стоило держаться на ногах, и палки, на которые мы упирались, рвало из рук. Только воловья сила татарина позволяла мне устоять против течения; с его помощью я благополучно перебрался на отмель, за которою лежало главное русло реки. Более плавное течение обнаруживало в нем глубину, которой мы не знали каким способом преодолеть. Но тут не было времени думать: за нами лежала неволя; впереди манила надежда близкой свободы; мы схватились под руку и вошли в реку.

На третьем шагу вода хлынула через голову. Помня условие, я вырвал руку и бросился плыть, как знал. Абдул-Гани нырнул на дно, потом показался на поверхности, схватил меня судорожно за руку и заставил невольно перевернуться на спину. К счастью, он не захлебнулся. Работая ногами и одною рукой, я делал сверхъестественные усилия, для того чтобы удержаться на воде. Абдул-Гани, уцепившись крепко за руку, тянул меня на дно; по временам, вынырнув, вскрикивал: «лай илай!» и погружался, не докончив молитвы. Между тем нас несло по течению, река становилась все шире, казалось, не было конца водяному пространству; машинально, без мысли, без надежды на спасение я бил ногами губительную струю. Вдруг меня чем-то ослепило, и в то же время я почувствовал сильный толчок в голову; инстинктивно бросив руку в ту сторону, откуда толкнуло, я ухватился за твердый предмет. Это был древесный сук. Абдул-Гани, вынырнувши, не упустил уцепиться за него обеими руками. Нас остановило большое дерево, колыхавшееся на поверхности воды; корнями оно держалось еще за матерую землю, что и позволило нам пробраться по нем на другой берег. Почувствовав землю под ногами, Абдул-Гани возгласил: «лай илай иль Аллах, Магомеден ашгеден рейсулула» и, не дожидаясь меня, не слушая крика: «тохта! тохта!» (погоди), бросился бежать с быстротою стрелы, пущенной из лука. Напрасно я гнался за ним, стараясь его остановить. Наконец силы ему изменили; он упал на землю почти без дыхания, и тогда только я его настиг. Два глубоких следа остались после нас на траве и на мокром песку; упреками в том, что он опять сделал глупость, их нельзя было изгладить; поэтому я позаботился только скорее увлечь его в невысокий, но чрезвычайно густой лес, находившийся недалеко от переправы. Выбрав скрытное место, мы развесили по деревьям наше мокрое платье для просушки; сами в том виде, как создала нас природа, остались ожидать солнца, долженствовавшего обогреть нас после продолжительного купания.

К несчастью, наше ожидание не сбылось. Вместо солнца небо покрылось тучами; с гор подул свежий ветер, и скоро полился проливной дождик, под которым мы просидели далеко за полдень, одним оттиранием приводя в движение остывавшую кровь. Наше положение было, право, незавидно, и не знаю, перенес ли бы я его в другую минуту, неподдерживаемый одушевлявшею меня тогда надеждою вырваться на свободу. С первым солнечным лучом, пригревшим наши окоченевшие тела, мы встрепенулись и, забыв недавно прошедшее мучение,

принялись думать, как бы вернее достигнуть конца нашего предприятия. Абдул-Гани не ожидал, что наше платье высохнет до вечера; идти в нем ночью по открытой степи, если оно будет еще сыро, он считал невозможным, говоря, что при самом небольшом ветре мы лишимся сил двигать ноги и непременно умрем. Его мысль была надеть платье и пойти лесом, пока не село солнце, для того чтобы скорее просушить его на себе. Я отказывался идти днем, но потом имел слабость согласиться на предложение Абдул-Гани, уверявшего меня, кроме того, что он знает место, где мы находимся, что на нем бывал не раз и поведет меня такими тропинками, на которых нет возможности встретить живого человека; а что касается до погони, так нас после шести дней, наверное, перестали искать или ищут в совершенно другой стороне. Последнее предположение татарина я сам считал весьма вероятным, потому что мы, заключая по местности, прошли к низовью Сагуаши, далеко западнее нашего прямого пути на Кубань, около которого черкесы должны были нас караулить. Это нас погубило.

Одевшись не без труда, мы пошли сушить на себе платье. Сначала Абдул-Гани вел меня по глухому лесу, позволявшему действительно идти днем, не опасаясь встречи; но потом он вышел на большой луг, окаймленный купами деревьев, окруженных частым кустарником, и покрытый высокою травой, по которой несколько битых тропинок вели к арбяной дороге. Это последнее обстоятельство чрезвычайно мне не понравилось; я остановился, чтобы сказать моему товарищу, что не намерен идти по месту, испещренному дорогами, а вернусь в лес и залягу в нем до ночи, предоставляя ему делать что хочет, если располагает иначе. В эту самую минуту я услыхал в кустах перед нами разговор, и до моего слуха долетел знакомый голос Алим-Гирея. Мы наткнулись на ожидавшую нас засаду; следы на берегу Сагуаши нам изменили. Не теряя присутствия духа, я понял, что нас еще не заметили, иначе не стали бы громко говорить, указал татарину на кусты, приложил палец к губам и скорым шагом пошел обратно по тропинке. Во ста шагах стоял высокий дуб, окруженный частым кустарником; я добрался до него, не оставляя следа, и лег в кусты. Абдул-Гани между тем как угорелый бросился бежать по траве совершенно в другую сторону, но, заметив, что я нашел хорошее место, чтоб укрыться, повернул ко мне и также лег в кустах. Между нами было шагов пятьдесят расстояния. Я видел глубокий след, оставленный им на траве, понимал, что он пропащий человек, но надеялся, что меня не найдут. Место, где я лежал, накрыв-

шись черкескою одного цвета с землею и с сухими листьями, было выбрано так удобно, что даже черкесской сметливости и черкесскому глазу трудно было меня увидать. Около часу лежал я в этом положении, колеблясь между страхом и надеждою; все зависело от того, поедут ли черкесы, наскучив караулить, в нашу сторону, и, когда по следу, чего нельзя было миновать, наедут на Абдул-Гани, скажет ли он, где я скрываюсь. Сбылось, чего я боялся. Перед захождением солнца я увидал Алим-Гирея с каким-то другим абадзехом, медленно следовавших вдоль роковой тропинки, по которой мы вышли из лесу. След Абдул-Гани не скрылся от их привычного глаза; они пристально его рассмотрели, вынули ружья из чехлов и, пустив лошадей рысью, наехали прямо на него. Мне все было видно. Ногаец, чувствуя себя открытым, вскочил и с поднятою палкою, как разъяренный зверь, бросился на абадзехов. Вид ружей, направленных ему в грудь, остановил порыв этой бешеной храбрости. В мгновение ока его бросили на землю и связали. Алим-Гирей стоял над ним, уперев в него дуло ружья.

– Где русский? Отвечай!

– Не знаю! Мы поссорились два дни тому назад и пошли разными дорогами.

– Врешь! На берегу Сагуаши два следа: поутру вы не разлучались еще. Говори или убью! – Алим-Гирей взвел курок.

Абдул-Гани молча указал на дерево, возле которого я залег.

Товарищ Алим-Гирея приблизился к нему, обошел кусты и вернулся к Абдул-Гани, не заметив меня в пяти шагах. Я смел еще надеяться, авось не найдут.

Снова принялись грозить ногайцу; он вторично указал в мою сторону. Абадзех опять принялся искать. Видя, что нет спасения, я дал ему подойти и поднялся мгновенно, помышляя с ним сцепиться. Мы были человек на человека. Алим-Гирей не мог остановить татарина, порывавшегося освободиться. Но мой противник сделал прыжок в сторону, выхватил шашку и, описывая ею круги над моею головой, кричал, чтоб я сдавался. Я шел к нему, имея правую руку за пазухою, по особому расчету: мне хотелось сдаться на условиях. Алим-Гирей, заметя, что я прячу руку, кричал своему товарищу остерегаться, потому что у меня должен быть нож.

По мере того как я подходил, абадзех отступал и, приноравливаясь ударить меня по голове, кричал, чтоб я сдавался и прежде всего бросил нож.

Алим-Гирей, видя, что происходит, крикнул абадзеху кончать дело, рубить меня только не по голове, а по ногам, чтоб я упал.

Перспектива открывалась для меня самая неутешительная, с прорубленными ногами остаться навсегда калекою: я остановился.

– Алим-Гирей, – закричал я, – хотите вы меня живого или мертвого?

– Сдайся добром и ты будешь жив.

– Хорошо, Алим-Гирей, я сдамся, только не простому человеку, а тебе, старому дворянину, Дауру, если ты мне дашь святое слово, что мне не будет сделано оскорбления и меня не станут вязать; иначе Бог рассудит! Клянись за себя и за Асланбека!

Алим-Гирей поклялся Кораном да могилою отца и матери.

Тогда я подошел к нему.

– Брось же ножик.

Я вынул из-за пазухи пустую руку: на, возьми его!

Алим-Гирей засмеялся.

– Обманул ты нас, да нечего делать: клятва дана, и я сдержу ее; тебе нечего бояться брани и оскорблений.

После того абадзехи посадили нас на лошадей, сами поместились на крупе и повезли вверх по Сагуаше, к сборному месту многочисленной шайки кабардинцев и абадзехов, помогавших Тамбиеву нас отыскивать. На высоком обрывистом берегу реки ожидали нас уже несколько человек, прочие съезжались один за другим. Тамбиев приехал поздно ночью. Ожидая его, слезли с лошадей и расположились на земле отдыхать, поместив меня посередине. После заката солнца поднялся холодный северный ветер, насквозь продувавший мое мокрое платье. Татарин был прав: с мокрым платьем на теле можно умереть в открытой степи. Я переносил много боли, много страданий, но подобного мучения я еще не испытывал. Рубашка жгла меня как огнем; при каждом порыве ветра будто тысячи раскаленных игл вонзались в мое измученное тело. Пытка дошла до такой степени, что я потерял силу ее переносить, но гордость не позволяла мне просить черкесов помочь беде; в первый раз я почувствовал желание положить навсегда конец моим страданиям. В пяти шагах, под крутым обрывом, шумела Сагуаша. Непреодолимая сила влекла меня в реку. Я оглянулся: черкесы, казалось, все заснули; легко было придвинуться к краю обрыва; но при первом движении, которое я сделал в ту сторону,

Алим-Гирей, спавший только одним глазом, быстро перегородил мне дорогу.

– Это что значит? Куда ты? в реку? Да чего ты боишься, когда я поклялся, что тебя не станут обижать?

Не получая ответа, он взглянул мне в лицо, ощупал платье и понял мои страдания. Он и еще другой абадзех накрыли меня своими бурками, после чего боль стала постепенно уменьшаться. Когда дали знать, что Тамбиев подъезжает, Алим-Гирей вышел к нему навстречу и долго с ним переговаривал; потом они подошли поздравить меня с тем, что я, по милости Аллаха, не погиб в лесу, и говорили, что я должен считать себя счастливым, опять попав в их власть. Не знаю, была ли это ирония, могу только сказать, что я других упреков не слыхал от Тамбиева. После этого сели на лошадей и повезли меня, накрытого двумя бурками, в ближайший аул, верст за десять, где я обогрелся возле огня, немного поел и заснул летаргическим сном. И в этот раз последние трое суток я положительно ничего не ел, но не чувствовал от этого заметного упадка сил, хотя еще в ночь перед переправою прошел верных двадцать верст, и даже готов был, если бы нас не схватили, идти, не останавливаясь, до Кубани. С первого ночлега до аула, в котором я жил у Тамбиева, мы дошли в два перехода. Мщение Тамбиева заключалось в том, что он меня заставил идти пешком всю дорогу, это новое мучение я перенес с привычным мне упрямым молчанием, столько же сердившим черкесов, сколько оно внушало им уважения к моему характеру. Не было страдания, которым бы они могли вынудить от меня жалобу или просьбу облегчить мое положение. Тамбиев часто повторял:

– Твоя сердит много: хорошо не скажи, худо не скажи, никогда проси не будет. – Это значило: ты очень сердит: за хорошее не благодаришь, за дурное не бранишься и ни о чем не хочешь просить.

Замечая усилие, с которым я передвигал усталые ноги, Аслан-Бек, платя упрямством за упрямство, как будто в извинение своего поступка со мною, слезал с лошади и шел сам возле меня, уверяя, что она крайне измучена, а другой лошади для себя или для меня он нигде не может добыть.

По возвращении в аул я занял с Абдулом-Гани прежнюю избу; его приковали исправленною цепью, а мне наложили оковы на ноги. Первая встретила меня с непритворною радостью черная Хакраз, забывшая побои, которыми я ее угостил в лесу, право, против моего желания и только для спасения ее от смерти. Абдул-Гани не пожалел бы ее. Потом Аслан-Коз, воспользовавшись минутой, когда не было караульных, показалась у дверей, улыбнулась мне и только успела шепнуть, что новый дом готов и меня переведут в него на другой день. Все приняло для меня свой прежний вид. Абдул-Гани прорыдал весь вечер, проклиная свою глупость, и с растерзанным видом просил простить его. Глубокое его отчаяние возбудило мою жалость. Зная, что нас разлучат и на первое время все караульные, которыми Тамбиев мог располагать, будут находиться у меня, а его оставят, может быть, одного, надеясь, что в одну или две ночи нельзя перепилить оков, я указал ему на приготовленное мною средство избавиться от них и снова бежать. По обыкновению ногаец не понимал ничего, и я долго должен был ему толковать употребление ключа и способ, как добраться до замка, висевшего за стеною, с наружной стороны избы, что было возможно только через крышу. Все сбылось, как я предполагал. В новом помещении три человека пришли меня караулить, несмотря на положительную невозможность уйти из него. Абдул-Гани остался один и в первую же ночь воспользовался ключом и моими советами. В этот раз он более не возвращался, десять дней бродил по лесам, от голода съел свои чувяки из телячьей кожи, а все-таки кончил тем, что дошел до родного Тохтамыша. Несмотря на свою силу и, казалось, неразрушимое здоровье, он не перенес безнаказанно страданий семимесячного плена и четырех попыток спастись. Скоро после прихода домой он начал чахнуть и умер через полгода.

Двум пленным Тамбиева, казаку да татарину, я указал путь к свободе; за то судьба, казалось, совершенно отрезала его для меня самого. Новый дом для меня, над которым Аслан-Бек трудился так долго, состоял из крепкого деревянного сруба с потолком, не существующим в обыкновенных черкесских постройках. В глубине избы находился другой сруб из толстых бревен, с бревенчатыми полом и потолком, снабженный низенькими дверьми: в нем-то я должен был поместиться. В этой темнице, имевшей большое сходство с ящиком увеличенного размера, царствовала совершенная мгла; окна не было; свет и воздух проходили только в незамазанные щели между бревнами стены, обращенной вовнутрь большой избы. В затворе я мог только лежать и сидеть; на ноги подняться было невозможно. Каждый день растворяли на несколько мгновений дверь, запертую двумя запорами и замком, ставили миску с молоком и кашею, кувшин воды и тотчас затворяли. Все платье,

кроме рубашки и холщовых шаровар, у меня отняли. Сверх оков на ногах меня еще приковали по-прежнему за шею; хотели мне сковать также руки, да во всей абадзехской земле не нашли потребных на то железћ. В таком положении я пролежал конец июля, август, сентябрь и октябрь без движения, без занятия, без света, почти без свежего воздуха, без надежды на освобождение. Что я перенес и передумал в это время известно одному Богу; рассказывать было бы слишком долго, к тому же, как было сказано, я не пишу исповеди, а вспоминаю одни факты. Не стану от них отклоняться.

На первых порах мною овладело глубокое уныние. Мое положение казалось до того нестерпимым, возможность освободиться столь невероятною, что не раз мне приходила мысль уморить себя голодом или разбить голову об стену. Одно время я перестал даже есть и около шести дней не трогал пищи, стоявшей возле меня; потом вдруг проявлялась опять надежда: вырабатывалась уверенность, что с твердою волею и терпением можно вырваться даже из этой темницы и спастись, несмотря на кабардинцев и на всех абадзехов, перегородивших дорогу на Кубань. Тогда я переходил к неумолкаемой, лихорадочно потрясавшей меня умственной деятельности, день и ночь придумывал средства к спасению; каждому предположению моему постоянно противился только недостаток какой-нибудь самой незначительной вещи, камня, кусочка железа, способных обратиться для меня в орудие свободы. Все мои мысли, все желания были обращены к одному предмету – добыть ножик, но как и где его добыть? Ножа мне не давали в руки не только для еды, но даже для крошения табаку, из которого я делал нечто похожее на пахитосы; я был принужден рвать его ногтями. Пока я мысленно ухищрялся, как бы преодолеть судьбу, дни тянулись для меня без конца. Для того чтобы не помешаться на одной мысли, занимаясь ею исключительно, я выучился жить двойною жизнью. Мне стоило только днем задумать о том, что желал видеть во сне, и ночью все задуманное представлялось так ясно, будто я испытывал его наяву. Этим способом я переносился куда хотел, видел кого желал и часто, просыпаясь, не умел в первые минуты отличить сна от действительности: так живы, так ощутительны были картины, являвшиеся во сне моему воображению.

Первое время один из слуг Тамбиева караулил меня днем: трое ночевали в большой избе; после того надзор стал ослабевать. Тамбиев часто уезжал; тогда люди его расходились во

все стороны, оставляя меня одного на целый день. Этим временем Аслан-Коз и пленница Мария заходили ко мне на несколько минут. Бревенчатая стена разделяла нас; я видел их, но они могли только слышать мой голос. В одном месте щель между двумя бревнами позволяла просунуть руку. Аслан-Коз начинала тем, что протягивала мне свою маленькую ручку, осведомлялась о здоровье и разговаривала, сколько могла без свидетелей, убегая, когда показывались люди. За нею подсматривали, и абадзехская молодежь часто дразнила ее участием, которое она принимала во мне. Раз ее таки подкараулили. Прежде чем она успела уйти, несколько молодых абадзехов вбежали в избу с криком: «Теперь видим, Аслан-Коз, где бываешь, когда тебя нет у сестер: у русского сидишь; пожалуй, чего доброго, хочешь быть его женою!»

Никогда я не видал ее рассерженною до такой степени. Она выпрямилась во весь рост, краска покрыла ее прекрасное лицо, брови нахмурились. «Да! Вы отгадали, я желаю быть его женою, а из вас никого знать не хочу: русский все знает, все понимает, с ним есть о чем поговорить; а вы что? – совершенные невежи». Они загородили было ей дорогу. Аслан-Коз сделала движение рукою и вышла. Абадзехи расступились, не вымолвив ни слова, так они были озадачены ее гордым видом. После этой сцены она не приходила ко мне более двух недель и присылала только Кучухуж узнавать о моем здоровье. Первый раз, когда она опять появилась, я попросил ее не отказать мне в ноже. Дело было щекотливое, она сама имела только один, многим известный ножик, с белым черенком; в случае передачи надо было объявить его потерянным или украденным; его могли увидать у меня; кроме того, она боялась, что я в минуту отчаяния обращу его против себя. Это последнее опасение побуждало ее дать мне решительный отказ, под предлогом, что она не видит для меня никакой пользы от ножа. В следующее свидание я повторил мою просьбу и спорил и просил до тех пор, пока она не согласилась дать мне нож, взяв прежде святое слово ни в каком случае не употреблять его на прекращение жизни. Этот ножик составлял для меня величайшую драгоценность; с помощью его я мог надеяться, щепка за щепкою, пробить отверстие в наружной стене и снова уйти, избавившись от оков другим средством, которым судьба меня наделила совершенно неожиданно.

Тамбиев не имел своей особой кунахской. Случалось, что иногда знакомые ему черкесы проводили несколько часов или

даже ночевали в большой избе, вмещавшей мой затвор. Они не могли ни видеть меня, ни сообщаться со мною; к тому же Тамбиев или слуги его в подобном случае не уходили ни на одно мгновение. Однажды совершенно незнакомый мне татарский эфенди, Абдалла, заехал в гости к Тамбиеву; к счастью моему, его не было дома. Мулле нельзя отказать в гостеприимстве. Коченисса, жена Тамбиева, пригласила его отдохнуть в моей избе. Пока готовили обед, Абдалла разговаривал со мною о моих путешествиях, о плене и весьма не оправдывал поступка кабардинцев, дошедшего до его слуха еще в Константинополе, откуда он возвращался на родину, после поклонения гробу Магомета. Услав, под разными предлогами, глазевших на него слуг Тамбиева, он сунул мне кусок английского напильника, прибавив: «Это посылает тебе Аллах против оков, в которых тебя держат черкесы не согласно с правилами открытой войны; они не избегнут наказания за обман, а ты, с упованием на провидение, испытай еще раз свое счастье».

Подобным напильником освободиться от оков было часовое дело: но проскоблить деревянную стену требовало труда целых месяцев. Не пугаясь времени, я принялся за работу в самом темном уголке моего затвора, каждый день вырезывал в толстом бревне, сколько успевал и сколько нужно было, чтобы сделать вертикальные нарезы, между которыми, вытолкнув бревно, я мог бы вылезть. Щепки я бросал под пол, для того чтобы их не заметили, выметая затвор. Занятый своим делом, я не замечал, как уходило время. Аслан-Коз развлекала меня, приходя поболтать, и каждый раз приносила мне яиц, хлеба или мяса, без чего моих сил не достало бы на долгую и трудную работу. От Тамбиева мне давали молока и проса, да и то в таком малом количестве, что едва можно было жить. Подошел октябрь. После жару, от которого я задыхался в тесном ящике, наступил холод, переменивший только мучение. Дрожа всем телом, я проводил бессонные ночи, напрасно отыскивая спасение под дырявым одеялом, служившим мне более двух лет. Рубашки моей не оставалось и следа; мне заменили ее нагольною шубой, брошенною казаком, когда он скрылся. Новая беда от этого. Крысы, поселившиеся под полом, каждую ночь приходили ее глодать, так что я не знал, как от них избавиться. Наконец черкесы решились мне дать палку для обороны от этих докучливых гостей. В это время случилось обстоятельство, о котором не могу умолчать. Тамбиева не было однажды дома. Рабы его вдруг засуетились, с озабоченным видом бросились

отворять двери моей темницы и звали выйти. Князь Аслан-Гирей стоял передо мною. Долго он глядел на меня злобными глазами, не говоря ни слова; я также смотрел на него не очень дружелюбно.

– Что, хорошо тебе? – спросил он под конец.

– Благодаря тебе отлично, – был мой ответ.

Аслан-Гирей дал знак рукою, чтобы меня опять заперли, и вышел. Он показался мне убит духом. Может быть, он уже предчувствовал, что дни его сосчитаны и что мой плен грозно отзовется на его голове.

В половине октября холод усилился; меня стала бить лихорадка. Это принудило Тамбиева приказать караульщикам выпускать меня днем в большую избу греться около огня. Цепь оставалась на мне, ее отпускали только длиннее. На ночь меня снова помещали в затвор, несмотря на стужу, от которой я сильно страдал. Тамбиев, делавший частые поездки, возвращался нередко вечернею порой, входил в избу, где я сидел около огня, снимал с себя оружие, вешал его на гвозде и уходил к жене или посмотреть на хозяйство. Надеясь на мои двойные оковы, люди провожали его, и случалось, полчаса и более я оставался совершенно один. Между тем лошадь его стояла перед домом, привязанная к столбу, находящемуся для этой цели перед каждою кунахской. Это обстоятельство подало мне мысль спастись другим способом. Надпилив цепи на шее и на ногах я намеревался выждать первого снегу, по которому мне легко было найти следы прямой дороги к Сагуаше, воспользоваться одним из подобных приездов Аслан-бека, когда все уйдут, сбросить оковы, взять его оружие, сесть на лошадь и ускакать. Тамбиев, опасаясь русских, имел всегда отличных лошадей; я знал, что во всей окрестности не найдется скакуна, способного догнать меня; а на случай несчастной встречи мне оставались ружье да шашка, для того чтобы не сдаться живым. Этот способ имел многое в свою пользу и, во всяком случае, должен был привести к какому-нибудь решительному концу. Приготовившись совершенно, я присматривался только к привычкам Аслан-бека и выжидал удобной минуты для исполнения моего предприятия.

Тем временем на Урупе разыгралась черкесская семейная драма, имевшая первым актом похищение знаменитой Гуашифуджи. Скоро после посещения, сделанного мне Аслан-Гиреем, Тамбиев вернулся раз домой, бледный, расстроенный, как я его никогда не видал. Он и его рабы беспрестанно перешепты-

вались и, бросая озлобленные взгляды на мой затвор, громко проклинали гяуров. Какое-то необыкновенное происшествие всех смутило: это было ясно, но в чем оно состояло, я не мог узнать. Караульщики не выходили ни на мгновение из избы и не допускали ко мне ни Марьи, ни Аслан-Коз. Лишенный этого последнего удовольствия, я провел дней восемь в самом тягостном одиночестве; лихорадка усилилась, уныние стало вкрадываться в душу, и я не знаю, на что готов был решиться, когда совершенная неожиданность меня вывела из моего грустного положения.

В одно утро Тамбиев вошел ко мне с Темболатом Карамурзиным, которого я менее всего ожидал видеть при настоящих обстоятельствах, посоветовал в этот раз не упрямиться насчет выкупа и оставил меня переговорить с ним наедине. Время было дорого; следовало скорее кончать, для того чтобы не возбудить чуткой недоверчивости Аслан-бека. В коротких словах Темболат мне рассказал, для чего он здесь, каким способом добился от Тамбиева позволения говорить со мною без свидетелей и какое устроил дело для того, чтобы меня освободить. В удаче своего предприятия он не сомневался, имея хаджи Джансеида на своей стороне.

Более года он без всякой пользы старался разными путями освободить меня. Хитрый Аслан-Гирей опрокидывал все его расчеты, находя выгодным длить мой плен до бесконечности в видах своей личной безопасности. Пока я нахожусь в руках у кабардинцев, думал он, русские власти, опасаясь за мою жизнь, не решатся его извести. Для этого он поддерживал в простоумном Тамбиеве надежду на несоразмерно большой выкуп и с удовольствием видел, когда тот отвергал все предложения нашего правительства. Теперь Аслан-Гирея не стало в живых: Адел-Гирей заплатил ему за кровь отца. Русские не купили его головы: она давно принадлежала канле, – а только ускорили ее падение. Неожиданная смерть Аслан-Гирея сильно подействовала на Тамбиева, он стал бояться за себя; в то же время быстрый упадок моих сил от изнурительной лихорадки окончательно смутил его. В случае моей смерти он терял все выгоды обмана, удерживая только на своих плечах полную тяжесть непримиримого мщения русских. Темболат, знавший через Джансеида все, что делается со мною и что около меня задумывают, поспешил воспользоваться этим обстоятельством; он уговорил Тамбиева согласиться на выкуп в двенадцать тысяч рублей серебром, обещая добыть деньги от моих родственников, если я не стану противиться, и говоря, что правительство совершенно отказалось от меня. Нуждаясь в моем согласии, он требовал, чтоб его допустили переговорить со мною.

Это была только наружная оболочка дела, скрывавшая сущность его. Темболат мало надеялся на выкуп. Пока я находился у Тамбиева, зависевшего от Алим-Гирея, и содержался посреди недоступных абадзехских лесов, нельзя было рассчитывать ни на что. Завтра они могли отказаться от того, на что сегодня соглашались; могли вместо двенадцати тысяч запросить вдвое и остановить дело. Темболат решился меня увезти, а после того, на произвол судьбы, судиться или драться с Тамбиевым. Для этого меня надо было только вырвать из его дома и перевести к хаджи Джансеиду, приятелю Темболата. Болезнь, угрожавшая погубить меня накануне выкупа, служила к тому хорошим поводом, потому что бедный Тамбиев не имел способов доставить мне удобства, необходимые для поддержания здоровья, и не мог найти их у своих друзей абадзехов. Один хаджи имел все, что было нужно для этого. Перспективою выкупа возбудили в Тамбиеве с новою силой все его прежние надежды и опасения, а я должен был довершить дело, притворившись гораздо более больным, чем был действительно. Чтобы облечь наше продолжительное свидание в благоприятный вид для интересов Тамбиева, я поручил Темболату открытое письмо, написанное по-русски и адресованное будто бы к родственникам в Россию; в письме том я самым жалким образом описывал мое положение и просил выкупить меня, не щадя денег. Я знал, что прежде, чем пропустить это письмо на русскую сторону, Тамбиев узнает его содержание. После того надо было действовать скоро и решительно, не дав черкесам времени одуматься. Темболат обещал не оставлять меня в доме Джансеида долее пяти или шести дней. Кунахская Джансеида мне была знакома. Появление перед нею Ханафа, питомца Карамурзина, бывшего с нами, когда мы ездили в Абхазию, должно было служить извещением, что в ночь меня освободят. Три удара в угол стены, около которой я буду спать, с определенными расстановками, назначались условным знаком, что за мною приехали.

Перед расставанием Темболат передал мне подробности Аслан-Гиреевой смерти. Это был один из тех кровавых эпизодов, которыми так богата черкесская жизнь. В начале я рассказал похищение Гуаши-фуджи, убийство отца Адел-Гирея и бегство самого Адел-Гирея в Чечню. Долго он скитался за Тереком;

память отца не давала ему покоя и все тянула его к тому, кто пролил родную кровь. Он перешел к абадзехам, у которых жил Аслан-Гирей. Скоро муж Гуаши-фуджи увидал, что здесь нет возможности отомстить своему врагу. Абадзехи дорожили Аслан-Гиреем, находившимся на высоте своей разбойничьей славы, наравне с кабардинскими абреками. Первым делом их было созвать шариат для примирения братьев, и Адел-Гирей должен был покориться его приговору, положившему на одни весы смерть отца и похищение невесты. Канла считалась прекращенною. Братья стали видеться и не раз ездили вместе грабить русских; но откровенности между ними не было: Адел-Гирей затаил чувство мщения в глубине сердца; годы проходили, а он ничего не забывал и ничего не прощал. В то время, когда Аслан-Гирей задумал передаться на сторону русских, Адел-Гирей выказал желание остаться у абадзехов.

Год спустя после того как Аслан-Гирей, обманув меня, отрезал себе все пути к примирению, Адел-Гирей счел необходимым покориться и от абадзехов выселился на Уруп, ближе к русской границе. Тут он взялся за трудное дело: предпринял уверить Аслан-Гирея в своей дружбе, для того чтобы его вернее подвести под удар, который ему давно готовил. На половине дороги за Кубань, куда Аслан-Гирей беспрестанно отправлялся, то с большими, то с малыми партиями, он имел случай часто видеть его у себя и помогал ему тайно во всех его замыслах, доставлял ему самые точные известия и не раз спасал его от русских, рискуя собственною безопасностью. Такие ясные доказательства откровенного примирения и нелицемерной дружбы усыпили под конец недоверчивость Аслан-Гирея; он сделался менее осторожным; а этого только и добивался Адел-Гирей. Хитрый и мстительный Аслан-Гирей забыл, что от врага можно отводить чужую руку, сберегая его для собственного мщения. В октябре тридцать восьмого года план Адел-Гирея созрел. К нему присоединились еще два человека, давшие клятву отомстить Аслан-Гирею за прежние обиды, это были: Мамат-Кирей Лоов, провожавший меня в ночь измены, и ногайский князь Канмирза, у которого он отогнал когда-то несколько сот лошадей. Давно уже они поджидали Аслан-Гирея в урупских лесах. К своему несчастью, он приготовил набег на русскую границу, прибыл с довольно значительною шайкой абреков к аулу своего брата и, узнав, что в окрестностях замечены казаки с линии, отправил товарищей в лес, а сам остался ночевать в ауле с одним только человеком. Известие о казаках было придумано единственно для того, чтоб удалить от него провожавших его абреков; зато Лоова и Канмирзу тотчас уведомили о том, что он попал в западню. После сытного и веселого ужина братья пожелали друг другу приятного сна. Адел-Гирей ушел к себе; Аслан-Гирей разделся, сам заклинoвал изнутри дверь кунахской и лег спать, положив под подушку, по своему обыкновению, два заряженные пистолета. Кроме товарища его в комнате оставался еще десятилетний ребенок, которому поручено было поддерживать ночью огонь. Мальчик был подучен тихонько отворить дверь, когда гости заснут. Ночью он впустил Адел-Гирея, Лоова и Канмирзу, имевших по два пистолета в руках. Спящего легко было убить, но это они считали недостаточным; им хотелось, чтоб он их видел и знал, за что его убивают. Его разбудили, дали ему опомниться и потом тремя пулями пробили грудь, крикнув: «За отца! За русского офицера! За табун!» Аслан-Гирей успел разрядить оба пистолета в напавших, не ранив никого, и испустил дух.

Между тем товарищ его сидел полуживой на своей постели, не зная, ожидает ли и его та же участь. Ему отдали оружие, подвели лошадь и приказали ехать в лес к абрекам, рассказать, как кончил Аслан-Гирей за свои грехи, и посоветовать благодарить Аллаха, что их самих отпускают живыми с Урупа; при этом показали двор, уставленный лошадьми абазин и ногайцев, приехавших с Лоовым и Канмирзою.

Через несколько дней голова Аслан-Гирея свидетельствовала в Прочном Окопе о том, что линия от него действительно избавлена; там я ее видел, освободившись из плена.

После отъезда Карамурзина я стал показывать вид, как было условлено, что моя болезнь усиливается с каждым днем. Ввиду ожидаемого выкупа Тамбиев принимал живое участие в моем положении, ухаживал за мною как нянька, допускал ко мне Аслан-Коз и Марью, предлагал мне мясо, кур, поил медовою водой, снял оковы, постлал тюфяк возле огня; но ничего не помогало: мне становилось все хуже, а пищи я совсем не касался. Тамбиев пришел в отчаяние. По целым часам он просиживал, не спуская с меня глаз, уверял в своей братской любви, уговаривал и утешал. Чтоб испытать, не притворяюсь ли я, около меня ставили мясо, молоко, мед, но я крепился и ничего не трогал. Отказываться от пищи было для меня не совсем легко, потому что, кроме лихорадки, я был в остальном здоров и чувствовал голод как здоровый; к тому же от усиленной диеты силы мои стали действительно упадать. Наконец Аслан-

бек, замечая мое изнеможение, решился на что-то, по-видимому, необыкновенное, оседлал лошадь и уехал скорою рысью. Дело шло на лад. Пользуясь его отъездом, Аслан-Коз пришла повидаться со мною и принесла мне несколько медовых лепешек, какие черкесы приготовляют для похода. Я сообщил ей, прося хранить это в тайне, что жду перемены в своем положении и, может быть, в скором времени распрощусь с нею навсегда. Я был убежден, что она не изменит мне и в этом случае, и потому не видел причины от нее скрываться. Давно ожидая, что меня увезут за Кубань или что я сам уйду, если не умру, она со своею обыкновенною скромностью, пожав мне руку, пожелала удачи и счастья на русской стороне, которого не могу найти в горах. Ножик я ей отдал, а лепешки мне очень пригодились; я грыз их тайком и несколько равнодушнее мог смотреть на кушанье, которым меня соблазняли.

На другой день, когда уже смеркалось, приехал Тамбиев, тотчас зашел ко мне, увидал нетронутое кушанье и сильно нахмурился. Я принял его охая. Не выговорив ни слова, он вышел делать разные домашние распоряжения. Ночью, когда в ауле все улеглись, он вышел ко мне, одетый и вооруженный, и только сказал: «Пойдем, ты болен, а я, по бедности своей, не имею чем тебя лечить; хаджи Джансеид богат и даст тебе, что нужно». Меня укутали в шубу, посадили на небольшую покойную лошадку и повезли на Вентухву. Ночь была темная и холодная, лошади спотыкались в лесу, ветер продувал меня. Тамбиев молчал упорно и только глядел, чтоб я не ушел, хотя это было совершенно невозможно на моей лошадке. Для пущей верности он с половины дороги повел ее в поводу. Перед рассветом мы приехали в аул на Вентухве. Усталый до изнеможения, я едва расслышал, как нежно прощался со мною Тамбиев, уверяя, что не может долго оставаться, но не замедлит скоро заехать узнать о моем здоровье, и заснул глубоким сном.

Проснувшись около полудня, я увидал себя в знакомой кунахской, на мягком, шелком крытом тюфяке, под бархатным одеялом. Яркий огонь пылал на очаге, разливая приятную теплоту. Хаджи Джансеид, в желтой чалме, как два года тому назад, стоял почтительно передо мною, готовый предупреждать каждое мое желание. Между тем временем и настоящею минутой, казалось, лежал один продолжительный, тяжелый сон. Недоставало только Мамат-Кирея. Умный хозяин мой молчал о деле, затеянном Карамурзиным, но обращением своим давал мне чувствовать, что час освобождения близок. Внимательная

заботливость его о моем здоровье и обо всем, что для меня могло быть приятно, доказывала, насколько он стоял по своим понятиям выше других горцев. Джансеид просиживал у меня долгие часы, много говорил о Кавказе и о черкесских делах, объяснял мне обстоятельства, которых я еще не знал. Он не сомневался, что русские завладеют наконец горами, но считал это время еще весьма отдаленным.

– Если бы черкесы были умнее, не ссорились бы между собою и не резали бы друг друга, – века бы прошли до вашего утверждения в горах, – говорил он мне. – Я сам не располагаю покоряться. В мои годы неприлично покинуть дело, за которое я дрался шестьдесят лет и пролил столько крови. Не могу более подчиняться чужой воле, новому закону и изучать иные порядки. Умру чем родился. Сын мой моложе, ему легче будет привыкать к новому порядку вещей, когда Аллаху будет угодно отдать горы во владение русским, если только не предпочтет он в этом случае лечь в могилу возле своего отца. Об Аслан-Гирее он вспоминал неохотно и только заметил, что неограниченное честолюбие влекло его к большим замыслам, на исполнение которых у него стало бы ума и смелости, если б он умел владеть своими бешеными страстями.

Семь дней прошло со времени моего перемещения к Джансеиду. Удобства, которыми я у него пользовался, сытный стол, а более всего надежда на Карамурзина чувствительно поправляли мои силы. Тамбиев не показывался, но раза два присылал своих людей узнавать о моем здоровье; ему отвечали, что мне, кажется, легче, но все еще заметна слабость. Хаджи заметил мне с улыбкою, что это лишь хитрость со стороны Тамбиева, и он легко мог бы сам приехать, находясь в соседстве, которого он не покинул со времени моего пребывания у него в доме.

– Не понимаю, чего он боится, – прибавил Джансеид, – я поручился клятвенно заплатить ему не менее трех тысяч целковых, если с тобою что-нибудь случится, даже если бы ты умер у меня. Впрочем, не беспокойся; близость его не опасна; люди и хитрее его да попадают впросак.

На восьмой день, рано поутру, хаджи пришел ко мне в полном вооружении повидаться перед отъездом, отправляясь, как он сказывал, в набег на русскую границу. Несмотря на свои лета, он был молодец, джигит, как говорят черкесы, в полном смысле слова.

– Уезжая, поручаю тебя моей хозяйке, требуй от нее чего хочешь. Не поминай лихом, если бы нам не пришлось более

видеться, – сказал он, пожимая мне руку. – У меня в доме ты был всегда гостем, пленным никогда; не осуди, а пойми старика. Ты молод и честолюбив, иначе ты не решился бы сунуть свою голову в пасть волку, заехав один в горы, к черкесам. Вспомни обо мне с меньшею горечью, когда позже, между своими, ты встретишь на пути жизни столько же расчета, хитрости и обмана, как у черкесов. Вся разница в том, что у нас чаще всего бьют пулею и кинжалом, а у вас убивают человека коварными словами да грязным пером. Ты, наверное, оценил бы меня иначе, встретившись со мною в открытом бою!

В тот же день, после обеда, я увидал Ханафа, медленно проходившего мимо кунахской; заметив меня, он кивнул головой: значит, час освобождения был близок. Нетерпение овладело мною. Два года я умел ожидать терпеливо решения своей судьбы, а тут, в последние минуты, не знал, как убить время, тянувшееся без конца. Обеда я едва коснулся и только менял трубку за трубкой; Джансеид не забыл приготовить для меня турецкого табаку, которого черкесы обыкновенно не имеют в запасе, отказывая себе в удовольствии курить на основании религиозного правила, воспрещающего человеку каждую привычку, могущую обратиться в страсть. Перед вечером мое беспокойство усилилось; самые тревожные мысли пробегали в уме: удастся ли Карамурзину? не помешает ли Тамбиев с своими абадзехскими друзьями? Эти два вопроса мучили меня нестерпимым образом. После ужина жена Джансеида позвала к себе молодого черкеса, ночевавшего в кунахской для караула. Через полчаса он вернулся, глаза его были мутны, язык лепетал невнятные слова; затворив двери на запор, он сел к огню, несколько времени кивал головой и потом растянулся во всю длину. Крепкая буза, которою его напоили, погрузила моего караульщика в непробудный сон. Между тем я лежал под одеялом, полуодетый, и считал минуты.

Скоро наступила совершенная тишина; изредка доходил до моего напряженного слуха легкий шорох, будто работали около частокола, загораживавшего дорогу к кунахской, в которой я лежал. Удар в стену, потом, через несколько секунд, два удара без расстановки заставили меня встрепенуться; точность условного знака не допускала сомнения; тут не могло быть обмана, приготовленного Тамбиевым. Я поднялся с постели, снял тихонько запор и вышел за дверь; темная ночь встретила меня, на небе ни одной звезды. На дворе, только что я показался, две сильные руки принялись срывать с меня старое платье, другие руки одевали меня сызнова и навешивали на меня оружие. Все делалось в глубоком молчании, с необычайною скоростью. Когда мои глаза привыкли к темноте, я рассмотрел, что около меня хлопочут Тембулат и его переводчик, кривой Али, а в некотором отдалении стоят три лошади и несколько конных людей. В противоположной стороне от калитки, ведущей в аул, по направлению к лесу, частокол был разобран. Накинув на меня бурку и башлык, меня подняли на лошадь, тихим шагом выехали за ограду и, поместив посередине партии, поскакали по полю во весь опор. Через несколько мгновений темный лес закрыл нас; мы неслись с быстротою ветра; я ничего не мог разобрать и только чувствовал, как ветви хлестали меня по лицу. В некотором расстоянии из чащи вынырнул черкес, свистнул особым образом, получил ответ от Карамурзина и поскакал впереди нас. Через несколько времени опять черкес на дороге, опять свист и опять та же скачка. Это были абадзехские проводники, которых Тембулат уговорил помочь ему в тайном предприятии, не говоря, в чем оно состоит. Таков обычай у черкесов: друзья оказывают услугу, требующую иногда крови, не спрашивая и не добиваясь даже отгадать, в чем она заключается.

С рассветом мы переправились через Сагуашу. Тут кончалась абадзехская земля. Проводники совершили свое дело, распростились с Карамурзиным и поворотили назад. Один из них, Мисирбей, вскрикнул от удивления, узнав меня под башлыком; впрочем, пожал мне руку и пожелал счастливого пути. За рекой мы уменьшили шаг, своротили к верховью Лабы и около полудня остановились отдыхать в глухом лесу, сделав более ста верст в течение двенадцати часов. Лошади чрезвычайно устали, и некоторые едва переставляли ноги; но хуже их уморился я, после двухгодовой непривычки ездить; меня везли, могу сказать, не сидя на седле, а лежа на шее моей лошади. Вечером Карамурзин пустился опять в дорогу, ночью остановился на несколько часов в бесленеевском Тазартуковом ауле, где мы порядочно поужинали, и направился потом на Чанлык. С первыми лучами восходящего солнца я увидал перед собою хорошо знакомое мне Вознесенское укрепление, получившее лучшую наружность с пристройкою бараков для донского казачьего полка. В версте от укрепления нас окликнули пикетные казаки и, узнав, что едет офицер из плена, дали знать коменданту. У ворот меня встретила вся рота, капитан впереди, с песнею и бубнами. Спрыгнув с лошади, я очутился в объятьях

крепко сжимавшего меня офицера, которого, признаюсь, я видел в первый раз. Левашова не было более в укреплении. Не помню, как я попал в комнату. Солдаты, целуя и обнимая, внесли меня на руках. Знаю только, что я очутился возле стола, на котором кипел огромный самовар; с одной стороны мне подставляли стакан горячего чаю, с другой – дымящуюся трубку. Я сам не был столько рад, сколько радовались моему освобождению добрые кавказские служаки. Глубоко тронутый их непритворным участием, я чувствовал вполне, что нахожусь теперь между своими.

Пробыв между ними несколько часов, я поехал с Тембулатом на Кубань, сопровождаемый взводом пехоты и сотнею донских казаков. Эта предосторожность была не излишня. Тамбиев, узнав о моем бегстве в то самое утро, собрал несколько десятков абадзехов, гнался за нами, потерял след, когда мы свернули к Лабе, потом подстерегал на Закубанской равнине и, раздосадованный неудачным поиском, бросился на Уруп, где отхватил шесть человек рабов и несколько десятков лошадей, принадлежавших Карамурзину, не переселившемуся на Кубань для того только, чтобы не отнять у себя возможности бывать у абадзехов и хлопотать о моем освобождении. Переправившись через Кубань против Убеженской станицы, я остановился в ней ночевать. Здесь незнакомый простой казак дал мне новое доказательство того горячего участия, которое прежние кавказцы принимали в судьбе своих сослуживцев. Получив от него приглашение к завтраку, для которого он уставил стол всем, что было лучшего в доме, я нашел в сборе у него станичных стариков, пришедших поздравить меня с освобождением из рук басурман. За Кубанью, на русской земле, я находился вне всякой опасности и мог сказать, что я действительно свободен. Плен мой длился ровно два года и два месяца: в ночь с девятого на десятое сентября тысяча восемьсот тридцать шестого года кабардинцы схватили меня на берегу Курджипса; ночью с девятого на десятое ноября тридцать восьмого года Тембулат Карамурзин увез меня от хаджи Джансеида.

Пробыв в Прочном Окопе очень короткое время, я поспешил в Ставрополь, где меня ожидала самая живая радость. После Вельяминова командовал войсками на линии П. Х.Граббе, под начальством которого я первый раз находился в огне, в тысяча восемьсот двадцать девятом году, при взятии турецкого города Рахова, – мой первый наставник в военном деле, любимый и уважаемый мною, сколько можно только любить и уважать человека его характера и военных достоинств. В его издавна мне знакомом семействе я нашел самый ласковый прием и нравственно мог отдохнуть, любуясь прекрасными детьми, которые позже, все без исключения, пошли по нем. Хорошая кровь и отцовский пример отозвались в них храбростью и благородством характера, поставившими их в число самых блистательных офицеров русской армии. Без генерала Граббе я был бы на Кавказе в положении совершенно осиротевшего человека. А. А. Вельяминова, полюбившего меня с чеченской экспедиции тридцать второго года, не было в живых. Барона Розена да коротко меня знавших Вольховского и барона Ховена потерял Кавказ. С ними уехали почти все мои старые товарищи; наша тифлисская военная семья, отличавшаяся согласием и совершенным отсутствием зависти и искательства, разлетелась во все стороны пространной России. Где было их отыскивать?

По получении известия о моем освобождении Государь потребовал меня в С.-Петербург «для отдыха и для личного объяснения». Я испросил позволение привезти с собою Карамурзина и отправился с ним в дальний путь, получив желаемое разрешение.

На дороге я столкнулся недалеко от г. Ельца с генералом Вольховским, ехавшим из Динабурга, где он командовал бригадой, в Полтавскую губернию, с намерением, испросив отставку, служить по выборам. Он узнал нас ночью по черкесским шапкам, остановился на станции, приказал подать чаю и просидел несколько часов, подробно расспрашивая обо всем. После нареканий, павших на него за беспорядки, будто бы им терпимые в кавказских войсках, в которых он, это я могу засвидетельствовать, совершенно был безвинен, все честолюбие этого умного, скромного и честного человека, всегда предпочитавшего истинную пользу наружному блеску, ограничивалось желанием получить в своей родной губернии место председателя гражданской палаты. Он достиг своего желания, но, к общему сожалению, умер несколько лет спустя. Мне он предсказал в ту ночь довольно верно ожидавшую меня служебную будущность и очень советовал не возвращаться более на Кавказ. Я не послушал его опытного совета и раскаялся потом, когда в сороковом году, без проку и без пользы потеряв здоровье в черноморской береговой экспедиции, должен был выехать из Крыма полуживой, и, наверное, умер бы без рацио-

нальной помощи, оказанной мне доктором Мейером, другом всех кавказских страдальцев.

В Москве я счел первою обязанностью явиться к умному и доброму Розену, накликавшему на себя невзгоду, право, только непомерною добротой и слишком большою снисходительностью к слабостям других. За Кавказом в мое время, кажется, не было более его прозорливого администратора. Старик, тронутый уже параличом, обрадовался, увидев меня живого, и со слезами на глазах просил извинить его в том, что не вполне доверился мне, отнюдь не полагая, что это поведет к таким последствиям. Охотно и душевно я простил ему, сохранив в памяти только добро, которым я от него пользовался.

Государь оценил свыше ожидания мои слабые заслуги и щедро наградил Карамурзина.

В заключение скажу два слова о судьбе изменивших мне кабардинцев.

Аслан-Гирей первый пал, как я уже рассказал, под ударами своего двоюродного брата, пока я находился еще в плену.

Тамбиев был убит два года спустя. Черкесы в числе сорока человек, и Тамбиев с ними, отправились грабить на линию; у нас знали о их намерении и приготовили западню. Недалеко от Кубани заяц перебежал им дорогу. Тридцать три человека, считая это дурным предзнаменованием, вернулись назад. Семеро, между ними и Тамбиев, пренебрегая подобным предрассудком, пошли вперед, на рассвете встретили линейных казаков, были окружены и все перебиты. Тамбиев, не славившийся прежде молодечеством, как сказывали свидетели дела, умер весело, и тем поправил свою репутацию.

Хаджи Джансеид жил долее. В тысяча восемьсот сорок третьем году он кончил жизнь на моих глазах. Я служил тогда опять на Кавказе. Небольшой отряд из двух пехотных батальонов, пятисот линейных казаков и четырех орудий провожал командующего войсками на линии В. О. Гурко, выехавшего осмотреть места на среднем Урупе. При обратном следовании мне было поручено с полсотнею мирных ногайских князей опередить отряд для занятия скалистой высоты, заслонявшей нашу дорогу. Неприятельская конница, не успевшая завладеть ею, стала собираться на противулежащей горе; пешие черкесы бежали к ней на подмогу. Наблюдая за неприятелем в зрительную трубу, я заметил на другой горе ездока в желтой чалме, смотревшего также в трубу на наши приближающиеся войска. Это был хаджи. Мои ногайцы не замедлили узнать его

и подняли крик: «Твой приятель! Твой приятель!» Он узнал меня в свою очередь, и мы обменялись поклонами. Через час подошли войска, мы спустились в долину, разделявшую обе горы, и дело началось. Триста конных черкесов, желтая чалма впереди, без выстрела, без крика налетели неожиданно на овраг, в котором залегли спешенные казаки, спустились в него и стали рубить их. Конницы не было под рукою, пехота находилась довольно далеко, одно казачье орудие стояло вблизи. Я приказал ему скакать навстречу черкесам. Храбрый сотник Бирюков, не дожидаясь прикрытия, стрелою подлетел с ним к неприятелю на триста шагов, снял с передка и двумя картечными выстрелами совершенно его смешал. Желтая чалма исчезла в дыму и более не показывалась; уходящие черкесы подняли чье-то тело. Тембулат, бывший возле меня, своим соколиным глазом увидал падение Джансеида.

– Хаджи убит! – крикнул он, побледнев как полотно. – Он был джигит, он был хороший человек! Помолимся за него.

И с этими словами он соскочил с лошади и стал творить молитву.

Вена.
1864 года.

Государь Николай Павлович

Из автобиографических рассказов бывшего Кавказского офицера

Зимою 1839 года вслед за освобождением моим из плена у черкесов с Кавказа я был призван в Петербург по именному повелению Государя – «для отдыха и для личного объяснения». Так значилось в министерском предписании, причем мне было разрешено представить Государю Императору и освободителя моего, ногайского князя Тембулата Карамурзина. Не все одинаково смотрели на мое дело, не ото всех удостоились мы с Карамурзиным равно поощрительного приветствия. Генерал Шуберт, исправлявший должность генерал-квартирмейстера, непосредственный начальник мой, встретил меня с равнодушною важностью; военный министр, тогда еще граф, в последствии князь Чернышев, и Клейнмихель, позже пожалованный в графы, удостоили выразить мне свое одобрение, не переступая однако за пределы форменной служебной внимательности. Зато в высшей степени благосклонно принял Государь Николай Павлович, да русское общество почтило меня многочисленными доказательствами своего неподдельного сочувствия. Государь высоко оценил мою последнюю кавказскую путевую попытку не столько по ее маловажному результату, сколько по готовности моей исполнить волю его, себя не жалея; впечатлительный же русский человек душою понял, что я при этом должен был перенести и, как водится, дал своему чувству широкий разгул, причем самые ощутительные доказательства общественного сочувствия преимущественно выпадали на долю Карамурзина. По всей справедливости иначе быть не следовало:

в моем деле он был лицом действующим, я же занимал второстепенное место чисто страдательного участника в нашем общем похождении. Кроме того и замечательно красивый вид этого статного закубанца с первого взгляда располагал в его пользу. Благодаря ловкому обращению, которое он на первых же порах себе усвоил, приноравливаясь к требованиям дотоле ему совершенно незнакомого общества, его стали возить из дома в дом, угощать чаем по русскому обычаю, кормить лакомствами и наделять разными подарками. В Москве еще, где я принужден был его поместить в гостинице, сам остановившись проездом в доме у близкого родственника, он однажды явился ко мне с золотыми часами на длинной цепочке, которых я прежде у него не видывал. На вопрос откуда взялись у него эти вещи, он только улыбнулся да коротко сказал:

– Подарили!

– Кто подарил?

– Русская госпожа; да еще какая молодая и красивая!

– Какая госпожа, как зовут, и где ты с нею познакомился?

– Как зовут: сказывали, да не запомнил; а познакомился в гостинице, на лестнице повстречались. Идет она, а возле идет господин в большой шубе, должно быть муж; посмотрела на меня, да и давай спрашивать, кто, откуда и зачем сюда приехал; а как узнала, по какому делу я в Москве, то они повели меня в свою комнату, приказали чаю подать и заставили меня рассказывать, как брат Федор (Федором я был для Карамурзина по сю, Гассаном по ту сторону Кубани), тебя в плену держали кабардинские абреки, и как мне удалось тебя похитить. После того господин мне подарил шелковый халат, а госпожа его подарила часы. Сказали: носи на память, что выручил русского офицера. Вот и все дело; тебе же приказали кланяться.

– Надо же мне съездить в гостиницу, узнать, кто они, и их поблагодарить.

– Не надо. Сегодня, когда я к тебе собирался, они сели в большущую карету – ровно дом на колесах – и уехали куда-то, забрав все свои сундуки.

– Как же ты не расспросил, куда они уезжают, и лучше не заметил имена?

– По нашему (тебе известно) закон не позволяет расспрашивать чужого человека о том, чего сам не сказывает; да и подумал – незачем. Так много расспрашивали, как и что было с тобою; кроме того, меня отдарили, значит должны быть твоей крови, знают тебя, да и ты их должен знать.

– Никогда в жизни с ними не встречался, а меня они знают только по моему делу. Слух о нем, как тебе самому известно, доходил до Истамбула; разошелся он и по Русской земле.

Карамурзин задумался. По нашему закону, заметил он, только за одного родного следует нести канлу, отвечать добром и кровью; а у вас разве так заведено, что всякого человека честят и жалуют не по родству и званию, а по его хорошим или дурным делам?

– Нельзя сказать, чтобы сплошь и рядом так судили и поступали; что бывает, сам испытал; а коли случится увидать противное, то припомни, что Аллах не всех людей создал с одинаковыми чувствами и понятиями.

Рассказанный случай не остался без повторения. Карамурзин из России повез на Кубань два сундука туго уложенных разными вещами, которые ему были подарены моими знакомыми, а нередко и совершенно мне неизвестными людьми.

В Петербург приехали мы недели за три до великого поста. Первые дни прошли для нас, т. е. для Карамурзнна и для меня, в обычных явлениях по начальству и в нескончаемых ожиданиях по приемным залам у высокопоставленных лиц, потому что на Руси испокон веков существовала благая привычка дорожить чем угодно, только не временем, ни терпением подначальственных лиц. Военный министр, как было уже сказано, встретил меня с подобающею официальною вежливостью, не упустил расспросить о здоровье и вслед затем задал мне вопрос, приготовил ли я подробное описание всех обстоятельств моего плена. Узнав, что я этого не сделал, он тут же меня предупредил, что до представления требуемой записки не буду принят Государем Императором. А почему у меня не оказалось в запасе означенного описания (хотя со времени моего возвращения из-за Кубани на русскую сторону прошло больше двух месяцев) объясняется следующими обстоятельствами.

В Ставрополь вернулся я в таком изнуренном виде, что на первых порах мне не было позволено и думать заняться каким-либо делом, требовавшим малейшего физического или умственного усилия. Оставалось мне только ожидать возобновления сил, предавшись полному бездействию, не лишенному однако развлечения, способного отвлекать мои мысли от недавно испытанных страданий. Не застав в живых моего искреннего доброжелателя, Алексея Александровича Вельяминова, я был, однако, вознагражден за эту горькую потерю присутствием в Ставрополе заменившего его в командовании войсками на линии

Павла Христофоровича Граббе, этого русского Баярда, моего первого наставника в военном деле, отвечавшего мне самым теплым расположением за мою глубокую привязанность к нему и ко всему его семейству. В доме у него и в тесном кружке по душе мне пришедших товарищей я находил отдых и развлечение, в которых так сильно нуждалась моя измученная натура. В городе меня принял на свою квартиру исполинского роста командир Моздокского казачьего полка, добрый и честный Баранчеев, у которого по вечерам собирался избранный кружок кавказских офицеров, в том числе памятью, умом и знанием богато наделенный доктор Мейер и помилованные, из Сибири на Кавказ переведенные, декабристы: Кривцов, Палицын, Лихачев, Черкасов, Одоевский, Нарышкин, Коновницын, все люди умные и отменно хорошие. Бывало, до поздней ночи просиживали мы, углубившись в политику и в философию?... Боже избави! Большинство посетителей нашего круга политикою набило себе такую оскомину, что от одного названия тошнить начинало; а практической философии бывших молодых мечтателей научили горе и несчастье, сделав их людьми, каков должен быть человек по слову Писания и по здравому смыслу. Поэтому нечего было много толковать о вещах, каждым из нас вдоволь испытанных и передуманных. Засим вправе спросить, чем же мы коротали долгие зимние вечера. Чем? Бостоном, копеечным бостоном, в который доигрывались до изнеможения сил, пока карты из рук не падали. Не считая не привлекавших нас трактирных удовольствий, бильярда и шумных попоек, в Ставрополе в те времена других развлечений с фонарем нельзя было отыскать.

Позже, когда позволило здоровье, я взялся за перо: составить описание местности и народа, с которыми случай имел так коротко познакомиться, написал особую записку об абреках и даже позволил себе сделать некоторые общие замечания насчет покорения горцев. Признаюсь, в то время мне в голову не приходило, что этот жгучий вопрос так благодушно разрешится наполовину истреблением и наполовину изгнанием с Кавказа всего горского населения. Тогда мне казалось еще возможным менее черствым способом подчинить горцев русской власти, и в таком более снисходительном смысле и была составлена моя записка. Павел Христофорович принял ее во внимание и повез в Петербург недели за две до моего отъезда с линии; а там она, не встретив одномыслия, безвозвратно канула в пучину архивного забвении. Касательно же моих личных похождений в

течение плена я ничего не написал, считая все происходившее со мною не довольно важным, чтобы стоило о нем говорить. По этой причине у меня и не оказалось требуемой записки.

Повинуясь приказанию военного министра, не мешкая принялся я за работу и накрепко заперся в своей комнате, понимая, что до формального представления мне отнюдь не следует Государю попасть на глаза. Жил я у родственника, молодого гвардейского офицера, на самом краю города в Измайловском полку и только в сумерки позволял себе ездить обедать у коротких знакомых или в какой-нибудь скромной гостинице. Работа к крайнему огорчению моему подвигалась очень медленно. Зима стояла холодная: на дворе трещал двадцатиградусный мороз, в комнате душил жаркий, угарный воздух, голова горела, мысли путались, слова ускользали из-под пера, дело не шло на лад; и то даже, что удавалось написать, выходило так сухо и несвязно, что теперь, сорок лет спустя, больно вспомнить для моего самолюбия. Карамурзин, подобно мне не связанный служебным этикетом, тем временем рыскал по городу в сопровождении приставленного к нему переводчика, посещал театр, публичные маскарады и на одном из них был замечен Государем, который, узнав, кто он, приказал его подозвать и так обласкал, как только покойный Николай Павлович умел обласкать человека, имевшего счастие ему угодить. Совершенно очарованный Государем, Карамурзин в избытке радости ночью вломился в мою спальню для передачи мне всех подробностей этой счастливой встречи. К моему собственному удовольствию, яснее всего я понял из его рассказа, что коли Государь Карамурзину очень полюбился, и сам Карамурзин не произвел на Государя дурного впечатления: иначе не стал бы он его публично ласкать и благодарить за его небольшую услугу.

Скоро после того мое невольное уединение было нарушено приездом мне совершенно незнакомого генерала Викторова, заведовавшего придворным экипажным заведением под главным начальством обер-шталмейстера князя В. В. Долгорукого, который в то же время занимал должность Петербургского губернского предводителя дворянства. Явился он ко мне от лица своего начальника звать меня на бал благородного собрания, вместе с моим освободителем, от какого приглашения, чувствительно поблагодарив за внимание, я, однако, положительно отказался, считая себя обязанным до формального представления избегать всякой случайной встречи не только с Государем, но и с прочими членами царской Фамилии. На другой день безногий Викторов снова приехал со вторичным приглашением, ручаясь именем князя Долгорукого, что по причине нездоровья Императрицы, заболевшей легкою простудой, и Государя в собрании не будет, чем уничтожаются все мои опасения; а я своим отказом отниму у князя только удовольствие познакомить со мной Петербургское дворянство, принимавшее до сего времени, да и теперь продолжающее принимать в моей судьбе самое живое участие. Близость великого поста действительно не позволяли рассчитывать на другой случай видеть в сборе все городское общество. Поставленный между двух огней попасть в очень неловкое положение или невежливостью отплатить за любезность сделанную мне предводителем дворянства, я согласился, наконец, явиться на бал с тем, однако, условием, ежели князь Долгорукий мне слово даст, что я не рискую встретить там Государя. В третий раз навестил меня Викторов, от имени Долгорукого подтвердил, что Государя не будет, и предложил в своей карете повезти в собрание меня и Карамурзина.

В назначенный вечер, усевшись с Викторовым в его придворный экипаж, отправились мы в собрание, помещавшееся ту зиму на Невском проспекте, в доме Энгельгарта. В сенях мигом освободили нас от тяжелых шуб; не останавливаясь, скорыми шагами прошел Викторов сквозь разряженную толпу, наполнявшую все комнаты, и ввел меня с Карамурзиным в большую залу, из которой слышалась бальная музыка. В первое мгновение, ослепленный ярким освещением и пестрившимися у меня на глазах блестящими мундирами и яркими женскими нарядами, я ничего не мог разглядеть, но осмотревшись, не замедлил увидать вдалеке Государя Николая Павловича, целою головою превышавшего всю остальную публику, и возле него в красном мундире князя Долгорукого. Очевидно, я попал впросак и был подведен не без намерения; а почему и для чего это было сделано, пока оставалось для меня темною загадкою, яко не успевшего еще вкусить плода от древа познания добра и зла, так пышно произрастающего на благодатной Петербургской почве. Позже мне раскрыли глаза и просветили мой ум; а в ту минуту, не углубляясь в долгие размышления, я только быстро двинулся к выходу, стараясь также увести всеми силами упиравшегося Карамурзина. Но время было уже потеряно. Долгорукий успел заметить появление в зале белой чалмы, которою была повита шапка Карамурзина (в знак дан-

ного им обета съездить в Мекку), доложил об этом, и Николай Павлович в нашу сторону направил свои шаги. При первом его движении я спрятался в толпу, которая пред ним раздвигалась, надеясь остаться незамеченным, но ошибся в своем расчете. Государь, сказав Карамурзину несколько приветливых слов, громко спросил: «Тебя вижу, а где же твой питомец?» и десятки голосов отозвались, называя мою фамилию: «Выходите! Выходите! Вас требует Государь Император».

Чувствуя всю неловкость моего положения, несмело выступил я из средины толпы; а Долгорукий, не покидавший Государя, по праву хозяина на дворянском бале меня подвел и назвал по фамилии. Тут же бывший военный министр в это время держался в стороне, делая вид, будто не замечает происходящего. Государь впился в меня глазами и, думаю, не мало был удивлен, увидав пред собой нерослого и с виду весьма слабосильного молодого офицера, вместо человека ростом и складом, соответствовавшего понятию о силе, потребной на перенесение испытанных мною трудов и лишений. За сим Государь протянул мне руку, сказал: «Спасибо за всю службу твою», спросил о здоровье и отошел. Несколько времени спустя Государь вернулся и стал меня расспрашивать о моих путешествиях и о ходе военных действий на Кавказе, в которых мне случилось принимать участие. Вопросы, задаваемые мне Государем, были так ясны и так положительны, что, придерживаясь одной чистой правды, я на все мог отвечать, не запинаясь, пока дело не коснулось до Черноморской береговой линии. Тут попался я в истинно-трудное положение: прямым противоречием сильно Государя разгневать или говорить против моего убеждения, отчего избавился одной просьбой дать мне позволение прежде, чем решусь отвечать, внимательно обдумать дело, поразившее меня своею новизной.

Заключалось это дело в следующем. Николай Павлович сильно интересовался береговою линией, т. е. рядом небольших укреплений, построенных на восточном берегу Черного моря, помощью которых рассчитывали всех горцев, живших между морем и Кубанью, заставить покориться русской власти. Само предположение было построено на весьма шатком основании и положительно уже грешило в исполнении. Береговые укрепления не давали другого проку кроме напрасной траты людей и денег, честолюбивые же расчеты некоторых влиятельных лиц того времени требовали непременной поддержки в уме Государя непоколебимой уверенности в существенную пользу

береговой линии и в удачный ход связанных с нею военных действий, причем они по возможности старались отвлекать его внимание от ее истинного положения. Учреждение береговой линии имело главным предметом поставить преграду сообщению черкесов с турками, снабжавшими их порохом и оружием, и в то же время прикрывалось человеколюбивым предлогом остановить торговлю детьми и женщинами, которыми черкесы преимущественно платили за товар, привозимый турецкими купцами. Надежным образом можно было достигнуть этой цели лишь со стороны моря, а не с берега, и нашим крейсерам, как было известно, весьма часто удавалось топить и захватывать турецкие суда, привозившие черкесам военные припасы и увозившие от них людской живой товар, относительно которого Николай Павлович и пожелал узнать результат моих наблюдений.

– Недавно, – сказал Государь, – я утвердил меру, обещающую, кажется мне, принести большую пользу. Предложили мне черкешенок, отбиваемых у турок нашими военными судами, вместо обычного размена на русских пленных выдавать замуж за солдат и этим путем породнить и сблизить черкесов с русскими. Мусульманский закон ведь строго запрещает проливать кровь родного человека: значит, кровопролитие прекратится, и черкесская вражда перейдет в родственное расположение к русскому человеку. А ты как об этом думаешь?

Думать мне было позволено как хочу, но высказать мои мысли при таком множестве слушателей, на лету ловивших каждое слово, оказывалось слишком неудобным. Слова Государя: «Я утвердил меру», в теории окончательно решали вопрос, в применении же сказанная мера встречала непреодолимое препятствие. Из виду было упущено одно небольшое обстоятельство, положительно уничтожавшее все ее благовидное значение. Горец, продавая женщину туркам, передавал ее мусульманам-единоверцам, у которых рабыней ли, законною ли женой, она занимала в гареме место, предназначенное ей Кораном; черкешенка же, отданная за русского, в глазах каждого правоверного осквернялась нечистым прикосновением гяура, переменив веру, совершала смертный грех и в обоих случаях умирала для своей семьи, покрыв ее неискупимым позором. Очевидно, что мера подобного рода способна была не уменьшить, а усилить народную вражду черкесов к русским. Государю это обстоятельство могло оставаться неизвестным; много о чем другом было ему заботиться, но сделавший предложение должен

был дело знать и не предлагать такой бессмыслицы. Не удивился я, однако, поняв, откуда взялась сия мудрая идея. В то время делами береговой линии всецело заправлял под начальством умного и образованного, но довольно беспечного генерала Р., некий ловкий делец, в последствии многосторонне подвизавшийся на поприще государственной службы и тогда уже слывший глубоким стратегом, находчивым администратором, борзым писакою, одним словом, чем угодно, только не рыцарем без страха и без упрека. Он и никто другой способен был пустить в ход подобную выдумку, полагать должно, с целью выказать свой глубокий политический ум и поотвлечь внимание от прорух, которыми отличалась его стряпня на восточном берегу Черного моря. И так мне оставалось только уклониться от прямого ответа в том убеждении, что мои слова дела не исправят, а что для блага Кавказа и нашего солдата, оно рушится само собой – во-первых, потому что слишком мало пленниц попадает в наши руки и, во-вторых, потому, что каждая черкешенка скорее готова будет броситься в воду, чем добровольно выйти за русского.

Не успел Государь удалиться, как для меня наступила нестерпимая мука: толпа, державшаяся в почтительном отдалении, пока он присутствовал, волною нахлынула со всех сторон, сжала меня и принялась закидывать вопросами – и какими еще вопросами. Ума и сил не доставало отвечать.

– Правда ли, что черкесы два года вас держали в дупле?

– Как глубок был колодезь, в который вас опускали на ночь?

– Были у вас подошвы надрезаны и засыпаны рубленным конским волосом или рану просто растравляли рассолом?

– Справедливо ли, что черкешенка из-за вас бросилась в реку? – вопрос из Пушкина Кавказского пленника.

– Как высоки горы, и нет ли возможности взорвать их порохом?

Пока все эти вопросы звучали в моих ушах, и я отбивался ответами на выдержку, одна мысль бродила в моей голове – как бы уйти подальше от любопытных и от множества неведомых мне старых и новых друзей, народившихся от царского пожатия руки. Медленно отступая, старался я приблизиться к выходу, а тем временем толпа не отставала, преследуя из залы в залу, из комнаты в комнату, причем по мере удаления из центра «света и тепла» и число вопрошателей помаленьку уменьшалось. Совсем меня упустить однако не хотели. В одной из последних комнат человек двадцать моих самых любознательных приятелей прижали меня безвыходно к какому-то угловому камину – и снова посыпались вопросы.

Некий господин весьма приличного вида со звездою на черном фраке упорнее других загораживавший мне дорогу спросил под конец умиленным голосом: позвольте полюбопытствовать – вы женаты?

– Видно, у него много дочерей, что наводит справку об этом, – отозвался чей-то голос.

Неожиданное замечание это вызвало общий хохот. Господин со звездой смутился, сделал быстрый поворот и, загребая руками, нырнул в глубину залы; я за ним в выходные двери, бегом с лестницы и уехал из собрания, забыв там Карамурзина, которого генералу Викторову пришлось отвезти на квартиру.

На другой день приехал мой безногий генерал с объяснением, каким образом, несмотря на данное мне обещание, в собрании я застал Государя, будто бы в последнюю минуту давшего знать о своем приезде, отчего князь Долгорукий не успел меня предупредить, и раз на бале по званию своему был обязан назвать меня Императору. Поневоле я был принужден показывать вид, будто верю словам Викторова и принимаю его объяснение за чистую монету: дело было сделано, и мне оставалось только, не угодив военному министру, в обер-шталмейстере не нажить себе нового недоброжелателя.

Немного дней спустя я отвез к военному министру составленную мною записку и при этом случае рассказал, каким образом против моей воли и желания мне довелось преждевременно попасть Государю на глаза. В ответ на мое объяснено Чернышев, не показывая и тени неудовольствия, только заметил, что все это ничего не значит, что дело не может ограничиться случайною встречею с Государем, и я должен ожидать, когда высочайше будет повелено формально меня представить.

Проживая в Петербурге в ожидании сказанного представления, я сильно начал хворать. Может статься, этому способствовало небольшое похождение, которому я подвергся при разъезде из маскарада в последнее воскресенье перед великим постом. Маскарады, наравне с балами, отбывались тогда на Невском проспекте в доме дворянского собрания. Николай Павлович очень любил этого рода собрания и не пропускал случая бывать на них. Характерные маски тут не встречались: черное домино для мужчин, цветное для женщин, при полумаске, считались единственно дозволенным средством переряжанья. Военным запрещены были маски. Обязательная мас-

карадная форма состояла из мундира, без шпаги и сабли, каска на голове и на левом плече коротенькая черная шелковая испанская мантия, отороченная кружевом, подбитая красною тафтою. При этом наряде запрещено было кому бы то ни было, и меньше всего Государю, кланяться или отдавать военную честь. Николай Павлович хотел на маскараде оставаться совершенно незамеченным, забавляясь без всякой помехи интриговавшими его женскими масками. С такого-то маскарада, когда с последним ударом полуночи наступила пора отмаливать грехи, накопившиеся за целый год, все, не желавшие навлечь на себя укор в безверии, опрометью кинулись разъезжаться по домам, чему последовала и моя грешная особа.

На маскарад приехал я в возке, который по распоряжению полиции был отправлен куда-то очень далеко вместе с моим человеком и с шубою, оставленною на его руках. И вот полицейские жандармы стали звать мой экипаж, и никто не отзывался, принялись отыскивать, искали, искали и ничего не отыскали; тем временем все разъехались, стали тушить лампы, наконец подошло время запирать подъездные двери, а моего возка, человека и шубы нет да и только, ровно сквозь землю провалились. Так мне и пришлось во втором часу ночи в двадцатиградусный мороз, на самом жалком извощике протрусить с Невского проспекта в Измайловский полк, окутавшись вместо шубы в коротенькую испанскую мантию, подбитую тафтой, отороченную кружевом, да еще в чулках и башмаках по тогдашней бальной форме. Около часа, коли не более, длилось мое морозное путешествие, после чего, прождав еще минут десять у затворенных ворот, мне привелось отогреться в теплой комнате. По всем правилам медицины следовало мне слечь в постель и не вставая умереть отнюдь не позже трех суток, и я действительно лег в постель, пролежал три или четыре дня и после того поднялся на ноги, будто приключившееся со мною было не что иное как одна легкая шутка. Потом отозвалось.

Недели две после подачи военному министру описания моего плена нам были объявлены награды: Карамурзину чин поручика, миновав два низших чина, Владимир 4-й ст. с бантом, пожизненная пенсия в полторы тысячи и единовременно до тысячи целковых; мне – Владимира той же степени без банта, и следующий капитанский чин к сожалению только за неделю до получения его на Святой по старшинству, чем и лишили меня единственного случая вкусить производство по линии: ибо все чины, чрез которые я прошел в течении моей долголетней службы, от прапорщика до генерала, мне достались, как говорится, за отличие – редкая вещь в Русской армии.

Время между тем уходило и с каждым днем уносило частицу моего здоровья; прошла Пасха, наступила весна, видел я освящение после пожара вновь отстроенного Зимнего дворца, причем Чернышев из графов был пожалован в князья, а Клейнмихель сделан графом, несколько раз являлся к военному министру для весьма неважных расспросов; об обещанном же представлении Государю будто совершенно забыли, несмотря на отданное мне приказание ожидать его высочайшей воли. Сильно страдая головною болью от контузии, полученной еще при штурме Варшавы 1831 года и общим расстройством организма от моих Кавказских похождений, я, наконец, решился обратиться за советом к лейб-медику Арендту, короткому приятелю одного моего близкого родственника, который и признал полезным прежде всего мне уехать из Петербурга, вредного каждому новоприезжему по причине своего дурного климата, и потом уже думать о лечении. На мое объяснение, что города не смею оставить, не быв представлен Государю, а представление отлагается со дня на день, он лишь коротко заметил: каждое утро вижу Государя и сегодня же скажу ему обо всем. И действительно: в девять часов утра я был у Арендта, в десять он отправился во дворец, а в два часа лежала на моем столе повестка из Главного Штаба, на другой день в одиннадцать утра вместе с Карамурзиным, быть в Аничковом дворце, в котором Николай Павлович оставался жить по причине сырости, которою был пропитан слишком спешно отстроенный Зимний дворец.

Значит не от Государя зависело, коли меня так долго заставляли ждать его приема.

Было это в первых числах апреля 1839 года.

Четверть часа до назначенного времени стояли мы в приемной комнате Аничкова дворца. С последним ударом одиннадцати часов (Николай Павлович не любил терять времени в ожидании, да и сам никого ждать не заставлял) камердинер провел нас в его кабинет. Живо помню, будто вчера случилось, малейшие подробности этого приема, слова Государя и все мои ответы. В первое мгновение, по правде, я несколько смутился, но скоро потом, ободрившись, стал прямо глядеть на стоявшего предо мною Государя. Оно бы по всем правилам житейской мудрости и следовало стоять пред Государем опустив глаза; но по моим тогдашним диким кавказским понятиям

я никак не мог сообразить, почему не подобает без страха смотреть Государю в глаза, даже когда не знаешь за собою никакого дурного дела. Позже научили меня этой хитрой науке.

На Государе был сюртук Семеновского полка без эполет, по обыкновению застегнутый на все пуговицы, воротник на все крючки. Сказав Карамурзину несколько слов, Государь его отпустил, а мне приказал остаться в кабинете.

Окинув меня благосклонным взглядом и снова поблагодарив за службу, Государь спросил, чувствую ли я себя в силах вернуться на Кавказ после испытанного мною несчастия и служить в том краю с неубавленною охотою.

– Желаю этого, – прибавил он, – ожидая от тебя в будущем не меньше прежней пользы.

– Готов исполнить волю Вашего Величества, – был мой ответ; – духом я нисколько не упал, а потерянные силы надеюсь восстановить помощью же Кавказских минеральных вод.

– Я тебе выразил только мое желание, приказывать не хочу. Обдумай прежде, чем примешь окончательное решение. Ежели Кавказ тебе не по душе, так прямо сказывай: хочешь здесь оставаться, и на это согласен. На службе для тебя открыты все пути.

– Воля Вашего Величества совершенно согласуется с моим собственным желанием. Позвольте мне продолжать Кавказскую боевую службу, к которой себя чувствую более склонным, нежели к мирным канцелярским занятиям.

– Спасибо тебе за это; не на долго впрочем, посылаю тебя на Кавказ: останешься там, пока не покончат с горцами, а потом при себе найду тебе место.

Сколько же мне суждено оставаться на Кавказе? – мелькнуло в моей голове, и, не совладав с собой, невольно я пожал плечами.

Государь пристально на меня посмотрел.

– Не на веки же тебя посылаю; мне обещают в три года решить дело с горцами. А ты как думаешь?

– Думать ничего не смею. Давшие такое обещание выше меня стоят опытом, летами, званием и сверх сего властью же вашего величества снабжены всеми способами потребными для исполнения своего обещания; позволено ли мне, молодому офицеру, иметь мнение, несогласное со взглядом их!

– Нет, говори; хочу знать, как по твоему.

– Могу ошибаться, но обманывать не стану. В три года, да и в тридцать лет с горцами не совладают. Позвольте повторить слова, сказанные Вашему Величеству покойным Вельяминовым: «Нашим внукам еще придется поработать на Кавказе, да и незачем дело у них отнимать: Кавказ хорошая военная школа».

В 1839 году никому в голову не приходило, чтобы на покорение Кавказа были употреблены такие громадные средства, какими в последствии располагали Воронцов и Барятинский. С таким количеством войск и денег, какое им было дано, они легко могли десятком лет опередить мое предсказание; а в то время, когда я говорил, как окажется из последующих слов самого Государя, иначе надлежало судить о Кавказских делах.

Николай Павлович пронзил меня одним из тех взглядов, от которых в лихорадку бросало и не моего брата и, заметно взволнованный моим решительным ответом, несколько раз быстрыми шагами прошелся по кабинету, после чего снова стал предо мной. Гнев прошел, взгляд и голос смягчились.

– И ты в этом уверен?

– Твердо убежден, и думаю, время меня оправдает.

– Каким же способом, по твоему мнению, вернее и скорее можно достигнуть цели, которой мы домогаемся на Кавказе; говори смело, не опасаясь противоречить моим и чьим бы то ни было мыслям.

– Опять не знаю, как отвечать. Разными путями можно приблизиться к цели, но почти невозможно указать на лучший путь, не зная, чем вашему величеству угодно больше жертвовать – людьми, деньгами или временем. От этого должны зависеть не только военные действия, но и самая система управления страною.

– На подобные вопросы не отвечают, – строго заметил Государь, – говори безусловно, как понимаешь собственным умом, и как тебе видно из общего положения дел.

– Прежде всего необходимо увеличить число войск на Кавказе.

Государь вторично рассердился.

– И ты, офицер генерального штаба, которому кавказские дела должны быть хорошо известны – помню твою скрепу на бумагах (В 1832 году при бароне Розене и Вольховском я, в чине армейского подпоручика, заведовал в Тифлисе 2-м отделением Генерального штаба) – смеешь мне это говорить! Разве не знаешь, что я всегда и всем, домогавшимся этой прибавки, отвечал решительным отказом?

– Знаю, Ваше Величество; барону Розену и Вельяминову почти одновременно было отказано в прибавке войск, которой они просили, и еще нынешнюю зимою лично изволили в том

же отказать Павлу Христофоровичу Граббе; но несмотря на это, решаюсь повторить мои слова. Ваше Величество повелели мне говорить правду, как понимаю ее собственным умом.

– Не дам, не дам ни одного человека сверх того, что уже есть на Кавказ – отгрызывайтесь как знаете!

Это было говорено в Аничковом дворце в апреле 1839 года, а на следующее лето обстоятельства заставили усилить войска на береговой линии целою дивизиею от стоявшего в Крыму 5-го корпуса после того, что черкесам удалось штурмом взять на берегу Черного моря пять наших укреплений и перебить более двух тысяч солдат.

– По этому случаю позвольте, Государь, сказать смелое слово не в свою собственную, а в пользу моих товарищей и русского доброго кавказского солдата: дерутся они храбро и безропотно переносят несказанные труды и лишения. Ваше Величество не имеете войска лучше Кавказского.

– Да, знаю, знаю и душевно люблю и уважаю Кавказского солдата; позволяю тебе каждому это сказать. А как понимаешь ты Черноморскую береговую линию? Она меня очень интересует.

Тут не было свидетелей, и надо же было Государю хоть раз правду узнать насчет этой пресловутой линии.

– Боюсь, – отвечал я, – что береговая линия не оправдает ожиданий вашего величества. Укрепления малы, гарнизоны слабы, изнурены болезнями, едва в силах обороняться от горцев, которых не они, а которые их держат в постоянной блокаде. Кроме того, в случае Европейской войны при появлении в Босфоре любого неприятельского флота окажется необходимым снять всю линию; в горы гарнизонам нет отступления, и ни одно укрепление не в силах выдержать бомбардировки с моря.

Государь махнул рукой.

– До этого далеко, нечего и думать!

Мое первое опасение относительно судьбы береговых укреплений сбылось в зиму с тридцать девятого на сороковой год, а второе – четырнадцатью годами позже. Князь Воронцов, командовавший на Кавказе в 1854 году, при первом известии о появлении в Босфоре союзных неприятельских флотов, немедленно приступил к очищению от наших войск восточного берега Черного моря, и умно сделал: иначе все гарнизоны прибрежных укреплений, не исключая ни одного, были бы в плену.

После того Государь заговорил о моем здоровье, предложил ехать за границу, от чего я отказался, взамен испросив позволение некоторое время прожить в России у родных и потом воспользоваться Кавказскими водами.

– Не начинай только службы прежде, чем совершенно окрепнешь, – заметил Николай Павлович.

Отпуская, сказал он: «Теперь проси милости».

Поблагодарил я Государя. Много доволен оказанною мне милостью на службе; имею кусок хлеба, и более мне не надо.

– Нет, проси; говорю тебе, проси!

Подумал я, чего бы попросить и ничего не мог придумать. Просить денег за то, что я два года просидел в цепях, показалось мне недостойным звания солдата и дворянина; а чего другого, пожалуй, и не заслужил. Еще раз я поблагодарил.

– Не хочешь просить, так помни же во всю жизнь: в какую бы ты беду ни попал, помимо всех обращайся ко мне и выручу тебя как будет возможно. Дарую тебе это право, а теперь до свиданья; надеюсь здесь же увидать тебя в скором времени.

Государь протянул руку, и чрез мгновение дверь кабинета затворилась за мной.

В последний раз я тут говорил с покойным Государем. Его прощальные слова не сбылись. Люди добрые позаботились заслонить мне дорогу к нему. Не успел я оставить Петербург, как уже получил урок, в какой мере подобает выть с волками, чтобы не пострадать от их когтей и зубов. Не стоило бы говорить об этом деле, ежели бы оно не служило назидательным примером, какие прекрасные способы представляются умному человеку открывать себе дорогу к тому, к чему стремится весь благополучия жаждущий люд, т. е. к чинам, деньгам и почету. В этом случай была сделана одна только ошибка: приятель, желавший меня подвести, слишком понадеялся на мое терпеливое простодушие и, ошибясь в своем расчете, сам попал впросак.

Что генерал З* под предлогом личного ко мне участия, а в сущности из мелкого честолюбия добывший себе право снабдить меня проводниками в мое последнее путешествие у непокорных черкесов, беззащитно отдал меня в руки самых отъявленных разбойников, сперва их обманув, за что они, в свою очередь, мне изменили; что после того все его старания меня освободить не имели ни малейшего успеха, и он из самолюбия другим мешал действовать в мою пользу; что под конец ногайский князь Карамурзин меня выручил из плена без его воли и ведома – знали на Кавказе русские и черкесы, в Петербурге

же того знать не могли. Объявив еще в Ставрополе, когда З* на первых порах обсчитал Карамурзина барантовым (Барантою называли на Кавказе стада и табуны, отбитые у неприятеля) скотом, который приказано было ему отдать за мое освобождение, что он этим поступком окончательно прервал наши прежние дружеские отношения, я в то же время лично его предуведомил, что доносов делать не стану, но коли спросят, правды не скрою и подробно расскажу, каким образом ведутся дела на Кубани. В Петербурге, когда Клейнмихель стал меня расспрашивать о генерале З*, я просил позволения не говорить о нем, опасаясь из личного нерасположения к нему не сохранить должной справедливости в оценке его характера и его поступков. Касательно же моего освобождения я по чистой справедливости на словах и письменно приписал всю заслугу одному Карамурзину.

Готовился я оставить Петербург, простился с родными и со знакомыми, взял место в дилижансе (железной дороги между Петербургом и Москвою тогда не существовало, почтовые кареты еще не ходили) и на последях поехал в военное министерство откланяться князю Чернышеву. Состоявший при нем в звании адъютанта, граф Э. Штакельберг (Впоследствии наш министр в Турине и в Вене, кончивший жизнь послом в Париже) сообщил мне при этом случае, что от своего дальнего родственника З* получил письмо на мое имя, которое, все не успевая, несколько уже дней собирается мне привезти. Располагая последний день в Петербурге провести в беспрестанных разъездах, я счел за лучшее самому заехать к Штакельбергу и, признаюсь, в первую минуту очень удивился, когда он мне передал незапечатанное письмо, прибавив, что понять не может, почему З* адресовал письмо к нему, а не прямо ко мне, что впрочем никакой важности не имеет, потому что он, Штакельберг, не привык заглядывать в чужую переписку, а в предстоящем случае ему бы даже помешал нестерпимодурной почерк его родственника.

Наскоро пробежав действительно очень нечетко написанное письмо, я тотчас понял, чего домогался мой далекий кавказский благоприятель, и в глубине моей души вспыхнула неудержимая злость.

Пока я читал, насупротив сидевший Штакельберг исподлобья следил за выражением моего лица; я сделал вид, будто не замечаю.

– Вы сказали, – обратился я к нему, – что не понимаете, почему ваш родственник письмо ко мне незапечатанным вложил

в конверт, адресованный на ваше имя; позвольте же мне объяснить: он это сделал в полном убеждении, что вы его прочтете и содержание сообщите военному министру, при котором имеете честь состоять адъютантом. Вы сказали, что не читали его; очень жаль: этим бы вы стали на дорогу опрокинуть все расчеты вашего родственника. Вы сказали, что с великим трудом разбираете его почерк, а я привык его разбирать, потому что получаю от него не первое письмо; надеюсь однако, что оно будет последним, которым он решился меня почтить. Позвольте же мне вас познакомить с его приятным содержанием.

– Зачем? Нисколько не любопытствую знать, какие у вас с ним дела.

– А я с ним не хочу иметь никакого дела, от которого позже мне бы пришлось краснеть; поэтому прошу вас, граф, меня почтить вашим вниманием, – и я заставил его от первой до последней строки прослушать послание З*.

Не помню слово в слово по-немецки писанного письма, но вот в чем заключалось его точное содержание:

«Неблагодарный друг, – писал он, – с душевным прискорбием узнаю, что вы из ненависти ко мне – не понимаю, чем ее заслужил – в записке о вашем плене, да и на словах, ввели в заблуждение не только военного министра, но и нашего великого Государя, приписав заслугу вашего освобождения одному Карамурзину, тогда как в сущности обязаны только мне тем, что живы и теперь находитесь на свободе. Разве вам неизвестно, что вы попали в плен по собственной неосторожности, а Карамурзин во всем, что сделал для вас, действовал по моему приказанию и под моим руководством? Нет, все это вам коротко известно; вы ничего не могли забыть и скрыли правду с явною целью себя оправдать, свалив вину на мои плечи. Следовало бы вас наказать за такую неправду, но великодушно прощаю вам ради нашей прежней дружбы; не хочу, обнаружив истину, навсегда погубить вашу служебную будущность. Поймите, наконец, какой запас дружбы и снисходительности к вам храню еще в глубине моей груди, воздерживаясь официально сообщить военному министру то, о чем приятельски вам пишу. Чистосердечно покаявшись предо мной, вы можете еще исправить дело. Не заставьте же меня окончательно усумниться в вашем благородстве, в которое я верил так глубоко. Глубоко огорченный, но все еще вас любящей и т. д.»

Окончив чтение, слова не говоря, я поехал вторично в канцелярию военного министерства, где служащие не успели еще

разойтись, и попросил находившегося между ними школьного товарища моего, Суковкина, во всеуслышание прочитать полученное мною письмо; а сам уселся за его стол писать ответ, который также показал кому угодно было полюбопытствовать.

«Письмо вашего превосходительства, – отвечал я, – после ваших поступков со мной до плена и с Карамурзиным по освобождении моем, нисколько меня не поразило. Лучшего не ожидал. Может статься, вы полагали оскорбительным тоном его по вашему примеру меня увлечь ответить вам вызовом; но помня правила военной дисциплины, не сделаю подобной глупости, не дам в руки вашего превосходительства оружия, которым вы действительно можете погубить мою служебную будущность, а честь свою сумею защитить более верным способом. Вы и я, кажется, не раз видели друг друга под свистом пуль и знаем, чего стоим в этом отношении. Что же касается до поднятого вами вопроса, то позволяю себе почтительнейше заметить, что не прошу вашего снисхождения; да ваше превосходительство и не вправе мне его предлагать, а по вашему званию и положению, как русский генерал, обязаны раскрыть всякую неправду, тем более, когда обман коснулся Государя Императора. Этим и ничем другим вы можете меня примирить с вашим пониманием обязанностей честного, долгу своему преданного человека. За сим, с чувством подобающего вам уважения, но уже без всякой преданности имею честь быть, и т. д.»

Не ограничиваясь тем, что эта моя переписка сделалась известною в сфере министерской канцелярия, я отложил свой отъезд на целые сутки, потерял деньги за место, но объехал большую часть своих знакомых, показывая, кому угодно было, письмо З* и мой ответ. Кажется, больше этого мой заботливый друг не имел права от меня ожидать, ни требовать.

Отправив мое письмо на Кавказ под страховым конвертом, чтобы не затерялось на почте, я поспешил уехать в Москву.

Ответа я не получил. Месяца два спустя, когда я находился в Пятигорске, З* подослал ко мне одного из своих приверженцев с предложением помириться, ежели соглашусь написать к нему извинительное письмо; но я на эту приманку не поддался и только поблагодарил за честь и дружбу, рассчитав, что гораздо выгоднее иметь его открытым противником, чем задушевным приятелем. З* вообще принадлежал к числу тех счастливых личностей, которые в воде не тонут, в огне не горят и которых справедливая судьба рано или поздно осыпает всеми

благами мира сего. А кому бы любопытным показалось покороче познакомиться со славными его делами, тому советую попытать, не окажется ли у какого-нибудь букиниста на Щукином дворе книжонка в двух частях под заглавием «Проделки на Кавказе». В 1844 году эта книга была напечатана в Москве без имени автора с разрешения, однако цензуры, не смекнувшей дела, как с нею часто бывает, и московская публика жадно кинулась ее читать. Но тут хотя и несколько поздно тайная полиция взялась за дело, и всем властям было дано приказание эту вредную книгу отбирать не только у книгопродавцев, но и у всех частных лиц, успевших ее приобрести. Сочинительницей называли генеральшу Лачинову, рожденную Шалашникову, проживавшую некоторое время в Тифлисе; но, кажется, если писала она, то, по крайней мере, не без сотрудников, короче ее знакомых с тогдашними Кавказскими порядками; а в пользу правдивости, с которою книга была написана, вернее всего свидетельствовала ярая ревность употребленная на ее уничтожение. Напиши небылицу, от которой уши вянут – беда не велика, пусть читают на здоровье; а коли кто иначе поймет, чем приказано вещи понимать, так нетрудно доказать, что это пустые бредни, басня, аллегория; бесспорную же правду только и можно пришибить обухом полицейского запрета.

Пробыв лето частью в окрестностях Москвы, частью на Кавказских водах в начале осени вернулся я в Тифлис, покинутый мною три года тому назад. Много нового меня там ожидало, я это знал. Умный и честный, хотя для правителя такой страны как Кавказ слишком добродушный барон Григорий Владимирович Розен лежал в Москве, разбитый параличом; даровитый и гражданскому долгу свыше всякого себялюбия преданный Владимир Дмитриевич Вольховский, друг и кавказский сослуживец своими заслугами и высокими душевными качествами всей России известного графа Дмитрия Ерофеевича Остен-Сакена, и мой горячий защитник, в немилости доживал последние часы своей жизни председателем Полтавской (а может и Черниговской, наверное не помню) гражданской палаты; а горой за меня стоявший, всеми любимый и почитаемый барон Христофор Христофорович фон-дер-Ховен, который из-за меня даже хотел стреляться с генералом З*, занимал должность в далекой Сибири. Замещали их: в звании корпусного командира генерал Головин, а в должностях начальника штаба и обер-квартирмейстера П. Е. Коцебу и некий генерал Менд. Не менее того ввиду последних прощальных слов Госу-

даря Николая Павловича я был поражен ровно громовым ударом из безоблачного неба, узнав при въезде в город от встречного приятеля, что не числюсь больше в Кавказском корпусе, а в отсутствии моем откомандирован в Новгородскую губернию, в гренадерский корпус, о чем мне и посланы навстречу три предписания, в Воронеж, в Новочеркасск и в Ставрополь, с тем чтобы далее не ехать.

Дерзнул я в невеликом чине иметь свое собственное суждение и сверх того – о, ужас! – ни у кого не просясь, откровенно высказать его Государю. После такого богомерзкого поступка так и следовало: тотчас и на вечные времена меня записать в число людей вредных общественному спокойствию, которых каждый благомыслящей человек, особенно служащий, обязан всеми зависящими от него средствами беспощадно гнать с лица земли.

Предписания, долженствовавшие меня остановить на дороге, миновали моих глаз потому, что я не останавливаясь проехал до Пятигорска, и раз я пребывал уже в городе, из которого решено было меня изгнать, мне все-таки следовало явиться начальству хотя бы для того, чтобы в то же время и откланяться.

Встретили меня такого рода приветливыми вопросами.

– Зачем приехали? Разве не получили навстречу вам посланных предписаний?

– Не получил.

– Значит, не исполняли служебной обязанности являться комендантам при проезде через города.

– Ехал не останавливаясь, и в таком случае по уставу не обязан являться.

– Когда изволите ехать?

– Завтра.

– Сами виноваты, ежели сделали лишнюю дорогу, от которой мы хотели вас избавить.

Не все, однако, понимали вещи таким же образом. Генерал Головин ничего не знал о том, как соблаговолили распорядиться моею судьбою; назначение и перемещение офицеров входило в более тесный круг обязанностей начальника штаба и корпусного обер-квартирмейстера. Состоял при нем в то время адъютантом Н. Н. Муравьев (в последствии граф Амурский), который, узнав от одного из своих приятелей, как со мною поступили, предупредил своего генерала о том, что я откомандирован из Кавказского корпуса не только вопреки

моему желанию, но и противно высочайшей воли, и корпусный командир приказал отменить такое неблаговидное распоряжение.

Три дня после того я получил приказание ехать на Черноморскую береговую линию, но Головин вторично приказал оставить меня на зиму в Тифлисе.

Весною сорокового года не миновал я, однако, неизбежною бедою мне грозивших берегов Черного моря.

Опубликовано:
«Русский архив», 1881, кн. II (1), с. 228 – 248.

Из воспоминаний бывшего кавказца

Разбирая, за неимением другого дела, старые залежавшиеся бумаги, нашел я, между прочим, несколько листов испещренных пометками о давнопрошедшем времени. В моих глазах мелькнуло: Кавказ, Чечня, экспедиция Фрейтага 1844 г., Гехинский лес, не забыть Егора Попова и Павла Самарского, и целый ряд воспоминаний возник в моей памяти, воспоминаний грустных, потому что прошедшего времени не вернешь и, не менее того, воспоминаний отрадных по чувству гордости, с которым принужден вспоминать о моих боевых былых товарищах, без разбору стояли они выше или далеко ниже меня во время оно, когда мы сообща делили горе, радости и труды. Егор Попов, Павел Самарский, имена незвучные, люди неважные, простые линейские казаки, а помнить их должен и даже много виноват пред ними, что так долго держали в забытьи их славные, молодецкие поступки. Хорошие примеры должны оставаться на виду. Доказали они, на какие дела безусловного и безрасчетного самопожертвования способен простой русский человек, когда заговорит в нем сердце под настроением чувства благодарности, которое так нетрудно в нем возбудить. Нечего сказать, раз – другой, знатно они меня уважили, и за что было им меня особенно благодарить? Разве только за ласковое слово да за пригоршню дарового овса, в минуту нужды уделенную их усталому коню. В коротких словах познакомлю читателя с теми случаями, по которым навсегда остаюсь в долгу у моих казаков-драбантов, неотлучно сопровождавших меня в течение двух годов моего последнего пребывания на Кавказе.

В 1844 году готовилась общая экспедиция на левом фланге Кавказской Линии, для чего войска на Кавказе были усилены двумя дивизиями 5 пехотного корпуса под начальством генерала Лидерса. Военные действия открыли Фрейтаг, двинувшись в

сердце большой Чечни, где к нему должен был присоединиться еще другой отряд, туда же направленный из Владикавказа под командою генерала Нестерова. Из главной квартиры, занимавшей Щедринскую станицу на Тереке, к моему величайшему удовольствию меня командировали к Фрейтагу, у которого по праву старшинства на время похода я должен занимать должность отрядного обер-квартирмейстера. Первый раз в жизни мне приходилось идти в дело под начальством этого отличного человека, с которым был знаком со времени Польской войны 1831 года, с той же поры приучившись его любить и уважать, не зная за ним ни одного неблагородного побуждения, ни одной предосудительной черты; поэтому понятно, с какою непритворную радостью я принял мое временное назначение, жалея только о том, что ему не суждено было продлиться на время всей предполагаемой экспедиции, от которой тогда еще ожидали блестящего успеха. Поехал я к нему не один. Вместе со мной, из числа прибывших из Петербурга офицеров, отправились к Фрейтагу флигель-адъютант, граф Шарль Ламберт, граф Эдуард Баранов, князь Александр Голицын, Мордер, и гвардейский артиллерист Василий Давыдов.

В одно ясное весеннее утро – погода благоприятствовала нам во время всего десятидневного похода – выступили мы из крепости Грозной в Чечню через Майюртупское ущелье и, подвигаясь к Гехинскому аулу, принялись по пути жечь селения и уничтожать посевы для наказания чеченцев за повиновение их Шамилю. Неприятель тревожил нас слегка, изредка перестреливаясь с нашей цепью, но нигде не показывался в значительных силах. Эта уклончивость на первых порах деятельно сопротивляться нашему наступательному движению не могла обмануть Фрейтага; ему хорошо было известно, где местность дозволяла неприятелю дать нам сильный отпор, где он нас поджидал, и где нам самим следовало глядеть в оба глаза, чтобы не набраться стыда. Между нами и Нестеровым, шедшем к нам на соединение, лежал Гехинский лес, да протекал Валерик, два места, через которые русские войска ни разу не проходили без самой кровопролитной драки. Валерик – речка смерти – по шерсти ей была и кличка – воспета Лермонтовым, а про Гехинский лес расскажу я сухой прозой, чем он был тогда не в поэтическом, а в чисто практичном военном значении: семиверстная, глухая трущоба, чрез которую бесчисленными поворотами извивалась узкая арбяная дорога. На половине пути открывалась прогалина не шире ста сажень, упиравшаяся в крутой овраг шириной около сорока шагов; в трех верстах за оврагом Валерик

протекал по обширной луговине, окруженной густым бором. Место ровно было создано в пользу чеченцев, никогда не упускавших случая сильно нам вредить, когда лесная чаща их скрывала от наших глаз и уберегала от нашей пули, а мы сами принуждены были двигаться по открытой дороге. Узнав от лазутчиков, что в Гехинском лесу собралось множество чеченцев, кто говорил три, а кто говорил даже пять тысяч, Фрейтаг остановился пред лесом и послал Нестерову приказание: переправившись через Валерик, тремя пушечными выстрелами дать знать о своем приближении и не вдаваться в чащу прежде, чем от нас не ответят таким же сигналом. Рассчитывал Фрейтаг одновременно атаковать лес с двух противоположных сторон, поставить неприятеля в два огня и таким образом на его голову обратить поражение, которое он думал нам подготовить.

На третьи сутки, после обеда часу во втором, послышались нам дальние пушечные выстрелы. Нестеров переправляется через Валерик, подумалось нам, станет лагерем, отдохнет, а завтра поутру, извещенные условленным сигналом, пойдем навстречу его отряду. Не прошло, однако, более двух часов, как на время прекратившийся огонь, без предварительного сигнала загорелся сильнее и гораздо ближе. Владикавказский отряд, не останавливаясь, шел к нам на соединение, видимо тут произошла ошибка, объяснившаяся впоследствии тем, что посланное Фрейтагом приказание миновало Нестерова, несмотря на то, что было отправлено дубликатом с двумя лазутчиками, поехавшими разными путями. Местность, как я уже сказал, была непреодолимо трудная, неприятеля собралось вдоволь на оба отряда, почуял Роберт Карлович беду и, не имея привычки в таком разе долго думать и советоваться, мигом поднял казаков и с тремя сотнями и двумя конными орудиями поскакал к опушке Гехинского леса, отдав мне приказание: наскоро построить вагенбург для двух батальонов и потом вслед за ним вести остальные войска.

Покончив с вагенбургом, не успел я отвести колонну на полверсты, как приказано было ее вернуть. Нестерову не нужна наша помощь, объявил присланный адъютант, чеченцы пропустили его почти без драки, поэтому остается только приготовить лагерное место для новоприбывших войск. Нам самим издалека было видно, как находившиеся у него малороссийские казаки, спокойно выходя из лесу, строились вдоль опушки. Сделав налево кругом, пехота пошла обратно к месту прежней стоянки, но ей успокоится было не суждено; десять минут спустя прискакал, как помнится, граф Баранов с новым приказанием, двум головным батальонам беглым шагом со мной прибыть к Фрейтагу, ожидавшему нас к опушке, а генералу Белявскому, командовавшему всею пехотой, с остальными батальонами и с артиллериею идти следом, не слишком спеша, однако, чтобы прежде дела не утомить солдат. Вышло на поверку, что самого Нестерова с кавалериею чеченцы действительно пропустили безобидно, но загородили путь его обозу, когда он пошел в средину леса, ударили в шашки на прикрытие, опрокинули Навагинский батальон и потом отбросили к Валерику арьергард, которым командовал полковник Вревский.

Не дожидаясь хвоста, Роберт Карлович, с двумя спешно мною приведенными батальонами и двумя конными орудиями, пошел выручать Нестеровский арьергард, строго запретив, хотя бы одним выстрелом, отвечать на неприятельский огонь. Штыком очищая себе дорогу, солдаты без остановки добежали до прогалины, но тут были остановлены непреодолимым градом пуль, наткнувшись сверх того на такое зрелище, от которого мороз пробежал по жилкам даже у самых закаленных кавказцев. Один из бывших с нами батальонов, принадлежавший к войскам 5 корпуса, при этом с непривычки оробел, попятился назад, но вовремя еще был остановлен. Не полагаю, чтобы кто-либо из бывших тут на лицо мог забыть это грустное мгновенье: навстречу к нам ехали совершенно нагие, с головы до ног кровью залитые человеческие фигуры. По всему телу ровно топором изрубленные, Навагинцы, услыхав русское ура, встрепенулись, повыскочили из-за кустов и в предсмертных судорогах, не помня себя, метались в середину рядов, душу раздирающим голосом умоляя о помощи, которой мы в первую минуту не в состоянии были им подать. Войска с медиками и с лазаретными повозками еще не подошли, а перед нами по другую сторону оврага в густой чаще сверкало дуло возле дула, и дорога, доколе видел глаз, была напружена сплошною массою лохматых шапок. Куринский батальон подбежал к оврагу и стал как вкопанный. Молодцы были Куринцы, да невмоготу пришлось: почти в упор и уже слишком горячо палил чеченец, а проучить его штыком мешал глубокий овраг.

Напрасно Фрейтаг кричал: «Куринцы, не плошай! Дружно в овраг, да в штыки», – и выскакивали смельчаки из рядов товарищам дорогу показать, да не живые, а мертвые ныряли в глубину оврага. Видя, что без подготовки неприятеля не осилить, Фрейтаг на краю оврага поставил два орудия и приказал картечью очистить дорогу. Место было тесное, Фрейтага с находившимися при нем офицерами и конвойными казаками,

всего человек двадцать, пехота прижала к самым орудиям. Роберт Карлович стоял впереди всех, а мне по обязанности следовало находиться вблизи. Чеченцы, не замешкав узнать его по коню и по числу окружавших его офицеров, бросили стрелять по войскам и весь свой огонь обратили на нас. Мгновенно нас осыпало свинцом; свиста пуль уже не было слышно, ровно вихрь загудел над нашими головами. В эту критическую минуту мои казаки поразили меня нежданною-негаданною выходкой. Егор Попов и Павел Самарский, первый Горского, второй Ставропольского полка, не сговариваясь, оба разом выскочили вперед и заслонили меня собой от неприятельских пуль.

– Назад! Не ваше место! – отозвался я, разогнал их лошадей и придвинулся к Фрейтагу.

– Коли убьют нашего брата, невелика беда, а убьют вас, иное дело – жалеете вы нас, хотим и вас пожалеть, – ответил Попов, под уздцы осадил мою лошадь, и снова оба казака стали между мной и неприятелем, который с расстояния пятидесяти шагов нас расстреливал в свое полное удовольствие. Судьба, однако, сберегла моих добрых казаков: не проронили они ни капли крови, только продырявленные шапки да черкески их свидетельствовали потом, что чеченцы свинца не жалели и вперед соваться отнюдь не походило на веселую шутку. И не высокопоставленную особу, не полновластного начальника, ради корысти или громкой похвалы, а невидного армейского офицера, угодившего полюбиться им, забыв себя, своих жен и детей, повинуясь мгновенному внушению молодецких сердец, пытались они уберечь от все равно угрожавшей смерти. Кажись, нет столь блистательного подвига, который, судя не по видимому результату, а по душевному побуждению, было бы позволено поставить выше этого, мало видного и поэтому мало кем замеченного поступка. Фрейтаг, от которого, не взирая на его главную заботу, не ускользали и самые незначительные обстоятельства, при словах Попова обернулся, посмотрел на меня, на казаков и в памяти своей пометил их имена, чтобы позже припомнить им дело, по мыслям его выходившее из ряда вседневных отличий. По этому поводу он не дал им прямой награды, когда мы вернулись в лагерь, сказал им только – молодцы, верные, честные казаки! Стану вас помнить! И потом, несколько времени спустя, представил их к Георгию, по случаю другого дела с неприятелем.

В этот день удалось нам стать свидетелями еще другого поразительного примера бесстрашной русской удали, о котором, рассказывая гехинское дело, грешно было бы умолчать.

Выстрел за выстрелом наши казачьи орудия картечью бороздили узкую дорогу; от чугунных вспрысков неприятель осадил в сторону, дорога опустела, но по бокам, в лесной чаще не переставали вспыхивать дымки, доказывавшие, что неприятель крепко держался в лесу. В это время из-за последнего поворота неожиданно показались два всадника, очертя голову скакавшие прямо на орудия – по пикам их следовало принять за малороссийских или донских казаков, остального в облаках пыли и дыма, обдававшего их в лесу, нельзя было разглядеть. Фрейтаг, стоявший на коне возле самих орудий, едва успел остановить канонира, уже успевшего взмахнуть пальником, чтобы снова брызнуть картечью, как на дуло налетел малороссийского казачьего полка ротмистр Томашевский с одним казаком, отряхнулся, перекрестился и донес, что прислан убедительно просить как можно скоро идти на помощь арьергарду, попавшему в страшные тиски.

– Молодец из молодцов! Такой штуки я бы не сделал! – невольно вырвалось у меня из глубины души, и не постыдился я своего восклицания – всякой храбрости есть мера, и кто ее превзошел, тому не скупись и на похвалу! Я слишком коротко был знаком с опасностью, чтобы не понять и в полной мере не оценить, что значило версты две проскакать через лес, густо занятый чеченцами, да еще навстречу собственной картечи. Не помню, до того случалось ли мне быть свидетелем подобной решимости. И кому в обширной России знакомо имя Томашевского, кто знает про его славный подвиг, кто вспомнил бы о нем, ежели бы мне теперь не представился случай рассказать, на какое отважное дело покусился храбрый малороссиянин.

Выслушав Томашевского, Фрейтаг в то же мгновение спустился в овраг, скомандовав: «Орудия на передки! Куринцы за мной!» Но Куринцы не дали ему себя опередить, роем нас охватили и побежали вперед. «Не пустим тебя, Роберт Карлович, – кричали ему обгонявшие нас солдаты, – наше дело идти перед тобой и тебя оберегать, нечего нам указывать дорогу, сами найдем, не впервой нам зубами грызться с чеченцами».

Пока мы дрались на прогалине, Белявский успел подойти с прочими батальонами; неприятель не устоял против общего натиска, раздвинулся и пропустил нас к Валерику. На поляне, с трех сторон опоясанной густым бором, Нестеровский арьергард, прижавшись в уголок, едва успевал отбиваться от нападавшего на него многочисленного неприятеля, совершенно опьяневшего от лесной удачи. Чеченцы, не умолкая, стреляли из опушки и с высоты деревьев, унизанных ими вплоть до

вершины; со стороны реки, поддерживая беспрерывный огонь, они ползком, добирались до застрельщиков и местами уже вскакивали, рубили их шашками. Наше появление разом дало делу другой оборот: картечь из шести орудий и густая цепь мигом очистили луговину, лесом, однако продолжали владеть чеченцы и оттуда засыпали нас пулями. Пропуская мимо себя войска, выходившие из лесу, Фрейтаг тотчас заметил, что у Куринцев недостает одной роты, никто не знал, куда они делись: была в левом прикрытии, должно быть неприятель ее отрезал.

Мне было поручено отыскать пропавшую роту. С полубатальоном Куринцев я вернулся в лес, пошел на не умолкавший в нем огонь и действительно наткнулся на роту, которой мы не досчитались. Видя себя отрезанною, она штыками овладела неприятельским сомкнутым завалом и из-за громадных колод, накиданных чеченцами, от них же отбивалась. Посчастливилось нам ее не только высвободить, но и без чувствительной потери привести обратно к своему батальону. Отогнав неприятеля на должную дистанцию, Фрейтаг пропустил сперва в Гехинский лес Вревского арьергард, обоз и артиллерию, с ними отослал всех провожавших его офицеров, в том числе и меня, с поручением наблюдать, чтобы в главной колонне не разрывалась связь между частями и с арьергардом; а сам, удержав при себе одного своего адъютанта, остался позади с двумя батальонами и четырьмя конными орудиями прикрывать наше отступление. Несколько раз проезжая от хвоста к голове колонны и обратно, в этот день я имел случай видеть Фрейтага в пылу самой ожесточенной драки и вполне убедился, насколько была справедлива репутация, которою он пользовался на Кавказе.

В кавказскую войну отступление было настоящим пробным камнем распорядительности, хладнокровия и находчивости начальствующего. Все горцы вообще, а чеченцы в особенности, слабо сопротивляясь при наступлении, бешено провожали наши отступающие войска, не давая им шагу сделать без драки. В Гехинском лесу чеченцы роились, злобно расплачивались они за свои разоренные аулы и поля, в боковых прикрытиях по всему протяжению леса усиленная пальба не умолкала ни на одно мгновение, но хуже всего доставалось арьергарду. Узкая дорога не позволяла употреблять в дело больше двух орудий; вследствие крутых беспрерывных поворотов, выстрелам их представлялись самые короткие дистанции, шагов на двести, редко больше того, по сторонам, в непроходимой чаще, с неприятелем могли ведаться одни стрелки, Фрейтаг неприятеля нес на плечах, ни на мгновение не покидая арьергардных орудий, которые все время шли на отвозах и картечью кропили чеченцев, то и дело метавшихся ими овладеть. Хладнокровно, не спеша, покуривая чубучок, Роберт Карлович распоряжался действием, ободрял солдат, иногда подшучивал над неудачными попытками неприятеля проломить их ряды. Казаки-артиллеристы тем временем, шапки заткнув за пояс, чтобы сучьями с головы не сорвало, заряжали с остротою молнии, разумно выжидали, вовремя отдавали выстрел, когда нужно было, повторяли или поспешно на лямках отвозили орудие. Благодаря Фрейтагу мы без прорухи прошли обратно к нашему вагенбургу, хотя много потеряли людей и даже принуждены были в лесу побросать тела убитых, чего наши солдатики очень недолюбливали, но нечего было делать, пришлось покориться горькой необходимости, когда Роберт Карлович сердито крикнул солдатам, приступавшим к нему с просьбой уносить тела: «Бросай, не хочу живых отдавать за мертвых!» Действительно каждое промедление, каждое скучивание людей, действовавших врассыпную, вело к новым потерям. Да и неприятелю порядочно досталось в Гехинском лесу. В продолжение всего следующего дня он не потревожил нас ни одним выстрелом, подбирая своих, раненых и убитых, и мы воспользовались этим обстоятельством для отсылки с небольшим конвоем в крепость Грозную наших собственных раненых и больных.

Возле Гехинского простояв четверо суток, мы пошли обратно на Линию через Гойтинский лес, где вторично имели очень жаркое дело. Не стану его, однако, рассказывать, потому что речь веду ныне не о казацких экспедициях, а о том, как нашим добрым линейцам случалось понимать и править свою казацкую службу. Снова обращаюсь к моим казакам. В Гехинском лесу не первую добрую службу они мне сослужили, про какую в воинском артикуле нет и помину. Год перед тем, когда мы с генералом Гуркой ходили выручать Гергебиль, да не выручили, ведает Господь Бог, не по нашей вине, мои казаки явили мне такое доказательство своей сердечной привязанности, от которой не только тепло стало на душе, но сладостно согрелось и мое грешное тело.

В темную ноябрьскую ночь двинулись мы с отрядом, считавшим не более полутора тысячи штыков и пяти горных орудий, от Оглов на Гергебильскую гору, с версту не доходя до спуска в Гергебильскую котловину, в которой находилась

крепость, атакованная Шамилем, по приказанию Владимира Осиповича была оставлена колонна ждать рассвета. Ночь была бурная, морозная, ветер свистал над нашими головами взметая снежную пыль, жгучими иглами впивавшуюся в лицо и в глаза. Солдаты кучами улеглись на снегу, лег и я, выбрав местечко, где было побольше снегу, чтоб острые камни в бока не кололи, закрыл голову буркой и пытался уснуть, но от холода и от усталости глаза не мог сомкнуть. Дрожь пробирала меня до костей. Вдруг я почувствовал приятную теплоту, которая невесть отчего стала разливаться по жилам, и впал в глубокий сон. Голос генеральского адъютанта, Василия Ивановича Муравьева-Апостола, меня разбудил. «Светает, вставайте, – шептал он мне на ухо, – Владимир Осипович приказал без боя барабанного и как можно тише поднять и построить отряд». Откинул я от себя какую-то небывалую тяжесть, взглянул и понял, отчего мне стало тепло и отчего удалось так отлично проспать.

Три казака мои, Попов, Самарский да стоявший в то время при мне Ивашин, Гребенского полка, тремя своими бурками меня накрыли и все время, что я спал, просидели у моих ног на резком ночном ветру, отирая друг друга, чтоб не окоченеть. Темна была ночь, никому их неограниченная заботливость обо мне не могла броситься в глаза, не домогались они отличия, а с полною простотою морили себя, жалея меня, потому что мне случалось их жалеть. Муравьев не упустил похвалить казаков: «Нечего сказать, славные вы ребята, отлично бережете Федора Федорыча», к чему я от себя прибавил душевное спасибо, советуя впредь, однако, сберегая меня и себя несколько поберечь, потому что служба их нужна еще и на другое, более важное дело.

Еще остается мне рассказать один случай, давший Попову неоспоримое право на мою вечную благодарность. Рискнул быть раздавленным или, по меньшей мере, поломать руки и ноги, он спас мою жизнь от смертельной опасности. Дело случилось следующим образом. В мое последнее пребывание на Кавказе я несколько раз возил жену с Линии в Тифлис на свидание с родными; Попов провожал нас во все эти поездки. В 1844 году, возвращаясь из Тифлиса в Ставрополь, откуда я должен был ехать в Москву, решившись навсегда покинуть Кавказ, мы поздно приехали в Душет и, переменив лошадей, поспешили отъездом, чтобы засветло еще проехать по предстоявшей нам опасной дороге. Душет лежит на высокой горе, дорога к Анануру верст на семь спускалась под гору уступами, пролегала карнизом: направо гора стеной, налево глубокий

обрыв. Помещались мы в двух экипажах: в карете жена со мной, Попов на козлах; в позади ехавшем тарантасе горничная с новобрачным супругом, наемным москвичом-лакеем, с приездом в инородную Грузию всецело предавшимся опоительному соблазну красного кахетинского. Во время перепряжки лошадей на душетской почтовой станции он слишком глубоко заглянул в стакан, от этого утратил способность удерживать свое тело в должном равновесии, но зато воспламенился ревностью к исполнению своих лакейских обязанностей, каковая в нормальном состоянии за ним не водилась.

На первом же спуске представилась необходимость подтормозить шестериком заложенную карету. Попов слез с козел, подложил тормоз, и, приказав тронуться, сам пошел возле колеса. Лакей Иванов, не слушая увещания своей дражайшей половины, вылез из тарантаса, доплелся до кареты и, шатаясь, ухватился за колесо в помощь тормозу. Попов, опасаясь, чтобы ему не случилось, споткнувшись, попасть под карету, стал его отгонять, но Иван ничего знать не хотел, бранился и самого Попова отталкивал от колеса. Не предвидя добра от этого спора, я выпрыгнул из кареты с целью прогнать пьяного Ивана, с которым один Попов не мог совладать. В это самое мгновение тормоз лопнул, колесо дало поворот, уцепившегося за него Ивана швырнуло вперед и лошади понесли. Казалось не миновать было Ивану быть под каретой, а жене с экипажем, разбитым вдребезги, лежать в бездонной пропасти. Но Гехинский молодец и тут себя показал. Ухватив можно сказать на лету и отбросив в сторону ошалелого Ивана, с быстротою стрелы Попов обогнал карету, бросился между лошадей, повис на дышле и своею тяжестью остановил напор экипажа. Сажень двести проволокли его лошади в этом опасном висячем положении, постепенно умеряя свой бег, и жена находилась уже вне всякой опасности, когда я сам, задыхаясь, успел нагнать карету.

Как, после таких услуг, мне моих казаков не благодарить и не помнить!

Бывший кавказец

С.-Петербург.
3 февраля 1874 года.

СОДЕРЖАНИЕ

«Из русского прошлого»

Ф. Ф. Торнау

Воспоминания кавказского офицера

Ответственный за выпуск А. Макаров

Дизайн обложки *К. Струков*
Техническое содействие *В. Голованов* *Б. Погодин*

Подписано к печати 13.10.2007 г. Формат 84 х 108 $^{1}/_{32}$.
Гарнитура «Таймс». Бумага офсетная № 1. Усл.-печ. л. 28,5
Тираж 1 000 экз.

АНО НИЦ «АИРО–XXI»
107207, Москва, Чусовская ул., д. 11, к. 7.
Телефон: (095) 466-16-35. e-mail: andmak@airo-xxi.ru
http:// www.airo-xxi.ru

Печатные работы Ф. Ф. Торнау

1. Т<орнов>. Воспоминания кавазского офицера, ч. I 1835 год; ч. II. 1835, 36, 37, 38 года. – М., 1864.

2. Т<орнов>. Воспоминания о кампании 1829 года в Европейской Турции. – «Русский вестник», 1867:

2.1 т. 69, № 6, с. 409–487;
2.2 т. 70, № 7, с. 5–64.

3. Т<орнов>. Воспоминания о Кавказе и Грузии. – «Русский вестник», 1869, т. 79:

3.1 № 1, с. 5–36;
3.2 № 2, с. 401–443;
3.3 № 3, с. 102–155;
3.4 № 4, с. 658–707.

4. Т<орнов>. От Вены до Карлсбада (Путевые впечатления). – «Русский вестник», 1872, т. 82, № 1.

5. Ф.Ф.Торнов. Из воспоминаний бывшего кавказца. – «Складчина. Литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов в пользу голодающих Самарской губернии», СПб., 1874, с. 43–55.

6. Барон Ф.Торнов. Панна Зося (Рассказ армейского прапорщика). – Сб. «Братская помощь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины», СПб., 1876.

7. Государь Николай Павлович (Из автобиографических рассказов бывшего кавказского офицера). – «Русский архив», 1881, кн.II (1), с.228–248.

8. Т<орнов>. Гергебиль. – «Русский архив», 1881, кн.II (2), с. 425–470.

9. Великая княгиня Елена Павловна. – «Русский архив», 1881, кн. III (1)

10. Воспоминания барона Ф.Ф.Торнау. – «Исторический вестник», 1897, №№ 1– 2.